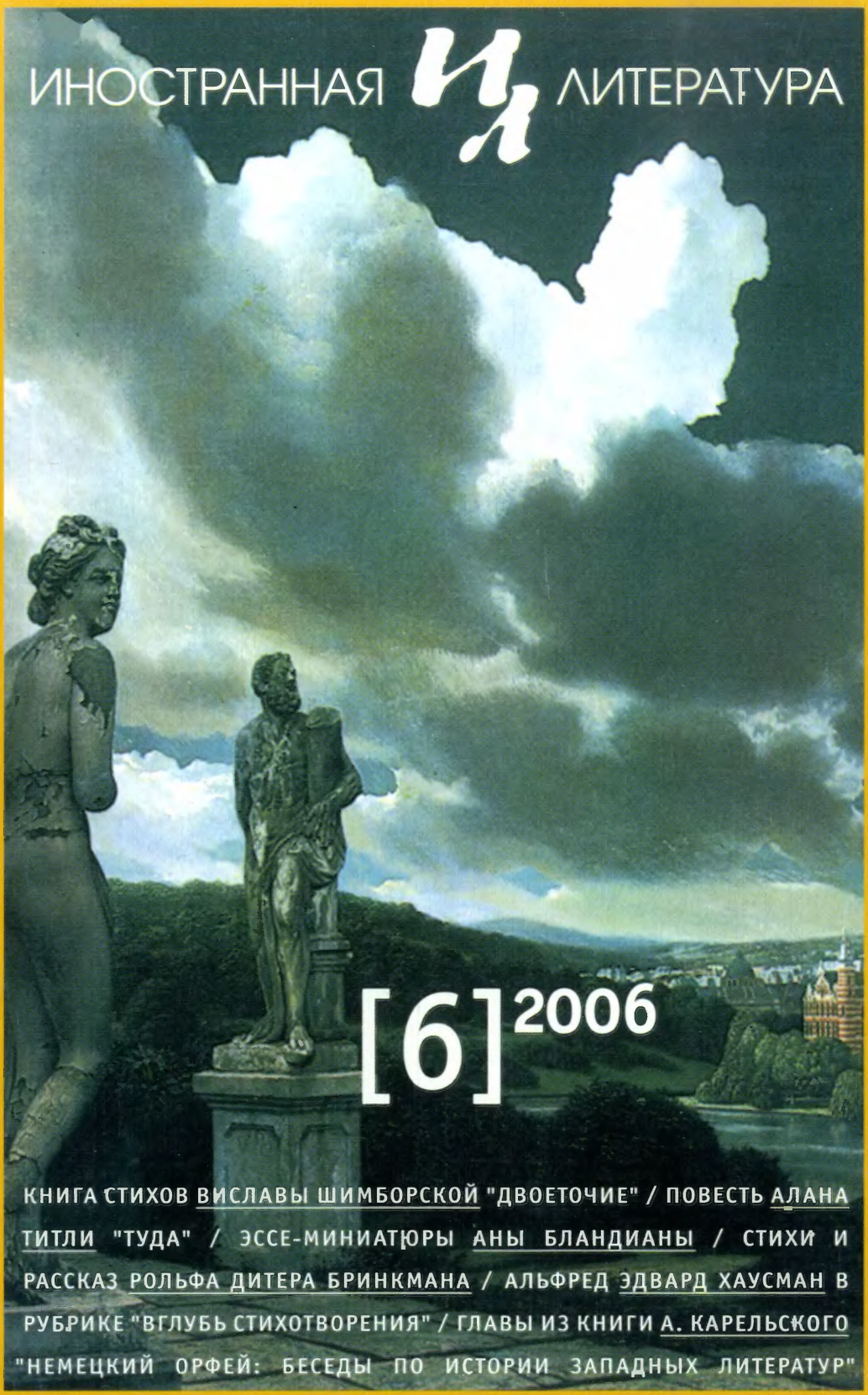
ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



[6] 2006

КНИГА СТИХОВ ВИСЛАВЫ ШИМБОРСКОЙ "ДВОЕТОЧИЕ" / ПОВЕСТЬ АЛАНА ТИТЛИ "ТУДА" / ЭССЕ-МИНИАТЮРЫ АНЫ БЛАНДИАНЫ / СТИХИ И РАССКАЗ РОЛЬФА ДИТЕРА БРИНКМАНА / АЛЬФРЕД ЭДВАРД ХАУСМАН В РУБРИКЕ "ВГЛУБЬ СТИХОТВОРЕНИЯ" / ГЛАВЫ ИЗ КНИГИ А. КАРЕЛЬСКОГО "НЕМЕЦКИЙ ОРФЕЙ: БЕСЕДЫ ПО ИСТОРИИ ЗАПАДНЫХ ЛИТЕРАТУР"

Основан в 1891 году

До конца 2006 года в "ИЛ" будет напечатано:

"Биография голода" – автобиографический роман тридцатилетней бельгийки, бессменного автора бестселлеров, АМЕЛИ НОТОМБ.

"Не отпускай меня" – новинка от известного английского романиста КАДЗУО ИСИГУРО. Это антиутопия, где речь пойдет о клонировании. Автор, мастер закрученной интриги, рассмотрел проблему в очень необычном ракурсе...

"Свидания" – маленький французский роман о любви мастера стильной прозы КРИСТИАНА ОСТЕРА, которого "ИЛ" впервые представляет на русском языке.

"Последние истории" – роман известной польской писательницы ОЛЬГИ ТОКАРЧУК, современная сага, состоящая из трех связанных между собой новелл: биографий трех женщин.

"Игра в вышибалу" – новый роман самого читаемого автора в Чехии, МИХАЛА ВИВЕГА.

"Педант на кухне" – книга кулинарных рецептов от именитого английского острослова ДЖУЛИАНА БАРНСА.

"Бог есть – я его не встретил" – ФРЕДЕРИК БЕГБЕДЕР беседует с епископом ЖАН-МИШЕЛЕМ ДЕ ФАЛЬКО

"Гуантанамо" – документальная книга итальянского журналиста КАРЛО БОНИНИ, где рассказывается о знаменитой американской тюрьме, расположенной на военно-морской базе США на Кубе.

"Из головы" – очерки из автобиографической книги известного польского писателя ЯНУША ГЛОВАЦКОГО о детстве, превратностях литературной судьбы, опыте эмиграции в США.

Статьи, эссе, литературные гиды и специальные номера, посвященные проблемам мировой литературы.

Новые выпуски постоянных рубрик журнала: "Документальная проза", "Вглубь стихотворения", "Из классики XX века", "Литературное наследие", "Путешествие по книге", "Трибуна переводчика", "Наши гости", "Среди книг", "Зрительный зал", "Carte blanche", "Письма из-за рубежа", "Курьер 'ИЛ'", "БиблиофИЛ" и др.

Подписаться на журнал можно в любом отделении связи.
ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ: 70394 (на полгода); 71261 (на год).

А надежнее и дешевле подписаться прямо у нас, с получением номеров в редакции. Наш адрес: 119017, Москва, Пятницкая ул., 41 (метро "Новокузнецкая", "Третьяковская"). Тел. 953-51-47.

[6]
2006

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ежемесячный
литературно-
художественный
журнал

3 Вислава Шимборская *Двоеточие.* Книга стихов. Перевод с польского Асара Эппеля

20 Алан Титли *Туда.* Короткая повесть. Перевод с ирландского Т. Михайловой

36 Рольф Дитер Бринкман *Стихи. Рассказ.* Перевод с немецкого и вступление Е. Соколовой

48 Ана Бландиана *Эссе-миниатюры.* Перевод с румынского и вступление Анастасии Старостиной

61 Кристофер Бакли *Флоренс Аравийская.* Роман. [Окончание.] Перевод с английского Андрея Геласимова

Вглубь стихотворения

159 Альфред Эдуард Хаусман *Четыре стихотворения.* Переводы с английского. Вступление Григория Кружкова

Из будущей книги

173 А. В. Карельский *Немецкий Орфей: беседы по истории западных литератур.* Главы из книги. Публикация и вступление А. Ботниковой, О. Вайнштейн

Статьи, эссе

207 *Что-то такое над нами... Небо Европы.* Эссе из книги. Урс Видмер *Небо Европы.* Перевод с немецкого А. Егоршева. Альфред Коллерич *Попытки писать о небе. Предостережение.* Перевод с немецкого А. Егоршева. Ильма Ракуза *Троекратный юг. Ощущения.* Перевод с немецкого Е. Соколовой. Мария Рыбакова *Шумит Тирренское море*

Иностранец в России

229 Баярд Тейлор *Путешествие в Грецию и Россию, а также поездка на Крит.* Главы из книги. Перевод с английского и вступление Галины Лапиной

Трибуна переводчика

264 Борис Дубин *Как я стал переводчиком*

Среди книг

272 Николай Мельников *Все в Слаку!* Николай Богомолов *Забытые встречи и их знаменитые участники*

БиблиофИЛ

278 *"ИЛ" рекомендует. На книжных прилавках июня 2006-го.* Выбор главного редактора

Авторы номера

282

© "Иностранная литература", 2006

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Журнал основан в 1891 г.
До 1943 г. выходил
под названиями "Вестник
иностранной литературы",
"Литература мировой
революции",
"Интернациональная
литература". С 1955 года –
"Иностранная литература".

Главный
редактор

А. В. Михеев

Редакционная коллегия:

Н. А. Богомолова
заведующая отделом критики и публицистики

Л. Н. Васильева
заведующая отделом художественной литературы

Т. А. Ильинская
ответственный секретарь

А. Я. Ливергант
заместитель главного редактора

Общественный
редакционный совет:

В. П. Аксенов
С. К. Апт
Л. Г. Беспалова
А. Г. Битов
Е. А. Бунимович
П. Л. Вайль
А. М. Гелескул
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Т. П. Григорьева
Б. В. Дубин
А. Н. Ермонский
Д. В. Затонский
С. Н. Зенкин
Вяч. Вс. Иванов
В. Б. Иорданский
М. Л. Салганик
А. Н. Словесный
И. С. Смирнов
Е. М. Солонович
Н. Л. Трауберг
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили
А. И. Эппель

Международный
совет:

Чингиз Айтматов
Ван Мэн
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Тонино Гуэрра
Морис Дрюон
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Ананта Мурти
Милорад Павич
Кэндзабуро Оэ
Умберто Эко

Редакция :

О. Г. Басинская
Т. А. Баскакова
С. М. Гандлевский
Т. Я. Казавчинская
Е. Ю. Леонова
А. В. Нестеров
А. Е. Соколинская
К. Я. Старосельская
Н. Г. Усова
Л. Г. Харлап

Журнал выходит при финансовой поддержке
Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации

Вислава Шимборская

Нобелевская премия 1996 года

Двоеточие

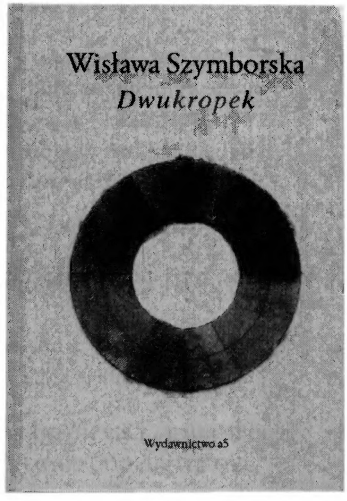
Книга стихов

Перевод с польского Асара Эппеля

От переводчика

Осенью 2005 года нобелевский лауреат Вислава Шимборская после многолетнего перерыва выпустила книгу стихов "Dwukropek" ("Двоеточие").

Появление нового сборника замечательной польской поэтессы — событие настолько значительное, что, по моему предложению, редакция "Иностранной литературы" в порядке "чрезвычайной меры", решила опубликовать "Двоеточие" целиком, тем более, что у журнала подобный опыт уже имелся — в 1985 году в № 11 был полностью (даже с оригинальными иллюстрациями!) опубликован "Totentanz in Polen" Станислава Гроховяка.



Публикация поэтических сборников в полном объеме, если, конечно, этот объем уместно соответствует возможностям журнала, мне представляется предпочтительнее поэтической подборки, ибо сберегается "пейзаж книги", в создание которого тоже вложена немалая толика души и вдохновения автора.

А значит, в особом и редкостном выигрыше оказывается читатель.

© by Wisława Szymborska, 2005
© Асар Эппель. Перевод, 2006

Отсутствие

Еще бы немного,
и моя мать могла выйти
за пана Збигнева Б. из Воли Здунской,
а появись у них дочка — ею была бы не я.
Возможно, много лучше запоминающая имена и лица,
хоть раз услышанную мелодию.
Она бы знала какая птица какая.
Получала бы хорошие отметки по физике и химии
и поскромней — по польскому,
но при этом тайком бы писала стихи,
сразу куда интересней моих.

Еще бы немного,
и мой отец тогда же мог взять в жены
панну Ядвигу Р. из Закопане,
а родись у них дочка — ею была бы не я.
Возможно, поупрямей в настаивании на своем.
Храбро прыгающая в глубокую воду.
Подверженная коллективным эмоциям.
Беспрестанно замечаемая повсюду,
но редко над книгой, чаще во дворе
гоняющей мяч с мальчишками.

Возможно, обе даже бы оказались
в одной школе и в одном классе.

Но никакой между них приязни,
никакого родства,
и на школьном снимке далеко друг от друга.

Девочки, встаньте сюда —
велел бы фотограф, —
кто пониже — вперед, кто повыше — сзади.
Когда махну, улыбнитесь.
Только еще раз посчитайтесь —
все ли тут?

Да, пан фотограф, все.

АБВ

Никогда уже не получится узнать,
что думал обо мне А.
До конца ли простила меня Б.
Почему В. делал вид, что все в порядке.
Какова была роль Г. в молчании Д.
Чего ожидал Е., если ожидал.
Почему Ж. не показывала, хотя хорошо знала.

Что З. было скрывать.
Что И. не терпелось добавить.
Имело ли значение,
что я была рядом,
для К., для Л. и остального алфавита.

Дорожное происшествие

Они пока не знают,
что полчаса назад
произошло на шоссе.

На их часах
некое время как время,
послеполуденное, четверговое, сентябрьское.

Кто-то откидывает лапшу на дуршлаг,
Кто-то сгребает во дворике листья.
Галдя, носятся вокруг стола дети.
Кому-то милостиво позволяет погладить себя кот.
Кто-то плачет –
как оно бывает у телевизора,
когда бессовестный Диего изменяет Хуаните.
Слышится стук в дверь –
это ничего, это соседка возвращает сковородку.
В глубине квартиры звонит телефон –
пока что только насчет объявления.

Если бы кто-нибудь подошел к окну
и поглядел в небо,
он бы уже смог увидеть тучи,
присквозившие с места события.
Клочковатые, правда, и раскиданные,
но такое за ними водится.

Назавтра – без нас

Утро ожидается холодным и туманным.
С запада
начнут перемещаться дождевые тучи.
Видимость предположительно слабая.
Дороги скользкие.

Постепенно в течение дня
под влиянием северного антициклона
местами возможны прояснения.
Однако при переменном и сильном порывистом ветре
вполне вероятны грозы.

Ночью
погода улучшится по всей стране,
только на юго-востоке
не исключены осадки.
Температура заметно понизится,
зато давление возрастет.

Завтрашний день
обещает быть солнечным,
хотя тем, кому жить дальше,
не помешает зонтик.

Лесное моралите

Он входит в дебри,
чтоб запропасть в них;
он знает лес на пролет и птичий полет,
на отлет превратный и прилет обратный.

Он вволю приволен в трущобе чащобы,
в зеленых сплетеньях,
в тенях и подтеньях,
в тиши, что в уши шуршит,
когда шаг ее ворошит.

Всё тут слажено рифмой,
словно в присловьях детских.
Между чащей и пущей,
как между стен соседских.

Видит, как рдеет, реет, спервоначалу зреет,
в укромных и скоромных завязях и связях,
что спехом тут, что смехом, что лесным орехом,
а в прорехе огрехом.

Знает, что шустро-быстро,
кто де́лен, кто отде́лен,
что за лучик из тучек
расселён меж расселин.

Где бочаги в овраге, муравейник в коряге,
кто там скоком-поскоком и наскоком боком,
что лещиной, лощиной, что лозой, что березой —
смерть здесь только вещает
обыденной прозой.

Знает, что мигом, прыгом,
по тропинке шмыгом
куда из ниоткуда,

хотя и чудо-юдо,
единственное в природе, так себе по породе.

Знает, где готика кроны,
где барокко дубравы,
что тут вихорь, что вяхирь,
как тут корой корявы
и ожидают управы
дыбом дубы от расправы.

Ну а после и возле
поляна снова медвяна,
вовсе теперь не такая, какою казалась рано.

А меж людей его тотчас обуревает злость —
всякий по нём курьезный, кто от разных розный.

Случай

Небо, земля, утро,
время восемь пятнадцать.
В пожелтелой траве саванны
покой и безмолвие.
В отдаленье эбеновое дерево
с зеленой, как всегда, листвой
и петляющими по земле корнями.

Внезапно в блаженной тишине что-то случается.
Две жаждущие жить жизни сорвались с места.
Стремглав уносится антилопа,
за ней львица, запыхавшаяся и голодная.
Шансы обеих пока что равны.
Даже некоторое преимущество у беглянки.
И если бы не корень,
торчащий из земли,
если бы не споткнулось
одно из четырех копытец,
если бы не четверть секунды
сбитого ритма,
чем пользуется львица,
метнувшись долгим прыжком...

На вопрос: кто виноват,
ничего, только молчанье.
Невиноватое небо, circulus coelestis.
Невиноватая terra nutrix, земля-кормилица.
Невиноватое tempus fugitivum, время.
Невиноватая антилопа, gazella dorcas.
Невиноватая львица, leo massaicus.
Невиноватое дерево, diospyros mespiliformis.

И наблюдатель с биноклем,
всегдашний в подобных случаях
homo sapiens innocens.

Утешение

Дарвин.
Для отдохновения якобы читал романы.
Однако терпеть не мог,
если они кончались печально.
Когда ему такой попадался,
яростно швырял его в камин.

Правда, неправда —
а я склонна верить.

Обозрев разумом столько пространств и времен,
наглядевшись стольких вымерших видов,
таких триумфов сильных над слабыми,
такой уймы попыток просуществовать,
уже с начала или в результате напрасных,
что хотя бы от вымысла
с его микромасштабом
имел право ожидать хеппи-энда.

То есть обязательно: лучик из-за туч,
любовники снова вместе, семьи помирились,
сомнения рассеяны, верность вознаграждена,
ценности откопаны, состояния возвращены,
соседи сожалеют о своем ожесточении,
доброе имя восстановлено, алчность устыжена,
старые девы выданы за почтенных пасторов,
интриганы сосланы в другое полушарие,
подделыватели документов спущены с лестниц,
соблазнители девиц спешат к алтарям,
вдовы утешены, сироты не брошены,
гордыня смирена, раны обихожены,
блудные сыновья позваны к столу,
горькая чаша выплеснута в море,
платки мокры от слез примиренья,
повсюду ликованье — музыка и пенье,
а собачка Фидо,
потерявшаяся еще в первой главе,
пускай опять бегает по дому
и радостно тявкает.

Старый профессор

Спросила его о времени,
когда мы были еще такие молодые,
наивные, запальчивые, глупые, неготовые.

Кое-что, кроме молодости, осталось
— ответил.

Спросила его, по-прежнему ли он знает,
что для человечества хорошо, а что плохо.

Самое смертоносное заблуждение из возможных
— ответил.

Спросила его о будущем,
все ли еще оно ему ясно зримо.

Слишком много я прочел исторической литературы
— ответил.

Спросила его о фотографии
в рамке на письменном столе.

Были, сплыли. Брат, кузен, жена брата,
жена, дочка на коленях жены,
кот на руках у дочки
и цветущая черешня, а над черешней
неопознанная летающая птичка
— ответил.

Спросила его, бывает ли он
счастлив.

Работаю
— ответил.

Спросила о друзьях, есть ли они еще.

Несколько бывших моих ассистентов,
у которых уже тоже бывшие ассистенты,
пани Людмила — помощница по дому,
некто очень близкий, но за границей,
две сотрудницы библиотеки, обе всегда улыбаются,
маленький Юрек из квартиры напротив и Марк Аврелий
— ответил.

Спросила его о здоровье и самочувствии.

Запрещают мне кофе, водку, папиросы,
переносить тяжелые воспоминания и вещи.

Вынужден делать вид, что этого не слышу
– ответил.

Спросила про садик и скамейку в садике.

В ясные вечера наблюдаю небо.
Не устаю удивляться,
сколько там точек зрения
– ответил.

Перспектива

Разминулись как чужие,
без жеста и слова,
она по дороге в лавку,
он к машине.

Может, в смятенье
или рассеянности,
или позабыв,
что какое-то время
любили друг друга до гроба.

К тому же нет гарантии,
что это были они.
Может, издали так,
а вблизи не совсем.

Я увидела их из окна,
а кто глядит сверху,
скорей всего ошибается.

Она исчезла за стеклянной дверью,
он сел за руль
и уехал.
То есть ничего не произошло,
даже если произошло.

А я, всего лишь мгновенье
уверенная, что видела,
пытаюсь в случайном стихотвореньице
убедить вас, Читателей,
что было это печально.

Учтивость незрячих

Поэт читает стихи незрячим.
Он и думать не думал, что будет так сложно.
Дрожит его голос.
Дрожат руки.

Поэт чувствует, что каждая фраза
подвержена здесь испытанию тьмой
и должна справляться сама,
неосвещенная, нецветная.

Рискованное приключение
в его строчках для звезд,
зари, облаков, радуги, неоновых реклам, луны,
для рыбы, до сих пор столь серебряной под водою,
и ястреба столь тихо, высоко в поднебесье.

Он читает — потому что поздно уже не читать —
о мальчике в куртке желтой на лужайке зеленой,
о доступных сосчитать их красных кровлях в долине,
о мелькающих номерах на майках игроков
и голой незнакомке в приотворенной двери.

Он бы хотел промолчать — хотя уже невозможно —
святых и блаженных на своде собора,
прощальный взмах в вагонном окошке,
стеклышко микроскопа и лучик в перстне
и экраны и зеркала и альбом с фотографиями.

Но велика учтивость незрячих,
велики снисходительность и великодушие.
Слушают, улыбаются, рукоплещут.

Кто-то даже подходит
с книжкой открытой задом наперед,
прося невидимый для себя автограф.

Монолог пса, заплутавшего в эпохе

Есть псы и псы. Я избранным был псом.
С отменной родословной и волчьей кровью в жилах.
Я жил на взгорье, чуя носом виды
лугов под солнцем, елей после ливней
и груд земли на прогалинах.

У меня был солидный дом с послушной прислугой.
Меня кормили, мыли, чесали щеткой,
водили на чудесные прогулки.
Но уважительно, без панибратства.

Все понимали, кто я.
Чей я пес.

Любая паршивая дворняга может иметь хозяина.
Но осторожней — никаких сравнений.
Мой был единственный такой на свете.
За ним повсюду следовала стая,
не отстававшая ни на шаг
и взиравшая с опасливым восхищеньем.

Мне же предназначались улыбки
с плохо скрываемой завистью.
Ибо только я имел право
встречать его радостными прыжками,
только я — прощаться, хватая зубами за брюки.
Только мне разрешалось
с головой на его коленях
удостаиваться, чтоб гладил и тормошил уши.
Только я мог притвориться при нем, что сплю,
и тогда он ко мне наклонялся и что-то шептал.

На других он сердился часто и громко.
Рычал на всех, бранился,
бегал от стены к стене.
Думаю, любил он только меня
и больше никогда никого.

Еще мне полагалось: ждать и не сомневаться.
А он ненадолго появлялся и надолго исчезал.
Что его держало в долине, не знаю.
Однако понимаю, что неотложные дела,
столь же, наверно, неотложные,
как для меня перепалки с кошками
и всем, что зачем-то двигается.

Есть разная судьба. Моя вдруг изменилась.
Настала какая-то весна,
а его со мной не было.
Дома поднялась непонятная беготня.
Ящики, чемоданы, сундуки взваливали на машины.
Колеса с визгом съезжали вниз
и умолкали за поворотом.

На террасе горело старье и тряпье,
желтые блузы, повязки с черными знаками
и много, очень много рваных картонок,
из которых повываливались флажки.

Я метался в этой сумятице,
скорее озадаченный, чем злой.
Чувствовал шерстью недобрые взгляды.

Словно был ничьею собакой,
приблудным дармоедом,
которого гонят метлой уже от ступенек.

Кто-то сорвал с меня ошейник с серебряным набором.
Кто-то пнул мою миску, не первый уже день пустую.
А потом кто-то последний, прежде чем отъехать,
высунулся из кабины
и выстрелил в меня два раза.

И даже не сумел попасть куда надо,
потому что я умирал тяжело и долго
в жужжании обнаглевших мух.
Я — пес моего хозяина.

Беседа с Атропой

Госпожа Атропа?

Верно, это я.

Из трех дочерей Необходимости
у Вас наисквернейшая репутация.

Явное преувеличение, милая моя поэтесса,
Клото прядет нить жизни,
и нить эта непрочная,
ее легко перерезать.
Лахесис отмеряет длину аршином.
Они ведь тоже не малые дети.

Однако ножницы в Ваших руках.

Поскольку в моих, я ими и пользуюсь.

Вижу, что даже сейчас, пока мы беседуем...

Я трудоголик, такая уж у меня натура.

Не чувствуете ли Вы себя усталой, утомленной,
не выспавшейся, скажем, ночью? Нет, неужели нет?
Без отпусков, уик-эндов, празднования праздников,
перерывов на покурить?

Накопилось бы работы, а я этого не люблю.

Непостижимое усердие.
И ниоткуда одобрения,
премий, отличий, кубков, орденов?
Или хотя бы дипломов в рамках?

Как в парикмахерской? Благодарю покорно.

Кто-нибудь Вам помогает? Если да, то кто?

Занятный парадокс – сами же вы, смертные.
Всякие диктаторы, бесчисленные фанатики.
Хотя не я их приневоливаю.
Сами рвутся в дело.

Наверно, и войны должны Вас радовать,
от них ведь значительная подмога.

Радовать? Не знаю такого чувства.
Не я к ним призываю,
не я руковожу их ходом.
Но признаю: главным образом благодаря им
я есмь всякую минуту.

Не жаль вам нитей, перерезанных слишком коротко?

Слишком коротко, не слишком коротко –
тут разница только для вас.

А если бы кто-то поважней вздумал от Вас избавиться
и отправил на пенсию?

Не поняла. Выражайся яснее.

Спрошу по-другому: есть ли над Вами Начальство?

...Попросила бы следующий вопрос.

Больше вопросов нету.

В таком случае прощайте.
Вернее...

Понятно. Понятно. До свидания.

Страшный сон поэта

Послушай, что мне приснилось.
С виду всё как у нас.
Под ногами земля, вода, огонь, воздух,
вертикаль, горизонталь, колесо, треугольник,
левая и правая сторона.
Погоды сносные, пейзажи недурные
и множество существ, наделенных речью.
Однако речь не такая, как на земле.

Во фразах преобладает несослагательное наклонение.
Названия точно прилегают к вещам.
Ничего не добавить, не отнять,
не изменить и не переставить.

Время всегда какое на часах.
У прошлого с будущим недолгое дленье.
Для воспоминаний — конкретная минувшая секунда,
для предопределений — другая,
которая как раз наступает.

Слова не нужны. Ни на одно больше чем следует,
а это значит, что нет поэзии,
нет философии и нет религии.
Подобные шалости не принимаются в расчет.

Ничего, что бы можно всего лишь подумать
или с закрытыми глазами увидеть.
Если искать, то лишь то, что явственно рядом.
Если вопрошать, только то, на что есть ответ.

Они очень бы удивились,
если б могли удивиться,
что где-то существуют причины удивляться.

Слово "смятенье" сочтено у них неприличным
и не решилось бы стоять в словаре.

Мир представляется отчетливым,
даже когда не видно ни зги.
Каждому отпускается по доступной цене.
Не отходя от кассы никто не требует сдачи.

Из чувств — удовлетворение. И никаких скобок.
Жизнь с точкой на поводке.
И грохотанье галактик.

Согласись, что ничего хуже
не может случиться поэту.
А потом — ничего лучше,
если быстро проснуться.

Лабиринт

— а сейчас несколько шагов
от стены к стене,
по тем ступенькам вверх
или по этим вниз;
потом чуть-чуть левей,
если не правей,

от стены между стен
до седьмого порога,
откуда-то куда-то
вплоть до пересеченья,
где выпало сойтись,
чтоб сразу разойтись,
твоим надеждам, ошибкам, промашкам,
попыткам, намерениям и снова надеждам.

Дорога за дорогой,
а обратной нету.
Доступно только то,
что впереди и дальше,
а дальше в утешенье
восемь поворотов,
дивись и удивляйся,
за кулисой кулиса.
Выбрать даже можно,
где быть или не быть,
перескочить, сбочить,
но чтоб не проскочить.

Значит, туда и сюда,
или же вон туда,
по догадке, отгадке,
напрямик, на память,
на как придется,
на путаные перепутья.
Сквозь проходы ворот
в коридорный ход
спешно, ибо во времени
у тебя мало времени,
с места на место
к еще пока отворенным,
где темень и смятенье,
но просвет на свет,
где радость, хоть не в радость,
возле и после,
невесть где, но есть где,
везде и всюду
счастье в несчастье,
словно скобка в скобках,
и все бы разлюбезно,
но внезапно бездна,
бездна, но мосток,
мосток, но шаткий,
шаткий, но единственный,
ибо нет другого.

Ведь вне всяких сомнений
должен быть выход.

Но не ты его ищешь,
он тебя ищет,
это он изначально
за тобой в погоне,
а лабиринт сей
не что иное как только,
только твое, покуда возможно,
твое, пока что твое,
бегство, бегство —

Небрежение

Неважно я вчера повела себя в космосе.
Прожила целые сутки, ни о чем не спросила,
ничему не удивилась.

Занималась обычными делами,
словно только оно и требовалось.

Вдох, выдох, шаг за шагом, обязанности,
но без мысли, устремленной далее
выхода из дому и прихода домой.

Мир мог быть воспринят как потрясающий,
а я воспользовалась им для заурядного потребления.

Никаких как и почему,
и как он здесь такой оказался,
и зачем ему уйма неугомонных подробностей.

Я была точно гвоздь, слабо вколоченный в стенку,
или
(здесь сравнение, которого не нашлось).

Одна за одной происходили перемены
даже в ограниченном поле мгновения ока.

Рукою на день моложе за столом помоложе
был иначе нарезан вчерашний хлеб.

Тучи — как ни разу и дождь как ни разу,
ибо падал новыми каплями.

Земля обернулась вокруг оси,
но уже в покинутом навсегда пространстве.

Продолжалось это добрых 24 часа.
1440 минут оказии.
86 400 секунд для ознакомления.

Космический savoir-vivre
хотя насчет нас и помалкивает,
однако чего-то все же добивается:
толики внимания, нескольких фраз Паскаля,
ошеломленного участия в этой
с неведомыми правилами
игре.

Греческая статуя

Усилиями людей и всяческих стихий
над ней досконально поработало время.
Сперва лишило носа, потом гениталий,
потом пальцев рук и стоп,
с годами одного плеча и другого,
ляжки правой и ляжки левой,
спины, головы и ягодиц,
а что отвалилось, смололо в осколки,
в щебень, в гравий, в песок.

Когда таким манером умирают живые,
от каждого удара бывает много крови.

Однако мрамор статуй гибнет белоцветно
и не всегда до конца.

От этой, о которой речь, остался только торс,
весь словно сдерживаемое при усилии дыханье,
ибо должен теперь
взять
на себя
достоинство и красоту
утраченного остального.

Это ему удается,
пока еще удается,
удается и восхищает,
восхищает и длится —

И добрых слов заслуживает время тоже,
ибо приостановило работу,
отложив кое-что на потом.

Вообще-то любые стихи

Вообще-то любые стихи
могут быть названы “Мгновение”.

Довольно одной фразы
во времени настоящем,
бывшем и даже будущем;

довольно, если что-то,
несомое словами,
зашелестит, вспыхнет,
просвищет, проплывет
или же пребудет
вроде бы неизменным,
но с переменчивой тенью;

довольно, если говорится
о ком-то рядом с кем-то
или о ком-то возле чего-то;

про Алю, у которой есть кот
или кота больше нету;

или о других Алях,
котах и не котах
из других букварей,
листаемых ветром;

довольно, если в поле зрения
автор устроит временные горы
и недолговечные долины;

если, воспользовавшись возможностью,
скажет о небе
только с виду вечном и бесконечном;

если объявится под пишущей рукой
хотя бы единственная вещь,
названная чьей-нибудь вещью;

если черным по белому,
или хотя бы в предположении,
по важному или пустому поводу,
поставлены будут знаки вопроса,
а в ответе —
если двоеточие:

Алан Титли

Туда

Короткая повесть

Перевод с ирландского Т. Михайловой

1

— Ты куда это собрался? — спросила меня мама, когда я уже стоял у двери.

— Туда, — сказал я.

— Куда — туда? — сказала она. — Туда — это, знаешь, это много куда.

— Ну, вообще туда... — я ткнул пальцем в сторону улицы, — ты же знаешь.

— Нет, я не знаю, — сказала она злобно. — Я вообще уже ничего не знаю!

Но на самом деле она, конечно, знала. Она все прекрасно знала, все свои реплики, и партия у нас разыгрывалась как по нотам.

— Когда ты вернешься? Кто еще там будет? Ты далеко собрался? Ты, надеюсь, не пойдешь в центр? У тебя с собой мобильник? А не остаться ли тебе дома, хоть раз в жизни?!

Вопросов было так много, и сыпались они так быстро, что я просто не знал, с какого начать. Поэтому я просто молча смотрел на нее, впрочем, ничего другого она от меня и не ждала. Я осторожно, как можно незаметнее, согнул локоть и сунул руку поглубже в карман. Я так всегда де-

© Т. Михайлова. Перевод, 2006
Редакция благодарит Алана Титли за любезно предоставленную возможность безвозмездной публикации повести на страницах журнала.

лал, когда начиналась очередная проповедь, так интереснее было слушать.

— И когда ты наконец начнешь учиться? Ты уже скоро будешь в классе самый последний! Почему я должна краснеть всегда, когда встречаю учителя? О чем ты вообще думаешь?! Что ты собираешься делать? В жизни, что в жизни из тебя вообще получится?! Да если бы ты хоть иногда занимался нормально, ты бы учился лучше всех в классе!

Рот у нее открывался и закрывался, быстро-быстро. Иногда между губами поблескивали белые зубы, и, казалось, заговори она хоть чуть быстрее, они один за другим попадают на пол. Зубы и язык выбивали какой-то четкий ритм, как на параде, методично ударяясь друг о друга. Клик-клак, тух-так, тых-пых... Звуки постепенно складывались в ритмичную мелодию, которая бухала у меня в голове и мешала думать. Но вот ритм стал замедляться, зубы заняли свою исходную позицию за губами, барабанный ритм превратился в мягкий шелест. Я понял, что на этот раз — все. А раз все — можно туда!

Передо мной расстилался огромный мир. Где у него было начало, где конец? Куда, в какие земли вела эта улица? А что за дикие леса начинались там, за парком? И кто там стоит в кустах?! Кто это идет прямо на меня?! Олень? Дикий вепрь? Лесная дева? Души утопленников? Разбойники? Но пока это был только Гобда со своей вечной сестрой.

Гобда считался моим лучшим другом, и это, в общем, соответствовало действительности. Ну, по крайней мере, конкурентов ему не находилось. Одно ухо у него было длиннее другого, и это нам ужасно нравилось, потому что теперь мы могли говорить, что раньше он был волк-оборотень. Еще у него были ярко-рыжие волосы, обычные волосы, ничего интересного, глаза тоже нормальные, и еще он все время чесал спину. И вот это нам казалось странным, потому что чесаться как следует он как раз и не мог: у него ногтей, в общем, можно сказать, совсем не осталось. Он обычно их отрывал и складывал в карман. То есть если совсем точно, они у него были, его ногти, но не там, где надо. В принципе они у него, конечно, росли как у всех людей, на пальцах, поверху, но он, когда боялся чего-то или волновался, их кусками сбоку отковыривал, потом отгрызал, отрывал и складывал все в карман. Я его как-то спросил, как это он так научился, а он сказал, что, когда он был маленьким, ему вообще не позволяли совать пальцы в рот. И в носу тоже ковырять не позволяли. Так он и жил, родители все время за ним следили, и летом, и зимой. Ну а потом, уже в школе, он свое взял. Да, если подумать, моя мать, в общем, еще не самая плохая.

Я не знаю, нравится мне его сестра или нет. Когда она вот так молча за нами тащится, то она вроде бы ничего. Она тогда будто тоже мальчишка. Но иногда на нее находит какой-то идиотский настрой, и она начинает что-то из себя воображать. Тогда вообще не поймешь, чего она хочет, и неизвестно, как себя с ней держать. Она вдруг может встать посреди улицы и начать хохотать неизвестно почему. Я иногда вообще не понимаю, что она за человек. Ее на самом деле зовут Грайнне, но все ее называют Грунг. Я не знаю почему, но вроде это имя ей подходит.

— Ну, привет, — сказал Гобда, — что делать будем?

— Пошли все за мной, — сказал я резко и повернул к реке.

Я сам не знаю, почему я туда пошел, но мне почему-то тогда показалось, что начинать гулять надо всегда от реки. Эта река Грунг обычно жутко не нравилась, потому что на берегу вечно болтались большие мальчишки. Я, наверное, понадеялся, что она за нами не увяжется. А почему я не хотел, чтобы она с нами шла? Сам не знаю.

Но она пошла.

2

У реки нас уже ждала целая компания. Это была компания Кранта, я его знал. Так, совсем немного знал. Но лучше бы я его не знал, в том смысле, что лучше бы его вообще не было. Или хотя бы не было у реки. Этот парень, так скажем, не слишком приятный. В руке он держал лягушку, у которой из зада уже торчала трубочка из Макдоналдса.

— Вот, смотрите, — сказал он, повернувшись куда-то в сторону.

Они все по очереди стали дуть в трубочку. Мне это было противно, но я почему-то все равно смотрел. Как-то даже забавно. Я эту штуку с лягушкой уже видел. И всегда это очень противно, но бывает, что кино смотришь — а там еще противнее. Такие бывают кадры. А тут хоть я знал, это недолго. Я посмотрел на Гобду, прямо ему в лицо, прямо в глаза, но он молчал, и было совершенно непонятно, нравится ему или нет, и что он вообще думает. Грунг сощурила глаза, и весь вид ее выражал отвращение, но было понятно, что ей на эту дрянь смотреть интересно.

Хоп! Лягушка взорвалась. Она вся распалась, разлетелась на желтые, зеленые, серые, сизые, красные куски, красное — это у нее было где-то в животе. По-моему, до меня тоже долетело, так, немножко. Я посмотрел на Гобду: непонятно было, попали на него куски этой дряни или нет, потому что у него вся куртка и так была в пятнах — тоже серых, зеленых, желтых, красных. А Грунг вдруг прямо заплясала от радости. Я отвернулся.

— Ну, я пошел купаться, — крикнул Крант.

Он разделся до трусов и прыгнул в воду. Из его компании никто не пошел за ним, и, в общем, я их понимаю: вода там была жутко грязная. Если бы кто захотел ловить здесь рыбу, вряд ли бы поймал что-нибудь, кроме рваных ботинок или сломанных телевизоров. А сверху плавали обрывки пакетов, банки, куски пластмассы и еще разная дрянь.

— Ну что, — крикнул он, — никто не пойдет?

Все молчали. Тогда он вышел из воды и тоже молча стал одеваться. Это было такое, как пишут, неловкое молчание.

— Я тоже буду! — закричала вдруг Грунг, но Крант ее уже не слышал, потому что куда-то быстро пошел.

— Не будь дурой, — сказал ей Гобда. Видно было, что он удивился, потому что вообще она таких вещей обычно не делала. — Ты ведь и плавать-то не умеешь как следует. Не думай, что я за тобой туда полезу.

Он быстро вынул из кармана руку и начал отгрызать что-то типа ногтевых ростков. Больно, наверное, было.

— Ты мне не отец, — достойно сказала Грунг, — ты не имеешь права мне ничего запрещать!

Она медленно начала раздеваться. Я смотрел на нее, сам не знаю зачем. Ей будто было все равно, что она такая белая, чистая, стоит рядом

с этой вонючей рекой. Она сняла штаны и куртку, стянула свитер и осталась в белых трусиках и маленькой такой маечке, тоже белой. И кожа у нее была вся белая, просто белая как снег. Мне вдруг захотелось есть, причем почему-то именно шоколадное пирожное. Настоящее, темное, тяжелое, все такое шоколадное, а сверху — чтобы немного белого крема, совсем чуть-чуть. Я сглотнул. А она все стояла, потом медленно подошла к воде.

— Ну, я пошла, — сказала она, — идешь со мной? Ты где?

Непонятно, кому она это сказала, но, в общем, все равно ей никто не ответил. Казалось, вода тоже молчит и как-то не очень верит, что кто-нибудь еще решится лезть в нее. Ну, мне так казалось.

— Ты где? — спросила она опять, на этот раз она говорила громче, почти кричала, но все равно ей никто не ответил. — Тут глубоко... — нерешительно протянула она, — пусть кто-нибудь тоже пойдет...

Я посмотрел на эту воду: вряд ли так уж глубоко. Просто противно, это да. Я представил себе, как я раздеваюсь и чистым телом, чистыми ногами весь вхожу в реку, а там еще на дне неизвестно что, меня просто передернуло от одной этой мысли. А может, там были раки, они ведь едят падаль. Слово "падаль" вызвало в моей голове еще более яркие образы разбухших трупов тех, кто по пьянке полез здесь купаться когда-то давно, и перед моим мысленным взором зашевелились бледные пальцы утопленников. Кажется, я даже разглядел жуткое белое лицо, которое ждало Грунг где-то в глубине, на дне, на своем илистом ложе... Но, может, это просто было отражение маленького белого облачка, которое совершенно безобидно проплывало над нами.

— Я боюсь, — сказала наконец Грунг, — никто мне не хочет помочь. Так нечестно, я тут стою и жду, и никто не идет со мной. Так нельзя поступать с человеком. Что, никто меня вообще не слышит даже?!

Лицо ее стало белым, как смерть, а в глазах застыла тоска многих тысячелетий страдания человечества. Гобда молчал. Он стянул с головы шапку и теперь мял ее в руках. Его рыжие волосы вдруг как-то разом потускнели.

И тогда я сделал большой шаг вперед, потом еще один, еще один. Сам не знаю, почему я пошел, наверное, захотел сам себе показаться героем. Или решил себя перебороть. Я подошел к воде, присел на корточки и потрогал воду. Она была не такой уж холодной. Но вблизи казалась еще темнее. На дне были разные предметы, их как-то можно было уже разглядеть. Что-то белое, жуткое. Потом я понял — это лицо куклы, которая лежала на дне, совсем почти у берега. От этой куклы мне стало еще жутче. А еще там была раскрытая книга, она, как рыба, шевелила страницами, и это было уже совсем странно и страшно одновременно. Было очень тихо, звуки все куда-то исчезли, и ничего не было в мире, кроме этой серой воды. Чуть подальше я разглядел пакет с мусором, а что там было внутри?

И тут я увидел Кранта. Вернее, я сначала его услышал, как он пыхтит, а потом повернулся и сразу увидел его. Он сидел в тележке из супермаркета. Ноги у него там застряли, а тележка быстро ехала вниз с горы прямо в реку. Он весь трепыхался в ней, лицо у него потемнело, и казалось, он сейчас взорвется от напряжения, как та лягушка. Я сразу понял, что надо сделать, вернее, не понял, а просто машинально сделал это: я бросился к нему и схватил тележку. Мы упали. Крант молча посмотрел

мне прямо в глаза. В такие минуты, я слышал, перед человеком проносится вся его жизнь, как кадры в кино. Я не знаю, что именно пронеслось перед глазами Кранта, но перед моими глазами пронеслось все, что он мне сделал. Я вспомнил, как он меня запер в пустом гараже, как он мне посадил тараканов в карман штанов, пока мы были на физкультуре, как он мне подложил в портфель проколотую бутылку с подсолнечным маслом. Там еще было много разного, так что я, как дурак, упустил шанс отомстить. Взять бы сейчас то масло и вылить ему в рот, чтобы все проглотил, но под рукой масла у меня не было, да и вряд ли он согласился бы его глотать. Так что я ограничился тем, что быстро встал и пристально посмотрел Кранту прямо в глаза. Он лежал на боку под этой тележкой и снизу тоже пристально посмотрел мне прямо в глаза. Думаю, мы друг друга поняли. Еще я понял, что опять дал слабину и что мне это все так не сойдет. В общем, даже не знаю, что теперь он еще придумает для меня. Но мне этого было мало: я нагнулся и помог Кранту высвободить ноги из этой тележки. Я думал, что лучше бы я его взял и убил. А может, мне просто стало его вдруг жалко. И вдруг я подумал, что он мне еще скажет спасибо, то есть не скажет, конечно, но будет все-таки благодарен, так, по-своему, как такие люди, как он, могут быть благодарны. Мне показалось, что в его глазах вдруг что-то такое мелькнуло, какая-то добрая мысль, что ли. Или, может, все-таки надо было лучше думать о том, как я его убиваю? Не знаю. Пока я все это думал, он встал и отошел в сторону.

Я пошел наверх. Вся компания тем временем собралась вокруг Кранта, и он стал им что-то возбужденно рассказывать. Он смеялся, а какая-то девчонка трепала его по волосам.

Я опять посмотрел на него, но он в мою сторону уже не смотрел. Он вообще уже будто меня и не видел, будто меня вообще уже не было. Никогда не было. И вдруг он повернул голову и взглянул на меня, и я понял, что он меня простил и что на самом деле он мне даже благодарен.

Я быстро пошел наверх, и скоро Гобда и Грунг догнали меня. Грунг уже оделась, она смеялась и все время оборачивалась, чтобы посмотреть на Кранта. Наверное, ей хотелось бы остаться с ними, а не тащиться опять за братом. Но куда же она от него денется?!

3

И мы пошли к железной дороге. Можно было там сыграть в бутылки — мы их клали на рельсы. Нужно было внутрь натолкать побольше камней, чтобы они не слетели. А камни эти, мы прямо там их и брали, между рельсами почему-то, будто специально, были наложены камни, не все, конечно, подходили, но в общем можно было набрать. Большие камни мы на рельсы никогда не клали, хотя, я знаю, некоторые так делали, особенно в темноте. Мы — никогда, потому что надо для этого быть, наверное, очень уж плохим человеком или просто тупым. А, может, это одно и то же. Вот на дороге маленькие кучки такие из камней — это мы, конечно, складывали, но это все делают. Еще бросали камни в стены домов, которые были рядом. Один раз мне даже удалось с первого раза разбить окно, но, если честно, я стоял, вообще-то, очень близко.

Еще, когда становилось совсем темно, мы клали камни у калитки. Но тогда приходилось долго ждать, пока кто-то в нее войдет или выйдет, и часто мы так и уходили ни с чем. Можно было еще эти камни с рельсов просто накидать на клумбы или на газон.

А сейчас темно еще не было. Мы медленно брели вдоль путей, и Грунг даже начала рвать маргаритки и потихонечку плести себе такой типичный девчачий веночек. А Гобда, он тоже стал рвать какие-то цветки, травку, но он их просто бросал на рельсы, непонятно зачем. Я посмотрел: у него ногтей уже опять ну совсем не было, а утром еще были немножко.

— Давайте положим на рельсы монетки столбиком, — сказал он, — они тогда раздавятся.

Наверное, свою норму по уничтожению растений он выполнил.

— Это малышня так делает! — сказала Грунг. — Мы так делали, когда маленькие были, помнишь? Да и потом, они все равно соскальзывают. Ты говорил, их надо по одной класть, тогда они расплющиваются.

— Сколько у тебя есть? — спросил я.

— Вот, две монеты, больше нету.

— Ты лучше их убери, — сказал я, — а то вдруг, например, нам попить захочется.

Над нами медленно проплыл самолет, и я вспомнил, что, когда был маленьким, все старался докинуть до него камень, но, конечно, ни разу не удалось. Вот поезд — это другое дело. Особенно мне нравится, когда видно людей, как они сидят, едят свои супы, или бутерброды, или пиццу, или такие маффины с кофе, или пирожные, может быть, даже и шоколадные, или просто пьют колу, или кофе, или чай, или пиво, да, пиво, конечно, или такие еще слоеные штучки едят, или чипсы, или читают газету... И вдруг прямо в окно рядом с ними камень — штрах! Обычно стекло не разбивается, но все равно надо видеть их лица, их глаза, когда вдруг что-то прямо из темноты — штрах! шплем!

— Слышишь, поезд идет, — сказал Гобда и напряженно пошевелил своими волчьими ушами.

— Ну давайте, быстро, быстро камни готовьте, собирайте, — сказала Грунг, доставая из кармана пустой пакет. Все-таки все девчонки очень запасливые, я бы даже сказал — предусмотрительные.

— Заткнись! — вдруг сказал ей Гобда. Обычно его никто не торопил, он и сам понимал, что делать, и Грунг все знала.

Гобда замер и всматривался куда-то вперед, что-то он увидел на рельсах.

— Это что это там, смотри! — закричала Грунг и показала пальцем на странный круглый предмет, который лежал на путях и будто даже немного шевелился.

Я и сам его увидел, так что совершенно не обязательно ей было своими пальцами всюду указывать.

— Не знаю, чего это, — сказал Гобда и пожал плечами. Сам же первым увидел, а потом стал делать вид, что ему все равно.

Я еще раз посмотрел вперед, но сначала ничего не понял. Тогда я сощурился, так лучше было видно, и Грунг всегда так делала, когда смотрела. Кажется, на рельсах был какой-то мешок, но я не был уверен, потому что мне еще в прошлом году в школе глазной врач сказал, что мне

надо носить очки. И тут я понял, что на рельсах, ну ясно, лежала бомба! Конечно, это первое, что всегда приходит в голову. Бомба! Да!

— Смотри, — закричала Грунг, — эта штука шевелится!

Я не знаю, что подумал Гобда, потому что он так ни слова и не сказал, а я после ее слов сразу понял, что никакая это не бомба. Мне даже послышался какой-то звук, то ли постанывание, то ли постукивание, а может, это был просто поезд.

Я посмотрел на Гобду. Он вдруг сорвался с места и на свистящей скорости рванул к этому мешку. Я побежал за ним. Когда мы добежали до мешка, вдали уже показался поезд. У него были большие круглые блестящие глаза и большой рот от уха до уха. Он пыхтел и кряхтел, как человек, который бежит за автобусом. Он посмотрел на нас и что-то гулко закричал, загудел, но я не разобрал, что. Да я и не слушал.

Я смотрел на мешок. Внутри что-то металось, дергалось, рвалось. Я потянул за веревку, она соскользнула, и наружу выскочила собака. Вернее, это я так подумал, что она выскочила, на самом деле она вылезла из мешка, но у нее нога все равно была к чему-то привязана, и она продолжала трепыхаться на рельсах. В общем, это даже была не совсем собака, а точнее, щенок еще, так, месяца два. У него были такие глаза, такие ужасные глаза, будто он молится. А ушки у него были такие мягкие, нежные, шоколадного цвета, будто сделаны из шелка. Шерсть на морде была мокрая, неприятная какая-то, но ушки были как надо. Он тихо затявкал. Поезд медленно и неумолимо приближался к нам... И тут я увидел — лапы у него были связаны цепью, а ее конец прикручен к какой-то штуке типа скобы между рельсами. Я нагнулся и попытался зубами растянуть одно из звеньев цепи, но сделать это было очень трудно. Я бы даже сказал, это было просто невозможно сделать, по крайней мере мне. Я тянул эту цепь руками, совал куда-то пальцы, дергал, но у меня совсем, ну совсем ничего не получалось. Тогда я встал и замахал руками прямо в лицо подходящему поезду.

— У тебя есть мозги? — спросил меня Гобда.

— Ой, ну сделай что-нибудь! — кричала Грунг.

И тогда я решился. Я прошел вперед ровно на десять шпал и лег на землю. Спиной я уперся в деревянные шпалы, а руками крепко схватился за рельсы. Ноги я поднял вверх. Кости ног моих были готовы принять удар.

Скажу честно, когда поезд на меня наехал, это было жутко больно. Я даже не думал, что так будет. Ноги разлетелись просто в куски, и от спины тоже почти ничего не осталось. Остальные куски только трещали на рельсах и отскакивали в сторону. Звук тоже было просто жуткий, просто гадостный такой был звук, когда все эти кости трещали и хрустели и бились друг об друга. Но кое-что уцелело, хотя вся нижняя часть примерно на четверть вдавилась куда-то внутрь под ребра. Но вот руки были в совершенном порядке. Замечательные целые руки, они лежали ровненько с двух сторон от рельсов. Я их подобрал и с них и начал составлять себя заново из кусочков. Я слышал, как поезд остановился, как приехала машина, потом еще одна. Но меня это все уже мало интересовало, я собирал себя по кусочкам, прилаживал их, прикручивал, а все остальное было тогда для меня как в тумане, будто пленочкой такой покрыто. Я понимал, что на меня наехал поезд, но после этого я почему-то

был жив. А почему — этого я понять не мог, да и не старался. Жив и все тут.

Щенок крутился вокруг меня. Он тоже был в полном порядке, никакой цепи у него на ногах не было. Я хотел сказать ему: "привет!", но голос, казалось, выходил у меня откуда-то не из того места. Будто какая-то машина рядом со мной работала и производила звуки, в общем, это было не очень-то приятно. Но потом я привык. Мало того, всеми моими движениями тоже, казалось, управляла какая-то машина, внутри которой я сижу и даже могу ею управлять. В конце концов мне это даже стало нравиться, я сидел себе расслабленно в своей машинке и приказывал, а она послушно делала, что я скажу.

И я сказал ей: кончай сборку! Моя машинка послушно приладила руки и ноги куда следует, вначале ноги торчали из плечей, но я велел все переделать, потом спину распрямили, живот прикрутили, а если где что получилось не очень ровно, то я решил, это ерунда. И если кто что скажет, я решил, просто слушать не стану, даже ухом не поведу!

А вместо этого я поспешил открыть маленькую калиточку, которая вдруг оказалась прямо позади насыпи, и вошел в маленький хорошенький садик, с клумбочками, и цветочками, и кустиками, и совершенно крошечной зелененькой скамеечкой. Я тут раньше никогда не был. В воздухе разливался странный приятный запах, а еще слышался шепот, будто это разговаривают Гобда и Грунг, но только очень тихо и медленно. И где они теперь? Ну, они дорогу знают, я думаю.

А у меня на душе было как-то так покойно, так хорошо. Я сорвал с дерева большой лист и стал медленно разминать его руками, рвать на кусочки, тереть ладонями. От этого весь сад стал наполняться запахом зелени и свежести, а сам я будто становился частью этого листа и тоже пах травой и вечерним ветром. Но почему-то от этого становилось страшно. Я уже привык к тому, что я жив, что со мной ничего не случилось и случиться уже не может, и мне уже стало не все равно, что теперь со мной будет. Не изойду же я весь этим пахучим листом! Я увидел, как из поезда, который по-прежнему стоял на путях, вышел какой-то мрачный тип и направился к моей маленькой калиточке. Я быстро заметался по садику и только тут увидел заднюю стену дома. Она была как нарисованная, с окнами, дверью, приступкой, занавесочкой. И вся она прямо дышала покоем и небесным блаженством. Я мысленно еще раз сказал себе, что я жив и здоров, что это сейчас самое главное, и решительно шагнул к двери. А что еще мне оставалось делать? Осенью листья опадают, но каждую весну на ветвях снова вырастают маленькие новенькие листочки.

4

Я не знаю, сколько я там простоял. Во всяком случае, как мне показалось, достаточно долго, чтобы меня перестали искать. Я слышал, как приехала полиция и какие-то важные мужики куда-то звонили по своим мобильникам. Я стоял у самой двери и думал, что здесь меня никто искать не станет, но от этого стояния я почувствовал: мне просто нестер-

пимо хочется войти в эту нарисованную дверь. Я понял, мне просто необходимо это сделать.

Но вначале я обернулся и еще раз взглянул на садик. Отсюда, где я стоял, он уже не казался таким милым. Рядом с домом как-то зловеще покачивались детские качели, облупленные и местами даже погнутые. На траве валялась сломанная голая кукла. Вернее, даже не сломанная — она была аккуратно перерезана пополам поперек живота. Возле дома был выкопан маленький прудик, и в нем как-то осатанело плавала маленькая рыбка, делая круг за кругом, все быстрее и быстрее, кругами, кругами, все время в одном направлении... Я почувствовал, что страшно хочу есть. Еще бы, после всего, что случилось! То, что в странном доме найдется что-нибудь поесть, я понимал, но вот что это будет за еда? Может быть, ее и есть будет нельзя. А может быть, наоборот, там как раз будет такое темное, тяжелое, шоколадное пирожное?

Я решил разведать местность и осторожно обошел дом. От главного входа к улице вела узкая дорожка, выложенная плитками. Она упиралась в чугунную калитку, запертую изнутри. Это была не просто задвижка или там щеколда, нет, это был огромный висячий замок, вокруг которого сверху была накручена цепь, тоже запертая на отдельный замочек. Во как! По обе стороны от калитки тянулись высокие стены, наверное, в два моих роста, если не выше. Так что в этом направлении, как я понял, отступать будет некуда. И получалось, что я попал в ловушку: с одной стороны замки и стены, с другой — полиция и всякие еще другие люди, которые уж от меня не отстанут. Но не таким я был человеком, чтобы впадать в уныние. Может, раньше я и впадал в это уныние, но теперь я решил: ни-за-что, никакого уныния, если выхода нет, значит — надо его найти. И я его нашел: сбоку у дома была пристройка, дверь которой вела куда-то в проулок. Так что, я решил, если там нет замка, то можно будет пройти. Но для этого надо войти в дом, если еще как-то получится открыть заднюю дверь. Открывать переднюю было уже как-то совсем страшно. И я решился!

Вернее, я решил решиться, потому что на самом деле я все еще топтался на заднем дворе, размышляя, что же я скажу тем людям, с которыми сведет меня судьба в этом странном доме. Я думал, кто это будет — мужчина или женщина, а если женщина — то какая. Может быть, я думал, это будет приятная старушка, я ей расскажу всю свою историю, и тогда она даст мне большое такое, тяжелое, темное, шоколадное пирожное, я буду сидеть на кухне, она будет кивать головой, а потом мне отведут такую маленькую хорошенькую комнатку... Вернее, я думал, она меня отведет в комнатку... В общем, я столько думал, я, наверное, за всю жизнь вообще своей головой столько не думал, как сегодня!

Я решил, что скажу ей, что я случайно залетел в ее садик, потому что у меня сломалось крыло. А на самом деле я — ангел, упавший ангел. Тут мне самому стало весело, и я даже засмеялся, но лучше бы я этого не делал, потому что вместо смеха получилось какое-то мерзкое железное дребезжание. Мне даже жутко стало.

И тут, как-то даже незаметно для себя самого, я подошел к двери и постучал. Раздался стук. Я постучал еще раз, и снова раздался стук, но, кроме этого стука, никаких звуков я не услышал.

Когда я понял, что ответа не дождусь, я подошел к окну кухни и заглянул внутрь. Наверное, у тех, кто жил в этом доме, голова на плечах

была, но повернута была не в ту сторону. На столе в вазе стояли цветы, красивые такие цветы, все разные, разноцветные, я даже не сразу понял, что они искусственные. Посреди стола стояло большое блюдо с фруктами, тоже вроде ненастоящими. Там были яркие оранжевые апельсины, желтые лимоны, алые яблоки, а вокруг аккуратно разложены блестящие бананы. Такие фрукты всегда рисуют на плохих картинах. Я такие картины ненавижу, на них никогда ничего не происходит.

На кухне тоже ничего не происходило. Я нажал на ручку, дверь медленно открылась. Я почему-то даже не удивился, что она не заперта. Я вообще не был уверен, что действительно нажимал на эту ручку, мне просто захотелось, чтобы дверь открылась, и она открылась.

Я вошел. На столике у двери стояло радио, оно было включено. Какая-то разговорная программа. Какой-то старик рассказывал, что теперь сэндвичи уже не такие, какие были раньше. Фигня какая-то! Но это было хорошо, раз радио работает, может, меня пока никто не услышит. Я огляделся: интересно, если тут у них есть шоколадные пирожные, где они могут лежать? Я открыл дверцы буфета и стал осторожно обследовать полку за полкой. Там стояли какие-то чашки, кружки, тарелочки, но иногда среди них попадалась и еда, но вся какая-то сухая, старая. Высохшее печенье, окаменевшие маленькие кусочки сыра, еще какая-то дрянь. Еще там стояли коробки с корнфлексом, все открытые, а некоторые даже почти пустые. Но все они были сверху зажаты большими скрепками. Они стояли там, все разные, таким неровным рядком, будто на школьной линейке. Я такую показную аккуратность просто ненавижу. Потом я сел на пол и достал с нижней полки буфета большую картонную коробку. В ней были чипсы, разные чипсы — круглые, треугольные, все в ярких пакетиках, и еще такие рисовые шарики, все они шуршали и как-то омерзительно пахли. На полу тоже лежали эти чипсы, и под буфетом, ну не пакеты, а разные чипсовые крошки, кусочки, еще что-то. От этого зрелища мне даже расхотелось есть, но я себя пересилил. Я открыл пакет с рисовыми шариками и положил один шарик в рот. Почему-то сразу захотелось его выплюнуть, и я выплюнул его, прямо на пол. Это была не настоящая еда.

И вот тут я увидел его! Большое шоколадное пирожное, круглое, овальное, вытянутое, темное, с белым кремом наверху, оно лежало на дне коробки! Оно смеялось и явно было мне радо. На нем было темно-красное глазурное пальто с белым воротником. На голове возвышалась целая шапка сладких белых кудрей. Живот у него был таким толстым, что, казалось, целая роща шоколадных деревьев пошла на его откорм. Казалось, весь шоколад, который я за всю свою жизнь съел, — все это было здесь. Привет, сказал я ему и осторожно положил его в верхний карман куртки. Привет, нежно шепнуло оно мне.

Я открыл кухонную дверь и вышел в коридор. Где-то вдали виднелась передняя дверь, а слева приветливо открывалась дверь чулана, который снаружи выглядел спасительной пристройкой. Изнутри он казался гораздо меньше, но главное было не это: в серой пыльной тьме тускло светилась спасительная дверь в проулок. Может быть, она и была заперта, но в ней было вставлено стекло, выдавить которое ничего не стоило. И зачем, подумал я, навешивать такие запоры на калитку, если из этого проулка в дом так легко попасть? За пыльным стеклом была улица, а значит — свобода. Я проскользнул в чулан и направился к две-

ри. Я сделал шаг, потом еще один, потом еще много шагов, медленных и осторожных, быстрых, нервных, торопливых, судорожных. Я почти бежал, наверное, я пробежал уже мили две, но дверь не приблизилась ко мне ни на метр. На стене в этом чулане висели старые фотографии, и я уже выучил их почти наизусть. У всех там были мрачные, я бы сказал, злобные лица. Там были даже дети, некоторые совсем маленькие, они мрачно направлялись в школу или выходили из церкви в воскресных костюмчиках. Когда мне начало казаться, что люди на фотографиях кивают мне и делают какие-то знаки руками, я понял, что эту затею пора кончать. Я повернулся и вышел в коридор. Казалось, это коридор вывел меня к себе и поставил перед лестницей на второй этаж. Там было темно. Как-то даже слишком темно.

Но эта темнота не была страшной. Наоборот, она очаровывала, околдовывала, затягивала в себя, как сладкий сироп. Мне вдруг стало уютно и спокойно и захотелось спать. Темнота подтолкнула меня на второй этаж в поисках спальни. За первой же дверью действительно оказалась спальня, почти пустая, без мебели, с одной только огромной кроватью. Мне сразу захотелось лечь, пусть даже на одну минутку, чтобы просто понять, что это за кровать — жесткая или мягкая, но я себя одернул: вначале, сказал я себе, следует осмотреть другие комнаты! Следующая комната, как я понял, была детской, судя по мусору. На ковре лежала большая голая кукла, разрезанная пополам, точно как та, что валялась в садике. Видно, местные дети очень любили кукол. Или — не любили.

В третьей комнате была женщина. Она лежала на кровати, ноги у нее были связаны, а рот заклеен пластырем. Оба глаза у нее выражали ужас. Это были ужасные глаза — красные, как шапка у Санты, и круглые, как луковицы. У нее были связаны ноги, связаны руки, а рот у нее был залеплен. Я не знал, что делать, с чего начать. Я подумал, что, если я отлеплю пластырь, она сразу начнет кричать, так что услышит полиция, а если я начну с рук, то она может схватить меня за шею и задушить. Я почему-то очень ее боялся. Глаза у нее жили своей сложной жизнью: они ходили кругами, поднимались вверх, круто падали вниз, скашивались куда-то в угол. И вдруг я понял: это она хочет мне что-то сказать!

К сожалению, понял я это слишком поздно. За моей спиной стоял здоровенный мужик, жуткий, мерзкий, в грязных кроссовках и с огромным крюком в руке. Он вдруг схватил меня за горло и повалил на пол. Потом саданул меня в челюсть. Я услышал, как клацнули мои зубы. Голову он мне прижал коленом к доскам пола. Потом он повернул меня на живот, заламывая руки назад. Потом он весь, всей своей грязной тяжестью уселся на меня. Он тянул меня за волосы, будто хотел вообще оторвать их от головы. Мне стало жутко больно, казалось, сейчас кожа начнет слезать с меня, как шелуха с лука. Лица его я так толком и не успел разглядеть.

Потом он вдруг отпустил одну мою руку, нагнулся и стал что-то искать на полу. Наверное, подумал я, веревку или проволоку. Как бы не так! За спиной я услышал металлический лязг и свист. В руках у него была пила, и он грозно размахивал ею, примериваясь к моей голове! Я слышал, как он одним движением распилил надвое спинку стула, а потом, как я понял, отхватил ножку кровати. Наверное, женщина при этом закричала, но я ее почему-то не услышал. Он нагнулся ко мне, и я

увидел его зубы, желтые, как древесные щепки, а еще — зубья пилы, блестевшие, как трава в дождливый день. Он отрезал мне прядь волос и торжествующе захохотал. Потом он приставил пилу к моей шее, и на лице его расплылась счастливая улыбка. Видно было, что ему все это доставляет жуткое удовольствие.

Я не знаю, почему я это сделал. Наверное, от страха. Рот у меня весь пересох, как старый хлеб, но из груди рвалась какая-то сила, будто желтая пена. Желтая, как его зубы.

Я извернулся и плюнул ему прямо в левый глаз. Это была даже не слюна, а какая-то желто-зеленая слизь, которая моментально залепила ему пол-лица. Она не стекала, а отвратительно всасывалась ему в глаз, напоминая слизняка или улитку, которая прячется в свой домик. Господи, и это было у меня внутри!

Он повалился на спину. Я вскочил и, не давая ему прийти в себя, быстро сунул ему палец в другой глаз. Пила выпала у него из рук и с мелодичным звоном исчезла где-то в пыльном подкроватном чреве. Он закрыл лицо руками. Я схватил лампу, которая стояла на столике, и ударил ею его поперек горла. Потом мне под руку попалась отпиленная ножка, и я загнал ее ему в живот. На этом все кончилось. Жуть!

5

Он, конечно, отрубился, но был еще жив. Я нагнулся, поднял его с пола и усадил на стул. Точнее, не усадил, а так, пристроил его боком, потом взял веревку, которая услужливо ждала меня на столе, и примотал ему ноги к шее. Мало этого, я снял с него одну кроссовку и засунул ему его грязные пальцы прямо в рот, чтобы он, если захочет кричать, сначала откусил себе пальцы. Даже прямо не знаю, как это у меня получилось. Но получилось.

Потом я взял пилу и перерезал ею веревки, которыми была связана женщина. Так эта жуткая пила послужила нам еще раз, теперь — для спасения! Когда я подходил к ней с этой пилой, я заметил, она решила, что я, наверное, буду перерезать ей горло или еще что там делать, такие ужасные стали у нее глаза. Но она ведь не знала, что я хороший, добрый человек, который всегда готов прийти на помощь.

— Ну как, вы о'кей? — спросил я ее. Так всегда спрашивают в американских фильмах после разных ужасов: — Ты о'кей?

Она ничего не ответила, потому что рот у нее был все еще залеплен, только промычала что-то. Потом она села, потерла себе руки и сама отклеила этот пластырь.

— Ты спас мне жизнь, — сказала она. — Он сказал, что разрежет меня на две части, как куклу!

— Вы про какую именно? — спросил я, но, кажется, она не поняла меня.

— Он хотел, чтобы я сказала ему, где лежат драгоценности, — сказала она, — но он так этого и не узнал!

— А что, у вас тут есть тайник? — спросил я. — Под полом, да?

Женщина почему-то покраснела.

– Ничего тут у нас нет под полом! – сказала она. – Никаких у нас нет тайников! Я все храню в коробках под корнфлексом, там никому в голову не придет искать.

– Точно, – задумчиво сказал я, – про такие вещи всегда забывают...

И тут я сразу вспомнил про мое шоколадное пирожное! А вдруг оно смялось, пока я тут сражался, а вдруг его вообще уже нет в кармане? Но оно было там, лежало как новенькое.

– Ну, что теперь будем делать? – спросила она и как-то странно на меня посмотрела.

– Наверное, надо позвонить в полицию, – сказал я, – так обычно делают.

– Нет, а ты, ты что будешь делать? Куда ты пойдешь?

– Туда, – сказал я, – тут я уже все сделал что мог.

– Может, побудешь еще здесь?

– Нет, – я решительно махнул головой, – Не побуду я тут, у меня еще полно других дел.

– Нет, а ты вообще кто? – спросила женщина. – Откуда ты здесь взялся?

– Так уж получилось, – сказал я, – что я залетел в ваш садик на пути домой. Пришлось ненадолго приземлиться. – Я смотрел ей прямо в глаза. – Я – упавший ангел!

Сказав это, я развернулся и направился к двери.

– А я не могу быть тебе в чем-то полезной? – сказала она мне в спину. – Ну, как-то тебя отблагодарить, там какой-нибудь подарок или еще что?

– Спасибо, – ответил я, – но я уже получил награду свою, она здесь, у меня под сердцем.

Да, награда была у меня в нагрудном кармане куртки, это было именно то, о чем я мечтал. Но, наверное, она мой ответ поняла как-то иначе.

Путь казался свободным, к тому же я уже хорошо запомнил, куда надо идти. Я шел спокойно и медленно, в общем, смотреть там уже было не на что. На кухне я прихватил пакетик с соком и, выходя из садика, выпил его залпом. Каким же это было наслаждением. После всего-то, что было! Я бросил пустой пакет, но вдруг что-то внутри меня будто сказало: нельзя бросать мусор на землю. Я нагнулся, поднял пакет и, удивляясь самому себе, аккуратно положил его в ближайшую урну.

В эту минуту я почувствовал на своей спине чью-то руку. Это был важный седой старик, он крепко сжал мой локоть. Глаза у него блестели. На лице я почувствовал его дыхание, и не скажу, что это было так уж приятно. У него были большие грязные усы.

– Я все видел! – закричал он, будто я мог понять, о чем это он. – Я видел, как ты положил в урну пакет из-под сока. Я за всю свою жизнь ни разу не видел, чтобы мальчики делали такие вещи. Это прекрасно! Мои поздравления! Вот, возьми, это тебе.

Он быстро сунул мне в руку несколько монет, улыбнулся и добавил, что теперь он может умереть спокойно. И только тогда он выпустил мой несчастный локоть и направился к ближайшему пабу.

Когда дверь за ним закрылась, я подошел к урне, достал тот несчастный пакет и бросил на землю, а потом еще поддал его ногой. Теперь надо придумать, что делать с его деньгами! И я направился в магазин.

6

Я почему-то знал, что у входа встречу Гобду и Грунг, и они действительно были там. Гобда что-то бормотал себе под нос. Грунг стояла мрачная и злая.

— Ну, куда теперь пойдем? — сказал я. — Еще ведь совсем рано.

Вид у них обоих был такой, будто их заглотнули, а потом выблевали, но я решил это им не говорить. Мы стояли молча и смотрели на чаек, которые летали над головами. Все-таки тут рядом была река.

— А помнишь, как мы поймали голубя и выщипали у него перья? — задумчиво протянул Гобда. — Не знаю, получится так сделать с чайкой или нет...

— Это когда было? — встрепенулась Грунг. — Я никогда не видела лысых птиц! Что они делают? Как это выглядит? Гадость, наверное.

— Они похожи на лысых котов, — сказал Гобда, — но у них не четыре ноги, а две.

— Это идиотизм так делать, — Грунг засопела и отвернулась. — Меня вообще уже от вас тошнит.

Это как раз был тот случай, когда я не мог понять, чего она хочет и что ей нравится, а что — нет. Но Гобда в тонкости психологии вникать не стал:

— Тогда давай вали отсюда к мамочке, — сказал он.

— Уходим отсюда, — сказал я, — у меня есть идея!

И они пошли за мной, поверили, хотя на самом деле не было у меня никакой идеи. Я всегда знал, что люди пойдут за тобой, если будут думать, что ты знаешь, куда идешь.

— Ну, и куда мы идем? — спросил Гобда.

— Подожди, сам увидишь, — важно проговорил я ему в ответ.

Мы ходили туда-сюда по большому магазину, а народу там становилось все больше, время такое подошло, время покупок.

Я прихватил пару кассет и сунул их себе под мышку. Потом, когда увидел, что за мной наблюдает охранник, сунул их куда-то на полку. Потом я встал рядом с мужиком, у которого ширинка была не застегнута, и стал пристально разглядывать его штаны, охая и присвистывая. Но он, кажется, ничего не заметил.

— Ты что, хочешь в какую-нибудь историю вляпаться и нас затянуть? — спросила Грунг. Но на самом деле я видел, ей тоже хочется позабавиться, но она не знает, что придумать. — Ну, может, хватит тут торчать?

— Я думал, ты сама жаждешь приключений, — сказал я. Я эту фразу где-то слышал, может, в кино.

Она ничего не сказала, и мы вышли из магазина.

На стоянке был припаркован шикарный новенький серебристый "БМВ", и, когда мы проходили мимо, я толкнул Гобду, так что он с размаху врезался в стекло. Пронзительно завыла сирена сигнализации, а мы весело побежали вперед.

На ступеньках возле одного из домов сидела нищая, держа на руках сверток с ребенком. Вид у них обоих был просто жуткий, какие-то лохмотья, мрачные серые лица, вместо глаз — одни темные круги. Но в ушах у нее, я заметил, были золотые серьги.

— Пли-и-и-иизззз, — завела она, — пли-и-зззе-ее-езз, чеееееее-еннннннжжжжжжжеееееее, сда-аа-ачу-у-ууу, пжаста-а-а-аа. — Голос у нее был такой, что просто зубы сводило. Хотелось немедленно разбить ей голову, чтобы прекратить эти завывания. Но я, конечно, сдержался.

Я посмотрел на нее еще раз. Ребенок у нее на руках спал так спокойно, как и по ночам-то дети не всегда спят. А лицо у нее было такое странное, такое необычное, я такого лица еще никогда в жизни не видел.

— Пжа-а-алста-аа-аа, — завела она снова, и я почувствовал, что у меня самого кости лязгают внутри тела.

— Ну, ты чего, — сказала Грунг и потянула меня за рукав, — чего ты на нее уставился... Это же просто нищая. Посмотри, какое у нее лицо. Будто и не человек. Правда?

— Что с тобой? — спросил я женщину, но она будто не поняла меня.

— Жаа-аа-алсссссста-а-аааа.... — протянула она, но вряд ли это было ответом на мой вопрос.

Она сунула руку в рот и стала сосать пальцы, наверное, хотела показать, что хочет есть.

— Стой здесь, — сказал я Гобде, — и следи за ними!

Я понял, что должен что-то сделать. Я побежал вниз по улице, повернул за угол и выбежал на маленькую площадь. Что-то типа рынка. Я осмотрелся. Я сам не знал, что ищу, просто понимал, что что-то надо найти. Я так спешил, что чуть не сбил кого-то с ног и меня самого чуть было не сбила с ног машина.

Вдруг я увидел девушку, которая торговала цветами. Так, довольно простенькие были у нее цветы, не подарочные, без упаковок, но в общем приятные. Такие цветы обычно разные старушки себе покупают на сдачу, когда идут домой из магазина. Я подбежал к ней и остановился. Потом достал из кармана деньги и протянул ей.

— Тебе цветы? Какие хочешь? — спросила она с какой-то удивленной улыбкой.

— Разные, — сказал я, — чтобы были и желтые, и белые, и красные, и розовые, и голубые, и пестрые, всякие! Пусть будет яркий такой, пестрый большой букет.

Схватив цветы, я сунул букет под мышку и помчался обратно. Увидев меня, Грунг вся вспыхнула и захихикала, небось подумала, это ей. Как бы не так! Я остановился перед той женщиной. Потом я расстегнул карман и достал мое шоколадное пирожное. Оно, честно говоря, уже успело немножко смяться и крем у него слетел, но все равно оно было настоящее, шоколадное. И еще были цветы. И все это я протянул ей.

Она посмотрела на меня как-то испуганно, нерешительно, удивленно. Я наклонился и сунул ей на колени цветы и пирожное. Она опустила голову, посмотрела себе на колени, потом медленно подняла лицо, и тут внутри глаз у нее зажглось сияние. Да, на это стоило посмотреть. Я никогда еще в жизни не видел такого прекрасного лица. Ребенок у нее на коленях заворочался и проснулся. Он улыбнулся, и все яркие краски моих цветов сразу засияли у него на лице.

Я повернулся и пошел.

— Почему ты это сделал? — спросил Гобда, когда мы уже подходили к дому.

— А почему мы вообще что-то делаем? — сказал я и тут понял, что жутко хочу есть.

– Ты есть хочешь? – спросил я Гобду.

– Да нет, вроде не хочу, – сказал он и ловко слизнул соплю из носа.

– А я хочу, – сказала Грунг, – я хочу есть.

Когда я вошел, мама сидела за столом на кухне. Перед ней стояла чашка с чаем, а в руке была газета.

– Ну, и где же ты был? – спросила она, не отрывая глаз от газеты.

– Там, – сказал я.

– Ну и как, было что интересное?

– Да так, ничего особенного.

– А куда ты опять собрался? – она наконец взглянула на меня.

– Туда. Сейчас перекушу чего-нибудь и опять пойду туда, – сказал я. – Мне нравится туда ходить.

Рисунок Эдана Харте

Рольф Дитер Бринкман

Стихи. Рассказ

Перевод с немецкого и вступление Е. Соколовой

Ловец мгновений

Поэт, прозаик, фотограф Рольф Дитер Бринкман (1940—1975) прожил на свете всего тридцать пять лет, однако до сих пор остается одной из самых ярких фигур на литературном небосклоне Германии XX века. Его эстетическое новаторство, "открытый" язык, чуждый любых табу, гибкие формы письма по-прежнему оказывают заметное влияние на немецкоязычную культуру, особенно ощутимое в творчестве нынешних "поп-литераторов" — Р. Гётца, А. Ноймайстера, К. Реггла, К. Крахта и др.

Родился поэт в 1940 году в Ольденбурге, шестнадцати лет лишился матери, в семнадцать, переехав к родственникам в деревню, бросил школу и устроился клерком в финансовое управление, где проработал около года. Потом учился на книготорговца, начал писать. В 1962 году переехал в Кёльн, где поступил в педагогический институт; тогда же выпустил первый сборник стихов "Вы зовете это языком", сразу обозначив ось своего будущего творчества: языковое новаторство.

За первой книгой последовали "Песня Луны" (1963—1964), "Без негров" (1965), "&-стихотворения" (1966), "Что под вопросом и для чего" (1967), "Пилоты" и "Годзилла" (1968), "Кинокадры" (1969), "Трава" (1970). И наконец, последний сборник — "На запад" (1975), увидевший свет в год смерти поэта.

Лирика для Бринкмана с самого начала — прежде всего критика языка: поэт стремится к созданию другого языка, непосредственно обращенного к повседневности; размышляет о том, что такое стихотворение, откуда оно берется, пытается осмыслить процесс литературного творчества ("Вы зовете это языком",

© Rowohlt Verlag GmbH, 1980, 1985
© Е. Соколова. Перевод, вступление, 2006

"&-стихотворения" и др.). Увлекшись в 1968 году фотографией, находит много общего между этим видом искусства и поэзией (интересно, что такой же точки зрения придерживаются некоторые из нынешних известных теоретиков фотографии — например, Александр Лапин[1]) и в своем творчестве всячески способствует их взаимопроникновению. Тексты, составившие сборник "Годзилла", напечатаны на фотографиях красоток в бикини. Сталкивая формируемый глянцевыми журналами рекламный миф о женской красоте с образом похотливого человека-монстра, поэт одновременно сводит в одной плоскости два языка — эротики и страха. Многие его поздние стихотворения напоминают моментальные снимки, фотографии на память, главной целью которых, на первый взгляд, является фиксация окружающей действительности в определенное мгновение. Именно мгновение — его исключительность, невоспроизводимость и самоценность — становится основой его зрелой поэтики.

В 1968 году вышел единственный роман Бринкмана — "Никто не знает лучше" (1968), оцененный современной критикой (Т. Эрнст[2]) как самое безжалостное произведение "нового реализма" кёльнской школы. Лидер этого литературного направления в послевоенной Германии Дитер Веллерсхоф, опираясь на концепцию французского "нового романа", требовал от литературного произведения максимальной приближенности к повседневной реальности. По его мнению, только такая литература способна открыть читателям глаза на деформации в отношениях между людьми и на мрачность окружающей их повседневности.

В романе Бринкмана явственно присутствует автобиографический элемент: немолодой уже студент педагогического института с женой и ребенком борется за существование, стараясь удержаться на грани прожиточного минимума. С женой его связывает только ребенок: совместная жизнь представляется им сплошным кошмаром, хотя, если смотреть на нее со стороны, все еще напоминает любовь. "Я мог бы спокойно умереть. В любой момент", — подводится итог. Бринкман — в недавнем прошлом студент педагогического института — к этому времени женат на Малеен Крамер, имеет сына Роберта. Начиная с 1965 года регулярно выезжает в краткосрочные командировки в Лондон — город, которому предстоит сыграть роковую роль в его судьбе (в 1975 году именно там он попадет под машину и погибнет).

С этого же времени начинается его увлечение англоязычной поп-культурой. В 1968 году Бринкман вместе со своим другом Ригуллой издает антологию американского литературного андеграунда ("ACID: Новая американская литературная сцена"), за которой год спустя следует поэтическая антология "Silverscreen: Новая американская лирика". Стихи, эссе, рассказы Фидлера, Уорхолла, Берроуза, Мак-Клура, Мак-Лухана, Буковски и других американских авторов вперемешку с фрагментами рекламы, комиксами, коллажами впервые становятся доступными для немецкого читателя, а сам Бринкман превращается в основателя немецкого андеграунда — его молодые соотечественники отныне ориентируются на эти образцы.

С годами крепнет приверженность поэта литературе "непосредственной", по способу отражения действительности напоминающей документальный фильм. В изданной посмертно книге "Рим. Взгляды" (1979), вобравшей в себя римские впечатления Бринкмана (1972—1973), поэт сетует на "никогда не прекращающийся фильм ужасов, составленный из мыслей и чувств человека". Собственные тексты он трактует как непосредственную реакцию на повседневность городской

1. А. Лапин. Фотография как... — М., 2003.
2. T. Ernst. Popliteratur. — Hamburg, 2001.

жизни — репортаж о пробуждаемых ею чувствах, открывающихся новых возможностях постижения самого себя, вопреки нормированному языку, рекламным манипуляциям с массовым сознанием и виртуальной реальности СМИ большого города.

Эссе "Фильм из слов", предваряющее антологию "ACID", имеет в творчестве Бринкмана программное значение. Поэт заявляет о стремлении пойти дальше абстрактного декларирования "новой чувственности" и продемонстрировать, как происходит ее воплощение в тексте. Он разрушает привычные синтаксические структуры, использует цитаты, технику монтажа, коллажа, фрагмента, активно переносит кинематографические приемы в литературный текст.

Примером работы Бринкмана с новыми техниками может служить включенный в настоящую подборку рассказ "Чтение вслух" из сборника "Объятия". В нем исследуются возможности выражения внеязыковых явлений словесными средствами. Написанный в духе "новой чувственности", рассказ представляет собой срез жизни за очень небольшой промежуток времени ("удлиненное мгновение"). Учитель (alter ego писателя) ведет в классе урок литературы. Рассказ дает достаточно полную картину его чувственных впечатлений на протяжении десяти-пятнадцати последних минут урока, пока ученики, сменяя друг друга, читают вслух. В восприятии участвуют почти все чувства: слух (которому отводится особая роль), зрение (основной источник впечатлений для героя рассказа), обоняние и осязание. При этом главной линией повествования становится противопоставление организованного текста (читаемого вслух) и стихийного шума, постоянно присутствующего в классе: организованное слово постепенно поглощается шумом, растворяется в нем и сходит на нет.

В одном из писем к своему американскому студенту и другу Хартмуту Шнеллю (1975) Бринкман называет стихи "сценами из оперативной памяти" или, пользуясь терминологией Джойса, "эпифаниями". Поэтическая форма кажется ему наиболее подходящей для фиксации спонтанных событий и движений, поддающихся восприятию лишь на протяжении краткого мгновения. Вырастая из повседневной реальности, поэтика Бринкмана заключает в себе сумбурный протест против распространенных способов ее отражения, в том числе поэтических. Традиционный язык, устный и письменный, воспринимается поэтом как набор ограничителей, мешающих отражению сущности, духа, дыхания современного мира. Бринкман развивает в себе острую восприимчивость к языковым парадоксам, каждое "сейчас" предстает у него частью потенциально длящейся серии: одновременно с единичностью фиксируется возможность бесконечного повторения, бесконечного разнообразия ("сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, ad infinitum (до бесконечности)!"). Все это сообщает его текстам необъяснимый эффект присутствия.

Из сборника "Вы *зовете это языком*" *(1962)*

Вы *зовете это языком, или* Зеркало *на стене*

Вы зовете это языком
или зеркало на стене
где у немцев есть родина
где у Фульского короля[1]
любимая

луна
воспетая Айхендорфом
закатилась давно в неведомое
под веселый говорок
виселиц

в воскресенье по-прежнему
с сельской музыкой на лужайках
обретается счастье
в забытьи и библейских цитатах

никого не осталось
кто хотел бы назад
и тут вы зовете языком это
зеркало на стене
кто всех прекрасней и белее
в целой стране

У КАМНЕЙ ЯЗЫК
А ОТ НАС ОТВЫК

Из сборника "Le Chant du Mond"[2] *(1963–1964)*

Снег

Снег: кто
до конца это слово
додумать сумеет –
до того,
что оно растает
и снова станет водой

до того, что дороги размокнут
и в какой-то черной
гладкой луже

1. "Фульский король" – название баллады Гёте (1774).
2. Песня Луны (*франц.*).

отразится
небо словно
оно из нержавейки

оставаясь
неизменно синим.

Между строк

Между
строк
ничего
нет.

Все слова
черные
на белом проходят
проверку.

Из сборника "&-стихотворения" (1966)

Стихотворение

Там, где
я иду,
нет дорог
нет образов
в какую
сторону
я иду
чтобы от-
туда уйти.

Из сборника "Пилоты" (1968)

Биография женщины

Каждое утро все то же нагое
тело. Чуть-чуть молока
осталось в бутылке, волосы
на расческе. Она

натягивает колготки и
замирает, стоя. День скоро снова

распустится, а она все стоит
в колготках совсем одна. Стóит ей

постоять еще хоть чуть-чуть,
и в бутылке прокиснут остатки
молока, волосы на расческе
поседеют. День

проходит так быстро, она
уже стягивает колготки
с одной ноги, с другой — больно
обеим от долгого стояния

за самих себя и за все, что
так и останется где-то, если
застыть на месте и стоять
нагишом: чуть-чуть молока

и волосы на расческе.

Из *сборника* "Кинокадры" *(1969)*

Холоднее

Будет еще холоднее
сказал он и

включил
торшер.

В комнате все
равно темно. И

женщина в нижней
юбке немного

подвинулась. Зябко
ей похоже

не было, пока он
не приблизился,

чтобы сказать ей, как
холодно все

вокруг, после.

Из сборника "Трава" (1970)

Воскресное утро

Мужская рука (голая) только
край сорочки
задергивает занавески.

*

Второе окно прикрыто
куском ватмана.

*

Большой зеленый кактус
выставлен за окно.
Станет еще больше.

*

Потому что дождь; здесь... и там.

Чтение вслух

Рассказ

Он слушает, как мальчик запинается, испуганно молчит, повторяется и все же нить не теряет, продолжает медленно, монотонно бубнить каким-то пустым и безжизненным голосом, еще более безжизненным, чем прежде, пока через несколько фраз не запутывается снова: спотыкается посреди слова, не знает, как быть, он в растерянности, заблудившись в словах, мечется между фразами, язык мальчика отяжелел, сделался неподвижен, превратился в бесполезный кусок плоти, не желающий шевелиться у него во рту, с той же, по крайней мере, скоростью, что глаза, которые всегда на несколько слов впереди. Мальчик пытается вновь подступиться к злополучному слову, но ему опять не удается проскочить, запнувшись, он что-то лепечет, разрывает слово на части, на отдельные слоги и звуки, произносит по буквам, речь его превращается в невнятное бормотание, мальчик не может совладать с собственным языком. Кажется, что язык мальчика — вещь совершенно для него бесполезная, вредная даже, которую, правда, никак не получается выплюнуть. Намертво приклеилась к нижней челюсти и противится изо всех сил всем его потугам — мальчику ничего уже не произнести, и в классе слышится теперь лишь шушуканье других школьников, приглушенная болтовня, невнятное бормотание, шарканье ног и поскрипыванье стульев со всех сторон. Он отводит взгляд от окна и стучит карандашом по столу. Ученики поднимают глаза, и глухое, сонное беспокойство сходит на нет. Перед ним расстилается тишина, почему-то напоминающая ему плесень, большое бледно-серое пятно плесени,

или воду, мутно-серую, поднимающуюся по стенам классной комнаты, выкрашенным в зеленые полосы, и постепенно заполняющую всю ее целиком, до самого потолка. Потолок в классе побелен. Но краска потрескалась. В некоторых местах побледнела настолько, что просвечивает предыдущий слой. Похоже, когда-то потолок был выкрашен в коричневый или желтый. Он кивает ученику, призывая продолжить чтение. Мальчик начинает с начала фразы, на которой споткнулся, и слово, в тот раз заставившее его замолчать, на этот раз легко слетает с губ. Он совершенно правильно дочитывает предложение до конца, потом следующее, слово за словом, предложение за предложением, одно за другим, связывая их вместе, выстраивая в цепочку, свивая веревочку, нить, которая оборвется, только если мальчику не хватит дыхания — точки здесь редки. Не может быть, чтобы до конца урока оставалось много времени. Последние пол-урока в четверг он обычно отводит на чтение вслух, и, как всегда по четвергам, внимание учеников постепенно притупляется, по классу распространяются глухое, нервное беспокойство, вялая непокорность, сумбур приглушенных голосов, друг друга перебивающих, что-то шепчущих, бормочущих, то крепнущих, то затухающих вновь, громче, тише, и на это наслаивается лицо ученика, бледное лицо в воздухе, неподвижное, словно можно его стереть одним движением руки, глаза, рот: губы двигаются, мальчик произносит слова, но сам не понимает того, что говорит, и вдруг бледный, белый круг лица исчезает, тут он бессилен, он давно перестал с этим бороться, от этого мальчика больше нечего ждать. Только когда становится слишком уж шумно, когда разросшийся гомон мешает сосредоточиться, он стучит карандашом по столу или вызывает кого-нибудь из тех, кого только что видел с открытым ртом, грозит дополнительным заданием — переписать рассказ, который сейчас читают, — и тогда на время становится тише, класс перед ним плавится, постепенно сливаясь в единую распухшую от водянки голову, и малоприятная монотонная декламация чтеца — нараспев, заикаясь, с запинками — снова становится слышна. Вскоре, правда, их внимание притупляется вновь, распадается, выпадает из отдельных голов, которые крутятся, вздымаются вверх на вытянутых шеях, поворачиваются назад, объединяются в группы по две, три, четыре головы, в гроздья голов, в поникшие головы, пригнувшиеся почти к самым столам, в головы под партами, плюс пальцы, руки, ноги, и все это движется, скребется, постукивает по столам, теребит края или соскабливает с уголков лак, да к тому же еще шепот, шорох, смешки, приглушенные вскрики, ругательства, мелкие перебранки — гул этот вновь нарастает, превращаясь в гудящее беспокойство, в котором голос чтеца постепенно растворяется и пропадает. Он вдруг замечает на своем столе синие чернильные кляксы. Он смотрит на эти пятна. Он смотрит в окно. Его стол — на возвышении возле окна, оттуда хорошо просматривается школьный двор, пустая заасфальтированная площадка, где повсюду валяются сухие, коричневые листья, листья каштанов, клочки бумаги: белая бумага на асфальте, у стены чей-то портфель. Стена не высокая, может быть, в рост человека, давно не крашенная, за ней — маленькие, тесные дворики, задние дворы жилых домов, огражденные с другой стороны заляпанными, грязно-серыми, пропыленными и закопченными стенами в потеках от дождя, с бледными трещинами, расходящимися вниз от оконных проемов. Жилые блоки вложены один в другой. На

кирпичные стены налеплены балконы, нависающие над окнами и балконными дверями, отвратительные неуклюжие цементные коробки, над которыми сушится белье: пеленки, трусы, лифчики, рубашки, блузки, чулки — мокрые нейлоновые чулки, вытягивающиеся в длинные нити; некоторые балконы заставлены мебелью: на одном высится белый шкаф; железные решетки у многих старые, ржавые; кованые решетки со сложным узором и выемкой снизу обшиты изнутри бархатом в бело-голубую или красно-белую полоску; на перилах — ящики с цветами, иногда — горшок снаружи на подоконнике; окна высокие, узкие: кухонное окно, окно спальни, маленькие квадратные вырезы в туалетах; и тут он опять замечает кошку, сидящую на крыше сарая: впервые он увидел ее, вернувшись после каникул, во время первого же урока немецкого в этом классе. Он никогда не видел, как она вспрыгивает на крышу, слегка наклоненную к стене, ему ни разу не удалось проследить, как она появляется на крыше, откуда, каждый раз он просто вдруг видел, что она там, хотя всего несколько минут назад ее там точно не было. В классе тем временем снова нарастает беспокойство: ученики уже разговаривают открыто, почти не таясь, чуть ли не в полный голос, на последних партах смеются. Голос мальчика, читающего вслух, в этом шуме почти невозможно расслышать. Бедняга по-прежнему бьется над текстом в одиночку, переходит от предложения к предложению, спотыкаясь и вновь подхватывая словесную нить, вот он опять повторяется: "...словно кто-то издалека, очень издалека говорил со мной, был ли это инстинкт, он снова погнал меня наружу и умолк, полная тишина" — он делает ученику знак, разрешая прекратить чтение, и встает. Имени ученика он еще не запомнил. На предпоследней парте у окна мальчик повернулся спиной: развернулся к сидящему сзади, выхватил у него что-то и тянет на себя, но тот не отпускает, и у захватчика ничего не выходит: тот, с последней парты, отклонился назад, чуть ли не к самой стене, и не выпускает из рук яблоко раздора. У него красное прыщавое лицо. Красное то ли от напряжения, то ли от ярости — он не может сказать, с его места перед классом не видно даже, что́ именно мальчишки не поделили, что́ хочет отнять один, а другой не дает; похоже на тетрадь или журнал. С двух задних парт среднего ряда наблюдают за схваткой, потом переводят глаза на него, видят, что он поднялся с места и стоит, опершись о свой стол, тогда они ухмыляются и снова смотрят на тех двоих, что продолжают дележку, — эти все еще не замечают, что он на них смотрит. Постепенно становится тише. Уже и на передних партах в книгу никто не смотрит, все обернулись назад. Он чувствует, что ученики ждут гневного окрика; прыщавый мальчишка только теперь поднимает глаза, пугается и выпускает из рук журнал, или что там еще, резко наклонившись вперед, возвращает стул в вертикальное положение и застывает, устремив взгляд на него. Второй резко выпрямляется, крепко сжимая в руках добычу, оборачивается, замечает его, медленно идущего по проходу прямо к нему, быстро сует журнал под парту и наклоняется вперед: торс его́ нависает над столом, а сам он старательно таращится в раскрытую книгу. Теперь уже все ученики подняли головы, стало тихо, все ждут, что́ он сделает. Похоже, им всем прекрасно известно, что́ не поделили те двое, и в тишине, в полной беззвучности, которая теперь его окружает, он вдруг отчетливо осознает, как от них пахнет, очень резко, пронизывающе: запах волос, пота, высохшего пота, потных подмышек, запах нос-

ков, ботинок и гуталина, кисло-соленый, прогорклый — затхлая удушающая тепловатая вонь, и хотя он притерпелся уже к этому запаху, его удивляет, что от мальчишек может так ужасно вонять. Похоже на запах дешевой сигареты. Сидят и воняют. Нет, вонючки — это другое. Он снова смотрит в окно. Все три окна плотно закрыты, верхний свет выключен. Он останавливается возле предпоследней парты, возле того самого мальчишки, который не смеет поднять на него глаз. Продолжает тупо смотреть в книгу, он не сумел спрятать под партой журнал, который наполовину лежит у него на коленях. Между нижним краем его укороченных штанов — до колена — и журналом просвечивает полоска голой ляжки — загорелой, кожа словно протравлена, протравлена летом во время каникул, — юная мужская нога, на ней — перевернутое лицо женщины, блондинки с большими глазами, губы у нее приоткрыты, между ними проглядывают зубы. На обложке — цветная фотография длинноволосой блондинки. Мальчишки не шевелятся. Они ждут. Что-то должно произойти. За последней партой, где сидит прыщавый юнец, одно место свободно. Парень сидит, низко наклонив голову. Он мог бы дать ему подзатыльник, да и другому тоже, прямо по шее, но он говорит только, что хотел бы открыть окно, воздух спертый, просто невыносимо спертый, а потом снова разворачивается и возвращается между столами к первым рядам, задев ногой сумку, которая упала и валяется посреди прохода, он отпихивает ее в сторону, а тот мальчишка, чья это сумка, — какая на удивление плоская голова (долго били, пока не сплющили), широкое лицо, ярко-рыжие волосы коротко острижены, так коротко, что просвечивает белая кожа, — нагибается и убирает ее. Мальчишка вызывает у него отвращение, вероятно, из-за рыжих волос, рыжих полосок бровей и щербатой кожи. Он садится за стол. Похоже, ученики озадачены, может быть, даже разочарованы тем, что он не устроил спектакля, и теперь не знают, как себя вести. Понемногу напряжение спадает, тут и там кто-то начинает двигаться, раздается шепот, несвязное нервное бормотание; отдельные приглушенные жиденькие голоса достигают его ушей, остаются слышимыми какое-то время, потом исчезают и вдруг возникают опять; негромкое судорожное, суетливое беспокойство постепенно нарастает, раздувается, словно прозрачный пузырь, который может в любую минуту потерять свою силу и сжаться, а в другом конце класса появится новый и тоже начнет разрастаться, и так без конца. Некоторые мальчишки поставили перед собой на стол раскрытую книгу и уткнулись в нее так, что над ней торчат лишь клочья волос да полоска лба, другие полностью скрылись за спинами сидящих впереди. Он видит, как один стучит пальцами по лбу. Другой, за первой партой, скребет в затылке. Он стучит карандашом по столу, и мгновенно становится тихо. Он слышит топот над головой. Распространяющийся по потолку. Он вызывает мальчика, сидящего прямо напротив, в голубой клетчатой рубашке. Тот читает дальше — точно таким же сонным голосом, и на класс тут же снова наваливается инертность, класс тонет в дремоте, замирает, тупо вытаращив глаза, урок скоро кончится. На пятом уроке в четверг нет смысла начинать что-то новое, осталось дочитать совсем немного, глупо начинать читать следующий рассказ: слишком длинный. Он распрямляется на стуле и снова смотрит в окно. На одном из балконов женщина развешивает постиранные носки; они повисают в воздухе — женщина исчезает в комнате, но тут же появ-

ляется и снова берет носки, один за другим, парами, потом вдруг останавливается, опирается о перила балкона, ему видно, что она заглядывает во двор школы. Снаружи доносятся крики девчонок – визгливые, резкие, на высоких нотах, пронзительные и долгие, хотя во дворе он никого не видит, площадка пуста. На сером асфальте валяются увядшие листья каштанов. Он слышит, как в его классе кто-то вновь начинает вполголоса бормотать, и отводит глаза от окна, смотрит на учеников, видит, как один из них ковыряет в носу, крутит указательным пальцем в ноздре, вытаскивает его и облизывает, потом снова засовывает в нос; а на три парты дальше в среднем ряду в проходе лежит чья-то вытянутая нога – ляжка, коленка, маленькая и тощая, костлявая голень, – зеленый носок сполз вниз, он разглядывает ногу. Мысок ботинка грязный, кожа поцарапана. Ниже колена он замечает рану, порез – темно-коричневый шрам, рассекающий наискосок голень, уже затянувшийся, покрытый засохшей корочкой. Вот мальчишка наклоняется над ногой и принимается почесывать рану. Нога тянется далеко, неправдоподобно длинная и тощая, очень тощая и слегка загорелая. Она высовывается из негнущейся кожаной штанины с засаленным до блеска краем. Короткие штаны открывают взгляду значительную часть ляжки, тоже очень тощей, и так как штанина гораздо шире ее, можно увидеть ногу и чуть выше. Мальчик осторожно и медленно чешет корочку, в классе опять стоит гул. Он возник где-то в воздухе, над головами учеников, – упрямое злое мушиное жужжание; словно вся классная комната наполнилась вдруг толстыми черными мухами, безостановочно размножающимися и постепенно заполняющими помещение тревогой нервной дремоты, в которой голос очередного чтеца захлебывается, проглатывая порой по нескольку слов, чтобы вскоре вынырнуть вновь, все время оставаясь на грани полного затухания: "а потом они снова вздохнут, и не успеют пройти три минуты, как воздушный мешок надуется над нашими летающими чешуйками, потом еще десять минут, и воздух наполнится песком", – вот что безучастно читает мальчик, проглатывая большинство окончаний, как будто у него болит горло. Он снова поднимает глаза, смотрит на учеников перед ним, потом в окно, женщины уже нет на балконе. На покрытой толем крыше сарая все еще сидит кошка. Девчонки снова кричат. Похоже, они сгрудились под окнами, потому что школьный двор пуст. Освещен мягким полуденным светом, попозже он пройдется по территории. Он не гулял там уже давно. Летом там, считает он, было слишком много народу. Море людей. Они притаскивали с собой одеяла, складные стулья, устраивались, где только могли, укладывались прямо на газоны, читали, вязали, просто загорали, сняв обувь, а малыши ползали вокруг – лепетали, плакали, когда падали, а падали они постоянно, похожие на маленькие яркие мешки с песком; крики доносились и из колясок, в траве лежали собаки, покусывали себя, открыв пасти, откуда поверх открывшихся взгляду зубов свешивались языки – тонкие красные лоскуты; настоящее столпотворение, но теперь оно с каждым днем идет на убыль. Он стучит по столу, на мгновение становится тише, потом беспокойство зарождается вновь, голос чтеца почти растворяется в волнообразно нарастающем бормотании – негромкой неясной речи, шепоте, шелестящем над головами учеников, качающихся на стульях; они качаются туда-сюда, вперед-назад, некоторые почти до половины сползли под стол, край стола перерезает их грудь пополам; то тут то там

кто-нибудь поднимает голову и смотрит на него, потом отводит взгляд и снова погружается в себя, выпадает из жизни, цепенеет в изнеможении, урок же не может длиться вечно, вот-вот прозвенит звонок. Тот парень в среднем ряду все еще занят своей ногой. Он содрал часть темно-коричневой корочки. Порез кровоточит. Под коленом медленно собирается красная капля, постепенно увеличивается, напоминая уже маленький пузырек, наполненный кровью. Он смотрит на мальчика — тот двумя пальцами давит на ранку, чтобы выжать побольше крови. Капля растет, тяжелеет и начинает медленно ползти вниз, останавливаясь и двигаясь дальше, рисует на коже красный след; продвигаясь вниз, уменьшается и, наконец, замирает. На гладкой голени остается красная нить с едва заметным утолщением на конце. Парень разглядывает красную точку, стирает ее, размазывает кровь по коже и снова давит на ранку — похоже, это доставляет ему удовольствие. Парень с интересом наблюдает, как под ранкой постепенно образуется вторая капля, начинает расти, и тут он вызывает парня, чтобы читал дальше. Тот подскакивает на месте, он в полной растерянности, не знает, что делать, не понимает, чего от него хотят, но все-таки решается заглянуть в раскрытую перед ним книгу. Нога бедолаги еще некоторое время лежит в проходе, и ему с его места видно, как постепенно разрастается и вторая капля, надувшись красным пузыриком, висит на ранке, потом парень убирает ногу. Он все еще не нашел, где закончили читать. В классе становится тише, бормотание и шепот чуть-чуть стихают, и теперь снова отчетливо слышны крики девчонок во дворе, которые, правда, резко прекращаются, после того как мужской голос велит угомониться. Девчонки стоят под окном класса, расположенного прямо под этим. Он не знает, чей там сейчас урок. Через площадку, усеянную коричневыми пятнами листьев, к стене бежит девочка. Полуденный свет окрашивает стену в почти белый, молочный цвет, грязные пятна, темные разводы вдруг исчезли с ее поверхности. Через пару недель двор будет завален опавшей листвой: коричневая мокрая трава, листья каштанов и тисов, или как там называются эти деревья, два дерева, растущие в самом углу двора, нет, это не тисы, это платаны, с их стволов еще облезает кора, оставляя белые пятна, как на коже у стариков; и дети на переменках будут взметать вверх вихри листвы, забрасывая друг друга, и дворнику придется снова и снова сметать эти листья в кучу, в одну большую кучу, которую те станут снова разбрасывать по двору. Тем, кто за ними присматривает, придется постоянно повышать голос. Девочка подбежала к портфелю. Подняла его и несется назад. Красный пуловер подергивается на груди. Колышется: вверх-вниз. Невесомые припухлости грудей, круглые, совершенно круглые плоские лепешки, слишком маленькие, недостаточно еще оформленные, чтобы носить бюстгальтер. Девочка скрывается под нижней рамой окна. В классе опять шумно. Ученики начали шептаться, приглушенно переговариваться; глухой сдавленный гул голосов, — голосов, которые вырываются из общего гула, разрастаются, распространяются, сбиваются в кучу, наполовину звуки, наполовину слова, обрывки фраз, полусонное ожидание конца урока, — гул этот разбухает как губка, и тут мальчик неуверенно начинает читать.

Ана Бландиана

Эссе-миниатюры

Перевод с румынского и вступление Анастасии Старостиной

Годы и годы беспросветной социальной депрессии среди лучших лекарств для меня были "Пилюли" румынской поэтессы Аны Бландианы. "Tableta" по-румынски имеет второе значение — "заметки", "записки". Но я все же любила по четвергам, беря в руки "Литературную Румынию" и раскрывая ее на рубрике Бландианы, именно принимать волшебную *пилюлю*, витамин надежды. Длилось это с 1974-го по 1988 год, рубрику запретили в последние полтора года правления Чаушеску. А до этого, ни в чем себе не изменяя, Бландиана говорила, в сущности, все, что считала нужным сказать. Условия игры с цензурой были — виртуозное владение метафорой. Но что более чем метафора органично для поэта?..

Жизнь Аны Бландианы в литературе началась с запрета на имя. Звали ее Отилия Коман, она была дочерью священника, которого посадили после войны (его проповеди собирали много народа — достаточный повод для ареста). В 1957 году, когда девочке было пятнадцать лет, они с одноклассниками послали свои стихи под вымышленными именами на литературный конкурс в газету. Отилия Коман назвалась Аной Бландианой, и за этой подписью в газете вышло два стихотворения. Спохватившись, что обманывать нехорошо, девочка отправила в редакцию письмо с извинениями и сообщила свое настоящее имя. Стихи школьницы произвели впечатление в газете, но когда сотрудники узнали, что ее отец сидит в тюрьме, она получила совет и впредь печататься под псевдонимом. Однако сведения просочились, и власти ее родного города Орадя, на границе с Венгрией, разослали во все до единого печатные органы страны секретное предписание (архивы в 1989 году открылись, и Бландиана это предписание прочла), в котором говорилось, что *запрещается печатать стихи Аны Бландианы, поскольк-*

© Анастасия Старостина. Перевод, вступление, 2006.
Редакция благодарит Ану Бландиану за любезно предоставленную возможность безвозмездной публикации эссе-миниатюр на страницах журнала.

ку под этим псевдонимом скрывается дочь врага народа. Так она стала запрещенным писателем, еще, по сути, не начав писать. Приход к власти Николае Чаушеску обозначил период, в чем-то подобный хрущевской оттепели, и для Аны Бландианы открылась дорога в редакции. Даже видимость демократии оказалась благодатной для целого поколения ярких личностей, на протяжении одного десятилетия вошедших тогда в искусство. К тому моменту, когда режим свернул на проторенный путь: экономика — к коллапсу, культура — к закручиванию гаек, — Бландиана, выпустив пять поэтических сборников, успела стать живым классиком, из тех, чьи стихи включаются в школьные антологии. Кроме того, она попробовала себя в жанре рассказа — или, скорее, фантазий в прозе. Но уже после второго сборника цензура забила тревогу — только авторитет международной премии Гердера пробил путь в печать "Проектам прошлого" (этот сборник впоследствии чаще всего переводили на другие языки). А три года спустя, в 1985-м, разразился литературный скандал — когда студенческий журнал "Амфитеатр" обнародовал четыре самиздатских стихотворения Бландианы. Главное, незамысловатое по виду, под названием "Всё", представляло собой перечисление ключевых для социализма, в его местном варианте, понятий, которые, помимо прямого смысла, имели еще и жаргонный, отсылающий к кошмару румынских восьмидесятых — смеси дутого идеологического величия и отчаянной нищеты (от "Воспевания Румынии", грандиозного ежегодного фестиваля "народно-патриотических" распевов вперемешку с восхвалением Чаушеску, до — беру наугад — словечка *адидас*, которое ассоциировалось не только с кроссовками, заветной мечтой каждого ребенка, но еще и со свиными ножками — они продавались попарно, и за ними надо было отстоять в очереди всю ночь). В других стихах говорилось про детей, обреченных на рождение (в силу запрета на аборты), и про "растительный" характер румынского народа, что подразумевало и безответность, сродни растению, и вынужденное вегетарианство. Поэзия Бландианы — свод откровений, ярких, творящих свой мир и притом, что немаловажно, "переводимых" (то есть с четко прописанной поэтической идеей), — была к тому времени известна на Западе, где появились специальные развернутые комментарии к криптограмме "Всего". В Румынии же редактора "Амфитеатра" сняли, а Бландиана ушла в литературу для детей. Однако играючи описывая собственного своенравного кота с диктаторскими замашками, она и тут переполнила чашу терпения соответствующих органов. Стихи про кота, равно как и другие книги попавшей в опалу поэтессы, изъяли не только из магазинов, но даже из публичных библиотек, а напротив ее дома стала день и ночь дежурить машина тайной полиции, телефон прослушивался, каждый шаг отслеживался, наступила почти полная изоляция. До революции оставалось полтора года...

В русской печати имя Аны Бландианы появилось вскоре после дебюта на родине — еще студенткой Клужского университета она в составе делегации румынских писателей совершала путешествие по Советскому Союзу. В Москве гостей принимала "Иностранная литература", интервью с ними можно прочесть в декабрьском номере за 1966 год. В 1968 году "Иностранная литература" опубликовала два ее стихотворения в подборке молодых румынских поэтов "Мы тебя знаем, завтра", где были представлены Никита Стэнеску, Марин Сореску и др. Но мое знакомство с Бландианой началось много позже, и не со стихов, а с прозы. В 1983 году Йон Друцэ принес в редакцию "ИЛ" привезенную из Румынии свежую книгу ее рассказов (те самые "Проекты прошлого"), посоветовав обратить особое внимание на тот, что в переводе получил название "Птица потребительская". Румынией, среди прочего, занималась тогда Нина Михайловна Шульгина. Она-то и попросила меня отрецензировать книгу и, если что-то понравится, перевести. "Фантастическая проза" —

стояло в подзаголовке. Прочтя "Птицу потребительскую", я ахнула. Фантастика была в чистом виде взрывчаткой. В Румынии, сказали мне после, эту новеллу иначе как "бомбой" и не называли. Не фантастика — фантасмагории. Набат, неистовство, исступление и вселенские масштабы *протеста*. Как же мне это протащить, такую махину? — стало привычно работать двоемысленное сознание. К тому времени я уже поднаторела в протаскивании верблюдов сквозь игольное ушко. Решила посоветоваться с самим Йоном Друцэ. Позвонила, объяснила ситуацию, попросила совета — под каким соусом в рецензии дать этой прозе трактовку, чтобы не вспугнуть цензуру. Йон Друцэ удивил и ободрил меня своим спокойным и прямым, без всяких ухищрений, ответом: "А что рецензия? Надо просто хорошо перевести".

Перевод переводом, но напечатать без "правильной" трактовки или без прикрытия чьим-то авторитетом такую крамолу было немыслимо (поскольку с тех пор сменилось поколение, напомню, что речь шла о литературе стран соцлагеря, с "капиталистами" было в каком-то смысле проще — их не ограничивали в критике своего строя). Любезность оказал редакции драматург и прозаик Михаил Рощин, который, в полной мере проникнувшись поэтикой Аны Бландианы, написал к трем новеллам послесловие, где весьма тонко интерпретировал эту фантастику, нажимая на то, что она "в лучших своих образцах есть скрытая философия, и... ей позволены символы и выводы, в других жанрах не принятые". С такими оговорками "Иностранная литература" и напечатала все три новеллы: "За городом" (апокалиптическую картину распада, охватившего страну за пределами городских стен), "Птицу потребительскую" (где преподавательница марксизма-ленинизма, решившая жить в обществе и быть свободной от общества, то есть от стояния в очередях за куском хлеба, разводит на балконе цыплят, а вылупляются ангелы) и "Подделку под кошмар" (про лавку с ассортиментом распределителя, где можно купить любой деликатес, но у выхода тебе преграждает дорогу здоровенный детина, — некий монстр, выросший из подсознания, куда внедрена воровская психология, что нам ничего не положено, что в любой момент нас могут схватить за руку), — и в 1985 году их даже удостоили ежегодной премии журнала. А поскольку, по неписаным правилам, для авторов из братских стран, которых можно было заподозрить в историческом пессимизме, только солидная журнальная публикация благословляла на книжную, два года спустя "Радуга", приняв *свои* меры предосторожности, выпустила "Стихотворения, рассказы, эссе" Аны Бландианы. Я подавала сборник под названием "Наутро после смерти", но слово "смерть" считалось в советском пространстве табу — за ветхостью членов ЦК. Это была самая кромка перестройки, месяц-другой оставался до того, как обвально пошла во все официальные журналы сам- и тамиздатская литература...

День 22 декабря 1989-го в Румынии можно сравнить с нашим 19 августа 1991 года, с мигом великого соблазна социальных надежд. Только румынам он дался неизмеримо большей кровью. Кровь подростков и студентов была пролита ночью, пулями из невидимых укрытий. Тем не менее сигнал был подан, революция разразилась, режим Чаушеску пал.

Бландиане не в чем было упрекнуть себя — разве в том, что она не оказывала режиму сопротивления впрямую. О*казать* сопротивление впрямую можно было, правда, только один раз. Следовали арест или эмиграция. Тем не менее ее не отпускало чувство вины — порождение ее кредо, признающего поэта ответственным за все, что происходит в мироздании, ни более ни менее. И когда свобода наступила, как бы во искупление своей вины и в то же время подхваченная надеждой, Бландиана перешла к "воссоединению слов с вещами". То, что называлось сопротивлением через культуру, по ее мнению, изжило себя. Эзопов язык был отброшен. (Тогда, по горячим следам, "ИЛ" дала подборку ее не эссе, нет —

вернее назвать это воззваниями или попытками передать неизреченное, настолько значительным ощущался тогда вираж истории.)

Целых десять постреволюционных лет Ана Бландиана боролась за восстановление исторической справедливости, соблюдение законов, уважение прав человека. Возглавляла правозащитную организацию "Гражданский альянс", вместе с мужем, писателем и публицистом Ромулусом Русаном, создала музей памяти жертв тоталитаризма в Сигете. Писала исключительно на злобу дня. Довольно скоро она поняла, что сдвиги в обществе идут отнюдь не в позитивную сторону и что торжество демократии — вещь проблематичная. "Я имела ослепительную наивность надеяться, что кровавое Рождество родило нас, безусловно очистив, для новой жизни. Но все, что произошло с тех пор, неизбежно напоминает, что от Рождества к Пасхе ведет вверх — через Голгофу — сокровенный путь, связующий непорочное рождение с бременем страстей и с чудом воскресения", — напишет она уже в 1990-м.

Десять лет жизни, отданных конкретным делам, лишь подтвердили, что ars longa, vita brevis. "Чудо воскресения" в Румынии снова откладывается. Пройдя сквозь ад политических дрязг, отбыв наложенную на себя епитимью, Бландиана вернулась, на новом витке, к себе самой, за письменный стол поэта, в вечные проблемы. Для нее пришел срок "отставить в сторону политику, злобу дня и даже историю, чтобы приглядеться к тому, что существует вне их и наперекор им". Срок снова писать стихи.

Три сборника вышли с начала нового тысячелетия. Тем не менее "злоба дня" не отпустила Ану Бландиану. Работа в "Гражданском альянсе" продолжается. Признанный мэтр румынской поэзии и почетный председатель румынского ПЕН-клуба, она много путешествует (лекции, конференции, фестивали поэзии). Лавина переводов ее на разные языки, интервью с ней (а биография интереснейшая, я только чуть коснулась ее в этом предисловии) идет по всему миру. Тщательно отбирая из сборников разных лет порцию *пилюль*, горьких и сладких, всегда целительных, я, вслед за Бландианой, возвращалась на ту стезю, по которой она шла, вдалеке от громкой славы. Почему поэты прибегают к прозе, Ана Бландиана ответила в одном из своих афористических фрагментов: "Нет, на мой взгляд, ничего трогательнее и беззащитнее, чем проза большого поэта: упрямая тяга досказать недосказанное. Это как нимб, который бы попытался принять форму шляпы".

Белль-эпохальное мечтание

Я наткнулась недавно на нынешней окраине Синаи — на полосе земли, сотрясаемой, с одной стороны, гулом международного шоссе, с другой — несмолкающим громыханьем железной дороги Париж—Стамбул, — на заброшенный дом, который оставили умирать естественной смертью, дом, еще не обрушившийся, но уже близящийся к той минуте, когда он мудро откажется от усилия держаться прямо; дом, чьи окна, как пустые орбиты, служили теперь цыганятам, играющим возле, на ледяной горке, мишенью для легкой артиллерии снежков. Это было одно из тех строений, не столько высоких, сколько длинных, у которых первый этаж занимает, как правило, большая столовая, а два верхних этажа дверями и окнами выходят на деревянные галереи, резные и украшенные с тщанием и искусством. Словом, пансион! Пансион начала нашего века, а может, даже и конца прошлого! Стоило мне

прийти к такому заключению, и вместо мишени местных цыганят передо мной расцвело то, чем предположительно было в своей чарующей юности обреченное здание.

По дороге, которая ухабилась на месте теперешнего шоссе, тряслись экипажи, коляски, влекомые упитанными лошадьми с упряжью в цветных кистях, и только редко-редко автомобиль, похожий на неуклюжее насекомое неизвестного вида, собирал народ у восхищенно-распахнутых окон и дверей. Публика приезжала в горы, публика, как видно, не слишком богатая, поскольку они нанимали всего лишь комнатушку в этом грациозном здании, публика из разночинной интеллигенции, скорее всего, из мелких служащих: дамы в длинных юбках с затейливыми воланами, в шелковых блузах с щедрой вышивкой и с пышными кружевными жабо, в шляпах, украшенных ягодами и цветами; господа в сюртуках поверх жилетов со сложной застежкой и рубашек с манжетами и воротничками, в гетрах и башмаках со шнуровкой, в шляпах, при перчатках и тростях; дети в бархатных костюмчиках с белой ажурной манишкой, в вязаных чулочках и в высоких лакированных ботиночках...

Удивительно! В пансионе наверняка не было ванны (в комнатах стояли умывальники: таз и тяжелый фарфоровый кувшин с филигранно выписанной идиллической картинкой), клозеты помещались где-то во дворе, моющие средства еще не были изобретены, и все же — что поразительно в моем образе-ретро, кальке с фотографий того времени, — это впечатление безупречной чистоты и ухоженности каждого персонажа. Пытаюсь отодвинуть сравнение, но оно накатывает и укрепляется во мне, вопреки моей воле, которая противится и пытается защититься, подозревая, что сравнение это не очень-то нам льстит. Не знаю, существовали ли тогда швейные, вязальные и вышивальные машины, склоняюсь к тому, что еще нет — или, в любом случае, они не были еще широко распространены; синтетическим материалам предстояло появиться через добрые полвека, все давалось тяжелым трудом, делалось кропотливо, иголкой и крючком, из шерсти овец, из шелка червей, из льняной нити, и все было дорого. А у нас вместо недель такого труда — минуты машинного шитья, вышивки, вязания, вместо овечьих стад — несколько баррелей нефти, все кропается на скорую руку и все — дешевка. Их фотографии (одна или две за всю жизнь) получались в результате сложной церемонии и были настоящими произведениями искусства по глубине и экспрессии; наши, снятые на автомате, обесценены своим количеством и тем, что представляют только миг, а не его смысл. Их платье было красиво красотой раритета и значительно тем трудом, который в него вкладывали; наше платье дешево и безлико — в согласии с мерой вложенных в него незначительных материальных и духовных затрат. Все логично донельзя. Цена каждой вещи — уникальность и мучительный труд, которым она оплачена. Этот закон так далеко заходит в своем абсолютизме, что американцы, в знак чуть ли не уничижительного признания его буквы, практически заменили одежду универсальной и нейтральной униформой, джинсами.

Одному снежку подфартило разбить остатки стекла в окне, и звон осколков оборвал мое белль-эпохальное мечтание, а с ним — и мою мысль, уставшую от отвлеченных построений.

Зрелище

СРЕДИ того многого, за что я признательна Джео Богзе, назову уважение и восхищение, с какими он всегда говорил об ардяльских крестьянах, в особенности же памятна мне страница, где, описывая, как они едят — каравай хлеба на белоснежном рушнике, позы величавы, как бы в совершение ритуала благопристойности и уважения к себе, установленного тысячелетиями цивилизации, — он назвал их своими учителями по части достоинства и высоко поднятой головы.

Может быть, и раньше, пока я еще не прочла это классическое стихотворение про обед в вагоне третьего класса, я уже подозревала, что манера есть, выходя за пределы простого жизненного рефлекса, определяет человека, но, однажды прочтя его, я приучилась смотреть на людей, когда они едят, с таким чувством, будто я застаю их в чуть ли не оккультный момент, в момент, когда раскрывается их сокровенное, не только в смысле психологии и философии, но и в чисто человеческом смысле. Так я думала, проходя на днях по одному из бухарестских бульваров, загроможденных самодельными лотками, и смотрела, довольно, признаюсь, рассеянно, на лица случайных покупателей этой коммерции, когда — грубо и решительно — мой взгляд приковало зрелище необыкновенной брутальности.

Это была всего лишь женщина, которая ела стоя, держа в руке тарелку, но я не преувеличиваю, давая этому зрелищу такое определение. Я не могла различить, что у нее в тарелке, но ярость, с какой она ела, наводила на мысль о каннибальских замашках и заставляла предположить в объекте пожирания поверженного собрата. К какой социальной категории могла принадлежать эта сверхневоздержанная особа, немолодая и некрасивая, но напролом наглая в прущей из нее жизненной мощи, каждой своей клеточкой и каждой порой тела кричащая, что материя и только материя — владычица мира? Какой слой общества был представлен этими зубами, бесстыдно рвущими что-то на куски и непристойно жующими — с жадностью, предполагающей не голод, но ненасытность? Ни к какой, потому что свирепость, победительная и алчно-поспешная, этой трапезы попирала нормы цивилизации вообще и кодексы приличных манер каждого человека в отдельности.

Вероятно, передо мной была, во всем разгуле своих инстинктов, представительница некоей промежуточной, проходной категории, которая утратила шифр культуры предков и у которой даже в мыслях нет, что надо что-то передать потомкам, у которой из всех качеств осталась только ломовая сила, а из чувств — только пренебрежение. Я терялась в догадках, откуда она родом и чем занимается, с кем ее сравнить и кого она представляет, но было видно одно: ей неведомы настоящее страдание и настоящий труд, теснота же толпы ей нисколько не мешала, а только сдабривала, как соус, ее готовность дать отпор кому угодно. Между картиной, описанной Джео Богзой, и картиной, на которую я смотрела с содроганием, была такая же разница, как между византийской иконой и портретами, которые малюют в подземном переходе.

Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль

"ЛЕОНАРДО да Винчи", "Микеланджело" и "Рафаэль" — это три внушительных парохода, которые связывают многоцветье итальянских гаваней, где плавают рыбешки в кипящем масле и где ломти арбузов, как в парадизе, с лунным портом минерала Нью-Йорк. У их высоких бортов, в нижней части перфорированных скромными кругляками иллюминаторов, прорезанных необъятными витринами роскошных ресторанов на уровне верхних палуб, синие колдовские воды Средиземного моря мешаются с равнодушными водами Атлантического океана; в их нижних коридорах — узких, забранных в линолеум, с мертвенным неоновым светом — и в верхних, просторных, покрытых мягким плюшем, с дневным светом, теряющим резкость над пространством вод, мешаются солнечные вокабулы итальянского со слитно-упрощенным бульканьем бывшего английского; в их ресторанах и кинозалах, в их клубах и церквях мешаются надежды тех, кто покинул Европу в поисках нового мира, без прошлого и без нищеты, со смущением тех, кто вернулся обратно в Европу, к своим тысячелетним корням и к нищете, обойтись без которых они так и не смогли.

По дороге за океан нас окружала целая миграционная популяция, целые семейства, обмундированные для нового континента и для другой истории, среди жалкого нагромождения тюков, в страхе перед пышностью диковинного судна, огромного, как город, которое несло их в неизвестность. Людей, которые явно не переступали порог иного ресторана, чем деревенская корчма, три раза в день усаживали за изощренное меню с интернациональными названиями блюд, включенных в цену билета. И поскольку в голове у них не укладывалось, что все эти припасы истинно принадлежат им, они вели себя неестественно, как узурпаторы, которых с минуты на минуту призовут к ответу за то, что они урвали кусок, причитающийся вовсе не им. Между их жизнью, как сплошным поражением, точку на котором ставило это героическое дезертирство, и годами лишений, которые ждали их впереди, поместилась шаткая чаша весов — неделя необъяснимой роскоши, которая, вместо того, чтобы осчастливить, делала их чужими самим себе, наполняла неизведанным ужасом.

Я всегда буду вспоминать с душераздирающим, на грани слез, чувством чету молодых португальцев и тщедушную старушку, не выше десятилетней девочки, которая, вся дрожа, плелась за ними по коридорам, не смея отстать более чем на метр, озираясь по сторонам с видом затравленного зверька, не понимая ни звука из чужих слов, которые перекатывались через ее голову, покрытую черным платком. Ее вырвали из исконных страданий, из тысячелетних суеверий, чтобы бросить во чрево этого плавучего чудовища, держащего путь в мир, где ее ждало только кладбище, неродное, непонятное.

В клубных и спортивных залах организаторы путешествия напрасно пускали в ход свое ремесло массовиков-затейников, объявляя развлекательные игры и бодрящую гимнастику, занимательные упражнения, под которые время летит быстро, а мысли улетучиваются. Эмигранты слушали их в одно ухо, пустыми глазами глядя на океан, где не видно было ни утраченной земли, ни — тем более — обетованной.

Что до возвращения, то возвращались только победители. Те, кому удалось сколотить какое-никакое состояние там, в новом мире — с тем хотя бы, чтобы предъявить в сицилийской деревне фотографию: рука на дверце лимузина, фон — некая постройка, про которую объясняется, что это собственная фабрика. Они возвращались через десять, через двадцать лет, пыжась выразить свой триумф, но не очень-то уверенные, что им есть что выражать. Об этой минуте возвращения, об этой второй редакции путешествия, теперь уже не туда, а обратно, они мечтали в тяжелые времена добровольной ссылки на чужбину, ставшую тем временем домом, и эта минута казалась недостижимой, а теперь, приблизившись, давала им только усталое робкое чувство, что делать с которым неизвестно.

Старик, наш постоянный сосед по столу, признался нам, что по-английски может только объясняться, а ни читать, ни писать не умеет. Он прожил жизнь в Соединенных Штатах и целую жизнь продирался сквозь всю эту цивилизацию зазывных реклам, ни словечка не понимая, он учился говорить на слух, имитируя приблизительные звуки, у каждого говорящего разные, — без опоры на письменный прототип, который слил бы воедино, на твердой и логической основе, изменчивые потоки произношения. Впрочем, мы с изумлением замечаем, что нас принимают за итальянцев — стало быть, они неуверенно чувствуют себя и в своем языке, коль скоро не могут отличить выученную итальянскую речь от настоящей. Люди, затерявшиеся между странами и континентами, нигде не дома, они так же сбиты с толку и в словах.

И все же у них остались жесты и привычки, которые американским десятилетиям не удалось искоренить. Если пройтись ближе к вечеру по бесконечным коридорам, куда выходят двери кают второго туристического класса, вам представится зрелище почище, чем в какой-нибудь кинематографической галлюцинации со всем ее арсеналом символов: у распахнутых дверей кают сицилийцы на стульях "сидят у калитки". Они могли бы погулять по элегантным, ярко освещенным салонам верхних этажей, постоять на палубе, омываемой соленым воздухом и радужными бликами воды, могли бы посмотреть кино, почитать книги в библиотеке, дать развлечь себя массовикам-затейникам; но они — под устьями кондиционированного воздуха, в линолеумном пейзаже, под неоновым солнцем, — они делают то, что делали тысячелетиями, когда наступал свободный час, — садятся у калитки поговорить с соседями. Говорят они на невероятном наречии, смеси слов из детства и слов, заученных кое-как, со слуха, понимая друг друга и держась вместе, чтобы противостоять остальному, несущему угрозу миру. И вот такие, мирные и боязливые, эти бедные герои фильмов про мафию кажутся мне больше заслуживающими жалости, чем те, которых я видела пять месяцев назад, и чем те, которыми были они десяток-другой лет тому назад, когда проделывали путь *туда*. Между надеждой побитых жизнью и неосознанным отчаянием победителей мучительной гранью проходит бесполезность борьбы.

"Леонардо да Винчи", "Микеланджело", "Рафаэль"... Нас доставил в Америку "Леонардо да Винчи", нас доставил обратно "Рафаэль". Те же километровые лабиринты, в которых мы начали разбираться только к концу путешествия и которые преодолевали по три раза на дню до ресторана, всякий раз с риском заблудиться и в конце концов переходя с шага на бег в вечном страхе пропустить точный и невосстановимый час

трапезы; те же вечно пустые парикмахерские, те же витрины с алкоголем tax-free, те же лестницы, ведущие то вверх, то вниз к целям, отмеченным объяснительными стрелочками, столь многочисленными, что устаешь в них вчитываться; те же меню с великолепными репродукциями "Джоконды" и "Сикстинской Мадонны"; те же таблички, с апломбом устанавливающие class limit между двумя палубами, между двумя салонами, между двумя мирами, — граница, которую пересекают свободно и дерзко, но которая от этого не перестает существовать.

"Леонардо да Винчи", "Микеланджело", "Рафаэль" — плавучие перевалочные пункты между двумя далекими континентами, между двумя равно ностальгическими мирами, которые мы созерцаем с равным восхищением, с равной отстраненностью и с той блаженной и необъяснимой грустью, которая находит на нас, когда мы смотрим на звезды...

Сиюминутное солнце

ТАЛАНТ жить, находящийся, очевидно на стадии исчезновения у народов Европы, — из тех понятий, которые трудны для определения, потому что отличаются от подобных им не всегда уловимыми нюансами. Сказать ли — как говорит ученик, не выучивший урок, что талант жить — "это когда...", — но я понимаю, что и таким образом не смогу все разъяснить надлежащим образом. Выражения вроде бы близкие — "жить припеваючи" или "уметь жить" — при более внимательном анализе оказываются вовсе не близкими: тогда как первое относится целиком к обладанию материальными вещами, и числом поболее, а второе, скорее, призывает не упускать того, что идет в руки, — талант жить не есть действие или осуществление, а просто-напросто состояние. Оно есть расцвет глагола *быть*, тогда как два другие зависят от глагола *иметь*, и это разница не в видимости, но в сущности.

Большой соблазн сказать — и, думаю, не так уж я ошибусь, — что талант жить — это свойство юности и, может быть, даже наивности; раскрывается он чаще в нежном возрасте, и его легче обнаружить у первобытных народов. Но не впаду ли я в упрощение? Если близость к естеству принять за гарантию этого божественного дара, то придется предположить, что, например, все без исключения звери — его счастливые обладатели. Однако же не только вид от вида, но и особь от особи отличаются по степени и качеству обладания им. Собаки, по всей очевидности, не столь талантливы в жизни, как кошки. И это не только потому, что с такими известными их свойствами, как верность и преданность, труднее жить, чем с великолепным эгоизмом, в котором подозревают кошачью породу, но и потому, что у них нет способности (в отличие от кошек) смаковать каждую секунду, нет гениального дара отбирать из бесконечного ряда событий только сиюминутное солнце. Я всегда считала доказательством глубокомыслия идею египтян обожествить кошку, это животное, столь расположенное ко сну и к абстрагированию от всего, в высшей степени способное отделять то, что существенно для счастья, от того, что несущественно.

Талант жить, как мне кажется — более чем черта животного мира, — есть следствие тонкости устройства, которое может быть присуще или не присуще в равной мере людям и животным, существам молодым и

старым, развитым и неразвитым, цивилизованным и нет. Талант жить, как все таланты, — это врожденный дар, который можно культивировать и который может загубить среда. И, по моему разумению, некоторый внимательный покой духа, к которому стремились все религии и все философские течения, — это его sine qua non, условие того благословенного состояния, когда каждый лист, который падает, каждая травинка, касающаяся босой ноги, каждый миг сна, каждая капля воды на губах, каждая ягода, тающая под сводом рта, даже каждая боль принадлежат цельности и полноте и дают пищу для жизни. Тот покой духа, который скорость транспорта и галдеж massmedia считают нужным высмеивать и гнать.

Радости обратного счета

Я заметила, что осень — единственное время года, когда я перестаю спешить, когда — каким-то чудесным и уж по крайней мере необъяснимым образом — истерическое чувство нехватки времени, которое терроризирует меня и зимой, и весной, и летом, тает в безотчетном, ласкающем блаженстве, в покойном и плавном, без конца и цели, витании. Как если бы — после того, как я безжалостно растранжирила, в исступлении, замкнутая на своих проблемах и книгах, месяцы, через край переполненные цветами и плодами, солнцем и соками, дни и недели, когда юность года казалась беспредельной, а, значит, погружение в нее можно было отложить на потом, — вдруг торжественно бухнул колокол, что срок вышел, и разбудил меня в мире тем более прекрасном, чем он ближе к концу. И все, что следует за этой минутой откровения, откровения о *пределах*, принимается с признательностью и волнением, как нечаянный дар. Именно потому, что я пропустила лето, даже этого не заметив, я безусловно отдаюсь послеполуденному теплу осени; именно потому, что каждый цветок может быть последним, не тронутым инеем, я радуюсь каждому, каждый рассматриваю, и он открывается мне. Весь мир предстает мне в ореоле моего же внимания, испуская ту тихую радость, которая мне знакома по минутам вдохновения.

Думаю, что в этом нежном общении со всем, что еще живо, чу́дном и бесценном, поскольку оно есть дар, кроется и ответ на одно из крупнейших моих недоумений, связанных с душевными механизмами. Меня всегда удивляло, что — хотя субъективный ритм времени ускоряется по мере приближения старости — у стариков тем не менее есть время, они не торопятся, они не считают минуты. И это не только потому, что они уже не так заняты, как раньше, или просто не в состоянии торопиться, а в силу гораздо более тонкого и глубокого чувства, заставляющего их ощупывать каждую минуту, прежде чем выпустить ее из рук и дать соскользнуть в песочные часы, которые перевернуть уже нельзя. У них "есть время" именно потому, что они уже знают: времени у них нет.

По-детски моргая безоружными отныне глазами, грея темечко на щадящем солнце, среди хризантем и кистей винограда, еще не схваченных ночным холодом, я питаю надежду, что мое сравнение истинно, а мое понимание верно, и, значит, я могу спокойно и без страха думать о радостях обратного счета.

Фрагменты

НИКОГДА не забуду личики тех детей из марамурешского села — важных человечков, обутых в опинки, одетых в костюмчики и юбки с вышивкой, расшитые суконные тулупчики, в кэчулах и платочках, как у взрослых, но сведенных, с кропотливым соблюдением всех пропорций, до игрушечных размеров, — выражение их румяных от мороза личиков, когда они пели колядку: "Господи Боже / спит на рогоже / глазки закрыл / про нас позабыл". Выражение грусти и умудренности, беспросветной старости, как если бы они и вправду понимали то, что поют, как если бы все это не было только игрой в апокалипсис.

Соседка Мита принесла мне в подарок пару головок сыра. На мои протесты она возразила, вдруг посерьезнев, почти враждебно: "А моим покойникам что ж прикажешь — голодать? Моя бедная мать куска не доедает в могилке!" Она не шутила, тут было не суеверие, не исполнение обычая, а что-то абсолютно осязаемое, как если бы прямо и непосредственно сыр, который она даст мне, мог накормить ее мать, которой давно голодно в могиле. Ее вера не была разбавлена метафизикой, а оставалась плотной, материальной, такой категоричной, что даже смерть не переходила в область трансцендентного.

Первобытные народы никогда не были уверены, что за зимой последует весна; опыт предыдущих лет ничего не значил, поскольку самоуправство богов могло повернуть все по-своему. Когда под Новый год ходишь в легком плаще, а летом из-за насморка пьешь горячий чай, начинаешь задумываться, не слишком ли мы уверены в себе и в совершенном, не допускающем погрешности, механизме природы.

Гулкое дыхание неба из-под завала звезд — цикады существуют, чтобы выразить усилие хаоса быть красивым.

Нежность, как и нервы, как и страдание, может надоесть. Счастье, неконвертируемое в дело, не превращенное во что-то, счастье в чистом виде, невоплощенное, утомительно и даже ядоносно. У понятия "медовый месяц" нет множественного числа не потому, что зло мира и тяготы жизни не дают ему продлиться, а потому, что внутренние ресурсы счастья ограничены и, при его избытке, токсичны. Сплин высшего класса, повторяемый на всех ступенях цивилизации, как и меланхолия общества потребления, переводят эту истину с уровня психологии на уровень истории. У нас есть душевный лимит не только на страдание, но и — еще более урезанный — на счастье. Душе хорошо, только когда состояния чередуются, когда ее прибивает то к одному, то к другому берегу.

По прошествии лет на фотопленке все цвета превращаются в розовый, как если бы сама техника конкурировала с идеализацией прошлого.

Искусство общения, которому удается сохранить нетронутым одиночество, чтение есть, как и любовь, парадоксальная, победная демонстрация того, что один плюс один равняется не двум, а все равно единице —

высшей сущности, где уживаются общение и уединенность, двое вместе и каждый по отдельности.

Знаменитый желтый цвет Ван-Гога — следствие того, что больной художник принимал дигиталис; "Капричос" Гойи — результат интоксикации свинцом; улыбка Моны Лизы происходит от пареза лицевой мышцы, которым страдала Джоконда, втолковывал мне один ученый человек, по-взрослому довольный моим инфантильным удивлением, не замечая, что меня изумляет не эта гипотетическая медицинская подоплека шедевров, а убеждение, что так можно объяснить необъяснимое, что разоблаченные таким образом чудеса превращаются в мошенничество...

Когда я поняла, что болезнь нашего века, болезнь, которой мы больше всего боимся и от которой чаще всего умираем, есть не что иное, как мятеж клеток, отказывающихся быть смертными, отказывающихся впредь подчиняться законам старения и деградации тела (медицинский термин — чем не поэтический? — звучит как "иммортализация клеток"), — я взглянула на это явление, как на страшноватую, но постижимую метафору. Клетки начинают размножаться анархическим путем, не прислушиваясь больше к нуждам организма, и кажется, что они в состоянии — даже отделившись от тела, которое убивают своей чрезмерной витальностью, — продолжать жизнь в лабораторных условиях, десятки и десятки лет, множась, становясь бессмертными. Я увидела в этой биологической экстравагантности подхват в материальном, а, значит, через свою конкретность, более высоком регистре восклицания поэта: "Non omnis moriar"[1]. И вот странным образом это сближение с известной мне областью, которую — при всем ее злом качестве — я наперед воспринимаю с восхищением, успокоило во мне и ослабило до примирения страх перед обезумевшими клетками.

Как в пуританских обществах существует нетерпимость людей нравственных к тем, кто преступает законы морали, так в коррумпированных — нетерпимость порока к тем, кто ему не поддается.

Ответ девушки за стеклом, у которой я в среду заказала справку и спросила, когда будет готово: "Завтра уже четверг, пятница — короткий день, суббота-воскресенье выходные, понедельник — ужас что за день. Во вторник приходите".

"Сенека, кончающий с собой в бане" — называется картина Рубенса, на которой изображен старик, опустивший ноги в таз. В первую минуту наступает недоумение, и ты думаешь, что тут какая-то ошибка, потом понимаешь, что в бесконечно большей степени, чем смерть римского стоика, холст выражает представление европейца XVII века о том, что такое баня.

1. "Весь я не умру..." (*лат.*) Гораций. Оды.

Тест

Я думаю, что люди — по крайней мере, в цивилизованных обществах, где вкус человеческой крови много поколений назад ушел из повседневного меню, — что люди делятся только на две категории (а уже две эти главные категории дробятся потом на бесчисленные пункты и подпункты): на тех, *кому легче* убивать, и тех, *кому легче* быть убитым. Мне возразят: кто-де может заречься, что не убьет, пока не попадет в ситуацию, когда убивают его? Но я считаю, что обмануться здесь невозможно, и даже если окружающие еще могут сомневаться, то сам человек точно знает о себе, к какой категории он принадлежит. Мне возразят: сегодня-де среди людей преступление происходит разве что в последней, маловероятной инстанции. Положим, и все же в рутине из рутин — на песке пляжа, за столиком в ресторане, в очереди, на улице, в театре — я вижу эти две главные категории человечества, избывающие свои судьбы, заложенные в них от сотворения мира, и могу, не моргнув глазом и с бесконечно малой возможностью ошибки, сказать: вот этот — убийца, а вот этот предпочитает быть жертвой.

О *равенстве*

Я не феминистка, точно так же, как не расистка и не националистка, и это потому, что я отказываюсь судить скопом большие категории людей, о которых знаю, что они неоднородны, состоят из личностей, бесконечно между собой различающихся. Для меня каждый индивид — особенный, разнится от всех других того же пола или той же культуры или того же языка, — и к каждому надо подходить поштучно. Так категорически я декларирую свои принципы, чтобы меня не поняли неправильно и в то же время чтобы утолить непреодолимое желание переписать несколько фраз, которые меня совершенно пленили, когда я на них наткнулась. Речь идет о коротком пассаже (воспроизведенном Титом Ливием) из речи, которую произнес в римском сенате великий Катон, несгибаемый муж, неумолимый консерватор, защитник республики и традиций Древнего Рима. Вот этот пассаж: "Вспомните все регламентации, введенные нашими предками, чтобы подчинить женщин их мужьям. Даже скованных по рукам и ногам, вам все равно трудно их укротить. Что же было бы, если бы вы вернули им свободу, если бы дали пользоваться теми же правами, что и вы? Вы думаете, что сможете тогда быть им владыками? В тот день, когда они станут равными вам, они станут выше вас" (Titus Livius, XXXIV, 3). А ведь Цицерон, подумать только, упрекал Катона в отсутствии чувства юмора!

Чувство странное и парадоксальным образом мне льстящее, что это не я пишу, а кто-то пишет через меня вещи, о которых я даже не думала и еще за миг до их написания даже не подозревала. Надо бы, наверное, оскорбиться — что́ это за полная зависимость от каких-то неподвластных мне сил, — но я чувствую себя счастливой и гордой, как придворная дама, которой король даровал ребенка.

Кристофер Бакли

Флоренс Аравийская

Роман

Перевод с английского Андрея Геласимова

Глава восемнадцатая

– Добрый вечер. С вами шестичасовые новости на канале ТВМатар и я – ведущая Фатима Шам. Принцесса Хамзин, вторая жена короля Васабии Таллулы, приговорена к смертной казни через побивание камнями. Ее преступление состоит в том, что она обратилась к своему мужу и его министрам с петицией о защите основных женских прав. Сегодня после обеда мне удалось поговорить по телефону с министром иностранных дел Васабии принцем Джербилем аль-Джакаром.

На экране появилась фотография министра, а за кадром пошла запись телефонного разговора.

– Это чудовищная ложь! Во всем этом нет ни грана правды. Это ложь. Ложь от начала до конца. Кто вам такое сказал? Какой злодей?

– А вы позволите нам взять интервью у принцессы?

– Члены королевской семьи не дают интервью. Нет, все это провокация. Попытка вмешательства в наши внутренние дела. Она не пройдет. Нет, нет, нет.

– А вы можете представить доказательства тому, что принцесса жива?

– Ну разумеется она жива! Все живы! Все счастливы! До свидания, мадам.

После этого раздался звук брошенной телефонной трубки.

– Это был принц Джербиль аль-Джакар, министр иностранных дел Васабии, – продолжила Фатима. – Когда женщину в этой стране забивают камнями до смерти, размер их должен соответствовать серьезности преступления. В случае супружеской измены применяются маленькие камни с целью продления экзекуции. Нам неизвестен размер камней, которые будут использоваться во время казни жены короля, выступившей в защиту прав женщин. Я взяла интервью у одного из главных религиозных авторитетов Васабии Великого Муфтия Адмана Ифкира.

После этого пошла запись.

– Великий Муфтий Ифкир, спасибо, что согласились выступить на канале ТВМатар.

– Да, я пришел. Хвала Всевышнему.

Окончание. Начало в "ИЛ", 2006, № 5.

– Похоже, принцесса Хамзин совершила очень серьезное преступление.

– О да, очень серьезное, очень. Для такого поступка любое наказание будет недостаточно суровым.

– А как насчет побивания камнями? По-моему, это достаточно сурово.

– Только если использовать очень мелкие камни.

– А может, просто отрезать ей голову?

– Нет, нет, нет. Это слишком быстро. Чересчур быстро.

– Понятно. Тогда какого размера камни вы бы рекомендовали?

– Самые маленькие. Вот такие. Эти самые лучшие. Мы швыряем их в сатану в Мекке во время хаджа.

– Да, действительно маленькие. Чтобы убить такими камнями женщину, потребуется очень много времени. Не правда ли?

– Да. В этом вся суть. Таково милосердие. Это дает ей время раскаяться в своем преступлении.

– Благодарю вас за то, что уделили свое драгоценное время нашим телезрителям.

– Не стоит.

Флоренс склонилась к микрофону и обратилась через внутреннюю связь к Фатиме:

– Это точно привлечет их внимание. Отличные интервью.

– Флоренс, – позвал ее ассистент. – Шейха на второй линии.

– Боже мой, Флоренс, – сказала Лейла, – что ты делаешь?!

– То, ради чего я сюда приехала.

– Включая дестабилизацию целого региона? А также предоставление Васабии повода для вторжения? Сама-то ты к тому времени будешь уже далеко. Так ведь? Прыгнешь в американский вертолет и упорхнешь.

Флоренс хотела ответить, но Лейла бросила трубку.

Всю следующую ночь Флоренс провела у режиссерского пульта, следя за тем, как развиваются события. Многочисленные мониторы отражали происходящее в самых разных уголках мира. Флоренс наблюдала за мрачным принцем Бавадом, министром иностранных дел Васабии, мужем покойной принцессы Назры, чей полуночный побег запустил всю эту запутанную цепочку событий. С угрюмым видом он пробирался через толпу репортеров у входа в здание ООН.

– В этой клевете нет ни одного слова правды, – огрызнулся он, прежде чем исчезнуть в своем лимузине, окруженном сильно нервничающими охранниками.

На другом мониторе Флоренс следила за толпой женщин, собравшихся перед посольством Васабии в Вашингтоне. В руках у них были плакаты с надписями ВАСАБИЙСКИЕ СВИНЬИ и ОСВОБОДИТЕ ПРИНЦЕССУ ХАМЗИН.

"Ну вот, Назра, – думала Флоренс. – Посмотри, какой переполох поднялся из-за тебя".

На третий монитор была выведена прямая трансляция пресс-конференции в Государственном департаменте в Вашингтоне.

– На данный момент у меня больше нет для вас никакой информации, – гораздо более угрюмо, чем обычно, сказал пресс-секретарь, глядя на целый лес рук перед собой.

— А госсекретарь уже беседовал с представителями Васабии по этому поводу?

— Нет, насколько мне... Послушайте, я вам повторяю: у меня больше нет никакой информации.

— Какова там ситуация в настоящий момент?

— Вы можете задать этот вопрос их министру иностранных дел.

Следующим был французский журналист:

— Что вы можете сообщить нам о взаимоотношениях между правительством США и каналом ТВМатар, который передал в эфир эту провокационную информацию?

— О подобных связях мне ничего не известно.

— Но финансирование — оно ведь идет из ЦРУ, не так ли?

— У меня нет никаких комментариев по этому поводу.

Флоренс вдруг подумала о Джордже и Рике. Она представила их в резиновой лодке, направляющейся к скрытой где-то в тумане субмарине, под охраной "морских котиков" с черными лицами. Джордж, разумеется, крайне недоволен и жалуется без конца. Она улыбнулась, подумав о том, как Бобби рассказывает ему про всех этих развеселых голубых морячков, которых он скоро встретит.

Затем она решила на всякий случай проверить связь и набрала номер дяди Сэма на своем экстренном телефоне. В трубке раздались долгие гудки, а потом автоответчик сообщил, что она набрала несуществующий номер. Значит, они уже списали ее со счетов. Теперь она была одна.

Где-то около четырех утра она почувствовала страшную усталость и решила часик передохнуть. В потолке ванной комнаты, прилегающей к режиссерскому помещению, люди Бобби в свое время проделали ход на крышу. Флоренс откинула люк и вскарабкалась по лесенке наверх, откуда открывался изумительный вид на город и на залив. Она легла на спину, и над ней раскинулось ночное небо Матара. Ей было известно, что на Ближнем Востоке люди часто спят на крышах своих домов в поисках прохлады и убежища от тайной полиции. В этой части мира подобная мера предосторожности была далеко не лишней. Единственная проблема состояла в том, что вместе с падающими звездами с неба могли прилететь пули. Арабы любят стрелять в воздух, отмечая важные события своей жизни — свадьбу, рождение сына или новость об очередном мученике, взошедшем на небеса.

Флоренс подремала до восхода солнца, а затем спустилась к режиссерскому пульту и узнала о том, что васабийцы предоставили доказательство полной безопасности и хорошего самочувствия принцессы Хамзин.

Принцесса не только жива и здорова, но даже разгуливает по ювелирным магазинам в Париже — ни больше, ни меньше. Французское телевидение передавало в эфир запись, сделанную через витрину магазина "Гермес". Принцесса Хамзин на этой записи расплачивалась кредитной картой "Американ экспресс" за браслет с бриллиантами стоимостью 150 000 долларов. Появившийся в кадре комментатор усмехнулся и сказал:

— Судя по всему, принцесса предпочитает *носить* камни.

Флоренс обвела взглядом другие мониторы. Все каналы транслировали ту же картинку. После нее на экранах появился принц Бавад, которого буквально распирало от самодовольства.

— Теперь весь мир может увидеть, — сказал он, поглаживая свою козлиную бородку, — как тяжело живется нашим принцессам.

В течение следующего часа Флоренс следила за множеством дебатов на самых различных телевизионных ток-шоу. Один из участников этих споров, профессор антропологии Чикагского университета, заявил, что США совершает ошибку, пытаясь навязать свои феминистские ценности другим странам, поскольку большинство арабских, индийских или африканских женщин, скорее всего, даже "и не хотят, чтобы их освобождали".

— А нам бы это понравилось? — задумчиво спросил он. — Если бы одна из этих стран начала вдруг навязывать *нам* свои ценности?

Флоренс размышляла о том, довольно ли большинство, скажем, арабских женщин своим нынешним положением, когда зазвонил ее телефон. Это была Лейла.

— Прости меня за то, что я тебе наговорила.

— Тебе незачем извиняться, — сказала Флоренс.

— Ты уже видела репортаж из Парижа?

— Да.

— И что скажешь?

— Есть два возможных объяснения, — сказала Флоренс. — Либо это вранье, либо мы спасли ей жизнь.

— Ты знаешь, я бы сказала, что расплачиваться американской картой за браслет в сто пятьдесят тысяч не слишком типично для арабской женщины.

— А ты видела выражение ее лица? Такое ощущение, что ее обкололи.

— Ты собираешься сказать об этом по телевидению?

— Не знаю, — ответила Флоренс, сожалея, что рядом нет мастера всяческих уловок и трюков Рика Ренарда. — Меня явно переиграли.

— А тебе интересно узнать, какова позиция нашего нового Саладина? По-моему, он собирается узаконить побивание камнями в Матаре. Специально для руководителей канала ТВМатар. Может, нам следует принести публичные извинения?

— Этим ублюдкам? Только через мой труп.

— На твоем месте я бы так не говорила на Ближнем Востоке. Лучше подумай, с чем выйти в эфир. А я пока отвлеку нового Саладина.

Флоренс в задумчивости некоторое время смотрела на мерцавшие перед ней мониторы, а затем вызвала Фатиму.

— Фатима, — сказала она, — когда-нибудь ты обязательно получишь работу в крупном агентстве, но сегодня ты нужна мне здесь.

— Добрый вечер. Вы смотрите новости канала ТВМатар. Ведущая — Фатима Шам. Источник из окружения королевской семьи Васабии подтвердил нашему каналу информацию о том, что принцесса Хамзин действительно была приговорена к смерти через побивание камнями за преступное неуважение к своему мужу. Он также подтверждает, что вследствие негативной реакции во всем мире и растущего международного негодования представители королевской семьи пытаются замять скандал. Прошлой ночью, согласно его словам, принцессу подвергли воздействию сильного наркотического средства и доставили в Париж на борту самолета королевских ВВС Васабии. В столице Франции была осуществлена телевизионная съемка с целью убедить мировую обще-

ственность в том, что принцессе не угрожает никакая опасность. Мы представляем вашему вниманию эксклюзивное интервью с одним из служителей дворца в Каффе. Поскольку он опасается за свою жизнь, мы не будем показывать его лицо и назовем его Абдулом.

— Вы можете рассказать нам о том, что случилось?

— Они собирались забросать мою госпожу камнями. Очень маленькими камнями. О, это ужасно. А потом по телевизору показали этот репортаж — хвала Всевышнему! Министры короля Таллулы испугались и сказали: "О, это очень сильно испортит имидж короля! Мы подождем и убьем ее, когда уже никому не будет до этого дела". И тогда они пришли с такими большими иголками, наполненными наркотиками, и воткнули в нее. Вот так, — Абдул размахнулся и стукнул себя по руке. — А потом увезли ее на самолете в Париж.

— Откуда вам все это известно?

— Я там был! Я все видел. Вот этими вот двумя глазами, хвала Всевышнему, что мне еще позволено ими глядеть. Там был французский человек.

— Что за французский человек?

— О, очень французский. Такой старый французский человек с очень седыми волосами. Он был у нас во дворце много раз. Королевская семья слушается его. Все французское они считают хорошим. Он говорит им, что делать — и они это делают. Он говорит им: "Отвезите ее в Париж, и мы сделаем так, чтобы это было похоже на прогулку по магазинам".

— Итак, вы хотите сказать, что телевизионный репортаж о походе принцессы по магазинам подстроен для того, чтобы она выглядела так, будто ей ничего не угрожает?

— Да! Но ей угрожает! Все еще угрожает! Когда всем уже будет все равно, они убьют ее, мою бедную госпожу!

— Абдул, спасибо за этот рассказ. Вы очень мужественный человек. Ответьте на последний вопрос — вы говорите, что этот француз имеет большое влияние на королевскую семью Васабии?

— Да. Я много раз слышал, как король и принцы разговаривали с этим французом по телефону и говорили ему: "Вы должны помочь нам вернуть наше побережье, которое отнял у нас этот английский злодей Черчилль. Мы дадим вам за это нефть и военно-морские базы". Много раз я слышал эти разговоры. Много, много раз.

— Спасибо. Да хранит вас Всевышний. После рекламы мы покажем репортаж нашего собственного корреспондента в Париже.

Флоренс откинулась на спинку стула. Жаль, что Ренард этого не видел. Она была абсолютно уверена — он бы ею гордился. Особое удовлетворение она испытывала из-за французской темы.

В этот момент ей позвонила Лейла.

— Ну и ну, — сказала она. — Ты где откопала этого Абдула? Вот это ход!

— Он работает у нас в кафетерии, — сказала Флоренс.

— Ага, — протянула Лейла и на несколько секунд замолчала. — Ну что же, *за такое* мы точно получим "Эмми"[1] в номинации "Журналистское

1. Самая престижная премия на ТВ. Вручается ежегодно Национальной академией телевизионных искусств и наук по более чем 30 номинациям.

расследование". О, реклама закончилась! Не хочу ничего пропустить. Перезвоню в следующем рекламном блоке.

— В эфире снова выпуск новостей телеканала ТВМатар и я — ведущая Фатима Шам. Сейчас мы покажем вам эксклюзивный репортаж Риты Феррейра, корреспондента нашего парижского бюро.

— Да, Фатима. Я стою у ворот организации, которая называется 11-й отдел. Это малоизвестное подразделение французской разведки. Мы только что пытались поговорить тут с официальными лицами об одном докладе, согласно которому они тайно переводят деньги на банковские счета матарских священнослужителей в попытке спровоцировать переворот в мирной арабской стране и заменить ее законного и любимого народом правителя, эмира Газзира бен Хаза, диктатурой исламских фундаменталистов.

На экране замелькала фигура журналистки, пытающейся пропихнуть микрофон в окно выезжающего из ворот темного автомобиля.

— Здравствуйте! Канал ТВМатар! Bonjour! Это правда, что вы пытаетесь развязать революцию в Матаре?

Машина продолжала двигаться. В поле зрения появились два жандарма, приближающихся к камере. Они лихорадочно махали руками:

— Allez! Allez!

— Мы — представители канала ТВМатар. Нам надо задать несколько вопросов.

— Нет. Вы должны уйти. Уходите. Уходите немедленно.

— Но нам необходимо поговорить с кем-нибудь из 11-го отдела. Пусть они расскажут о своих планах дестабилизации нашей страны.

— Обращайтесь в министерство иностранных дел. Allez!

Глава девятнадцатая

— Мне кажется, — сказала Лейла по телефону, — тебе лучше приехать сюда, во дворец. Французский посол попросил аудиенции. А у нашего нового Саладина позвоночник чересчур гибкий. Надо его укрепить, чтобы был потверже. С другими частями тела в этом смысле все в порядке. Я пришлю за тобой машину.

Флоренс проехала по тихим раскаленным улицам Амо-Амаса и вышла из автомобиля рядом с дворцом. Пройдя по испещренной цветными пятнами плитке мимо источавших прохладу фонтанов, она поднялась на террасу с мозаичным полом и миновала застывших у входа в приемную эмира двух телохранителей в церемониальных костюмах. Матарский Лев уже ждал ее и сильно при этом хмурился.

— Так, так, так, мисс Интрига, — сказал он. — Вы в курсе, что я из-за вас стал чрезвычайно популярен? Все вдруг захотели встречи со мной. Французский посол, посол Васабии, ваш американский посол и даже посол из России. Ему-то что надо? Может, мне их всех скопом принять? Чтоб не терять времени. Мы уже давно не устраивали больших дипломатических приемов. Даже не знаю, что с вами делать — то ли благодарить, то ли депортировать. Может, отвезти вас к границе Васабии и просто оставить там? Уверен, что король Таллула был бы счастлив увидеть вас у себя в гостях.

— Мне очень жаль, что я доставила Вашему Величеству столько неприятностей.

— Да бросьте вы! Скажите-ка лучше, что вы знаете по поводу подкупа французами моих священнослужителей? Это правда?

— Да.

— И каким, интересно, образом вы узнали об этом вопиющем факте?

— Я работаю в новостном бизнесе.

— А вы уверены, что не в ЦРУ? Мне нужен честный ответ. Немедленно.

— Я об этом не осведомлена, мой повелитель.

Эмир молча уставился на нее, а потом сказал:

— Что-то я не пойму... Как это — "не осведомлена"? Что это, вообще, за ответ?

— Туманный, но честный ответ. За всем этим стоял один человек, но теперь он исчез, поэтому, похоже, я просто сотрудница ТВМатара. То есть работаю на вас.

— Прекратите водить меня за нос. Кто этот человек?

— Я сама так и не поняла. Он сказал, что работает на правительство Соединенных Штатов. При этом в его распоряжении были очень значительные средства. Их легко хватило на весь наш проект — первичное финансирование, подаренный Вашему Величеству вертолет...

— Я требую ответа на свой вопрос!

— Дорогой, — вмешалась Лейла, — успокойся. А то у тебя снова выступит сыпь. Флоренс пытается тебе объяснить. Хотя должна признаться, что я пока тоже в недоумении. Впрочем, ТВМатар — полностью независимая компания. Она принадлежит *тебе*, дорогой. Более того, она приносит тебе очень и очень хорошие деньги. Ты стал крупнейшим телевизионным вещателем в арабском мире.

— Да, да, да. Но что, если все это было профинансировано американской разведкой?

— Дорогой, — сказала Лейла, — если бы это было так — ну неужели ты думаешь, дела бы шли столь успешно?

— Верно подмечено, — пробормотала Флоренс.

— Не знаю, насколько все это окажется "успешным" в итоге, — сказал эмир. — И не пытайтесь обмануть меня своими сладкими речами. Я хочу знать прямо сейчас, немедленно — *это была американская операция?*

— Да, — ответила Флоренс. — Мне очень жаль, что я обманула вас. Но я не жалею о том, что мы сделали.

Эмир перевел взгляд с Флоренс на свою жену:

— А *ты* знала об этом?

— Нет, — вмешалась Флоренс. — Я обманула и Лейлу. Я обманула вас обоих.

Эмир откинулся на спинку дивана и нервно побарабанил пальцами по своим лиловатым губам.

— Значит, у меня нет выбора. Придется прибегнуть к аресту. И к суду. А потом... Нет, вы только подумайте, в какое положение вы меня поставили! У меня же не осталось выбора.

— Дорогой, — сказала Лейла. — Давай обдумаем ситуацию, прежде чем принимать поспешные решения. Флоренс признала, что работала на какое-то таинственное подразделение американского правительства. Одна-

ко ТВМатар полностью принадлежит нам. И он сделал всю нашу страну, а также тебя очень заметными на мировой сцене. Теперь мы известны не только своим фиговым маслом и налогом Черчилля, мой дорогой. Вдобавок Флоренс со своими таинственными помощниками разоблачила французский заговор, цель которого состояла в том, чтобы сместить тебя с трона и посадить на него твоего братца. Получается, что благодаря Флоренс ты стал богатым и значительным человеком, а теперь она к тому же пытается сохранить за тобой трон. А ты хочешь ее арестовать. В общем, поступай как знаешь, но, если ты и дальше будешь продолжать вести себя как идиот, тебе придется сказать всему миру что-нибудь вроде: "Каким же я оказался тупицей! Эта американка провела меня как младенца!" Неплохо для нового Саладина. Так что решай, дорогой.

Эмир в замешательстве потер лоб.

Лейла взглянула на Флоренс.

— Ты *по-прежнему* американский агент? — спросила она.

Флоренс представила себя на пресс-конференции в Госдепартаменте.

На данный момент по этому поводу у меня нет для вас никакой информации.

— Отвечай, Флоренс.

— Нет, нет. Думаю, сейчас уже нет.

Лейла повернулась к эмиру:

— Ну вот, слышал? И к чему весь этот переполох?

Эмир с подозрением обвел взглядом стоящих перед ним женщин.

— Если я узнаю, — изрек он, — что вы сговорились, пеняйте потом на себя. Я вас предупредил.

— А не пора ли нам обсудить твой предстоящий разговор с месье Вальмаром?

Вскоре доложили о приходе французского посла. Лейла и Флоренс удалились через заднюю дверь до того, как он успел войти в комнату.

— Тебе следовало хоть как-нибудь предупредить меня о том, что ты собираешься сознаться, — с упреком сказала Лейла.

— Сознаться в чем?

— В том, что ты американская шпионка.

— Я не шпионка, Лейла. И никогда ею не была.

— Ладно, теперь уже не важно. Ситуация, похоже, немного стабилизировалась. Однако Арабской Швейцарии можно теперь смело сказать au revoir.

— Да уж, — согласилась Флоренс. — Ситуация все больше напоминает классический Ближний Восток.

Когда Флоренс вернулась к себе, неожиданно зазвонил ее мобильник. Она ответила на звонок и тут же поморщилась, узнав голос.

— А *вам-то* что надо? — раздраженно спросила она.

— Не самое теплое приветствие, — сказал дядя Сэм. — А я изо всех сил пытаюсь тебе дозвониться.

— Да вы что? Надо же, как странно. Я вам несколько раз звонила и все время попадала на неработающий номер. У меня почему-то возникло чувство, что от меня решили избавиться.

— Да это всё телефоны. С ума когда-нибудь меня сведут.

— Я вас умоляю. Чего вы хотите? У меня нет времени.

– Нам надо поговорить, Флоренс.

– Говорите.

– Не по телефону. Я высылаю за тобой самолет. Еще раз. Он уже через два часа будет в Матаре. Это не просьба, юная леди.

– Я больше не работаю на вас, – сказала она и услышала его вздох. – Если хотите, могу прислать заявление об уходе. Я рассказала им о вас.

– Кому рассказала?

– Эмиру и Лейле. Просто камень с души свалился.

– Боже мой, Флоренс, ну зачем ты это сделала?

– Я устала от вранья. Извините.

– Ты переметнулась. Что ж, такое бывает. Практически каждый посол, которого мы отправляем за границу, в конце концов начинает защищать интересы той страны, а не США. К счастью, существует лекарство.

– Да вы что? И какое?

– Ты садишься в самолет и летишь *домой*. А на следующий день просыпаешься – и все, что случилось, кажется тебе лишь сном.

– Я вернусь домой, когда тут все закончу.

– Ты уже все там закончила. Ну что мне, парней из "Дельта форс"[1] за тобой высылать? Не думай, что я не решусь на это. Флоренс, *не вынуждай меня самого лететь за тобой.*

– До свидания, Сэм. Спасибо за все.

– Это из-за Лейлы?

– Не поняла вас.

– Ну, эти слухи... Они правдивы? У тебя с ней, как бы это выразиться... Что-то закрутилось?

– Вы хоть понимаете, что говорите?

– Ты знаешь, мы ведь очень внимательно слушаем, что там у вас происходит. И слышим много всякой болтовни насчет тебя и Лейлы. Это очень опасно. Ты сама знаешь арабов с их непомерным мужским самомнением.

– А у нас разве по-другому?

– Ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю. Мы обязаны забрать тебя оттуда. *Немедленно.*

– Не полагайся на женщин, / Не доверяй их сердцам, / И радости и печали / Присущи лишь их телам.

– Ты это к чему?

– Это стихи из "Тысячи и одной ночи". Послушайте, я дала обещание остаться и довести все до конца.

– Обещание? Кому?

– Моей лесбийской возлюбленной, Лейле.

– Флоренс, послушай...

– До свидания, Сэм.

Нажав кнопку отбоя, Флоренс испытала огромное облегчение. Она несколько секунд смотрела на этот мобильный телефон, который вручил ей Бобби и который был ее единственной связью с бывшим начальством, и он, разумеется, снова зазвонил. Она хотела нажать на кнопку приема, но потом передумала. Ей было известно о том, что на Ближнем Востоке сотовые телефоны часто использовались для устранения нежe-

1. Войска специального назначения для выполнения операций в тылу противника.

лательных лиц. Идея принадлежала израильтянам. Это они придумали закладывать несколько грамм пластида С4 в динамик.

Неужели они смогут так поступить?.. Флоренс отложила телефон в сторону и осторожно отступила от него на несколько шагов, прислушиваясь к звонкам.

– Ой! – вздрогнула она.

– Простите, Флоренс.

Она наткнулась спиной на своего ассистента.

– С вами все в порядке? – спросил он.

– Да, все хорошо.

– Мы не можем найти Фатиму.

Телеведущая Фатима Шам этим утром не пришла на работу. Сотрудники канала звонили ей домой, на сотовый, ее бойфренду и матери. Она исчезла.

Флоренс позвонила Лейле.

– Я свяжусь с полковником Бутросом, – ответила та. – Когда ее видели в последний раз?

– Вчера вечером, когда она уходила из студии.

– Хорошо, я этим займусь. Кстати, Газзи разошелся не на шутку. Задал жару французскому послу из-за этого подкупа священнослужителей. На месье Вальмаре лица не было, когда он уходил. По-моему, Газзи не чувствовал себя таким могущественным с тех самых пор, как отправил в ссылку свою мать. Боюсь, как бы мы с тобой не создали нового Франкенштейна.

Пока полиция занималась поисками Фатимы, Флоренс пыталась сосредоточиться на работе. К этому моменту накопилось множество новостей, которые необходимо было давать в эфир.

Малик снова рвался в бой. Он призвал своих последователей собраться на гоночном треке для общей "молитвы". Эмир не дал разрешения на это сборище. Поэтому муллы обвиняли его теперь в том, что он "продает ислам неверным". Газзи в ответ на это засадил кое-кого из них в тюрьму и национализировал их "мерседесы". Вдобавок он сделал публичное заявление, в котором указал на закон, запрещающий собираться на митинги без соответствующего разрешения эмира. Этот закон был принят третьим эмиром (1627–1641). Современные ученые мужи склоняются к мнению, что он страдал от агорафобии – весьма необычного для обитателей пустынных пространств психического заболевания.

Французы тем временем отрицали свое участие в тайном переводе денег матарским священнослужителям. Возмущенно размахивая руками, они отрицали также самоё существование 11-го отдела, агенты которого между тем усердно размещали во всех арабских СМИ статьи о династии бен Хаз. Согласно этим статьям вся династия матарских эмиров являлась оплачиваемым филиалом правительства Соединенных Штатов.

Принцесса Хамзин все с тем же отсутствующим взглядом переместилась в сопровождении своего мужского эскорта из Парижа в Лондон, где ее усиленно снимали в универмагах "Хэрродс" и других роскошных заведениях. Компания "Американ экспресс" получала от этой гонки по магазинам огромные барыши. Васабия по-прежнему яростно требовала извинений от канала ТВМатар.

Были и другие новости с Ближнего Востока: в палестинских школах ввели новый Интернет-курс для начинающих террористов-смертников; в Израиле под Старым Городом американские археологи обнаружили свиток, датируемый первым столетием нашей эры и удостоверяющий брак между плотником из Назарета по имени Иешуа и бывшей проституткой Марией из города Магдала. Эта находка вызвала на несколько месяцев настоящую сенсацию, пока углеродный анализ и детективное расследование не привели сыщиков в рекламный отдел одного нью-йоркского издательства, где, собственно, и был создан этот замечательный документ.

Через три дня после исчезновения Фатимы у дверей канала ТВМатар была обнаружена небольшая коробка. В ней оказалась не бомба, как многие ожидали, а видеокассета, на которой было записано убийство Фатимы. Девушку закопали по горло в песок и забросали мелкими камнями. Запись длилась двадцать минут. Все, кто смотрел ее, не могли сдержать слез.

Флоренс отвезла кассету Лейле. Она не в силах была увидеть это еще раз и потому оставила Лейлу в одиночестве.

Флоренс ждала ее на террасе, глядя на лунную дорожку, пересекающую залив. Она прислушивалась к журчанию фонтанов и чувствовала, как мельчайшие соленые брызги оседают на ее коже. Наконец, к ней подошла Лейла. Она была бледна и подавлена. Ни та, ни другая не произнесли ни слова. Они стояли рядом, опираясь на балюстраду, и смотрели в сад, прислушиваясь к шелесту волн и шороху морского бриза в листьях прибрежных пальм.

Глава двадцатая

— Это ужасно, — сказал эмир. — У меня просто нет слов. И тем не менее у нас нет доказательств.

— Доказательств? — воскликнула Флоренс. — Да кто еще это мог быть, кроме них?

— Послушайте, чего вы добиваетесь? Хотите развязать войну? Да, это ужасно и отвратительно. И я сделаю все, чтобы узнать правду, однако ни при каких обстоятельствах вы не дадите в эфир эту запись. Подобный шаг лишь сыграет на руку тем, кто это совершил.

— Эмир, — сказала Флоренс, — эта девушка была гражданином вашей страны. Она жила под вашей защитой. Неужели ваш народ стал теперь обыкновенной дичью, на которую охотники из Васабии могут охотиться, как на газелей?

— Разумеется, нет. И я не уверен, что мне нравится ваш тон, мадам.

— Простите. Я забыла, что обращаюсь к новому Саладину.

— Ваше положение здесь и без того достаточно шаткое, чтобы еще осложнять его дерзостью. Я думаю, Лейла, тебе лучше проводить нашу гостью из дворца.

— Газзир, — сказала Лейла, — ты не можешь оставить это без ответа. Скорее всего, это действительно был акт возмездия, но также и вызов, проверка твоей решительности.

— А что бы ты сделала на моем месте?

— По меньшей мере, показала бы всему миру, что они сделали с этой женщиной.

— Но мы же не знаем, *кто* сделал.

— И все равно покажите, — сказала Флоренс. — Пусть мир сам делает выводы.

— Нет, вы явно хотите войны, мадам ЦРУ, — всплеснул руками эмир. — Но в этом деле я вам не помощник. Вы приехали сюда, чтобы все разрушить. Радуйтесь — вам это удалось. Не надо было вообще приезжать к нам. Ваше счастье, что не вы засняты на той пленке.

— Газзир! — возмущенно воскликнула Лейла.

— Нет-нет, — остановила ее Флоренс. — Он прав. Это меня должны были убить.

— Я не собираюсь начинать джихад лишь для того, чтобы удовлетворить ваше желание стать мученицей. А теперь — извините. У меня очень мало времени. Вы обе можете быть свободны.

Лейла проводила Флоренс до машины и в последнюю минуту шепнула ей на ухо, стараясь, чтобы не услышал охранник:

— Завтра в десять утра. У "Старбакса".

Приставленный с недавних пор к Флоренс "телохранитель", разумеется, не входил вместе с ней в туалетную комнату, расположенную за режиссерским помещением. На следующее утро в девять часов Флоренс взяла абайю, которую держала в ящике стола у себя в кабинете, и прошла в туалет, а затем выбралась на крышу. Оттуда она спустилась по пожарной лестнице и прошла пешком три квартала до небольшого гаража, где стоял автомобиль, именуемый Бобби безопасным. Теоретически.

Поворачивая ключ в замке зажигания, Флоренс на секунду перестала дышать. Машина не взорвалась. Через двадцать минут Флоренс добралась до кафе в торговом центре, рядом с которым под фикусом ее поджидала знакомая фигура в белом с двумя большими стаканами кофе в руках.

— Не представляю, как можно пить с этой дурацкой тряпкой на лице, — чертыхнулась Лейла.

— Попробуй через соломинку.

— Вчера, после того как мы ушли, ему позвонил... О боже, теперь я сама стала шпионкой. Ты точно больше не работаешь на них, Флоренс? Скажи мне правду.

— Нет. Теперь, кроме нас с тобой, в этом деле никого не осталось.

— Ладно. Ему звонил король Таллула. И я подслушала весь разговор.

— Каким образом?

— У меня есть специальное устройство. Поверь, я завела его не из праздного любопытства. Когда у тебя маленький сын, о котором надо заботиться, то... Сама понимаешь. Знание — сила.

— И что они обсуждали?

— Всеарабский саммит в Бахрейне. Таллула говорил, как ему не терпится повстречать там эмира. И как он весь испереживался. И какая это большая честь для Матара. И тэ дэ и тэ пэ. Я чуть не взвыла от злости.

— Они говорили про Фатиму?

— Обсудили это в своей обычной манере: "Какое неприятное обстоятельство". — "Да, такое несчастье". Понимаешь, они теперь квиты. Так

что им не было уже никакого смысла друг на друга давить. А поэтому — пусть начнется веселье. Я как будто своими глазами увидела их в шатре с блестящими от бараньего жира подбородками. Это было ужасно, Фьоренца. Ведь я когда-то любила его. Даже несмотря на его гарем. Но после того, что я услышала вчера... Нет. Я не могу больше любить этого человека.

Они посидели некоторое время молча. Первой заговорила Флоренс:

— Его пытаются выманить из страны... Всеарабское совещание... Вот когда это случится. Вот когда они сделают свой ход.

— Да.

— А он послушает тебя, если ты ему скажешь об этом?

— Сейчас? Скорее всего, он решит, что мы с тобой продолжаем водить его за нос, соблазняя мантией нового Саладина.

— Понятно. И что мы предпримем тогда?

— Прежде всего мне необходимо вывезти сына.

— Тебе нужна моя помощь?

— Лучше не надо. Но мне потребуется на это день или два. У меня сестра живет в Англии. И есть кое-какие банковские счета. На черный день, так сказать. На случай дождя. В пустыне у нас не часто бывают дожди, но если уж польет — все затопит.

— Значит, тебе понадобится как минимум сорок восемь часов.

— Фьоренца, я знаю — ты говорила, что будешь со мной до конца. Это очень благородно с твоей стороны, но... Просто мне кажется, тебе лучше покинуть Матар прямо сейчас.

— Еще рано. Я должна все это закончить. А потом я уеду вместе с тобой, — Флоренс улыбнулась. — И смогу досмотреть последствия на телевизионных экранах во франкфуртском аэропорту. Знаешь, как я к ним привыкла в своей режиссерской комнате.

— Боже мой, — сказала Лейла. — Что с нами будет?

— В ту ночь в больнице Фэрфакс Назра спросила у меня то же самое.

Они поднялись со скамейки и пошли в сторону эскалаторов.

— Я бы поцеловала тебя на прощание, — сказала Лейла. — Но давай не будем шокировать всю эту милую публику.

Три дня спустя зрители канала ТВМатар с удивлением увидели новую ведущую шестичасового выпуска новостей. Это была привлекательная темноволосая женщина лет тридцати, которая вполне могла сойти за арабку, однако имя у нее было явно итальянского происхождения.

— Девушку, которая постоянно ведет новости на нашем канале, — начала Флоренс, — зовут Фатима Шам. Фатима исчезла после выпуска новостей, в котором она сообщила о том, что королевское семейство Васабии приговорило одну из своих принцесс к смертной казни через побивание камнями. Преступление этой принцессы состояло в том, что она обратилась к своему королю с просьбой прекратить притеснение женщин. Предпринятые полицией поиски мисс Шам не принесли никаких результатов. Однако четыре дня назад к нам на канал была анонимно доставлена видеозапись. Сейчас вы увидите ее. Предупреждаю — на ней запечатлено убийство мисс Шам. Если у вас не хватит мужества или желания наблюдать за тем, как молодую женщину медленно убивают камнями, вам лучше выключить телевизор. Если в комнате рядом с ва-

ми находятся дети, попросите их выйти. Мы показываем эту запись по моей личной инициативе. И всю ответственность за показ я беру на себя, преследуя лишь одну цель: почтить память храброй женщины, осмелившейся высказаться против ужасной несправедливости и за это зверски убитой. Термин "мученик" давно потерял свое истинное значение. Сейчас вы станете свидетелями подлинного мученичества.

Флоренс заранее проинструктировала своих сотрудников, чтобы те отключили все телефоны и забаррикадировали все двери, ведущие в режиссерское помещение. Она также распорядилась перевести источник питания на аварийный генератор, чтобы трансляция продолжалась даже в том случае, если подача энергии будет отключена извне.

Запись прошла в эфире полностью. Хотя все сотрудники уже ее видели, они снова не могли сдержать слез. Сама Флоренс изо всех сил старалась держать себя в руках. Она предусмотрительно не стала красить глаза, чтобы избежать черных потеков.

После того как пленка закончилась, Флоренс понадобилось еще несколько секунд, чтобы собраться с силами и продолжить:

– До сих пор неизвестно наверняка, кто совершил это деяние. Однако известно, что этот метод казни постоянно применяется в королевстве Васабия. Фатиме Шам было двадцать шесть лет. Она навсегда покинула свою семью, своих друзей, своих коллег и миллионы своих сестер во всем арабском мире. *Этемен аан моувт'ха йекун айнди манаа.*

Через несколько минут в железную дверь режиссерского помещения начали сильно стучать. Сотрудники канала были настроены весьма решительно. Они вооружились огнетушителями, пожарными топорами и стальными трубами. Глядя на них, Флоренс испытала смешанное чувство гордости и горечи от бесполезности их усилий.

– Нет, нет, – приказала она. – Положите все это на пол.

Она отстегнула микрофон, посмотрела на себя в зеркало и подошла к двери. Затем жестом попросила стоявшего рядом с ней техника, уже замахнувшегося было мусорной корзиной, просто помочь ей открыть дверь. В следующую секунду в помещение ворвалось несколько человек с оружием в руках.

Флоренс обратилась к ним строгим тоном:

– Опустите ваше оружие. Мы не вооружены.

Ворвавшиеся замерли, удивленные этой неожиданной смелостью. Затем один из них, судя по всему командир, подошел к ней и наотмашь ударил ее по лицу. Она потеряла равновесие и упала на пол. Техник, не выпуская корзины, сделал шаг к тому, кто ударил Флоренс, и тут же получил рукояткой пистолета в лицо. Во все стороны брызнула кровь. Флоренс почувствовала, как на ее запястьях защелкнулись холодные наручники. Затем ее подняли на ноги и выволокли наружу.

На улице ее бросили на заднее сиденье автомобиля и накрыли голову одеялом. Было ли это сделано для того, чтобы унизить ее, или для того, чтобы она не смогла увидеть, куда ее везут, Флоренс приходилось только догадываться.

Она знала, где полицейское управление, и по движению автомобиля пыталась вычислить – туда ли ее везут. После пятнадцати минут бесконечных поворотов, которые она уже не могла сосчитать, Флоренс потеряла всякую ориентацию. Руководитель группы, сидевший впереди, не отвечал на ее вопросы.

До границы с Васабией было не больше пятнадцати километров, и, разумеется, это направление было наименее желательным. Впрочем, существовал и другой вариант развития событий: ее могла ожидать та же участь, что и несчастную Фатиму. Флоренс представила себе, как машина останавливается, с ее головы стягивают одеяло, и она видит глубокую яму в песке, а рядом с ней — корзину с маленькими камнями и видеокамеру на штативе. Потому что они, разумеется, будут снимать и эту казнь тоже.

Лицо у нее запылало, и она почувствовала, что ее сейчас стошнит. Однако, представив себя во время казни перепачканной в собственной рвоте, нашла в себе силы справиться с тошнотой. Если такова ее участь, то надо принять ее с достоинством и высоко поднятой головой и, может быть, даже крикнуть своим убийцам: "Да пошли вы все на хрен!" Впрочем, для финальных слов надо было придумать что-нибудь поэлегантней. И Флоренс всерьез задумалась — что бы ей такое крикнуть.

Так прошло около получаса. Наконец автомобиль сбавил ход, сделал еще несколько поворотов и остановился. Послышались какие-то голоса. Флоренс выволокли из машины и, подхватив под руки, повели по каменному полу. Она вспомнила, что в Госдепартаменте во время занятий по поведению заложников ее учили подмечать любую деталь, однако с одеялом на голове сделать это было довольно сложно.

"Так, значит, здесь каменный пол, — думала она. — Надо запомнить".

Впрочем, это был самый обыкновенный пол. Ничего особенного в нем не было.

Глава двадцать первая

Ее завели в какое-то помещение без окон, которое запросто могло служить прохладным хранилищем продуктов — лимонов из Каффира и дынь из Дамаска. Однако сейчас этому помещению была явно предназначена другая, менее приятная функция. Тяжелая дверь глухо захлопнулась за спиной Флоренс, и она огляделась. Деревянные стул и стол, голая лампочка под потолком, убогая железная кровать и пластиковое ведро — все здесь выглядело очень негостеприимно. Несколько странно смотрелась видеокамера, закрепленная на штативе.

Дверь впервые открылась, когда часы Флоренс, исцарапанные наручниками, показывали три часа ночи. Человек, который вошел в подвал, был в европейском костюме, напоминавшем военную форму без знаков отличия.

— Вас высылают, — сказал он и положил на стол перед ней несколько листков бумаги. — А вот куда высылают — зависит от вас.

Она заглянула в бумаги. Это было признание, написанное в форме сценария. Судя по всему, ей предстояло прочесть его вслух перед видеокамерой.

В этом тексте Флоренс сознавалась в "неестественной и аморальной связи" — однако не с женой эмира, а со своей коллегой по каналу ТВМатар Фатимой Шам. Флоренс уже довольно поднаторела в журналистике, чтобы сразу увидеть самый важный абзац. После этого она продолжила чтение. Далее она признавалась в попытке шантажа королевской семьи Хамуджей государства Васабия. Ее "постыдный замысел"

заключался в том, чтобы получить с них двадцать миллионов долларов. Когда они отказались – "как, слава Всевышнему, и должны были поступить", – ее любовница Фатима Шам рассказала в эфире "злобную и лживую" историю о принцессе Хамзин.

"Кто-то над этим хорошо потрудился", – подумала Флоренс.

Далее говорилось о том, что Флоренс со своими "сообщниками" отомстили "благородным васабийцам", убив Фатиму самым жестоким образом и отправив видеозапись в Каффу, угрожая показать ее по телевидению и обвинить их в убийстве, если не будет заплачено теперь уже сорок миллионов долларов. И опять "честные" васабийцы не поддались на шантаж. А после этого "полиция" – в сценарии не было указано, чья конкретно, – схватила ее. Флоренс не могла больше терпеть угрызений совести за все ужасные поступки, которые она совершила, и поэтому теперь записывала на пленку вот это вот "искреннее признание". Текст завершался извинениями перед эмиром Матара и королем Васабии за все, что она натворила, будучи гостьей на их "священной" земле.

– Все ясно, – сказала она, дочитав до конца и поднимая взгляд на своего сурового тюремщика. – Похоже, я не сидела тут сложа руки.

Он нажал кнопку записи на видеокамере и кивнул:

– Начинать.

Флоренс посмотрела в объектив.

– Меня зовут Флоренс Фарфалетти, – сказала она. – Я американская гражданка. Меня держат в каком-то подвале неизвестного мне здания. Здесь немного сыро, но в остальном – терпимо. Спасибо за внимание.

Мужчина нажал кнопку "стоп".

– Пожалеть, когда окажешься в Каффе.

Он подошел к ней, и Флоренс зажмурилась, думая, что он сейчас ударит ее. Однако вместо этого он снял с нее наручники.

– Ты телевизионной студией руководишь, – сказал он, указывая на видеокамеру. – Вот тебе телевидение. Я через два часа вернуться. Чтобы запись к этому времени была готова.

Весь следующий час она провела, тщательно обследуя свою тюремную камеру. Попыталась даже вытянуть из кровати кусок металлической проволоки, чтобы сделать из нее отмычку и открыть замок, но отказалась от этой затеи через пять минут. Проблема состояла в том, что она не умела взламывать замки. Ее обучали основам этого навыка во время двухдневных курсов для потенциальных заложников дома, в Виргинии, но она так и не освоила эту науку. Потом ей пришло в голову сломать видеокамеру и тем самым выиграть какое-то время, но и эта идея в итоге показалась глупой. Возможно, единственное, что ей оставалось, это начать говорить перед объективом и продолжать болтать без умолку, как новая Шахерезада эпохи видео, но так и не произнести окончательного признания до тех пор, пока не кончится пленка и счетчик застынет на отметке 1001.

Затем она попыталась представить себе, что происходит сейчас в Вашингтоне. Чем занят в эту минуту дядя Сэм? Предпринимает что-то или стирает файлы в своем компьютере? А может, сидит где-нибудь в ресторане за бокалом мартини или стаканом пива "Портерхаус" с кружочками лука?

Она почувствовала, что скучает по Бобби. И по Джорджу. И по Рику. Джордж с Риком вряд ли помогли бы ей сейчас, но зато хоть чуть-чуть подняли бы настроение. От страха и усталости у нее раскалывалась голова. Она закрыла глаза и вообразила боевую рубку американской атомной подлодки, снизу разрезающую зеркально гладкую поверхность моря напротив змеиного пляжа.

А где сейчас Лейла?

Часы летели один за другим.

Около семи утра она услышала скрежет ключа в замке. Сердце ее забилось. Дверь открылась, и в подвал вошел ее тюремщик, а с ним еще один человек – палач, судя по виду. Тюремщик подошел к видеокамере и взглянул на счетчик, который все еще стоял на отметке 003. Лицо его исказилось от злости. Он кивнул палачу, и тот вынул девятимиллиметровый пистолет и приставил дуло к голове Флоренс. Дуло было таким же холодным, как стетоскоп в кабинете врача. Флоренс судорожно сглотнула и закрыла глаза.

– Ты делать признание?

– Нет.

– Убей ее, – сказал тюремщик.

Флоренс снова закрыла глаза и почувствовала запах оружейного масла. Она вдруг задумалась о том, как они поступят с ее телом. Может, скормят акулам, которые водятся за рифами? А крабы завершат пиршество. Она представила свои собственные белые кости, покоящиеся на дне моря в ярко-синей воде.

Давай, не тяни, сволочь.

Курок щелкнул, но выстрела не последовало. У Флоренс вырвался крик, и она открыла глаза. Ее мучители злобно улыбались, но по их глазам было видно, что они осознают свое поражение. Наконец они ушли. Флоренс встала и пнула пластиковое ведро. Оно пролетело через весь подвал и отскочило от стенки. В следующую минуту от пережитого ужаса и полного истощения сил она потеряла сознание.

В своих грезах ей хотелось пить. Ей очень, очень хотелось пить. Она кусала губы, чтобы напиться хотя бы своей собственной кровью. Вокруг нее была пустыня. Настоящее пекло. Во время штурма Акабы было так жарко, что на руках Лоренса Аравийского вздувались пузыри, когда он касался металлических частей своей винтовки. А еще там была подводная лодка. *Откуда подлодка посреди пустыни? Не задавай вопросов. Поднимайся на борт... Слышишь?.. Они зовут тебя.*

– Какой сегодня день? – спросила она.

– Четверг.

До того как в подвале появился полковник Бутрос из королевской полиции Матара с двумя подчиненными, Флоренс провела в заключении целых пять дней.

– Хвала Всевышнему, вы теперь в безопасности, мадам. Вы целы? Что они с вами сделали? Вы видели их лица? Можете их описать?

Когда ее вывели наружу, она увидела, что ее держали в подвале какого-то заброшенного фабричного здания на окраине Амо-Амаса. По дороге в полицейское управление она успела задать полковнику Бутросу не менее сотни вопросов. Отвечая на них, он явно следил за тем, что го-

ворит. А когда они прибыли к управлению, их ожидала целая толпа репортеров с камерами. Полковник Бутрос выбрался из машины и подбоченился, позируя рядом с Флоренс для фотокамер.

– Хвала Всевышнему, – громогласно объявил он. – Мы нашли ее!

Какой-то телевизионный репортер сунул ей под нос микрофон и спросил:

– Фло-ренц, вы провозгласите теперь завершение полового джихада матарских женщин?

– Завершение чего?

– А вы разве об этом не знали?

– Я просидела в подвале пять дней.

– Женщины Матара из-за вас объявили джихад. Против всех мужчин эмирата.

– И как они это сделали?

– После того как вас схватили и увезли, жена эмира выступила по телевидению и призвала всех женщин Матара не вступать в связь со своими мужьями до тех пор, пока вас не вернут. Сегодня в Матаре многие мужчины радуются вашему возвращению.

В этот момент завыли сирены, и к толпе подъехал двенадцатиметровый белый лимузин с королевским гербом в сопровождении эскорта мотоциклистов. Из машины выглянул Фетиш, слуга эмира. Сально улыбаясь, он обратился к Флоренс:

– Воистину хвала Аллаху за то, что он вернул вас целой и невредимой!

После этого ее повезли во дворец.

Там ей предоставили отдельную комнату, где она смогла привести себя в порядок. Затем Флоренс провели в церемониальные покои эмира. Когда она вошла, ее ослепила вспышка фотокамеры. Это был официальный фотограф. Самое необычное заключалось в том, что эмир встретил ее не только стоя, но даже пошел ей навстречу. Он обнял ее и нежно поцеловал в лоб, в то время как камера продолжала сверкать вспышкой, заливая их ослепительно ярким светом. Лейла стояла чуть в стороне и внимательно наблюдала.

– Дорогая сестра, – сказал эмир. – Как тяжело вам пришлось! И как мы были обеспокоены!

Он все еще продолжал позировать перед камерой. Наконец Фетиш махнул рукой, и фотограф исчез. В покоях остались только эмир, Флоренс и Лейла. Флоренс почувствовала, что между женой и мужем опять пробежала черная кошка.

– Как вы себя чувствуете, дорогая Флоренс? – спросил эмир. – Я в ужасе, я просто в ужасе от того, что произошло. Если честно, – заговорил он мягким покровительственным тоном, – вам не следовало делать всего того, что вы сделали. Это не розыгрыш американского Суперкубка, где все можно решить при помощи телевидения. Вы даже не представляете, *какие* проблемы у меня возникли из-за вас с моими соседями. Они подтянули танки – танки! – к моей границе. Даже ваше правительство было крайне взволновано. *Крайне* взволновано. Наверняка они думали: "О боже, только бы не новый Кувейт". Между Вашингтоном, Каффой и Амо-Амасом состоялось множество переговоров. Я даже смотреть не хочу на телефонные счета. Впрочем, ладно, все это уже позади. А теперь садитесь, садитесь, бога ради. Хотите чаю? Или чего-нибудь

покрепче? Виски? Я и сам не откажусь. Хвала Всевышнему за усердие полковника Бутроса.

Флоренс посмотрела на Лейлу, которая со значением подняла брови, как будто хотела сказать: "Просто подыгрывай".

— Да, — сказал эмир, заметно выпрямляя спину (правило номер один — всегда сиди прямо, когда нагло врешь). — Это его люди нашли вас, и, надо сказать, вовремя. Один лишь Всевышний знает, какие злодейства они собирались с вами совершить.

— Хвала Всевышнему за моего спасителя полковника Бутроса, — сказала Флоренс.

— А вы разглядели их лица? — участливо спросил эмир. — Мы выследим их. Им больше не будет покоя. Хотя, возможно, они уже пересекли границу.

— А вы думаете... мои похитители были... васабийцы?

— Конечно. Ни один гражданин Матара не способен на такие варварские деяния.

Лейла что-то проворчала себе под нос. Эмир напрягся.

— Моя жена очень беспокоилась за вас, — продолжал он. — Как и все мы, разумеется. Она отправилась на телевидение и обратилась ко всем женщинам Матара с просьбой воздержаться от... естественных супружеских обязанностей до тех пор, пока вас не найдут.

— У Аристофана это сработало, — едко сказала Лейла.

Эмир поморщился.

— Это, разумеется, тоже вдохновляло нас на ваши поиски. Теперь весь Матар, и особенно мужчины, радуется вашему возвращению. Очень жаль, что вы не сможете задержаться у нас подольше. Учитывая сложившиеся обстоятельства, мне кажется, вам лучше покинуть Матар. Мне будет очень вас не хватать, Флоренс. Вы так оживили наше маленькое скучное королевство. Но прежде чем вы уедете, мне понадобится ваша помощь в одном небольшом деле.

— А почему не в двух или в трех, мой повелитель?

— А! Я вижу, это ужасное происшествие отнюдь не лишило вас чувства юмора. Блестяще, блестяще. Просто мне нужно, чтобы вы сделали одно маленькое заявление.

— Мои похитители хотели от меня того же.

— О нет, это совсем другое, — сказал эмир, пожалуй, слишком поспешно. — Мне нужно, чтобы вы помирили меня с женщинами Матара. Видите ли, так получилось, — он сердито посмотрел на Лейлу, которая ответила ему холодным презрительным взглядом, — что кое-кто создал общественное мнение, будто наше правительство было в недостаточной степени обеспокоено этим ужасным похищением. Разумеется, это абсолютная неправда. Вы ведь поможете нам изменить это мнение до своего отъезда?

Флоренс холодно посмотрела на эмира.

— Как прикажет мне ваше величество.

— Вы очень simpatico, Флоренс, это в вас говорит итальянская кровь. Я всегда *обожал* итальянцев, хотя при Муссолини они вели себя не очень прилично. Значит, вы восстановите мир между мной и всеми этими женщинами? Замечательно, замечательно. Ну что же, тогда разрешите откланяться. Просто не знаю, как я смогу отплатить вам за то,

что вы для нас сделали. Вы непременно должны как-нибудь приехать к нам еще раз. Ах да, чуть не забыл! Презент!

Эмир хлопнул в ладоши, и в комнате появился Фетиш с черной коробочкой в руках. Эмир открыл ее. Внутри лежала богато украшенная эмалью и золотом медаль в форме львиной головы над двумя скрещенными мечами. Так выглядела государственная эмблема Матара.

— Орден Королевского льва Матара первой степени, — гордо сказал эмир, вручая награду. — Женщина получает его впервые.

Флоренс перевела взгляд на Лейлу, которая насмешливо закатила глаза.

Флоренс слегка поклонилась:

— Это великая честь, мой повелитель.

— Поторопитесь домой, моя дорогая. Поторопитесь домой. Лейла, ты не проводишь Флоренс?

По дороге к машине Флоренс и Лейла успели тихонько поговорить.

— А что это за история с половым джихадом? — спросила Флоренс.

— Не иронизируй. Мой план сработал. В течение пяти дней ни один матарский мужик не смог переспать с женщиной. За исключением моего мужа. Мощный стимул, я тебе скажу. И тем не менее если бы не этот твой мистер Тибодо, ты бы, наверное, все еще сидела в подвале. После того как тебя увезли, он тут перевернул все вверх дном.

— Бобби? А он...

— Ждет тебя у входа. У него теперь совсем новый имидж. На мой взгляд, очень смелый. Передай ему, пожалуйста, мои комплименты по этому поводу.

Глава двадцать вторая

Флоренс услышала крики толпы еще до того, как они с Лейлой вышли из парадной двери дворца.

— Что это? — спросила она у Лейлы.

— Твои фаны, моя дорогая.

На площади перед дворцом собрались тысячи людей. Большинство из них были женщины. Увидев Флоренс, они начали улюлюкать, как это обычно делают женщины на Востоке, хотя подобная традиция уже довольно давно была забыта в прогрессивном Матаре. Потом они принялись скандировать:

— Фло-ренц! Фло-ренц!

Самой Флоренс, стоявшей перед ними на мраморных ступенях, ее собственное имя почему-то вдруг показалось похожим на название какого-то цветочного освежителя воздуха. Толпа хлынула вперед, окружив ее, каждый старался к ней прикоснуться. В руках у нее вдруг оказались цветы. Дворцовая стража попыталась оттеснить всех этих людей, но безуспешно.

Лейла тем временем была занята контролем над установленными заранее телекамерами, чтобы ни один момент этой встречи не оказался упущенным для канала ТВМатар и, следовательно, для миллионов его зрителей. В последнее время она вообще стала подмечать за собой ух-

ватки профессионального продюсера реалити-шоу, и это несколько пугало ее.

– Фло-ренц! Фло-ренц!

Лейла склонилась к Флоренс и прокричала ей в ухо:

– Думаю, тебе надо сказать им что-нибудь, иначе они тебя не отпустят.

– Но...

– И не забудь поблагодарить Газзи, а то ты *никогда* не уедешь отсюда.

Флоренс покраснела и проглотила комок, вставший вдруг у нее в горле. В этот момент она чувствовала себя скорее крайне уставшей, чем торжествующей, но тем не менее подняла руки над головой, чтобы успокоить толпу. В ее сознании мелькнул образ актера Питера О'Тула, бегущего по крыше одного из вагонов начиненного динамитом турецкого поезда. Она попыталась выбросить его из головы, но не смогла. Знаменитый фильм продолжал прокручиваться перед ее внутренним взором. В следующее мгновение она вспомнила раненого турка, который стреляет из пистолета в плечо О'Тулу, и эта картина заставила ее посмотреть на толпу уже другими глазами. Флоренс стало страшно. Большинство женщин на площади были в европейских платьях, однако среди них было немало и в традиционных абайях. Быть может, антрополог из Чикагского университета не врал – наверное, не все арабские женщины хотели освобождения от мужского ига. Флоренс со страхом подумала, как легко ее убить прямо сейчас. Под любым из этих просторных одеяний могло скрываться оружие.

Тем не менее этот страх вдохновил ее. Резким жестом она заставила толпу замолчать. Люди на площади повиновались. Она открыла рот, чтобы к ним обратиться, но не нашла слов. Только сейчас она заметила, что по щекам ее текут слезы.

– Дорогая, – настойчиво сказала ей Лейла. – Надо собраться. Возьми себя в руки.

В этот момент Флоренс услышала мужской голос с отчетливым южным акцентом. Голос сказал:

– Черт возьми, девушка, ты что-нибудь скажешь этим своим поклонницам или так и будешь стоять разинув рот, как будто выиграла конкурс "Мисс Америка"?

Голос принадлежал женщине, облаченной в оранжевую абайю. Флоренс обернулась и посмотрела на Лейлу, но та лишь усмехнулась и подмигнула.

Первым импульсом Флоренс было немедленно броситься в объятия к этому оранжевому видению. Однако в следующую секунду она поняла, что начать обниматься на виду у всех с переодетым в мусульманскую женщину агентом ЦРУ – не лучшее, что следует сделать по случаю празднования победы феминистских идей.

– Ну так чего? – сказало существо в оранжевом одеянии. – Скажи им что-нибудь. Или будем торчать здесь целый день?

Флоренс еще выше подняла правую руку, и толпа перед ней окончательно смолкла.

– Хвала Всевышнему, сестры. Я счастлива снова быть с вами. И думаю, что ваши мужья счастливы тоже!

Толпа одобрительно загудела.

– Я благодарна всем вам, а также жене эмира.

Лейла помахала рукой и негромко проговорила, не поворачивая головы:

— *Не забудь про Газзи.*

– И, конечно, я благодарна эмиру, — сказала Флоренс, — Льву Матара, новому Саладину... — Флоренс изо всех сил старалась не рассмеяться. — Рыцарю... и защитнику арабских женщин... по всему миру!

— Тебе не кажется, что ты чуть-чуть перебарщиваешь, дорогая?

Выражение лица Флоренс не ускользнуло от внимания Матарского Льва, сидевшего перед телевизором в своем кабинете.

"Сука", — мрачно подумал он.

Однако толпа была счастлива, и это в конечном итоге было самым важным. Тем более что через несколько часов сука будет уже в самолете — и скатертью ей дорога.

Толпа продолжала скандировать: "Фло-ренц! Фло-ренц!" Лев Матара нащупал пульт дистанционного управления и, нажав пухлым, унизанным кольцами пальцем на кнопку, выключил телевизор.

— Я никогда с женщиной раньше не целовалась, — прошептала Флоренс на ухо Бобби.

Лейла заранее распорядилась, чтобы их поодиночке доставили в квартиру Флоренс, выходящую окнами на площадь Мальборо. До вылета в их распоряжении оставалось несколько часов.

— А я никогда не спал с лесбиянкой, — сказал Бобби. — Хотел, но както вот не срослось.

Они снова занялись любовью. Потом Бобби поднялся с кровати и подошел к балконной двери. Уже наступал вечер, и на улице зажигались огни.

— Пора выдвигаться, Фло, — сказал он, глядя на площадь.

Флоренс улыбнулась. Она закуталась в шелковые простыни и чувствовала себя совершенно счастливой.

— Ты будешь всю жизнь меня так называть? Называй меня *Фло-ренц.*

Бобби оглянулся через плечо:

— Так и знал, что это придет тебе в голову.

Она не могла отвести от него глаз. Он напоминал ей Стива Маккуина[1] — такой же белокурый, такой же кудрявый и такой же опасный. Его пистолет лежал на столике рядом с кроватью.

— Расскажи, как ты меня нашел, — пробормотала она.

— Уже рассказывал.

— Расскажи еще раз. Я люблю, когда меня спасают.

— Ну, короче... Да нет, не могу я тебе все это рассказывать. Вставай, пора одеваться.

— Тогда еще немного любви.

— Мы займемся этим в самолете.

— А это будет *удобный* самолет? Там будет *кровать?* Я хочу заниматься любовью всю дорогу. Ну как ты меня нашел? Никуда не поеду, пока не расскажешь.

— Да я тебя просто заставлю.

— А я прикую себя наручниками к этой кровати.

1. Стив Маккуин (1930–1980) — актер театра и кино, выступал в амплуа неотразимого в своем отрицательном обаянии "антигероя" приключенческих фильмов.

— Не надоели еще наручники?

— Рассказывай.

Бобби посмотрел на нее, жаждущую любви и задрапированную в простыни, как мраморная скульптура. Наконец он вздохнул, и это был тот самый вздох, который сотни тысяч лет назад издал первый мужчина, уступая первой женщине.

— Фетиш, — сказал он.

— Все, что захочешь, дорогой.

— *Да нет.* Я имею в виду этого парня, который прислуживает эмиру. Я его прихватил.

— Как это — прихватил?

— Он работает на французов. Я это выяснил и объявил ему, что, если он не скажет, где тебя держат, я все расскажу эмиру. И он по-быстрому мне это дело слил. Я связался с Бутросом, а потом мы с ним... Ну, в общем, вот так все и получилось.

— А как ты выяснил, что Фетиш работает на французов?

— Слушай, мы не можем поговорить о нем в самолете? Помнишь эту француженку из Ум-безира? Аннабель... Такая лапочка... Она появилась в гареме как раз в момент религиозного просветления Малика... Так вот, она работает на французов. И я до нее добрался.

— Добрался до нее или *забрался* на нее?

— Да какая разница.

Флоренс швырнула в него подушкой.

— Уж прости, что тебе пришлось пройти через такой *ад*, пока ты искал меня.

Взрыв отбросил Бобби назад на кровать. Его инстинкт сработал мгновенно, и он накрыл Флоренс своим телом. В следующую секунду на них обрушилась половина потолка.

Лицо Флоренс было крепко прижато к его груди, и она слышала, как лихорадочно колотится его сердце.

— Быстро одевайся, — скомандовал он, натягивая брюки.

Взяв свой пистолет, он осторожно подкрался к балконной двери. Всполохи пламени снизу осветили его фигуру.

— Похоже, началась твоя революция, Фло.

Глава двадцать третья

Флоренс осторожно подобралась к балкону и посмотрела через перила вниз.

— Заминированный автомобиль, — сказал Бобби. — Взрывчатки не пожалели.

— Лейла! — воскликнула Флоренс и начала набирать ее номер на телефоне Бобби.

Здание вздрогнуло от нового взрыва, который произошел где-то далеко. Следом за ним по всему городу взорвалось еще пять-шесть бомб.

Бум, бум, бум — слышалось практически через равные интервалы.

— Действуют по плану, — сказал Бобби.

Наконец Лейла взяла трубку:

— Флоренс? Что-то происходит! Слава Богу, я успела вывезти отсюда Хамдула.

— Ты цела?

— Несколько царапин. Окна вышибло взрывной волной. У нас тут пожар. И разумеется, никто не пытается его погасить. Все заняты тем, что бегают вокруг и вопят без всякого толку. Вы где? У тебя?

— Да. По всему городу слышны взрывы. Бобби говорит, что это спланировано.

— Уходите оттуда быстрее. Я слышу стрельбу. Подожди-ка, кажется, я еще кое-что слышу.

В трубке раздался звук вращающихся лопастей.

— Это вертолет, — сказал Лейла. — Тот самый, который ты ему подарила. Очень мило с его стороны, что он не предупредил меня о нашем отъезде.

— Улетай поскорей, — сказала Флоренс.

Звук лопастей в трубке стал намного громче.

— Флоренс! — удивленно закричала Лейла.

— Я здесь.

— Они улетают... Они уже поднялись! Я его вижу. Он сидит рядом с пилотом!

Шум в трубке становился все громче.

— Свинья! Жирный, похотливый, трусливый...

После этого Флоренс услышала взрыв.

— Лейла?!! Лейла? Лейла?

— Что там происходит? — спросил Бобби.

— Лейла!

Бобби забрал у Флоренс свой телефон и поднес его к уху. Немного послушав, он нажал "отбой".

— Пора уходить.

Он протянул ей оранжевую абайю, которая была на нем, когда она вышла из дворца:

— Надень вот это.

Она молча уставилась на оранжевый балахон.

— Фло, у нас тут не показ мод.

Флоренс медленно натянула на себя арабское одеяние. Оно еще хранило запах самого Бобби. Тем временем он сдернул с кровати простыню, вынул свой складной нож, прорезал в ней дырку и надел простыню через голову.

— Обожаю маскарады, — сказал он. — Пошли.

Они решили спуститься по лестнице, а не в лифте. Пройдя восемь этажей, Бобби осторожно открыл дверь и выглянул в вестибюль. Флоренс стояла, прислонившись к бетонной стене, и пыталась взять себя в руки. Внезапно она услышала какой-то шум.

С улицы в здание ворвались четверо мужчин в европейской одежде. Они разговаривали, и Флоренс уловила акцент.

Говорили они громко, явно ничего не боясь, и держали в руках пистолеты. Когда они пробежали к лифту, Бобби медленно прикрыл дверь и опустил рычаг на пожарной двери, наглухо заперев ее.

— Это васабийцы, — шепнула ему Флоренс, а он вопросительно посмотрел на нее. — Один из них неправильно произносит слова. Поверь мне — это васабийцы. И скорее всего, мукфеллины.

Спустившись в подвал, Флоренс и Бобби обнаружили черную лестницу. На лестничной клетке было затянутое проволочной сеткой окон-

це. Положив ладонь на рукоятку своего пистолета, Бобби поглядел в окно, а затем резко отпрыгнул назад и задвинул засов на наружной двери, которую кто-то уже пытался с другой стороны открыть. Поднявшись на второй этаж, они оказались в длинном коридоре, в конце которого была дверь, ведущая на небольшой балкончик. Они вышли на этот балкон и посмотрели вниз, где стоял огромный контейнер, наполненный мешками с мусором.

— Сможешь прыгнуть? — спросил Бобби.

Флоренс кивнула. До контейнера было что-то около семи метров.

Они рухнули на мусор под аккомпанемент страшного писка. Флоренс почувствовала, как под ней что-то шевелится. Это были крысы. У нее невольно вырвался крик. Бобби начал колотить их руками. Затем он разгреб мусорные мешки и забросал ими себя и Флоренс, которая в ужасе прислушивалась к возне грызунов. Мусор находился в этом контейнере уже несколько дней при температуре около 40 градусов. От зловония кружилась голова. Бобби протянул руку и погладил Флоренс по плечу.

— Самый лучший способ узнать чужую страну поближе, — шепнул он.

Балконная дверь над ними с треском распахнулась, и они услышали два голоса. Флоренс затаила дыхание. Дверь закрылась. Все стихло. Они пролежали не шевелясь около десяти минут. Наконец Бобби шепнул ей:

— Будешь заказывать десерт или попросим счет у официанта?

Выбравшись из мусорного контейнера, они пошли в сторону набережной, стараясь держаться в тени. В городе слышались новые взрывы и выстрелы. Наконец Бобби и Флоренс добрались до небольшой площади с газоном посередине и нырнули в заросли кустов на углу.

— Если нас остановят, — сказал Бобби, — изобрази истеричку. Как будто ты напугана до смерти.

— С этим проблем не будет. Куда мы направляемся?

Бобби секунду подумал:

— Аэропорт закрыт. Значит, в гавань.

— А твое водное такси все еще функционирует?

— А ты думала! Через час мы уже будем у себя в субмарине попивать французское шампанское и заниматься любовью до умопомрачения.

Она почему-то не поверила ему, а в следующую секунду до нее дошло, что он вернулся за ней по собственной инициативе. Бобби действовал в одиночку.

— Направляемся прямо к воде, — сказал он. — Где вода — там лодки, а где лодки — оттуда можно свалить.

— Ты вернулся за мной один, так ведь?

— Все будет клёво. Я таких переворотов на Ближнем Востоке повидал больше, чем ты съела горячих завтраков.

Они подошли к перекрестку. Бобби выглянул за угол и быстро спрятался. Улица была перегорожена бронетранспортером с пулеметом на турели и опознавательными знаками матарской армии.

Они двинулись по улице Соумс, которая тянулась параллельно набережной. Бобби еще раз выглянул из-за угла и жестом приказал Флоренс поворачивать обратно. Все улицы, ведущие к гавани, были блокированы.

— Похоже, сегодня вечером они не одобряют прогулок по берегу, — пробормотал Бобби. — Пора узнать, что творится.

Они продолжили свой путь по Соумс, пока не остановились у магазина бытовой техники с телевизорами и микроволновыми печами в большой стеклянной витрине.

— Посматривай по сторонам, — сказал Бобби, вынимая отмычку и наклоняясь к замку.

Через секунду замок щелкнул. Бобби осторожно открыл дверь, прислушался — не сработает ли сигнализация. И они вошли внутрь.

В магазине у одной стены стояло штук пятьдесят телевизоров. Бобби прошел за прилавок и принялся щелкать выключателями. Все пятьдесят экранов засветились, и магазин залило неровное голубоватое сияние.

— Вот где надо смотреть Суперкубок, — сказал Бобби, нажимая кнопки сразу на нескольких пультах.

— Сорок пятый канал, — сказала Флоренс.

Это был канал ТВМатар.

При обычных обстоятельствах в это время на ТВМатар должен был идти комедийный сериал "Мукфеллахи", рассказывающий о жизни туповатых сотрудников религиозной полиции. Однако сейчас на экране появилось мрачное лицо какого-то человека, сидевшего за столом в студии новостей. Ни Флоренс, ни Бобби не нужно было объяснять, что это значит. Человек на экране был в традиционном одеянии матарского муллы и говорил по-матарски, а не по-английски. Первое, что Флоренс разобрала в его речи, были слова "преступные", потом "неверные", потом "временные", после этого "имам Малик" и, наконец, "хвала Всевышнему". Ни одно из них не вселяло надежды на светлое будущее. В который раз уже Флоренс подивилась тому, как зловеще на самом деле могут звучать в человеческих устах слова "Аллах всепрощающий и сочувствующий". Затем она услышала свое собственное имя и, хотя ей было весьма жарко под плотной арабской абайей, явственно ощутила, как по спине у нее пробежал холодок. Из выступления ведущего Флоренс узнала, что она по-прежнему находится где-то в городе и что все добрые граждане должны оставаться бдительными, поскольку она очень опасна. Флоренс теперь враг и пособник сатаны.

Бобби тем временем стоял у выхода на улицу с пистолетом наизготовку на тот случай, если сигнализация все-таки бесшумно сработала и разгневанный господин Мохаммед Дера'а, чье имя красовалось на вывеске перед входом, уже мчится сюда, дабы восстановить право собственности на свои товары.

Мулла продолжал вещать. На священной земле Матара, хвала Всевышнему, сменился правитель. Десятилетия коррупции и упадка, мерзкого в глазах Всевышнего, теперь позади. Началась новая заря (хотя часы вообще-то показывали восемь вечера). Провозглашена революционная исламская республика. *Хвала Всевышнему.* Гражданам запрещается выходить на улицу до тех пор, пока последние остатки старого режима не будут окончательно "вычищены".

На экране появилась фотография Газзи. Он был в темных очках, улыбался и приветливо махал рукой фотографу. Этот снимок был сделан в те времена, которые в газетах принято называть "более счастливыми".

— Имам объявляет всем своим гражданам! Богохульник, предатель и пособник империалистов эмир Газзир бен Хаз мертв. *Аллах Акбар.* Он пытался трусливо сбежать из своего дворца, но его вертолет, предоставленный американцами, задел дерево и рухнул на землю. Бывшая жена эмира....

Флоренс затаила дыхание.

— ...находится под арестом. Она уже дает показания о своих преступлениях против Аллаха Всемогущего и граждан Матара. Да живет вечно наш славный и благословенный имам Малик! Возлюбленный Всевышним, ниспосланный нам Всевышним, спаситель священной земли Матара!

Флоренс начала набирать номер на мобильном телефоне.

— Что ты делаешь?

— Это Ближний Восток. Буду торговаться.

Бобби вздохнул:

— Крошка, в этой истории ты не входишь в *расклад.*

Она набрала номер дворца. Ей ответил чей-то властный голос.

— Это Флоренс. Вы знаете, кто я?

— Да.

— Мне нужно поговорить с имамом Маликом.

— Нельзя.

— У меня есть то, что ему очень нужно.

— Говорите.

— Я скажу об этом только имаму, — резко заявила она. — Соедините меня с ним немедленно, или испытаете его гнев на своей спине.

В драматические моменты арабы более восприимчивы к архаике.

— Они отслеживают звонок, — одними губами сказал Бобби.

Флоренс нервно вышагивала взад и вперед вдоль телевизионных экранов.

— Фло, — прошипел Бобби, — какого хрена ты это делаешь?

— Я в ответе за это.

— Да черт тебя побери, девушка! — Он изо всех сил треснул рукой по двери. — Ты *всегда* за все в ответе. Хочешь стать мученицей? Ну так нацепи на себя взрывчатку и взорви на хрен какой-нибудь автобус!

— Да пошел ты.

— Это имам Малик, — раздался удивленный голос в трубке. — И пошла ты *сама.*

— Это я не вам, простите.

— Чего надо?

— Предлагаю обмен. Меняю себя на шейху.

— А мне какой смысл? Вас все равно убьют или поймают уже к утру.

— Просто посадите ее в самолет. В тот момент, когда он приземлится и я увижу ее по телевизору сходящей по трапу, я немедленно сдамся. И признаюсь во всем, что захотите.

Малик рассмеялся:

— А вы в *любом* случае признаетесь.

— Послушайте, Малик, вы ведь примите закон о чадре в Матаре, так?

— Разумеется, но какое это имеет отношение к делу?

— В Матаре живут два с половиной миллиона женщин. Сколько вам понадобится времени, чтобы заглянуть под каждую чадру и найти меня?

— А я никуда не спешу. Моя карьера гонщика уже позади, хвала Всевышнему.

— Да бросьте вы, Малик! Неужели вы правда согласны так долго ждать, чтобы отрубить мне голову?

— *Имам* Малик, если позволите, — сказал он почти игриво. — Отрубить вам голову? О нет. У меня на уме кое-что другое. Но — всему свое время. А теперь я должен идти. Страна ждет своего повелителя.

На телевизионных экранах теперь шел репортаж о выступлении Малика перед огромной толпой. Для исламского религиозного лидера он выглядел, пожалуй, чересчур стильно. Но что тут поделаешь — его одеяние священнослужителя было изготовлено парижскими кутюрье.

Флоренс посмотрела на длинную стеклянную витрину, протянувшуюся вдоль одной из стен магазина. За стеклом было расставлено множество мобильных телефонов, игровых приставок и других электронных устройств. Флоренс нашла за прилавком металлический ломик, служивший, очевидно, средством защиты от грабителей, и начала бить им стекло.

Бобби с удивлением наблюдал за ней.

— Фло, что ты делаешь?

— Начинаю контрреволюцию.

Она собрала все мобильники в пластиковый пакет, а потом указала Бобби на другую витрину, в которой было выставлено видеооборудование.

— Разбей вот это, пожалуйста, — сказала она.

Бобби подошел к витрине и разнес ее одним ударом рукоятки своего пистолета. Флоренс схватила несколько видеокамер и затолкала их в пакет.

— И вот эту, пожалуйста, — показала она на третью витрину.

Бобби послушно разбил еще одно стекло.

— Господину Дера'а все это вряд ли понравится.

Флоренс выбрала несколько мини-телевизоров на батарейках. Закончив собирать добычу, она поцеловала Бобби в щеку.

— Прощай, милый, — сказала она.

— Ты это о чем?

— Бобби, ну подумай сам — они разыскивают белокурого мужчину с европейским типом лица, убившего в гараже одного из людей нового правителя. Как ты думаешь, сколько тебе удастся протянуть в этом новом Матаре?

— У меня тоже, между прочим, есть чадра.

Она улыбнулась и потрепала его по щеке.

— От тебя будет больше вреда, чем пользы.

Закутавшись в свою оранжевую абайю, Флоренс подхватила раздувшийся пакет. Теперь она ничем не отличалась от любой мусульманки, возвращающейся домой после похода по магазинам.

Флоренс выглянула на улицу, посмотрела по сторонам, обернулась, бросила взгляд на Бобби и вышла из магазина.

Он тоже не медлил. Надев свою абайю, Бобби вышел следом за ней.

Глава двадцать четвертая

Переворот в Матаре — или, как его предпочитали называть в Госдепартаменте, "матарская ситуация" — застал правительство Соединенных

Штатов врасплох. Белый дом бойко заявлял, что администрация уже "некоторое время" осведомлена о жестоких событиях, которые там происходят, и не сидит сложа руки, а предпринимает все возможное для предотвращения кризиса. На самом же деле все эти разговоры скорее напоминали попытки истолочь воду в ступе.

На Капитолийском холме все громче звучали возгласы "Кто потерял Матар?" Сенаторы стучали кулаками по своим трибунам, требуя немедленных ответов. Президент выступил с заявлением, подчеркнув, что также их ждет. ЦРУ отказалось от официальных комментариев, однако заявило, что тоже не прочь получить ответы и, быть может, нуждается в них даже больше, чем сенаторы и президент. Госсекретарь сказал, что никаких ответов, возможно, вообще не существует, но если бы они были, то ему, разумеется, было бы весьма интересно их услышать. Генеральный секретарь ООН сказал, что он положительно уверен в существовании ответов, но сначала надо задать правильные вопросы и затем их перевести, а это займет много времени.

Одни призывали к осторожности, другие — к решительным действиям. Третьи придерживались середины и предлагали осторожную решительность. И в том и в другом лагере были свои крайне настроенные личности: с одной стороны, неоизоляционисты, чей девиз звучал следующим образом: "Просто продавайте нам эту чертову нефть", а с другой — неоинтервенционисты, которые говорили: "Вместе мы сможем построить более счастливый мир, но в процессе нам, возможно, придется многих из вас убить".

Американский президент, как говорили в определенных кругах, мучительно пытался решить дилемму: направить ли к месту событий авианосец (наверное, самый драматический жест в арсенале любого президента, за исключением, разумеется, его собственного прилета на один из этих плавучих аэродромов) или отрядить туда атомную субмарину. Один выдающийся историк военно-морского флота, выступая на общественном телевидении, отметил, что субмарины эффективны в боевых действиях ровно в той же мере, что и авианосцы, однако, находясь под водой, менее заметны и, следовательно, менее уязвимы — им не так страшны корабли противника. В общем, наступило время, которое другой историк, тоже выступавший на общественном телевидении, назвал "временем полной неясности и глубоких раздумий". Тем не менее один факт заявлял о себе с поразительным упрямством, и от него нельзя было отмахнуться или проигнорировать, или, скажем, переключить канал: почти треть всей импортируемой в Америку нефти, без которой в январе многим было бы уже не до смеха, бежала по трубам отныне через страну, управляемую — как отметил еще один историк в студии общественного телевидения — "автогонщиком, превратившимся в аятоллу, которого усадила на трон Франция". Вот в этом вопросе не было никакой неясности. Проблема состояла в другом: что теперь делать? Франция разыграла свою карту напористо и не без чисто французского изящества, поэтому надо было срочно что-то предпринимать.

Вскоре в Интернете и на телевидении появились кадры, снятые в "летней" резиденции Ум-безир покойного Газзира бен Хаза. Парижский "Четвертый канал" показал такой документальный фильм о гареме эмира, что авторы Камасутры, сам Казанова и даже, возможно, маркиз де

Сад, увидев такое, покраснели бы, как невинные девушки. Фильм этот, скорее всего (поскольку автор так и не объявился), был снят скрытой камерой. (Аннабель уж точно не сидела сложа руки.) В одном особенно захватывающем эпизоде эмир Матара ложками размазывал черную икру по грудям парочки (по общему мнению, весьма прелестных) русских дам, которых он называл Татьяна и Светлана. Затем он активно слизывал все это дело, прерываясь только на то, чтобы пыхнуть кальяном, заправленным явно не одним табаком, и сделать глоток из бутылки с этикеткой "Саутерн комфорт", периодически покрикивая при этом: "Хвала Всевышнему!" Воистину, всякий человек по-своему поклоняется Господу, однако подобные художества серьезно осложнили жизнь изгнанной из Матара знати, которая окопалась теперь в своих бункерах в Канне, Гстааде и Портофино и охотно бы утверждала, прихлебывая свой "Чивас" да "Кристаль", что покойный эмир всегда руководствовался в своих действиях идеями прогрессивного человечества. Утверждала бы, но теперь не могла.

Изгнанные родственники эмира в свою очередь наняли дорогостоящих медиаконсультантов, дабы с их помощью создать впечатление, что жизнь при эмире, несмотря на всю его распущенность, была несравненно более радостной, чем то будущее, которое уготовил Матару этот неоконсерватор Малик.

Новообращенные зачастую проявляют особое благочестие, компенсируя упущенное излишней пылкостью и прилежанием. Девиз Малика теперь звучал как извращенная парафраза молитвы святого Августина: "О Боже, сделай меня плохим сию же минуту". В первые же дни своего правления он запретил женщинам садиться за руль, принудил их снова надеть чадру и объявил незаконным появление женщины на улице без сопровождения родственника мужского пола, а также издал закон о наказании женского смеха двадцатью плетьми на том теологическом основании, что смеющаяся женщина, возможно, отчего-то счастлива, а это недопустимо.

Нельзя сказать, чтобы граждан Матара безумно обрадовало это новое благочестие, но Малик ведь никогда и не говорил, что его интересует их мнение. На площади Робеспьера (бывшей Черчилля) установили большой строительный кран, и несколько контрреволюционно настроенных матарских граждан в должном порядке обрели на нем свое последнее пристанище, будучи подвешены за шею. Несколько женщин, у которых хватило духу показаться на улице с непокрытыми головами и — только представьте себе на минуточку — без мужского сопровождения, быстро получили то, что им причитается. Официальный представитель мукфеллинов, объявлявший им приговор, подчеркнул, что эти дамы, вне всяких сомнений, направлялись распутничать с омерзительными черномазыми поварятами. Никаких доказательств, разумеется, не было, но в том ведь и состоит преимущество религиозной юриспруденции, что доказательства не нужны. Несчастные женщины уверяли, что они вышли всего на одну минутку купить молоко и взять одежду из химчистки, но осторожность не помешает.

Малик, который с удовольствием наблюдал за совершением экзекуций, будь то порка, обезглавливание или побивание камнями, на самом деле не испытывал к несчастным жертвам особой ненависти. Они вообще не были ему интересны. С гораздо большим удовольствием он по-

смотрел бы по телевизору гонки класса "Формула-1" или "NASCAR"[1] (теперь ему приходилось делать это втайне). За всеми этими казнями и порками стояли его покровители из Васабии. Это они настаивали на избиениях плетьми и отсечении голов. А поскольку именно они усадили его на трон, Малик обязан был им подыгрывать.

ТВМатар и покойный сводный брат Малика Газзир (чей вертолет был сбит ракетой из ручной установки, а вовсе не деревом) причинили дому Хамуджей множество неприятностей и унижений. Теперь наступило время расплаты. К тому же необходимо было приструнить всех васабийских женщин у себя на родине, которые несколько месяцев смотрели ТВМатар и неизвестно что могли вбить себе в голову.

Содержание программ изменилось самым кардинальным образом. Теперь это были рецепты, советы о том, как ублажить мужа, как не оказаться затоптанной во время хаджа, а также комедии о жадных израильтянах и толстых нечестивых американцах. По четвергам в восемь часов вечера — шоу "Все любят имама!", в котором Малик вслух читал Книгу Хамуджа, а после этого давал к ней свои уникальные комментарии. Естественно, рейтинги были бледной тенью прежних высот. Однако любому известно, что новым программам на раскрутку требуется время.

Франция, ставшая партнером Васабии в совместном проекте по выдвижению Малика, не очень-то одобряла столь мрачное развитие событий. Однако поскольку Ministère de Pétrole (Министерство нефтяной промышленности) вот-вот должно было подписать с Васабией entente economique (что являлось весьма и весьма приятной сделкой) о двадцатипроцентном снижении цен, Франция не была расположена поднимать слишком громкий bruit (шум) по этому поводу.

Когда постоянный представитель США при ООН прямо и по-мужски заговорил об этом в туалете Совета Безопасности с постоянным представителем Франции, тот начал качать головой, закатывать глаза и повторять: "Да, да, да, но что мы можем поделать с этими людьми? Они просто *невозможны*", а потом быстренько выскочил, оставив американского представителя с еще более нахмуренными бровями и мыслями о необходимости дальнейших инструкций из Вашингтона.

Франция также собиралась подписать с Матаром пакт о взаимной безопасности, в рамках которого в Заливе должна была появиться французская военно-морская база. Новое правительство в Париже провозглашало планы, возрождавшие дух Шарля де Голля (правда, некоторые говорили — Наполеона) касательно Востока, где французский трехцветный флаг некогда гордо реял на морском ветру. Все унижения 1922 года были, наконец, отомщены. Еще один выдающийся историк (складывалось такое ощущение, что им не будет конца) заявил на общественном телевидении, что Франция больше не согласна стоять в сторонке и наблюдать за тем, как Соединенные Штаты садятся в лужу в этом регионе. Разве у Франции нет своей собственной гордой истории сидения в лужах? Посмотрите на Алжир, Вьетнам, Суринам, Сирию, Гаити, Квебек — там до сих пор не могут прийти в себя после французского правления. В общих чертах становилось все более очевидным, что Франция была готова и, более того, хотела показать всему миру, что может поспо-

1. Национальная ассоциация гонок серийных автомобилей.

собствовать катастрофическим, непредвиденным последствиям в чужой стране гораздо эффективнее и уж наверняка с большим размахом, чем Америка.

Тем временем по США прокатилась волна антигалльских настроений. На французских метрдотелей нападали банды хулиганов, шампанское выливалось в сточные канавы, багеты злобно разрывались напополам и расшвыривались по всему ресторану, автомобили "пежо" забрасывались гнилыми овощами, а дворники на их лобовых стеклах корежились самым варварским образом. Французское посольство в Вашингтоне, всегда служившее местом для изысканных вечеринок, было атаковано толпой разъяренных евангелических христиан, швырявшихся (невинными) лягушками. Один конгрессмен выдвинул на обсуждение билль, призывающий к эксгумации и репатриации останков американских солдат, похороненных в Нормандии.

"Откопать рядового Райана!"

Возгласы "Кто потерял Матар?" раздавались все громче, хотя общественные опросы показывали, что для двух третей американского народа более уместен был бы вопрос: "А где вообще находится этот Матар?" Тем не менее подавляющее большинство американцев, будучи информировано организаторами опросов о том, что "вероломные лягушатники" и "грязные васабийцы" взяли верх в этой стране для того, чтобы "выставить Америку в дурном свете" и "поднять цены на нефть до небес", немедленно рекомендовало правительству сделать "что-нибудь", если, конечно, это не влетит в слишком большую копеечку и если проделать *это* можно будет с высоты не менее двенадцати километров. К тому моменту уже мало кому хотелось, чтобы Пентагон устроил в этом регионе еще одну наземную операцию.

Такова была в общих чертах ситуация через две недели после того, как Флоренс покинула магазин бытовой техники господина Дера'а с набитыми электроникой целлофановыми пакетами в обеих руках.

Ренард и Джордж находились уже в Вашингтоне, совершив морской бросок с пляжа Бленхайма. Субмарина оказалась меньше, чем ожидалось, и судовому врачу пришлось сделать погибающему от клаустрофобии Джорджу успокаивающий укол, прежде чем его удалось затащить в люк. Подлодка доставила их на авианосец. Оттуда они улетели (вместе с письмами экипажа и телом истосковавшегося по дому морячка, который покончил с собой, напившись гидравлической жидкости для палубных истребителей F-14) в Бахрейн, а потом дальше в Рим уже на обычном самолете, а из Рима – в Вашингтон, где сразу поняли, что вся информация об их миссии в Матаре полностью уничтожена – стерта, как будто кто-то нажал кнопку "Delete" на некой верховной клавиатуре.

Домик в Александрии, где они все собирались перед отъездом в Матар, был занят теперь семейной четой средних лет. Эти люди уверяли, что они приобрели дом через Интернет полгода назад, и теперь вовсе не были расположены ставить под сомнение этот факт, обсуждая его с двумя весьма жалко выглядевшими типами на своем крыльце. Джордж с Риком чувствовали себя как моряки, наткнувшиеся в открытом море на брошенное судно. Команды на борту нет, но кофе в чашках еще горячий, и сигареты в пепельницах дымят.

Джордж позвонил в свой старый отдел в Госдепартаменте и сумел добиться разговора с заместителем Даккетта, который, как выяснилось, был уверен в том, что Джорджа давным-давно перевели в Гватемалу. Руководство не имело ничего против возвращения Джорджа на его прежнее рабочее место в Ближневосточном отделе, и вскоре он уже привычно барахтался в своем родном Саргассовом море бюрократии.

Когда они с Риком проверили свои банковские счета, на них каким-то необъяснимым, но от этого не менее приятным образом оказалось по миллиону долларов. Источником этих денег мог быть только один человек – исчезнувший дядя Сэм. Судя по всему, это было выходное пособие. Столь неожиданная щедрость изумила их еще больше, когда несколько дней спустя эти суммы исчезли с обоих счетов лишь для того, чтобы вновь появиться назавтра, но уже в двойном размере. Рик и Джордж обсудили этот странный, то появляющийся, то исчезающий вклад и пришли к выводу, что это было предупреждение: "Ведите себя тихо, иначе все эти деньги улетучатся неизвестно куда. Будете умниками – и они могут удвоиться".

Увеличение суммы на банковских счетах на короткое время привело Рика и Джорджа в прекрасное расположение духа, однако очень скоро они загрустили из-за ужасных событий в Матаре, за которыми оба наблюдали по телевидению. Теперь они больше думали не о том, как потратить свалившиеся на них миллионы, а о том, что произошло с Флоренс.

Однажды вечером они сидели в квартире Рика недалеко от Дюпонсеркл в окружении картонок из китайского ресторанчика и бутылок с эльзасским пивом и смотрели программу новостей, в которой несколько экспертов по Ближнему Востоку, находящиеся в разных городах, кричали друг на друга, призывая к спокойствию. Неожиданно ведущий программы прервал своих гостей и сообщил, что Манамское бюро их телекомпании получило в свое распоряжение видеозапись, снятую, очевидно, в Матаре. Ведущий был очень взволнован, поскольку эмир Малик запретил иностранным журналистам доступ в страну.

Рик с Джорджем отложили курицу "кун пао" и, затаив дыхание, уставились в 55-дюймовый плазменный экран новенькой шикарной телесистемы Рика. Осторожный Джордж не одобрял этой покупки, поскольку все еще не решил, имеет ли моральное право тратить таинственные деньги, однако Рик считал, что ничего плохого в этом нет. Когда перед ними на экране мелькнуло зернистое подобие Флоренс, лица у них вытянулись. Звук был плохой, но слова разобрать все же можно.

– Я обращаюсь к вам из оккупированного Матара. На эту страну опустилась железная чадра. Вдова покойного эмира Лейла арестована узурпатором Маликом и его васабийскими и французскими хозяевами. Женщин пытают и казнят каждый день, но дух их не сломлен. Они взывают к цивилизованным народам всего мира. Остановите темные силы, оскверняющие ислам. Прекратите издевательства над великой религией и ее основателем, пророком Мохаммедом. Они взывают к вам: "Свободу! Свободу! Свободу!"

После этого ведущий сообщил, что они обладают весьма скудной информацией о человеке на видеозаписи. Очевидно, эта женщина работала в какой-то должности на канале ТВМатар, известном в прошлом

своими феминистскими пристрастиями. Предполагалось также, что она является американской гражданкой, и этот факт, как подчеркнул ведущий, "может серьезно осложнить ситуацию для правительства Соединенных Штатов".

Глава двадцать пятая

Эшафот возвышался посреди торгового центра рядом с фонтаном – чтобы зрителям было хорошо все видно.

Стараясь не привлекать внимания, Флоренс как можно ближе подобралась к помосту. Видеокамера на специальном ремешке была закреплена у нее под левой рукой. В абайе она заранее прорезала небольшое отверстие для объектива. Политическая система, принуждающая своих граждан с ног до головы закутываться в тряпки, все же имеет свои преимущества.

На углах помоста стояло по мукфеллину. В последнее время их везли и везли на грузовиках из Васабии для поддержания религиозного духа. Они были повсюду, как агенты секретной полиции. Им нравились бесчисленные поклоны матарцев и униженная лесть. Когда Флоренс в сопровождении обязательного мужского эскорта встречала на улице особенно мрачного мукфеллина, она непременно кланялась и говорила ему: "Хвала Всевышнему, о брат мой, за твое присутствие здесь!" Ее спутник, чьи европейские черты были прикрыты гутрой и большими темными очками, слегка подталкивал ее и говорил: "Пойдем дальше, сестра моя. Не отвлекай этих возлюбленных Аллаха от их благословенного труда".

Для того чтобы больше походить на обыкновенную матарскую женушку, Флоренс носила с собой плетеную корзинку с фруктами и другими свежими продуктами с рынка. Под снедью лежал 9-миллиметровый пистолет, и чем больше она видела мукфеллинов и результаты их благословенных трудов, тем сильнее ей хотелось им воспользоваться. Когда Бобби застрелил в гараже одного из людей Малика, Флоренс решительно его осудила. Теперь же ее мнение на этот счет коренным образом изменилось. Несколько недель в оккупированном Матаре научили ее ненавидеть.

Толпа пришла в движение. Распорядитель казни, расталкивая всех по пути, пробрался к эшафоту. Четверо мукфеллинов продолжали стоять на углах помоста, призывая к тишине и вниманию.

Распорядитель поднялся по ступенькам на помост и прочел приговор. Женщина по имени Ардиша была поймана не только за рулем автомобиля, но к тому же при попытке покинуть Матар. Имам Малик, да будет благословен он сам и его святой труд, великодушно заменил смертную казнь на сотню ударов палкой. Воистину милостив Аллах!

После этого привели дрожащую и умоляющую о пощаде Ардишу. Мукфеллины привязали ее к эшафоту. Один из них взял в руки метровую трость и начал методично бить ею корчившуюся от боли женщину. До тридцатого удара она пронзительно кричала, а потом смолкла. Окружившие помост женщины начали плакать и умолять о милосердии. Вся процедура заняла около десяти минут.

Когда все было закончено, капитан мукфеллинов, который читал приговор, воздал хвалу чувству сострадания имама и отдал приказ толпе разойтись. Мужской эскорт большинства зрительниц до этого спокойно покуривал или попивал кофеек в "Старбаксе". Теперь они собрали своих подопечных и ушли. Впрочем, некоторые остались и пошли по магазинам, владельцы которых решили не упускать преимуществ очередного Дня наказаний, непременно собиравшего большую толпу, и объявили выгодные распродажи. Сопровождающий Флоренс тоже забрал ее, и они направились к выходу. Проходя мимо мукфеллина, стоявшего у наружных дверей, Бобби не смог выдавить из себя комплимент по поводу его благословенного труда.

Наконец они сели в машину и некоторое время ехали в полном молчании. Флоренс вынула камеру и просмотрела запись – все ли ей удалось отснять. Бобби прислушался к звукам ударов тростью, доносившимся из динамиков камеры, и тихо попросил: "Выключи".

Амо-Амас буквально кишел солдатами из контингента дружественных войск Васабии. Малик просил еще и французских солдат, но в Париже ему отказали. Французам и без того приходилось многое объяснять в Организации Объединенных Наций. Тем не менее они направили в Матар сотни своих советников, чтобы помочь наладить le infrastructure. Тысячи матарцев к этому времени уже сбежали из страны (направляясь в основном на юг Франции), что привело к традиционной утечке мозгов.

Флоренс и Бобби ехали на север, избегая основных дорог. Поток машин замедлил свое движение. Бобби высунулся в окошко и увидел далеко впереди полицейские автомобили. Блокпосты на дорогах и проверки документов давно уже стали нормой в Матаре. Флоренс вынула из камеры кассету и заменила ее другой, на которой были сняты дети, играющие на пляже. Если камеру конфискуют, запечатленные на кассете кадры никого не встревожат.

Корзинка с фруктами стояла между ними. Они подъехали к полицейским.

– Хвала Всевышнему, – сказал Бобби офицеру, когда тот наклонился и потребовал документы.

Арабский язык у Бобби был безупречный, а кожу он затемнил тональным кремом. Теперь он выглядел как стопроцентный матарец.

Полицейский не ответил на его приветствие. Он листал их документы.

– Куда едете?

– Домой, с вашего разрешения.

Матарский паспорт Флоренс офицер рассматривал чуть дольше.

– Жена? – наконец спросил он.

– У меня их три. Но эта самая симпатичная, поэтому я взял ее с собой посмотреть казнь в торговом центре. Чтобы не вбила себе чего-нибудь в голову. Спасибо нашему имаму!

Полицейский внимательно посмотрел на Флоренс, которая сидела неподвижно, как изваяние.

– Что в корзинке?

– Инжир из долины Машуфф, – Бобби протянул корзинку полицейскому. – Угощайтесь в знак нашей благодарности за то, что защищаете нас от врагов. Изумительные фрукты.

Полицейский потянулся к ручке, явно намереваясь забрать корзинку.

– О брат мой, умоляю тебя, – осклабился Бобби. – Это на ужин нашим детям.

С этими словами он аккуратно подвинул левую ногу, на лодыжке которой была закреплена револьверная кобура.

Офицер на мгновение заколебался. Затем взял несколько самых спелых фруктов и вернул корзинку обратно. Махнув рукой, он сказал:

– Проезжайте.

– Аллах с тобой, – сказал Бобби.

А еще через секунду добавил:

– Мудак.

Блокпостов на дороге больше не было, и через полчаса они подъехали к своему серому бетонному дому в районе Шерала, известном как один из самых бедных пригородов Амо-Амаса. Улицы здесь были усыпаны битым стеклом, заборы утыканы гвоздями, а в подворотнях гнездились изголодавшиеся псы и филиппинские рабочие "по приглашению", которым их матарские хозяева милостиво позволяли жить прямо на улице рядом со своим домом.

Войдя в квартиру, Флоренс скопировала видеозапись. Стянув ненавистную абайю, она встала перед объективом видеокамеры. Бобби щелкнул кнопкой и начал ее снимать.

– Запись, которую вы сейчас увидите, была сделана двадцать седьмого марта на территории оккупированного Матара в торговом центре Чартвелл, приспособленном узурпатором Маликом под место проведения публичных казней...

Когда они закончили, Бобби засунул кассету в пачку из-под сигарет и повез ее в аэропорт. По дороге он позвонил Фуаду, руководившему наземными службами авиакомпании "Эр Матар". Бобби завербовал его много лет назад. Через семь часов кассета была уже в Никосии на Кипре в руках армянина по фамилии Хампигян, с которым Бобби работал долгие годы. Еще через восемь часов запись была доставлена в римское бюро Си-эн-эн. А меньше чем через час, после совещания в штаб-квартире в Атланте с участием председателя совета директоров, ее пустили в эфир.

Среди миллионов телезрителей оказались и Ренард с Джорджем. На выходное пособие дяди Сэма они устроили себе временный командный центр в офисе Рика. Смотреть то, что сняла Флоренс, было тяжело. Даже циничный Ренард долго молчал после того, как все закончилось. Джордж не выдержал и пяти минут. Он просто встал и вышел из комнаты. Люди на Западе нечасто видят, как женщину постепенно забивают насмерть.

Вскоре на Си-эн-эн обрушился ураган телефонных звонков. В основном люди спрашивали, как вообще можно такое показывать – в эфире, говорили они, не было ничего ужаснее после кадров, на которых американцы пытают иракцев в тюрьме Абу Грейб. Однако звонившие проявляли также глубокий интерес к той американке, которая сделала запись, судя по всему, серьезно рискуя собой. Теперь она стала объектом государственного любопытства – в Вашингтоне, Париже, Каффе, Амо-Амасе, да что там – по всему миру. И, разумеется, пресса не смогла избежать

соблазна очевидной игры слов. Журналисты быстро окрестили ее "Флоренс Аравийская".

Возлюбленный Аллахом имам Малик, эмир королевства Матар, великий принц дома бен Хаза, шариф Ум-катуша, был крайне недоволен известием о том, что Делам-Нуар из 11-го отдела находится в Матаре и просит его "аудиенции". Впрочем, слово "аудиенция" Малику понравилось. Оно звучало намного царственней, чем "встреча".

Тем не менее он чувствовал, что Делам-Нуар снисходит до встречи с ним. Он и так-то не очень любил этого француза, а теперь вообще был не в настроении выслушивать очередную лекцию по поводу историзма гегельянской дихотомии. И уж меньше всего Малику хотелось, чтобы ему в который раз напомнили, кто посадил его на трон, выдвинув идею превращения нечестного гонщика в религиозного лидера.

Король Таллула с принцем Бавадом и без того помыкали Маликом как только могли, напоминая ему в каждом разговоре по телефону, в каждом электронном письме и при каждой личной встрече, что это их войска, их мукфеллины, их деньги и, хвала Всевышнему, их нефть посадили его на трон. Малик устал быть бесконечно благодарным то Парижу, то Каффе. Черт их возьми! Это *они* должны сказать *ему* спасибо! Разве не он беззаветно отказался от блестящей карьеры автогонщика, дабы восстановить Матар в его славе? (Если, конечно, эта слава когда-нибудь вообще существовала.) Разве не он рискнул всем? А если бы переворот не удался? Где бы он был сейчас? В подземелье своего братца Газзи, питаясь тараканами. Нет, хватит с него их бесконечных претензий.

– Мы не примем француза, – раздраженно объявил Малик Фетишу, которого он унаследовал от своего брата и которого всячески ему рекомендовал Делам-Нуар. В последнее время в его речи стали заметно прорезаться величавые интонации. Такое, увы, случается, когда человек становится диктатором.

– Но, Ваше Святейшество...

– Я высказался, Фетиш.

Однако, поскольку Фетиш был на зарплате также в 11-м отделе, он продолжал осторожно настаивать:

– О великий имам, не будет ли проявлением мудрости уделить французу хотя бы несколько минут? Он проделал нелегкий путь.

– Ха-ха! Можно подумать, что он пересек пустыню Нефуд верхом на верблюде. Какое там! Он прилетел на личном лайнере. Там есть кровать, кухня и парижский шеф-повар. Мы сами на нем летали. Это... Черт возьми, до чего же ты обнаглел, Фетиш! Не наше дело – перед тобой объясняться!

– Я всего лишь навоз пред лицом Вашего Величества, о повелитель, возлюбленный Аллахом, защитник подлинной веры. И все же, в крайнем своем унижении, я позволю себе попросить вас принять этого француза хотя бы на самое короткое время.

Малик хоть и готов был зарычать от злости, понимал, что Фетиш прав.

– Десять минут. Войдешь ровно через десять минут и скажешь: "Имам, вас срочно хочет увидеть... этот..." Короче, кто-нибудь важный.

– Воистину мудр и добросердечен мой господин! Да благословит Аллах...

— Слушай, иди за ним, не болтай.

Малик прошел к себе в кабинет, нервно перебирая четки. Туда же провели Делам-Нуара.

— Ваша светлость! — по-французски сказал Делам-Нуар, почти не поклонившись.

Он оглядел Малика с ног до головы, как затаивший что-то недоброе портной.

— В вашем лице величие семьи бен Хаззим и чистота подлинной веры обрели свое наивысшее воплощение. Как счастлив Матар иметь такого мудрого, такого всемогущего правителя. Это случается весьма редко. Последним таким правителем можно назвать прапрапрадедушку вашего двоюродного брата по имени Али бен Хашим...

— Да-да, — сказал Малик. — Матар вновь стал священным местом. Хвала Всевышнему. Итак. Значит, вы приехали...

— Я приехал засвидетельствовать свое почтение, mon emir. Увидеть новый изумруд королевской крови в подобающей оправе.

— Вот как? Ну что же. Хорошо. Значит, повидались. Итак. Я *ужасно* занят...

— Понятно, — по-галльски ухмыльнулся Делам-Нуар. — Воистину это тяжелый труд — добиться непререкаемого авторитета. Но вы преуспели, да, да, уже преуспели. И, возможно, теперь самое время дать знать всему миру: о'кей, мы серьезно относимся к своей религии, мы рьяно служим Аллаху, мы очень, очень строгие мусульмане, но мы не собираемся забить насмерть *всех* непослушных женщин в торговом комплексе у "Старбакса". Согласны?

Малик вздохнул:

— Откуда нам было знать, что эта женщина Флоренс все заснимет на пленку?

— В любом случае это не идет на пользу имиджу нового Матара, mon imam. Эту запись уже разместили в Интернете. Она весьма... Мне лично кажется, такое нелегко смотреть. Это похоже на фильм Мела Гибсона.

— Интернет — орудие сатаны.

— Теологические вопросы я вынужден оставить теологам, — сказал Делам-Нуар. — Меня, собственно, больше беспокоите вы. Поскольку это плохая реклама. Мне-то лично плевать. Во время нашей революции мы отрубили столько голов, что вам и не снилось. Поначалу это весело и хорошо развлекает толпу, но если затягивается — начинает мешать бизнесу.

— И что они сделают? Не будут покупать нефть?

— Нет, нет, что вы! Нефть они будут покупать у кого угодно. Хоть у сатаны. Но к чему вам такой дурной имидж в глазах мирового сообщества?

— Вас ведь не мой имидж беспокоит, а свой.

— От вас, мудрейший имам, ничто не укроется. Что ж, согласен. У всех из-за этой истории вид не самый лучший. Не то чтобы Францию волновало мнение остального мира, но все же...

Малик развел руками:

— Это васабийцы настаивают на казнях! Таллула лично звонит мне каждый день и сообщает, что пришлет еще мукфеллинов помочь мне "очистить страну". Я ему отвечаю: "Спасибо, вы очень щедры, но мы не нуждаемся более в услугах религиозной полиции". А через час Фетиш

уже извещает меня о прибытии еще пятисот человек. На автобусах! Ну что я с этим поделаю?

Делам-Нуар сочувственно кивнул.

— Да, нелегко быть имамом.

— Если бы не я, казней было бы в два раза больше.

— Очевидно, я неправильно понимал ситуацию. Каким образом мне теперь извиниться перед вами? Чем я могу вам помочь?

— Просто скажите, — буркнул Малик, — что я должен делать?

— Мне кажется, для вашей проблемы существует решение. Почему бы вам не сказать Таллуле: "Дорогой мой король, тактику железного кулака мы уже применили. Может, перейдем к рукопожатиям? Людей мы уже напугали. Они писаются от страха и уважения к вам прямо в свои тхобы. У нас теперь очень послушный народ. Пора перейти к удовольствиям". Ну как?

— Это же васабийцы, — ответил Малик. — Удовольствия не по их части.

— Ну тогда хоть перестаньте выставлять себя и *свою страну* в дурном свете.

— Как?

— В моем распоряжении оказались кое-какие данные. Они очень секретные, поэтому не распространяйтесь о том, кто вам их сообщил. Васабия присылает сюда своих мукфеллинов отчасти и по той причине, что их нечем занять дома. Население Васабии так ими напугано, что уже не нарушает никаких правил. Они даже не выходят больше из своих домов. А это привело к безработице среди мукфеллинов. Таллула очень обеспокоен, поэтому теперь с радостью высылает их из страны, чтобы у них появилась работа. Такова ситуация с мукфеллинами. Не очень-то хорошо иметь у себя под боком множество безработных палачей. Мало ли что придет им в голову... Так вот, может быть, вам обратиться к Таллуле и сказать: "О'кей, в ответ на вашу помощь при смене власти я отправлю вам всех непослушных женщин Матара, чтобы разрешить вашу проблему с безработицей мукфеллинов". Если им так нравится рубить женские головы и забивать девушек палками, то по крайней мере пусть это происходит в Васабии, от которой все ждут подобного варварства, а не здесь — в бывшей Арабской Швейцарии. Хорошо?

— Но как быть с этой женщиной Флоренс? Я не могу позволить ей шнырять повсюду. Это подрывает мой авторитет.

— Нет, нет, нет, — улыбнулся Делам-Нуар. — Этого мы не допустим. Думаю, что и здесь у меня найдется для вас интересное предложение.

Глава двадцать шестая

Флоренс посмотрела на Бобби и сразу поняла, что новости плохие. Он с отвращением сорвал с себя свою гутру и швырнул на стол газету "Аль-Матар". Флоренс прочла заголовок на первой странице:

БЫВШАЯ ШЕЙХА ПРИЗНАЛАСЬ В АМОРАЛЬНОЙ СВЯЗИ С АМЕРИКАНСКОЙ ШПИОНКОЙ ФЛОРЕНС

– Они, скорее всего, даже и не пытали ее, – сказал Бобби. – Сами все сочинили.

Флоренс прочитала вслух последний абзац: "Решение о наказании за ее отвратительные грехи будет вынесено верховными лицами государства. Признавая масштаб своих преступлений, подробности которых даже не поддаются описанию, бывшая шейха сама заявила, что должна быть наказана по всей строгости законов шариата, толкуемых нашим благословенным имамом Маликом – да будет его путь усыпан тысячами благоуханных роз".

– Черт, – подытожила Флоренс.

– Это ловушка, – сказал Бобби и постучал пальцем по газете. – А вот это – наживка.

Флоренс начала собирать свои вещи. Бобби наблюдал за ней.

– Это значит, что мы заглотнули наживку?

– Я могу сделать это одна.

– Да, черт тебя побери, Фло!

Когда Бобби и Флоренс покинули свое убогое жилище, они были похожи на тысячи семейных пар – она сосредоточенна и решительна, он вне себя от злости. Вскоре они припарковали машину в районе Мирдам, где было множество рыночных палаток и уличных закусочных и толпы людей бродили рядом с полями для игры в футбол, а также для скачек на лошадях и верблюдах. Несмотря на весь мрачный аскетизм, воцарившийся теперь в Матаре, здесь по-прежнему было оживленно и шумно.

Уязвленное достоинство Бобби к этому времени восстановилось уже настолько, что он мог разговаривать с Флоренс.

– Если он сразу возьмет трубку, – сказал Бобби, – делай все, как задумала, только быстро. Если он предложит позвать к телефону Лейлу и попросит тебя подождать – отключайся. Можно будет позвонить с другого мобильника. Но если они ждут твоего звонка, в чем я ни чуточки не сомневаюсь, у нас останется всего пара минут до того, как сюда нагрянут мукфеллины. Не знаю, поставляют ли им лягушатники оборудование, но давай будем считать, что да, поэтому – что бы ты там ни говорила, говори быстро... И не забудь, что они обязательно запишут весь разговор. А потом нарежут из твоих фраз все что угодно. В итоге ты у них признаешься не только в лесбийских оргиях, но даже в том, что напи́сала на камень Кааба в Мекке.

Они вышли из машины и смешались с толпой. Это было самое лучшее место для телефонного звонка, который должен быть немедленно отслежен – тысячи людей (половина из них под чадрой), транспорт, улицы с двусторонним движением, десятки входов и выходов.

Флоренс вынула один из сотовых телефонов, украденных ею в ночь "освобождения" Матара, как это теперь называлось официально. Бобби прилепил кусок клейкого воска на заднюю панель и вернул телефон Флоренс. Из-за воска его было неудобно держать. Флоренс набрала личный номер эмира.

Трубку взяли после двух гудков. Она назвалась. Малик подошел к телефону почти мгновенно. Они действительно ждали ее звонка. Бобби жевал резинку и, как нервный тренер, поглядывал на часы.

— Итак, Малик, — сказала Флоренс. — Вы готовы занять свое место за столом цивилизованных наций?

— О чем это вы говорите, Флоренс?

— Я делаю то, чего вы от меня хотели, — отвечаю на объявление, которое вы поместили в сегодняшней газете.

— А-а, значит, все еще хотите поторговаться, да? Мне потребуется аванс.

— Что имеете в виду? Руку? Язык? Или всю голову?

— Раз уж вам нравится делать видеозаписи, сделайте запись со своим признанием. На кассете должны быть описаны все ваши преступления — роль правительства США в заговоре против Матара, против ислама, против меня лично, а также ваша противоестественная связь с женой эмира. В общем, всё.

— Тысяча и одно преступление? Тогда мне понадобится многочасовая кассета. А что будет, когда вы ее получите?

— Лейла улетит на Кипр. А вы сдадитесь властям.

— Какие у вас гарантии, что я действительно сдамся после освобождения Лейлы?

— Ну вы же хотите, чтобы она прожила долгую и счастливую жизнь, не так ли? Со своим сыном?

— Хорошо. Подождите секунду, Малик...

Она не стала нажимать на "отбой" и передала телефон Бобби. Он сошел с тротуара, нагнулся, как будто завязывая шнурки, и незаметно прикрепил телефон к днищу автомобиля, который в этот момент остановился у светофора.

Затем они быстро смешались с толпой, а в следующую минуту повсюду уже выли сирены и над головой ревел вертолет. После этого несколько черных седанов, битком набитых мукфеллинами, на огромной скорости промчались мимо них в погоне за ни в чем не повинной машиной.

— Я совершила преступление против государства... Я совершила... — Флоренс смотрела прямо в объектив камеры, которую держал перед ней Бобби. — Меня зовут Флоренс. Я американка. У меня была... связь...

— Может, тебе легче будет, если я поставлю ее на штатив и выйду? — спросил Бобби.

Флоренс вздохнула:

— Нет. Давай попробуем еще раз. Какой это уже дубль?

— Восемнадцатый или девятнадцатый. Я вроде как сбился. О'кей, погнали...

— Меня зовут Флоренс. Я американка. Я враг режима имама Малика. — Она посмотрела на Бобби. — Ну как?

— Мне кажется, этого им не хватит.

— Слушай, а пленка... Ты уверен, что у тебя все работает?

— Как часы. Я проделывал это десятки раз.

— О'кей, ладно. — Она поправила прядь волос. — Я хорошо выгляжу?

Бобби закатил глаза.

— Роскошно. Короче, поехали.

— Меня зовут Флоренс, и я совершила множество преступлений против государства Матар и его достославного правителя имама Малика бен Каш аль-Хаза...

— ...за эти ужасные деяния я заслуживаю любого наказания, которое имам Малик, во всей своей величайшей мудрости и в соответствии с законами шариата, придумает для меня. Да будут грехи мои искуплены, и да простит Аллах мне мои проступки. Пусть живет вечно имам Малик. Пусть живет вечно новая Исламская Республика Матар.

Фетиш выключил видеомагнитофон.

— Хм-м, — удовлетворенно промычал Малик.

— Поздравляю вас, имам, — сказал Фетиш. — Это настоящая победа.

— Да уж... Ты не находишь, что она переигрывает?

— Нет, повелитель, она выглядит крайне испуганной и покорной. Очень убедительно.

— Она недурна.

— Воистину, никчемная красота. Должен ли я размножить эту запись и распространить ее?

— О да. Сделай побольше копий.

— И должен ли я отдать распоряжения?

— Какие распоряжения?

— Касательно шейхи, о Великий. Насчет самолета на Кипр?

— Разумеется, нет.

— Понятно. Имам сначала будет молиться, а после этого прикажет мне отдать распоряжения?

— Ты можешь отдавать распоряжения, Фетиш, только тогда, когда я тебе скажу. Неужели это трудно понять? У тебя что-то со слухом?

— Нет, о Святейший. Мне все понятно. Прости своего смиренного слугу за его олигофрению.

— За что?

— За тупость, имам.

— А-а. Можешь оставить нас.

Фетиш нашел укромный уголок в дворцовых апартаментах и быстренько изложил по мобильному телефону, как развиваются и не развиваются события своему второму работодателю месье Делам-Нуару.

Следующий звонок Малику Флоренс сделала из другого оживленного места. Еще более нетерпеливый Бобби на этот раз засекал время по часам.

— Вы получили свой аванс, — сказала она, когда Малик подошел к телефону.

— Да. Надеюсь, в той вонючей дыре, куда вы забились, имеется телевизор? Сегодня вечером это будут показывать. Но если пропустите сегодня, не расстраивайтесь. Сможете посмотреть завтра. И послезавтра.

— А я увижу, как шейха выходит из самолета на Кипре?

— Вот с этим у нас, знаете ли, проблема.

— Какая еще проблема?

— Она пока не в состоянии путешествовать. Вы же понимаете, ей тут пришлось несладко. Почему бы вам не навестить ее? Мы вам выделим соседнюю камеру. Сможете заниматься любовью через решетки.

— Выходит, Малик, вы по-прежнему обманщик?

— Нет, Флоренс, я по-прежнему победитель.

Флоренс нажала "отбой" и швырнула телефон в сточную канаву, где он разлетелся на мелкие части. После этого они с Бобби смешались с

толпой, а над головой у них снова раздался рев приближавшегося вертолета.

— Имам, с этой записью возникла проблема, — сказал Фетиш.

— Что именно?

— На кассете ничего нет.

— Что-о?

— Я отправил ее прямо Джахару, который возглавляет телеканал, для копирования и трансляции в эфир. Но он говорит, что, когда они попытались ее скопировать, кассета оказалась пустой. На ней ничего не было.

— Этого не может быть, Фетиш. Мы же смотрели ее с тобой вместе.

— У меня нет объяснений, имам.

Малик схватил телефон. Джахар ответил на звонок и дрожащим голосом сообщил, что, к сожалению, увы, на пленке действительно ничего не было. Малик обозвал его идиотом и дураком и — хуже того — предателем. Джахар, обливаясь потом, сказал, что пленка исследовалась самыми лучшими специалистами канала ТВМатар, и если бы на ней было хоть что-нибудь, кроме шипения и черноты, он бы немедленно доложил об этом Его Самому Святейшему Величеству. Малик швырнул телефон об стол с такой силой, что тот треснул.

— Грязная, хитрая стерва!

— Ваше Святейшество, — сказал Фетиш, — она недостойна вашего гнева.

— Бабские штучки! Надула меня!

— Успокойтесь, о Святейший, ибо сердце ваше может не выдержать.

— Тащи мне сюда шейху! Где эта шлюха?!! Быстро!

— Повелитель...

— Фетиш, — заскрежетал зубами Малик, — ты знаешь, что такое oubliette?

Фетиш не знал, но был уверен, что это плохо.

— Это яма, Фетиш. Очень глубокая узкая яма, какие бывают в старинных французских замках и тюрьмах. Туда бросали неугодных людей. И там их забывали: по-французски забытые — oubliés. У тебя как с французским? Так вот, я приказал выкопать такую под дворцом. Хочешь стать испытателем?

Ничто не подстегивает человека так эффективно, как перспектива быть брошенным в яму. Фетиш бочком, как краб, поспешил убраться из комнаты, чтобы позвонить Делам-Нуару.

Делам-Нуар был человек утонченный, однако, выслушав доклад Фетиша, он все же произнес неприличное слово merde. Взяв себя в руки, он приказал Фетишу тянуть время, на что тот начал бубнить что-то про oubliette. Это словечко не сразу дошло до сознания Делам-Нуара, но когда он его наконец расслышал, то уже сам был готов выкопать яму такой глубины, чтобы разместить в ней всю королевскую семью Матара, да и сам Матар, к чертовой матери.

— Теперь, когда записи стали цифровыми, с этим полегче, — говорил Бобби. — Чип содержит алгоритм, который стирает запись при попытке второго просмотра или копирования. Удобная штука. Я уже много раз этим пользовался.

Флоренс после того, как она швырнула телефон в канализацию, явно не хотелось поддерживать беседу.

– Послушай, Фло, – сказал Бобби. – Ты устала. Ты сделала все, что могла. Он и не собирался ее отпускать. Даже если бы он захотел, ему бы не позволили васабийцы. Единственное, что им нужно больше, чем голова Лейлы, – это твоя голова.

– Алгоритм, – задумчиво произнесла она. – Это арабское слово. Происходит от "Аль-Хаваризми". Так звали одного математика, жившего двенадцать столетий назад. Тогда они были великими... Они убьют ее, Бобби.

– Может, французы вмешаются. Им такой пиар не нужен. Они, может, и мудаки, но выглядеть мудаками не любят.

– Нет, они убьют ее.

– Слушай, а не рвануть ли нам домой, Фло? Похоже, мы тут никому уже помочь не сумеем.

Она посмотрела на него.

– Испугался?

– Чтобы испугаться, нужно прежде всего иметь желание остаться в живых. Раньше мне на это было плевать, потому что у меня никого не было. Но не теперь. Если ты понимаешь, о чем я.

– Не очень-то счастлив ты оттого, что влюбился.

– Если честно, у меня по этому поводу противоречивые ощущения. Для того чтобы испытать это чувство, на свете существует масса более подходящих мест, чем Ближний Восток.

– Француз ждет, что вы его примете, о Святейший.

– Что? Да кем он себя воображает, чтобы вот так заявляться? И где шейха? Я велел тебе привести ее сюда.

– Она скоро будет. Ее пришлось... немного помыть. Она была непрезентабельна, повелитель. В камере никаких удобств...

– Я не просил тебя устраивать ей купание, Фетиш.

– Глупость моя безгранична, как пустыня Нафта, о господин. Простите меня.

Малик издал звук, похожий на рычание.

– А пока она не пришла – быть может, вы примете француза, повелитель?

– Чего ему надо?

– Я не знаю, имам.

Знакомство с французским словом oubliette кардинально изменило позу Фетиша – его позвоночник находился теперь постоянно в согнутом положении.

– Пять минут. Ты меня понял, Фетиш?

– Воистину добросердечен имам.

Делам-Нуара пригласили в кабинет.

– Имам очень великодушен, приняв меня так быстро.

– Мы очень заняты, месье. О чем вы хотите поговорить?

– Мы перехватили один телефонный разговор американцев, повелитель. Я подумал, что вам лучше услышать это из моих уст, так сказать лично, а не по телефону.

– Да?

– Это очень щекотливый момент.

— Да, да, я понял. Итак?

Делам-Нуар понизил голос:

— Насколько я понимаю, мой повелитель вчера общался по телефону с министром иностранных дел Васабии принцем Бавадом?

— Откуда вам это известно? А если и так? Я правитель Матара.

На самом деле благодаря Фетишу французы уже давно прослушивали телефон Малика. Но лучше было делать вид, что такими вещами занимаются только отвратительные американцы.

— Я не критикую имама. Но похоже, что американцы подслушивали этот разговор. Технически они очень... скажем, довольно умны. Издержки современности. Всегда кто-нибудь подслушивает. Это, конечно, не мое дело, однако теперь, в связи с тем, что мы узнали, становится в каком-то смысле и моим делом. Вы улавливаете, отчего мне так неловко?

— И отчего же?

— Благодаря американцам у нас имеется запись этого разговора. Насколько я понимаю, принц Бавад был с вами... как бы это сказать... крайне авторитарен?

— Я сам разберусь в своих отношениях с принцем Бавадом, — сухо сказал Малик.

— Конечно, конечно. Однако лично мне его тон показался очень грубым. Очень повелительным, очень наглым. Назвать вас — простите меня, Великий Имам, но я только цитирую, — сыном рабыни с кухни, обманщиком на автомобильных гонках, да еще сказать, что, если вы не выполните в точности указания васабийцев — как он там дословно сказал? — "мы сбросим тебя с трона, как загнивший инжир". Весьма необычное выражение, признаться. Для дипломата этот принц не такой уж мастер в дипломатии.

— Бавад — жаба. Отныне я веду дела только с Таллулой.

Делам-Нуар пожал плечами так, как это умеют одни французы.

— Это понятно, но Бавад приходится племянником королю Таллуле, и они очень близки. Не думаю, чтобы принц говорил такие вещи без одобрения своего дяди короля.

— Ну и что из этого? — нетерпеливо спросил Малик.

— Mon imam, суть в том, что запись этого разговора есть у американцев. И мой вывод таков: если вы казните бывшую шейху Лейлу, американцы воспользуются этой записью как предлогом для прямого вмешательства. Флоренс привлекла к себе много внимания в Соединенных Штатах. Да и во всем мире.

— И что сделают эти американцы? Перестанут покупать нефть? Ба!

— Скорее всего, они обнародуют то место записанного разговора, где Бавад приказывает вам убить ее. Представьте себе, как это будет выглядеть. Как будто вы всего лишь марионетка в руках васабийцев. И кому это надо? Васабийцам, скорее всего, плевать. Но Франции, как вашему союзнику и подлинному другу, этого точно не надо, — улыбнулся Делам-Нуар. — Нам нужен в Матаре *сильный* имам. *Независимый* имам! Не такой, который должен просить разрешения у дома Хамуджа всякий раз, как ему захочется сходить в туалет. Разумеется, вы *всегда* будете оставаться зависимым от Франции.

Малик вскинул руки над головой.

— Но что я могу поделать? Они хотят, чтобы вдова эмира была мертва и чтобы эта тварь Флоренс тоже была мертва, а в том, что ее не могут поймать, они обвиняют меня. Меня! Вы понимаете, как эта Флоренс провела нас? Я попросил ее записать пленку, как вы мне сказали, но она обманула нас, эта стервозная шлюха. Запись можно посмотреть один раз, а потом — пф-ф-ф! — и ничего нет. Все исчезло, как джинн.

— Виной моя собственная глупость, Великий Повелитель, — успокаивающим тоном сказал Делам-Нуар. — Вы сделали все, что от вас требовалось, абсолютно точно, а мы... Нет, во всем виноват я один... Я подвел вас, упустив из виду, что они могут воспользоваться этим шпионским трюком, придуманным в ЦРУ. Я проклинаю себя. Сегодня я не смогу уснуть, поскольку...

— Мне кажется, вы перебарщиваете, Доминик.

— Да, пожалуй, немного есть.

— Так что мне теперь делать? Вы говорите — американцы воспользуются записью моего разговора с Бавадом?

— Боюсь, что могут.

— А может, мне вызвать американского посла и порекомендовать ему, чтобы у него на родине начинали строить ветряки для поддержания тепла этой зимой?

— Но, мой повелитель, разумно ли будет информировать американцев о том, что вам известно про их замыслы? Мы держим их на коротком поводке.

— Держим?

— Ну разумеется. Вместо угроз скажите им следующее: "Послушайте, мои дорогие пожиратели гамбургеров, мы знаем, что вдова эмира работает на ЦРУ..."

— Правда, что ли?

— Нет. Но вы скажете американцам, будто вы *знаете*, что это так, и они сильно занервничают. Вы скажете им, что она во всем призналась. А потом добавите: "Васабийцы — очень жестокие люди. Они хотят, чтобы я отрубил ей голову. А вы еще сравниваете *их* с французами! Ха! Но я принял решение не отрубать ей голову. Я собираюсь вернуть вам ее в целости и сохранности. И знаете почему, мои американские друзья? Чтобы показать васабийцам, что я настоящий имам, что я сам себе хозяин, что мне никто ничего не приказывает. И вот что вы, американцы, сделаете за это для меня. Во-первых, я хочу услышать, как вы говорите обо мне приятные вещи в ООН. Во-вторых, я хочу, чтобы вы перестали говорить все эти ужасные вещи о Франции и о том, как она помогла мне стать эмиром. И в-третьих, я хочу, чтобы вы направили своих людей — ваш спецназ "Дельта форс" — в Амо-Амас и забрали эту свою женщину Флоренс. Мертвую или живую — мне все равно. Ей пора отсюда уезжать. Я не собираюсь делать из нее новую Жанну д'Арк. Если вы не приедете и не заберете ее, я сам очень быстро решу эту проблему. И последнее: если вы не станете сотрудничать со мной по этим вопросам, у вас в Америке будет очень холодная зима, ясно?"

— Хм-м-м, — вздохнул Малик, — думаете, они на это пойдут?

— Мой дорогой имам, вы должны понять одну вещь: американцы остаются идеалистами до тех пор, пока им не приходится снижать температуру в своих квартирах. Когда это случается, они становятся очень даже практичны.

Глава двадцать седьмая

Флоренс и Бобби снимали свою очередную "Осаму", как они прозвали все эти видеозаписи Флоренс, когда раздался телефонный звонок. Это напугало их, поскольку телефон был выключен, а мобильники, как правило, в неработающем состоянии не звонят. Тем не менее этот вот зазвонил.

Флоренс потянулась к нему, но Бобби тут же предупредил ее:

– От пары грамм взрывчатки С-4 может очень сильно разболеться голова.

Он отнял у нее телефон и отошел с ним в дальний угол. Флоренс наблюдала за его действиями. Он задержал дыхание, вытянул руку с телефоном как можно дальше от себя и нажал кнопку приема звонка. Потом, выдохнув, приблизил телефон к уху на расстояние тридцати сантиметров.

– Салям.

Он немного послушал, нервно щурясь.

– Хорошо, я передам, – сказал он напряженным голосом. – Если ее увижу.

Флоренс спросила его одними губами:

– *Кто?*

Бобби так же беззвучно ответил:

– *Дядя Сэм.*

Она протянула руку. Бобби прикрыл трубку ладонью и прошептал:

– Только быстро.

Он передал ей телефон и начал собирать вещи. К этому времени она уже привыкла к таким сборам и торопливым побегам.

– Ну надо же, – сказала Флоренс в трубку.

– Вы хоть понимаете, юная леди, какие проблемы вы там создаете?

– А разве не вы сказали мне во время нашей первой встречи: "Если не можешь решить проблему, сделай так, чтобы она разрослась"?

– Но я не говорил, чтобы она разрасталась до *такой* степени. Мы обсудим это, когда вы вернетесь домой. Меньше всего нам нужно, чтобы вас там схватили.

– Сначала вытащите Лейлу.

Дядя Сэм вздохнул:

– И что вы можете предложить? Высадку морского десанта рядом с дворцом? Или "Падение Черного Ястреба-2"? Вы на улицу давно выходили? У вас там в Матаре васабийских солдат больше, чем гражданского населения.

– Это не просьба.

Дядя Сэм на секунду замолчал.

– Я сделаю, что смогу.

– Мне это не очень подходит.

– Придется довольствоваться малым.

В этот момент Бобби сделал жест: *заканчивай.*

– Время ноль один четыре пять, – сказал дядя Сэм. – То есть час сорок пять ночи. Я отправлю за вами наше "водное такси". Оно будет ждать в том же месте, где всегда. Этот Омар Шариф еще там? Передайте ему трубочку.

Флоренс молча передала телефон Бобби. Он выслушал, выдавил несколько раз "ага" и нажал отбой.

— Что-то не так, — сказал Бобби. — Уходим, время не ждет.

— Ты рассказал ему про нас?

— Что ты имеешь в виду?

— Что мы с тобой спим.

— Я... Ну, может быть. Пошли, это сейчас не важно.

— Зачем ты ему сказал?

— Потому что он спросил.

— Когда ты ему сказал, что мы с тобой спим?

— *После* того, как мы начали этим заниматься. Фло, нам пора.

— Зачем было говорить?

— Да затем, что он спросил меня — *лесба* ты или нет. Слухи ходили. Он не знал, кому верить. Тогда он пытался вытащить тебя из страны, а ты не хотела — вот он и...

— Решил, что я лесбиянка. Так ты из-за этого со мной переспал? Это тоже часть твоего задания? Ты у нас агент по наблюдению за сексуальной ориентацией?

— Разумеется, нет. Черт тебя побери, Фло.

— Не чертыхайся. Если уж кто-то и должен чертыхаться, так это я.

— Фло, нам пора. У меня плохое предчувствие из-за этого звонка.

— Я думала, нас собираются вывозить на подводной лодке.

— Возможно. Может, соберешь пока свои вещи?

Флоренс обиженно похватала свои пожитки, которые теперь состояли из пистолета, сотовых телефонов и ненавистной, пропахшей потом абайи.

Они уселись в машину. Однако вместо того чтобы сразу уехать, Бобби сделал небольшой круг и остановился в двух кварталах от дома, так, чтобы ему было видно входную дверь.

— Что ты делаешь?

— Исключаю варианты.

Бобби сполз на своем сиденье как можно ниже и наблюдал за домом при помощи маленького бинокля. Правая рука его лежала на рукоятке пистолета, заткнутого за пояс в складках тхобы.

Спустя пятнадцать минут к дому с противоположной стороны подъехал легковой автомобиль. Из него вышли четыре человека. Все они были одеты в характерные тхобы мукфеллинов черных и синих цветов. Вместо привычных кнутов в руках у них были пистолеты. Бобби напряженно наблюдал за ними в бинокль.

— Твою мать, — пробормотал он. — Чтоб их!

— Мукфеллины?

Он передал Флоренс бинокль.

— Видишь того крепкого парня с усами впереди всех? Его зовут Анбар Тал. Он капитан службы безопасности матарских ВВС. Я сам его завербовал.

— Значит, он... работает на ЦРУ?

— Насколько мне известно.

— А зачем тогда он приехал к нашему дому с этими людьми? И с оружием?

Бобби снова посмотрел в бинокль.

— Что-то мне подсказывает — они здесь не в качестве "Службы спасения".

Он включил заднюю передачу и начал медленно отъезжать назад.

Флоренс посмотрела в зеркальце и увидела, что сзади к ним приближаются еще какие-то люди в черно-синих тхобах. Бобби инстинктивно нажал на педаль газа.

За спиной у них раздались два громких удара, и мужчины в тхобах, весьма недовольные этим, оказались на багажнике. В следующую секунду они, еще менее довольные, были уже на крыше, а потом — на асфальте перед машиной, прихрамывая и поддерживая друг друга.

Автомобиль двигался задним ходом уже на скорости около пятидесяти километров в час. Через лобовое стекло Флоренс видела, как пять мукфеллинов, возглавляемых Анбаром Талом, бросились за ними, целясь из своих пистолетов. Флоренс хватило секунды, чтобы понять, что сейчас произойдет. В следующее мгновение первая пуля пробила лобовое стекло, обсыпав ее абайю стеклянными крошками. Сползая по сиденью, она услышала еще удары по стеклу, сопровождаемые матерным бормотанием с водительского кресла. Вслед за этим прозвучало еще несколько выстрелов, на сей раз более громких. Флоренс не сразу поняла, что это стрелял Бобби, который продолжал вести машину задним ходом и держал в левой руке пистолет.

— Не отказался бы от помощи, — сказал он.

Флоренс стреляла из пистолета только один раз в жизни, много лет назад, во время краткого тренировочного курса в Госдепартаменте. Хотя в последние несколько недель она довольно часто держала пистолет в руках, теперь, когда она сняла его с предохранителя и высунула руку в окно, он показался ей тяжелым и неуклюжим. Она закрыла глаза и выстрелила.

Послышался громкий металлический звук, резкое шипение, и над капотом взмыла вертикальная струя пара. Флоренс прострелила радиатор автомобиля, на котором они пытались удрать.

Бобби резко прокрутил руль и дернул ручной тормоз, разворачивая машину на сто восемьдесят градусов. Затем он переключил скорость и утопил педаль газа. Проблема состояла в том, что ни один двигатель внутреннего сгорания, какими бы блистательными инженерными умами из Германии он ни был спроектирован, не может работать эффективно или хотя бы достаточно долго, будучи пробитым пулей калибра девять миллиметров. Пар с шумом вырывался из дыры в капоте, напоминая водяную струю, испускаемую разъяренным китом.

— Ты цела, Фло? Не ранена?

— Со мной все хорошо, Бобби. О черт, я попала в машину.

— Слушай внимательно. Сейчас я поверну вон за тот угол. Там я остановлюсь. Я хочу, чтобы ты вышла. О'кей? Итак, слушай меня: на курином рынке работает один человек. У него там палатка. Называется она "ЗамЗам Бест Чикенс". Поняла? Человека зовут Азул бен Халаам. Он работает на меня. Только на меня. Про него никому не известно — ни ЦРУ, ни дяде Сэму, ни лягушатникам — вообще никому. Он может посадить тебя на паром до... Черт! Давай! Давай! Ублюдок! Сукин кот!

Бобби начал колотить по приборной доске в смутной и странной надежде на то, что конструкторы установили там какой-нибудь сенсор, и если по нему как следует врезать, то он отдаст бортовому компьюте-

ру команду проигнорировать тот факт, что система охлаждения пробита 9-миллиметровой пулей. Увы, конструкторы проглядели такую фишку.

– Я тебя не брошу, – сказала Флоренс.

– Заткнись и слушай меня внимательно. Скажешь Азулу, что ты подруга Сайруса с Кипра. Поняла? Сайрус с острова Кипр. Он вывезет тебя из Матара на пароме в Пангибат. Поняла? Замзам. Азул. Сайрус с острова Кипр. Ты все поняла?

Они повернули за угол. Бобби остановил машину. Улица, к счастью, кишела пешеходами, многие из которых останавливались, чтобы посмотреть на необычное зрелище – шипящий "мерседес".

– Давай, Фло, прошу тебя, не заставляй меня умолять. Я для этого слишком стар.

Флоренс открыла дверцу, чтобы выйти, но тут же захлопнула ее. Вынув пистолет, она повернулась и прицелилась через заднее стекло.

– Поехали.

– Черт тебя побери, женщина.

– Рули давай.

Бормоча проклятия, Бобби нажал на газ. Остатки жидкости в охладительной системе мгновенно испарились и со свистом ушли через дыру в капоте. Машина неуверенно тронулась с места.

Глядя назад, Флоренс увидела, как из-за угла на большой скорости вылетел темный седан. Пешеходы бросились от него врассыпную.

Флоренс покрепче сжала рукоять пистолета обеими руками и на этот раз глаза не закрывала. Первым выстрелом она разнесла заднее стекло, чтобы обеспечить себе хороший сектор обстрела. Прицелившись снова, она методично выпустила из обоймы все восемь пуль по ветровому стеклу мчавшегося за ними автомобиля. Машина завиляла из стороны в сторону, соскочила с проезжей части на тротуар и врезалась в стеклянную витрину кондитерского магазина.

– Уже лучше, – пробормотал Бобби.

Флоренс вынула из пистолета пустую обойму и запустила руку в свою сумку в поисках новой.

Бобби свернул в узкую улицу. Свист и шипение прекратились. Индикатор температуры к этому моменту зашкалил в красную область. Этот факт и громкий стук под капотом красноречиво призывали к немедленной смене транспортного средства.

Бобби нажал на тормоза. Они открыли дверцы и выскочили из машины. Из-за угла показался еще один автомобиль, похожий на тот, с которым расправилась Флоренс. Он мчался прямо на них. Флоренс увидела пистолеты, направленные в их сторону из всех четырех окон.

Бобби открыл огонь. В лобовом стекле появились две дырки – одна напротив водителя, другая напротив пассажира. Машину резко повело вправо и швырнуло на фонарный столб, оторвав при этом целившуюся в них руку с пистолетом.

Флоренс вскрикнула. Бобби подбежал к ней и потащил за собой. Они мчались по каким-то улочкам до тех пор, пока запыхавшийся Бобби не объявил наконец:

– О'кей, теперь можно шагом.

И они перешли на шаг – обычная матарская пара, неторопливо прогуливающаяся после убийства нескольких человек.

Повсюду были слышны сирены. Где-то в небе недалеко от них двигался вертолет.

– Ты в обморок падала когда-нибудь? – шепнул Бобби.

– Нет.

– Тогда давай.

– Что?

– В обморок падай, я тебе говорю.

Флоренс рухнула на тротуар, стараясь не повредить себе коленные чашечки. Она понятия не имела, зачем это, однако послушно закрыла глаза.

В следующую секунду она услышала чей-то мужской голос, по-арабски спрашивающий, что случилось.

– Она беременна, – раздраженно сказал Бобби, великолепно имитируя отсутствие всякого сочувствия и нежности.

– В ее положении нельзя разгуливать по улице, – сказал мужчина.

– Думаешь, я не знаю? Я ей двенадцать раз сказал, и еще тринадцатый, но она же упрямая. Думает – если будет гулять, то родит мальчика.

– Да услышит ее Всевышний. С ней все в порядке?

– Мне кажется, у нее началось. Надо бы вызвать "скорую помощь".

"Умница", – подумала Флоренс.

– Хорошо, я сейчас вызову.

– Аллах благоволит тем, кто помогает своему ближнему. Спасибо, брат.

Пока этот человек разговаривал по своему сотовому телефону, Бобби склонился к Флоренс и шепнул:

– Как это мне сразу в голову не пришло?

Общественная инфраструктура в Матаре была хорошо отлажена. Машина "скорой помощи" приехала через несколько минут. Флоренс успела к ее приезду затолкать свою сумку под абайю, чтобы выглядеть беременной. Водитель и санитар положили ее на носилки, а затем в машину. Бобби запрыгнул туда же следом за ней.

– В какую больницу? – спросил он санитаров.

– Имени Черчилля... То есть имени короля Бисма. Ее переименовали.

– Давайте быстрее, а то будете принимать роды прямо здесь.

Когда санитар склонился над Флоренс, чтобы закатать ее одеяние и застегнуть нарукавник прибора для измерения кровяного давления, Бобби стукнул его по затылку рукояткой своего пистолета. Затем он подобрался к водителю и прижал пистолет к его шее, взведя для пущего драматизма курок.

– Если хочешь жить, – сказал он, – поезжай в аэропорт. Если предпочитаешь умереть, то я могу сам сесть за руль.

Водитель всхлипнул и начал умолять о пощаде.

– Успокойся. Будешь делать, как я скажу, – все закончится хорошо.

Водитель продолжал всхлипывать и причитать – у него семеро детей, и он единственный кормилец, и он пропустил сегодня утреннюю молитву, поэтому, если сейчас умрет, он никогда не увидит рая.

Флоренс стянула с лежавшего без сознания санитара форменную куртку. Затем связала ему руки и заклеила рот лейкопластырем, которого в машине оказалось в избытке.

– Не гони, – сказал Бобби водителю. – И сирену выключи.

Водитель повиновался, все еще продолжая хныкать и причитать. Бобби сунул ему в руку рацию.

— Скажи диспетчеру, чтобы соединил тебя с медицинской службой аэропорта. Больше ничего ему не говори, — он посильнее прижал ствол пистолета к шее водителя.

Водитель сделал то, что ему было велено. Из рации раздался чей-то голос, и Бобби забрал ее у водителя.

— Говорит доктор Мансур бен Халибиб, личный врач Фетиша аль-Зира, помощника имама Малика, да будет благословенно имя его. С кем я разговариваю?

В голосе, который доносился из рации, мгновенно послышались интонации глубокого уважения:

— Саиф аль-Утаби, ваше превосходительство, к вашим услугам.

— Очень хорошо. Нам требуется немедленная эвакуация. У одной из жен имама тяжелая черепно-мозговая травма. Мы на пути к вам. Нам понадобится ваш самый быстрый лайнер с топливом до Каира.

— Но я не получал разрешения на это, ваше превосходительство...

— Я даю разрешение.

— Но, ваше превосходительство...

— Если жена имама умрет в "скорой помощи", я скажу ему, что это произошло из-за ваших *ненужных вопросов*!

Вот вам преимущество тоталитарного строя: чем ниже в пищевой цепочке находится человек, тем сильнее проявляется его готовность услужить хозяину.

— Мы все приготовим для вас, — сказал Саиф аль-Утаби.

— Мы будем на месте через пятнадцать минут. Известите охрану у ворот, чтобы нас пропустили без промедления.

— Да, ваше превосходительство.

Водитель "скорой" посмотрел на Бобби круглыми от страха глазами.

Дорога в аэропорт пролегала через пустыню. Бобби надел на себя куртку отключившегося санитара. Затем он приказал водителю остановиться у огромного плаката с рекламой игорных заведений в "Стране неверных", на котором мукфеллины понаписали всяких грубых слов. Флоренс держала водителя под прицелом, пока Бобби вытаскивал из машины санитара и укладывал его под плакатом.

Вернувшись в машину, он проинструктировал водителя о дальнейших действиях и как можно мягче сообщил ему, что в данных обстоятельствах невыполнение этих инструкций приведет к быстрой встрече с Аллахом независимо от того — готов к ней водитель или нет.

Флоренс выслушала все это и обратилась к Бобби по-французски, поскольку надеялась, что этот язык водитель не понимает.

— У них же есть военные самолеты. Они нас собьют.

— А что ты предлагаешь?

— Может, поедем в посольство? Они обязаны нас принять.

Бобби фыркнул:

— Ну да, им просто не терпится нас увидеть. Даже если морпехи нас не пристрелят, даже если мы прорвемся через ворота — что потом? Провести остаток жизни в подвале, любуясь недовольными рожами посольских козлов? Нет уж, спасибо. Я лично за самолет с медицинскими опознавательными знаками.

Флоренс пришлось согласиться.

Они уже подъезжали к аэропорту. Флоренс нацепила на себя все медицинские штучки, какие смогла найти в машине: респираторную маску, нарукавник для измерения кровяного давления, трубки от капельниц и бинты. Затем она улеглась на носилки, надеясь сойти за жену имама с очень серьезной травмой головы. Бобби сел рядом с дрожащим водителем, еще раз напомнив ему, что в кармане куртки у него заряженный пистолет. После этого он протянул руку и включил сирену и мигалки, окрасив пустыню вокруг них красными, белыми и синими всполохами.

У въезда в аэропорт был блокпост.

– Не нервничай, просто лежи и молчи. Разговаривать буду я, – сказал Бобби.

Машина остановилась. Путь ей преграждали солдаты с автоматами. Один из них жестом приказал водителю опустить стекло.

– Куда едете?

– Медицинская служба аэропорта, – ответил Бобби. – В чем проблема?

– Вопросы здесь задаю я. Объявлена тревога.

– Но нам срочно. Вы же сами видите.

Задние двери машины распахнулись, и внутрь заглянули два солдата. Флоренс неподвижно лежала на носилках, крепко сжимая свой пистолет под абайей.

– Кто это? – спросил солдат, стоявший рядом с окном водителя.

– Жена имама, – ответил Бобби. – Его *любимая* жена. Мы вывозим ее в Каир, – добавил он очень серьезно. – Она в критическом положении.

Солдат нахмурился.

– Нам ничего об этом не сообщали.

– А мне-то какое дело? – сердито сказал Бобби. – Никто не планировал эту травму заранее! Хотите, чтобы имам лично вам позвонил?

Солдат заколебался, а потом едва заметным и слегка презрительным движением головы показал, что можно проезжать. Задние двери "скорой" с грохотом захлопнулись. Солдат, который стоял перед машиной, отошел в сторону. "Скорая помощь" тронулась с места.

– Я думала, у меня сердце выскочит, – пробормотала Флоренс.

Водитель тоже был сам не свой. Бобби похлопал его по спине и заговорил дружелюбным тоном:

– Ты справился, друг. Все хорошо. Еще несколько минут – и все закончится А ты потом будешь рассказывать эту замечательную историю своей жене и своим де...

В этот момент глаза водителя неожиданно укатились куда-то вверх, и он рухнул всем телом на руль. Машину швырнуло прямо навстречу огромному грузовику.

Бобби схватился за руль и резко повернул его, чудом сумев избежать столкновения с грузовиком. Флоренс упала с носилок в кучу медицинских принадлежностей.

– Какого черта!

Бобби одновременно управлял машиной, тянулся левой ногой к тормозу и вытаскивал из-за руля потерявшего сознание водителя. Флоренс освободилась от опутавших ее трубок и решительно поползла в переднюю часть машины. "Скорая помощь" тем временем с треском про-

ломила деревянный барьер и выскочила на встречную полосу. Теперь даже случайному наблюдателю было бы ясно, что с этой машиной не все в порядке.

Неимоверным усилием Бобби сумел-таки столкнуть водителя с кресла на пол и втиснуться за руль, взяв на себя управление "скорой помощью", которая мчалась теперь прямо на бензовоз. Всполохи мигалки и вой сирены давали "скорой" некоторое преимущество. Движущийся навстречу транспорт уступал дорогу, съезжая на обочину. Однако вскоре послышались другие сирены. А когда Флоренс перебралась через тело водителя на пассажирское кресло, она услышала доносившиеся из рации сердитые голоса, которые обращались к водителю и требовали немедленно остановиться.

– Держись! – сказал Бобби, выкручивая баранку и нажимая на тормоз.

"Скорая" развернулась, однако неожиданно сильно накренилась и встала на два колеса. Несколько секунд, показавшихся им вечностью, она балансировала в таком положении, а потом чудесным образом опустилась на все четыре колеса.

Теперь по крайней мере они двигались в правильном направлении, хотя к этому моменту ими заинтересовались уже несколько бронированных автомобилей с пулеметами на турелях.

Бобби охарактеризовал явно ухудшающуюся ситуацию сухим и точным языком профессионала:

– Нам трындец.

Он свернул на эстакаду, перед которой возвышался плакат ТЕРМИНАЛ ОТЛЕТОВ. Машины с охраной все еще находились в нескольких сотнях метров позади, но расстояние это сокращалось очень быстро. Наступил вечер, и в аэропорту было людно. Перед терминалом стояло несколько десятков машин. Сотни пассажиров входили и выходили из здания.

– Когда я приторможу, – заговорил Бобби, – сразу выпрыгивай. Затеряйся в толпе. Ты сможешь. И запомни "ЗамЗам Бест Чикенс". Азул. Сайрус...

– ... с острова Кипр. Да, Бобби, я знаю.

– Вот и отлично.

Он проехал к дальнему концу терминала и остановился, выключив сирену и мигалку.

– Давай, Фло.

– Я застряла.

– Чего?

– Нога застряла. Не могу выдернуть.

Бобби потянулся к ней.

– Нет, с этой стороны не достанешь, – сказала она. – Давай с другой. Быстро.

Бобби открыл дверцу и начал обходить машину. В ту же секунду Флоренс прыгнула на водительское сиденье, дернула рычаг передач, и "скорая" с визгом рванула с места. В боковое зеркальце Флоренс еще успела заметить Бобби, стоявшего на тротуаре, а в следующую секунду мимо него уже пролетели военные и полицейские машины, которые продолжали мчаться за ней.

Машины "скорой помощи" созданы для быстрой езды. Поэтому Флоренс неслась как угорелая, уводя преследователей от Бобби. Однако военные и полицейские машины тоже созданы для быстрой езды, поэтому очень скоро они сели ей на хвост. Судя по всему, они уже знали, что в машине нет никакой жены имама. Флоренс догадалась об этом, поскольку они начали стрелять. Низкие обводы кузова закрывали от пуль колеса, а толстый металлический щит за водительским креслом надежно укрывал саму Флоренс. Однако в дверной проем справа от нее пули влетали целыми стаями, пробивая лобовое стекло и покрывая его паутиной трещин.

Флоренс лихорадочно анализировала ситуацию. Она понимала, что через несколько минут будет схвачена или мертва. Ее выволокут из машины – и что потом? Допрос. Пытки. Казнь. Васабийцы тоже, несомненно, не останутся в стороне. Им она нужна больше всего.

Неожиданно Флоренс услышала шум над головой, а затем увидела вертолет. Он летел на одной скорости с ней, и притом очень низко. Она даже разглядела человека, который целился в нее из винтовки. Затем она посмотрела на спидометр. Сто шестьдесят. Флоренс приближалась к эстакаде, проходившей над шоссе. Все должно было закончиться через несколько секунд. Быстро и четко. И не худшим образом. Не самый, конечно, героический способ уйти, разбившись о бетонное основание эстакады, но зато так легче. Никто на нее не орет, никто не подключает к ней автомобильный аккумулятор, не отрубает голову, не забивает камнями.

Флоренс перестроилась в левый ряд и до упора нажала на педаль газа. Внезапно она ощутила абсолютное спокойствие, поскольку наконец полностью контролировала собственную судьбу. Она вспомнила о Назре, с которой начались все эти события, – как она точно так же мчалась в автомобиле навстречу аварии. Флоренс опустила голову и направила автомобиль в основание эстакады. И вдруг услышала стон.

Это был водитель. Она совершенно о нем забыла. Он смотрел на нее снизу вверх, в ужасе бормоча что-то и представляя собой жалкое зрелище. Однако Флоренс неожиданно вспомнила про его семерых детей. Если бы он промолчал о них. Если бы он был чуточку храбрее. Если бы держал себя в руках и... До эстакады оставалось всего несколько метров.

Флоренс уклонилась от столкновения с бетонным основанием и промчалась под эстакадой.

Вертолет продолжал кружить прямо над ней. Она снова увидела человека, выглядывавшего из боковой двери. Он целился в нее из винтовки.

Тремя выстрелами он пробил двигатель. Лобовое стекло забросало маслом. Машина потеряла ход.

Когда стрелок опустил винтовку, Флоренс успела разглядеть его светлые волосы и традиционно закатанные рукава французского десантника.

"Да, – думала она, наблюдая за тем, как вооруженные люди окружают ее машину, – эти французы всегда были хорошими снайперами".

Глава двадцать восьмая

Рик Ренард сидел в своем вашингтонском офисе, пытаясь убедить весьма тучного бывшего сенатора США, дважды провалившегося на президентских выборах, стать представителем сети специализированных центров по борьбе с лишним весом.

Сенатор всем своим видом показывал, что это ниже его достоинства (и это отчасти было правдой), однако существовала и другая причина: он хотел больше денег. Ренард в свою очередь настаивал на том, что помочь жирным американцам сбросить излишки веса уже само по себе — замечательный и бескорыстный акт гуманизма, а если какой-нибудь выдающийся человек, посвятивший всю свою жизнь служению обществу, заработает при этом пару долларов, то кому же придет в голову возражать?

В разгар этого затейливого танца в стиле Кабуки в кабинет вошел помощник Ренарда и, попросив прощения, вручил ему записку, в которой говорилось, что ему звонит Джордж и срочно просит ответить.

Нет, это нельзя отложить. Да, это срочно, очень срочно.

— Белый Дом, — сказал Рик сенатору, протягивая руку к телефону. — Вы не против?

Сенатор прекрасно понимал, что никакой это не Белый дом, но ему льстило вранье Рика — не каждому доступны такие высоты. В Вашингтоне реальную высоту своего положения человек определяет по тому, насколько низко готовы перед ним склониться окружающие.

— Нет, нет, разговаривайте.

— Я слушаю, Карл, — сказал Рик в трубку.

— Фьоренца! — выдохнул Джордж. — По-моему, ее схватили.

— Черт! — выругался Ренард. — Твою мать!

Сенатор посмотрел на него с большим интересом.

— Я выясню, что смогу, — сказал Джордж. — Увидимся у тебя в офисе, как только я смогу выбраться отсюда. Даккетт заставил меня проверять какие-то заявления на визу восьмилетней давности. Козел!

Рик положил трубку.

— Все в порядке... в *Белом доме?* — напористо спросил сенатор.

— О да. Ага. Вы же их знаете, — улыбнулся Рик. — Стоит их рейтингу упасть на один пункт, они тут же поднимают панику.

Рик быстро выпроводил сенатора и приказал своему помощнику отменить все встречи. После этого он включил телевизор и щелкал каналами, параллельно ведя поиск в Интернете до тех пор, пока не появился Джордж. Собирать информацию ему теперь было непросто, поскольку злой на него Даккетт существенно понизил ему уровень доступа, однако у Джорджа еще оставались кое-какие друзья.

Посольство США в Амо-Амасе прислало доклад о некой заварушке в районе Дисмалия — со стрельбой, с разбитыми машинами, а также с инцидентом в аэропорту. Специалисты посольства по прослушке перехватили радиоболтовню матарских полицейских об *эль имра'а амрикийя* (американке). Еще они перехватили переговоры на французском языке с боевым вертолетом, откуда запрашивалось — и потом было получено — разрешение открыть огонь по преследуемому автомобилю. Через полчаса после этого конвой из нескольких транспортных средств на большой скорости въехал в ворота военно-воздушной базы имени прин-

ца Вазба. После осуществленного Маликом переворота эту базу превратили в тюрьму для тех матарцев, которым хватило смелости высказать свои сомнения в том, что приход Малика к власти — величайшее событие в Матаре после принятия ислама. Неудивительно, что большинство заключенных были женщины.

— Даккетт ушел к себе в кабинет с таким видом, как будто ему в задницу вцепился дракон с острова Комодо, — сказал Джордж, расхаживая взад и вперед. — Они схватили ее. Я в этом уверен.

— Я пытался дозвониться кое-кому из прежних сотрудников ТВМатар, — мрачно сказал Ренард. — Но ничего не вышло. Просто бросают трубку. А один даже обозвал меня неверным. Господи, как я хочу вернуть старый добрый Матар!

В этот момент вошел помощник Ренарда.

— Вам звонит какой-то человек по имени Бобби.

Рик и Джордж едва не стукнулись лбами, бросившись к телефону.

— Бобби? С ней все в порядке? — спросил Рик.

— Нет. Ее схватили. О'кей, слушайте меня внимательно, я не собираюсь долго разговаривать, потому что этот двуличный ублюдок дядя Сэм наверняка нас подслушивает. Ты меня слышишь, Сэм? Хорошо слышишь? Сначала ты говоришь нам, что организуешь эвакуацию на водном такси, а через десять минут Анбар Тал — мной, кстати, завербованный — заявляется, чтобы нас убить. Так вот, слушай меня внимательно: я скоро вернусь. Даже если мне придется плыть через океан, я приплыву, и, после того как я с тобой разберусь, ты будешь дышать жопой, а срать через уши. Ты меня понял?

Ренард прикрыл телефонную трубку ладонью и шепнул Джорджу:

— По-моему, он расстроен.

— Ладно, — сказал Бобби. — В новостях об этом уже сообщили?

— Нет, пока нет.

— А Джордж там? Дай ему трубку. Джордж, что делают в Госдепе?

— То, что умеют лучше всего. Ничего. Просто получили несколько депеш из Амо. Даккетт в любом случае ничего мне не расскажет. Бобби, что они с ней сделают?

— Я не знаю, чувак. Передай трубку Ренарду. Рик, помнишь тот сотовый, который я тебе дал? Я еще сказал, чтобы ты оставил его в Вашингтоне. Он еще у тебя?

— Ага. Думаю — да.

— Отлично. Пользуйся им для связи со мной. В любое время. И начинай там у себя.

— Начинать — что?

— Ты же пиарщик.

— Ну да, в принципе...

— Так начинай крутиться, чувак. Крутись, пока не свалишься с ног. Эй, Джордж?

— Я здесь.

— Не давай посольским козлам замять это дело.

— Понял.

— Отлично, — сказал Бобби. — Давайте вытащим ее, парни. Помните: штурм и натиск. Штурм и натиск!

В трубке послышались гудки.

— Я не понял, — сказал Ренард. — Вот эти последние его слова... Что он имел в виду?

— А-а, да это просто такая присказка у тех, кто любит подраться. Но на этот раз я с ним согласен.

Камера была маленькая, но довольно чистая и по тюремным стандартам даже шикарная. В ней стояла похожая на раскладушку койка с тощей подушкой, пластиковое ведро для естественных нужд (с крышкой, что было верхом роскоши), бутылка воды и томик Священного Корана.

После того как Флоренс вытащили из "скорой помощи", ей натянули на голову мешок. Последнее, что она увидела, был тот самый французский снайпер, простреливший двигатель. Он бросил на нее почти извиняющийся взгляд и слегка пожал плечами, как будто хотел сказать: "Я тут ни при чем. Приказ есть приказ. Hélas, chérie[1]".

После того как — уже без всяких извинений и пожиманий плечами — на Флоренс надели наручники и мешок, ее затолкали на заднее сиденье какой-то машины и повезли. Даже врожденный инстинкт ориентации в пространстве не помог на этот раз Флоренс понять, куда ее везут. Примерно через час, а может быть больше, мешок с нее сняли, и она оказалась в ярко освещенной комнате, все еще где-то — слава Аллаху — в Матаре, а не в соседней Васабии. Хотя особенной разницы между этими двумя государствами уже не было.

Флоренс читала Коран, когда услышала, как в тяжелой двери поворачивается ключ. В Вашингтоне она однажды познакомилась с человеком, которого пять с половиной лет держали в заключении и подвергали пыткам в Северном Вьетнаме. Все эти годы он провел в одиночке в невыносимых условиях. Флоренс он рассказал, что даже спустя тридцать лет, стоило ему услышать ключ в замке или звук открывающейся двери, как сердце его начинало биться быстрей и дыхание перехватывало от страха.

Вошедший в камеру мужчина не был одет в черно-синюю униформу мукфеллинов. Видно, и такое возможно.

Флоренс снова надели на голову мешок, сковали цепями руки и ноги и вывели из камеры. Цепи, по ее мнению, служили для психологического воздействия, поскольку вероятность того, что женщина расшвыряет своих тюремщиков и вырвется на свободу, была крайне мала. Флоренс брела босиком по каменному полу, позвякивая кандалами и стараясь попасть в более-менее четкий ритм. Еще она изо всех сил старалась не запнуться и не упасть. Ее положение и без того уже было достаточно унизительным.

Ее подталкивали в спину чем-то вроде дубинки до тех пор, пока она не оказалась в каком-то прохладном месте. Здесь ей пришло в голову, что через секунду мешок с нее стянут и она увидит своего палача с холодным сверкающим клинком в руках. Мысль эта была довольно приятной: если вам собираются перерезать горло, то лучше, чтобы это было сделано аккуратно — при помощи настоящего ритуального меча, а не какого-нибудь ржавого складного ножа для забоя овец.

Флоренс стояла посреди комнаты, в которой работал кондиционер и, к счастью, не было заметно никаких кровавых пятен и пыточных ин-

1. Увы, дорогая (*франц.*).

струментов. Напротив нее за длинным столом сидели трое мужчин. В центральном она немедленно узнала имама исламской республики Матар, эмира Малика, да будет он благословен.

Человек, сидевший от него справа, был в характерной для васабийца темно-бордовой гутре и алой тхобе весьма простого покроя, какие обычно носят мужчины из племени хами-бабб. Со времен шейха Абдулабдуллы Разумного Ваффа аль-Хамуджа, основателя васабийской династии, именно этому племени оказывалось доверие охранять особ королевской крови. Это был Салим бен Джудар, первый заместитель министра общественного здоровья – так в королевстве Васабия называлась секретная полиция. Флоренс была наслышана об этом человеке, и теперь, несмотря на оказанную ей личным присутствием столь высокую честь, во рту у нее пересохло от страха.

Человек, сидевший слева от Малика, был одет в традиционную для мукфеллина черно-синюю тхобу. В его неподвижном взгляде была такая ненависть, какой Флоренс еще никогда не встречала в человеческом существе. Он буквально испепелял своими черными, как уголь, глазами закованную в цепи американку, заслуживавшую вечного пребывания в аду, где ее будет разрывать на части своими гнилыми зубами зловонный и мерзкий в глазах Господа Сатана. Всего вам хорошего, мисс.

– Салям, Малик, – сказала Флоренс.

Мукфеллин вскочил со своего места и буквально заревел на нее, требуя проявить уважение к имаму. Однако Малик жестом остановил его.

– Салям, Фло-ренц, – улыбнулся он и посмотрел на ее кандалы. – Браслетики? По последней моде?

– Да, новинка сезона. Впрочем, мода меняется очень быстро. Особенно в Париже.

– Хватит обмениваться любезностями. Вы видите перед собой очень важных людей. И они на вас очень сердиты. Вот именно – очень сердиты. Они хотят с вами разобраться. Может, мне отдать вас этим людям?

– Поступайте так, как велят вам ваши хозяева. А то они разозлятся.

– В Матаре мною никто не командует. Я здесь решаю все. В этом можете быть уверены, мадам. А ваш любовник из ЦРУ, этот мистер Тибо... то есть Тибу...

– Тибодо. Уж вам-то пора научиться выговаривать французские фамилии.

– Он у нас. Не верите?

– А вы хоть раз говорили мне правду?

– Тогда, может, вам захочется взглянуть на его тело? Правда, зрелище будет не из приятных. Он погиб самым неподобающим образом. Знаете как? Взорвал сам себя ручной гранатой. Какая жалость. Мы бы обошлись с ним по справедливости. Возможно, даже вернули бы его вашему правительству, продемонстрировав жест доброй воли. Мы ведь не варвары из третьего мира, вы же знаете.

Хотя Малик говорил весьма уверенным тоном, Флоренс не могла заставить себя поверить ему. Бобби был из тех, кто бросает гранаты, а не приберегает их для себя. И тем не менее по спине у нее пробежал холодок.

Неожиданно Малик заговорил таким веселым и легким тоном, как будто в голову ему пришла весьма удачная мысль:

– А может быть, вам хочется, чтобы его тело оказалось у вас в камере? Вам, наверное, это очень понравится.

Перейдя на арабский, Малик обратился к мукфеллинам:

– Когда отведете ее обратно в камеру, занесите туда же и тело этого американца. А затем накрепко закройте дверь. Замуруйте их там. Пусть гниют вместе.

Васабиец кивнул, и впервые за весь разговор лицо его осветилось подобием улыбки. Видимо, что-то человеческое в нем все же оставалось.

– Переводить не надо? А, Фло-ренц? Что это вы так мрачно смотрите? Вы же знакомы с нашей историей. Наверняка помните, как поступали с непослушными женщинами во времена правления моего предка Джамира аль-Кефа, который был эмиром несколько веков тому назад. Преступницу крепко связывали и делали у нее в животе небольшое отверстие, откуда вытягивали примерно полметра кишок. После этого женщину оставляли в пустыне на съедение шакалам. Как видите, с тех пор многое изменилось в обновленном Матаре. Мы стали на удивление либеральны!

Глава двадцать девятая

В самом начале третьего часа ночи дверь в офис Ренарда, где они с Джорджем лихорадочно пытались хоть что-то придумать, распахнулась, и на пороге показались два очень серьезных крупных человека, удивительно похожих на тех типов, которых использует правительство США, когда желает произвести сильное впечатление. Как только эти двое внимательно осмотрели комнату, к ним присоединился третий, в котором Рик с Джорджем немедленно узнали своего пропавшего родственника дядю Сэма.

– Приветствую вас, юноши, – сказал дядя Сэм, жестом приказывая своим людям выйти из комнаты. – Нет смысла ходить вокруг да около, поэтому сразу скажу, что мы перехватили вчерашний звонок Бобби Тибодо в этот офис.

– Как я скучаю по тем временам, когда джентльмены не подслушивали телефонные разговоры друг друга, – сказал Джордж.

Дядя Сэм вылил в чашку остатки кофе из кофейника, насыпал сверху сухих сливок, отхлебнул и немедленно сморщился.

– Господи боже мой! Могли бы купить себе приличную кофеварку на те деньги, что мы вам перевели. Или двух миллионов недостаточно? Впрочем, позвольте сказать самое важное, прежде чем это пойло попадет мне в кровь и убьет меня... Начну с того, что Бобби Тибодо наплел вам чистейшую, абсолютную и полную чепуху. Похоже, он вбил себе в голову, что я отрядил группу киллеров из ЦРУ для устранения его самого и Флоренс. Понятия не имею – с чего он это взял. Хотя вообще-то догадываюсь.

Джордж с Ренардом слушали его в угрюмом молчании.

– Почему-то у меня складывается впечатление, что вы мне не верите. Или это не так? Вы уж извините, но, по-моему, мы находимся в Соединенных Штатах Америки, в стране, где придумали презумпцию невиновности. Ну хорошо, выслушайте меня, парни. Я несколько раз

пытался — *несколько раз*, и вы об этом прекрасно знаете — вытащить эту парочку оттуда. Вам также известно, что Флоренс отказалась уезжать без жены эмира. Короче, я не знаю, *что* там было у этих двух дам, и мне на это плевать. Мне было важно вытащить оттуда Флоренс до начала заварушки таких... таких... таких умопомрачительных масштабов. Но все сложилось иначе. Насколько я помню, цель миссии состояла в том, чтобы защитить права арабских женщин и добиться хоть какой-то стабильности на Ближнем Востоке. Одни говорили: "Вы что, с ума сошли?", другие отвечали: "Мы уже все перепробовали, давайте рискнем. Особого вреда не будет". Ха! И чем все это обернулось? Учитывая coup d'état[1] — здесь французское выражение весьма уместно — в единственной более-менее стабильной стране во всем регионе. Затея не только полностью провалилась, но и привела к дальнейшему порабощению двух с половиной миллионов арабских женщин, усадив к тому же на трон психически ненормального автогонщика. Я уж не говорю о бешеном росте цен на васабийскую нефть, что, возможно, напрямую скажется на результатах выборов следующего президента США. Я не забыл упомянуть о том, что Франция строит военно-морские базы в Заливе? Отличная работа, юноши. Берите сигары. Ваше правительство гордится вами... Тем временем ваш старый знакомый мистер Тибодо, которого я лично, между прочим, с самого начала не хотел видеть в составе участников группы, вдруг с чего-то решил, что я против него. Я понимаю, конечно, что в Матаре сейчас очень жарко и что эта жара может по-разному влиять на человека, но, господи боже мой, чтобы справиться с *такой* паранойей, нужно вооружаться уже специальным ружьем, которое стреляет иглами со снотворным!

— Не хотелось бы прерывать ваш замечательный монолог, — сказал Джордж, — но почему бы вам просто не рассказать нам о том, что случилось? Или пропустить вводную часть и сразу сообщить, где Флоренс. И жива ли она вообще.

— Я как раз собирался об этом сказать. Она жива. Это по крайней мере нам известно. Я делаю все, что в моих силах — то есть все, на что еще хватает моих сил после этой неразберихи, — чтобы вытащить ее оттуда. Но, поверьте мне, это требует колоссальных дипломатических усилий. А если вы оба сейчас, как парочка бешеных слонов, обожравшихся стероидов, влезете в это дело по указке сильно заблуждающегося шпиона в отставке...

— В отставке?

— Полной и окончательной. ЦРУ давным-давно уволило его. Без выходного пособия. И вовсе не за тот ракетный удар по индонезийскому послу в Даре, который он спровоцировал. Хотите узнать, что было истинной причиной его увольнения? Он перепихнулся с женой американского посла в Иордании.

— Да с ней кто только не спал, — сказал Джордж. — Она просто ненасытна. Эта женщина могла запросто заняться сексом с лифтером, если поднималась выше чем на три этажа.

— Тем не менее посол был не в восторге от этой истории. И так уж получилось, что именно он возглавлял кампанию по сбору средств для выборов нынешнего президента.

1. Переворот (*франц.*).

– Хватит! – вмешался Рик. – Какая разница, кто кого трахал!

– Занимался любовью, – поправил его Джордж.

– Да как угодно. Что вы делаете для спасения Флоренс?

– Послушайте, парни, чем меньше вы об этом знаете, тем лучше для вас.

– Ну нет, – возразил Джордж. – Нет, нет, нет, нет, нет. Мы что, похожи на двух дурачков, которым можно завязать глаза и заткнуть уши?

– Джордж, я забочусь о вашей же безопасности.

– Но при этом почему-то говорите таким тоном, как будто одновременно надеваете презерватив. Перестаньте нам врать. Я хочу, чтобы вы прямо здесь и прямо сейчас рассказали, как вы собираетесь вытащить Флоренс, а иначе я обещаю вам устроить такой скандал в прессе, что вы не отмоетесь еще очень и очень долго. Поверьте мне, это будет настоящая буря в пустыне.

– Ну ладно, – дядя Сэм вздохнул так тяжело, как будто собирался разгласить рецепт кока-колы. – Мы действуем через французов.

– Через французов? – в один голос воскликнули Джордж и Рик.

– *Французов?* – повторил Рик еще раз.

– Хотите – верьте, хотите – нет, но они ровно так же ошарашены этим новым режимом, как и мы.

– Но они же сами помогали его устанавливать.

– В Париже меньше всего хотят, чтобы их протеже отрубил голову американской героине всемирного феминизма. Продажи французских аэробусов и вонючего сыра в Штатах от этого явно не увеличатся. Короче, вы должны предоставить все это дело мне. Договорились?

– И все-таки я не понимаю, – вздохнул Джордж. – Бобби сказал нам, что вы должны были вывезти их на подлодке, но вдруг появляются сотрудники ЦРУ и начинают стрелять. Посольские депеши из Амо-Амаса подтверждают стрельбу, погоню и арест. Так все-таки – что там случилось?

– Я просто не имею права вдаваться в детали.

– А вы попробуйте.

Дядя Сэм снова тяжело вздохнул.

– Мой звонок в квартиру Бобби и Флоренс был перехвачен. Мы узнали об этом позже.

– Кем перехвачен?

– Французами. Это они направили туда группу захвата, а вовсе не я.

– *Французы* послали сотрудников ЦРУ убить двух американцев? Чепуха получается.

– Человека, о котором говорил Бобби, зовут Анбар Тал. Он работает в матарских ВВС. А еще он работает на ЦРУ. Это правда. Бобби сам завербовал его. Но плюс к этому он работает еще и на 11-й отдел. Об этом Бобби не знал. Он двойной агент. Даже тройной, пожалуй.

– Выходит, что вы пытаетесь заставить французов оказать содействие в освобождении Флоренс, и в то же время именно они приказали этому двуличному головорезу ее убить. Все равно чепуха.

– Таков уж Ближний Восток, Рик, – пожал плечами дядя Сэм. – Я сам его не до конца понимаю.

В этот момент заговорил Джордж:

– Вы знаете, мы не собираемся сидеть сложа руки, пока вы потягиваете аперитивы с главой 11-го отдела. И если честно, то я думаю, что дерьма в вас больше, чем в страсбургском гусе.

Дядя Сэм ответил спокойным холодным тоном:

– А разве у вас есть выбор? По-моему, нет.

– Дядюшка нам угрожает?

– У дядюшки, может, уже и нет тех возможностей, которые были до того, как его племянница и племяннички облажались по полной программе, но кое-что ему все еще по плечу, – сказал дядя Сэм, вставая с кресла. – У вас, я так понимаю, на счетах в банке по два миллиона долларов. А вы можете представить 1099 официальных бумаг, которые объяснят эти суммы соответствующим ведомствам? Боюсь, что нет. Вы, кстати, обратили внимание – откуда пришли деньги?

– Из "Третьего банка Бангора".

– Совершенно верно. А теперь спросите любого начинающего следователя из ФБР, и он вам ответит, что "Третий банк Бангора" служит прикрытием для "Банк Меркантиль де Гран Комор", находящегося в столице Коморских Островов городе Морони, прошу не путать с Мороний, одним из авторов "Книги Мормона". А кто у нас владеет банком "Меркантиль"? Все правильно – шейх Адман Ифкир. Тот самый, который приходится по материнской линии с йеменской стороны троюродным братом кому?.. Как вы думаете?

– Осаме бен Ладену, – вздохнул Джордж.

– Что? – растерянно произнес Рик.

– Джордж зарабатывает в нашей викторине пять баллов, – беззвучно зааплодировал дядя Сэм. – Вот и выходит, что вы оба получили деньги из банка, контролируемого Аль-Каидой. Ну, разве не весело будет объясняться по этому поводу на судебном процессе по обвинению в государственной измене? Впрочем, здесь в Вашингтоне полным-полно адвокатов, которые будут счастливы представлять вас в суде, скажем, за шестьсот долларов в час. И что у нас получается? Два миллиона долларов разделить на шесть сотен... этого может хватить вам на первый год разбирательств. Хотя... что это я? Правительство ведь *конфискует* эти деньги. Да, ничего себе ситуация.

– Ну и сволочь же вы, дядя Сэм, – сказал Рик.

– О, вы еще не видели людей, перед которыми я отчитываюсь, – парировал дядя Сэм уже на пороге комнаты. – Не забудьте про новую кофеварку.

Снова оказавшись в камере, Флоренс провела несколько тревожных часов в ожидании того, что дверь вот-вот откроется и внутрь затащат останки ее любовника, а после этого наглухо заварят железную дверь автогеном. У нее было достаточно времени, чтобы вспомнить обычаи древнего Рима, где подобному наказанию подвергались девственницы-весталки, чье целомудрие ставилось под сомнение. Впрочем, она так и не смогла вспомнить ни одного случая, когда весталку замуровали живьем вместе с трупом ее возлюбленного.

Однако время шло, и ничего не происходило. Флоренс начала надеяться, что это обыкновенный блеф. Ее мучители, скорее всего, просто хотели вывести ее из равновесия. Надо сказать, им это удалось. Через несколько часов ожидания руки ее стали заметно дрожать.

Неожиданно свет в камере погас, и все вокруг погрузилось в непроницаемую темноту. Несколько минут Флоренс прислушивалась к своему дыханию, изо всех сил стараясь удержаться и не позвать охрану. Что это? Пробки перегорели? Или начинается операция по ее спасению? Раздумывая, возможно ли это, Флоренс услышала наконец металлический скрежет в замке. В следующую секунду она ощутила поток свежего воздуха из открывшейся двери, и тут же ее сбило с ног человеческое тело, которое кто-то забросил в камеру. Тело было тяжелым и неподвижным. От него сильно пахло горелым мясом.

Глава тридцатая

– Ваше Величество, вы оказываете мне большую честь этой аудиенцией. Эмир, вы похудели! Вы замечательно выглядите!

Малик был не в настроении выслушивать все эти слащавые комплименты Делам-Нуара.

– Очень много проблем. На гоночном треке жизнь была гораздо проще.

– Ну разумеется. Однако вы должны *кушать*, о Великий. Так от вас совсем ничего не останется. Вспомните о своем прапрапрапрадедушке по материнской линии, прославленном шарифе Эхем аль-Гейке, который взимал ежегодную дань с племени вази-бикким жемчужинами Тарфа в количестве, равном его собственному весу.

– Да, да, да. Итак, вы хотели видеть меня...

– Я пришлю вам своего повара. Он долгие годы работал в парижском ресторане "Тайеван". Его омар в укропном соусе просто бесподобен. Не будет святотатством сказать, что, отведав его, вы постигнете вкус рая.

– Мне нельзя иметь французского повара, Доминик.

– Это почему еще?

– Я, между прочим, *имам*. Если вы забыли. Ну как это будет выглядеть? В самом деле...

– За свою жизнь я знавал много упитанных имамов.

– У меня через пятнадцать минут встреча с муллами. Я только этим и занимаюсь. О чем вы хотели поговорить?

– Подозреваю, что моему имаму известна тема нашего разговора.

– Я уже говорил вам, Доминик, это не в моей власти. Теперь это уже религиозный вопрос.

– Разумеется, но вы ведь имам.

– Это также вопрос государственный.

– Но вы ведь эмир.

– Это к тому же еще и вопрос межплеменных отношений, – раздраженно сказал Малик.

– Межплеменных? Это каким образом?

– Один из убитых ею людей был из племени хази-агем.

– Так. Ну и что?

– Вы же у нас историк, – фыркнул Малик.

– Склоняюсь перед вашим превосходством в этой области. Просветите меня.

– Вот уже сто лет между моим домом Бени Хариш и домом Хази Агем тянется кровная вражда. Теперь вы понимаете?

– Если честно, то нет.

– Я оказался в непростом положении. Весьма непростом.

Делам-Нуар моргнул, как охотничий сокол перед атакой, и враждебно поджал губы. Он был весьма утонченным человеком, и ему уже до чертиков надоело возиться с этим идиотом, у которого вместо мозгов в голове плескался кондитерский желатин и которого он сам в момент слабости (а быть может, гордыни) решил посадить на трон.

– Alors[1], Малик, вы великий шариф Совета племен. Не хочу вас обидеть, но почему, скажите на милость, mon vieux, вы тратите мое время и несете всякую чушь?

Малика уже довольно долгое время никто не называл "дружок" и не говорил, что он городит чушь. Увы, но все мы быстро привыкаем к раболепству тех, кто нас окружает. И тем не менее Малик подавил в себе желание садануть француза своей церемониальной тростью. Хотя ему очень хотелось это сделать. А подавил он это желание по той простой причине, что боялся Делам-Нуара как черт ладана. Этот Делам-Нуар в свое время отдал столько приказов о ликвидации нежелательных лиц, что тут за ним не угнались бы "Хамас" и Ким Чен Ир вместе взятые. Его прошлое было темным, как бездонный колодец. Именно он руководил операцией, в результате которой было потоплено судно "Уэйлпис". Экологи, собравшиеся на этом корабле, протестовали против французских ядерных испытаний в Полинезии. Как оказалось, напрасно. Одному Аллаху было известно, какой длины щупальца раскинул по всему Матару этот самый черный из всех супершпионов.

– Я все понял, mon vieux, – с ударением на французские слова сказал Малик. – Но если вам не хочется напрасно тратить мое *или* свое время, то почему бы вам не поехать в Каффу и не объяснить все это принцу Баваду? Он ведь требует от меня голову этой женщины. Судя по всему, она чем-то сильно досадила ему еще в Вашингтоне. Это как-то связано с одной из его жен. Теперь вы понимаете сложность моего положения?

– Послушайте, Малик, вы же не хотите, чтобы вас считали васабийской марионеткой?

– Как и французской, мой друг.

– Повелитель, – сказал Делам-Нуар, – чем я заслужил подобное оскорбление? Я забочусь о вас круглые сутки – начиная с первого крика муэдзина ранним утром и заканчивая призывом на вечернюю молитву.

– Я знаю, что я перед вами в долгу, Доминик, однако передать вам эту женщину не в *моей власти.* Оглянитесь по сторонам – мое королевство кишмя кишит васабийцами.

Делам-Нуар понял, что больше ничего не добьется, и встал.

– Хорошо, но все же пообещайте мне, что эта женщина не умрет. Вам точно не нужен мученик, известный на весь мир. Для американцев это станет прекрасным поводом, чтобы вмешаться.

– Американцы мне ничего не сделают, – усмехнулся Малик. – У них выборы на носу. Если они выступят против меня, Таллула перекроет им

1. Итак (*франц.*).

нефтяной кран. И потом, сегодня утром их посол прислал мне приглашение на открытие выставки, посвященной Элвису Пресли. Так что они вряд ли планируют сбросить мне на голову десантную дивизию ради какой-то лесбиянки из ЦРУ, которой впору только размешивать верблюжье говно.

— Согласен, и тем не менее эта самая лесбиянка из ЦРУ, которой впору только размешивать верблюжье говно, стала теперь всемирной знаменитостью. Ваше Министерство информации уже не может позволить себе ответы вроде: "Флоренс? В наших подвалах нет никакой вонючей Флоренс". Этому уже никто не поверит. Вы смотрите телевизор?

— У меня нет времени на телевизор.

— Надо найти, мой дорогой эмир. Потому что про вас там рассказывают очень неприятные вещи... Хорошо, я переговорю с Бавадом. Но обещайте мне, что эта женщина тем временем не умрет. Ради вашего собственного блага.

— Да жива она, жива.

— *Малик.*

— Я же сказал, что она жива.

— И вы не посадили ее в какую-нибудь яму с дикими зверями или со змеями?

— За кого вы меня принимаете?

— Или со скорпионами?

— А вот теперь вы меня оскорбляете.

— Ну что ж, тогда примите мои глубочайшие извинения, о Святейший. Мне следовало помнить, что, будучи имамом всего Матара, вы руководствуетесь прежде всего постулатами Священного Корана, а также истинами, открытыми Аллахом, — он сделал паузу, — *милосердным* пророку Мохаммеду, да будет благословенно имя его.

Малик не удержался и треснул своей тростью по полу.

— Как хотите, — буркнул он.

Делам-Нуар направился к выходу.

— И все же позвольте мне прислать вам своего повара. В знак братской любви и уважения.

— Я не могу принять столь щедрый подарок, — сказал Малик. — Мне нечем отдариться в ответ. Плох тот араб, который не способен отблагодарить своего друга за подарки.

Делам-Нуар улыбнулся:

— Очень жаль.

Как только он вышел, Малик вызвал Фетиша.

— Если он пришлет хоть что-нибудь из еды, проверяй все на наличие яда. И передай Салиму бен Джудару, чтобы установил за ним слежку. Я хочу знать обо всем, что он делает. Я хочу знать даже, когда он испражняется.

— Но, Великий Имам, разве француз не является нашим главным союзником?

— Мы все сказали, Фетиш.

— Воистину, о Величественный. Слова твои подобны жемчужинам Тарфа, сверкающим в прозрачной воде.

— Что? Не понял. Ты что, нас подслушивал?

— Нет, повелитель. Пусть Аллах поразит меня глухотой и вырвет мой грешный язык. Я просто хотел красиво выразиться...

— Соедини меня с принцем Бавадом. И пришли массажистку. У меня голова раскалывается от боли.

— Сию секунду, повелитель.

Фетиш пятясь вышел из комнаты, чувствуя, как спина его покрывается холодным потом, и вспоминая древнюю матарскую пословицу: "В закрытый рот навозный жук не залезет". Несколько веков назад один английский путешественник украл ее и перефразировал гораздо менее изящно: "Вам никогда не придется просить прощения за те слова, которых вы не произносили".

Флоренс, скорчившись, забилась в угол своей по-прежнему темной камеры, как можно дальше от мертвого тела. От сильного запаха ее мутило. Так она просидела довольно долго. Затем очень медленно подползла к мертвецу и осторожно к нему прикоснулась. То, до чего она дотронулась, заставило ее немедленно отдернуть руку. У трупа не было половины головы. Лицо тоже отсутствовало. Наконец Флоренс собралась с духом и снова протянула руку к мертвому телу, нащупав на этот раз свисавший из глазницы на тонкой ниточке глаз. Ее чуть не вырвало. И тем не менее она заставила себя продолжить это патологоанатомическое исследование. Попытавшись нащупать кисти рук, она обнаружила, что их тоже практически нет. К этому моменту Флоренс уже не могла сдерживать беззвучных рыданий.

Труп лежал на спине, и Флоренс просунула под него руку, стараясь нащупать левую лопатку. Несколько недель назад она обнаружила там широкий шрам длиной в два сантиметра, и Бобби объяснил ей, что это результат ножевого ранения, нанесенного ему когда-то "одним сирийским козлом". Шрам находился в верхней части лопатки, которая приняла на себя удар и, как сказал Бобби, спасла ему жизнь.

Флоренс не могла ничего нащупать сквозь заскорузлую от крови рубаху, поэтому запустила руку под нее. Кожа на спине покойника осталась не затронутой ранами и ожогами. В результате трупного окоченения она была холодна, как бетонный пол. Пальцы Флоренс медленно и напряженно двигались вверх. Добравшись до нижнего выступа лопатки, она затаила дыхание и двинулась выше.

Никакого шрама там не было.

— Ты перестанешь меня преследовать? — возмутился Чарльз Даккетт. — Я рассказал тебе все, что мог.

— Все, что вы мне рассказали, — ответил Джордж, неотступно продолжая идти за быстро шагавшим помощником заместителя госсекретаря по ближневосточным вопросам (ПЗГСБВВ), — я уже знал из репортажей Си-эн-эн.

— Я не уполномочен продолжать обсуждение этого вопроса.

— Чарльз, мы не на пресс-конференции в Госдепартаменте, и я не журналист.

— Повторяю — мне больше нечего добавить по этому поводу.

— Тогда ответьте, почему мне так резко понизили уровень допуска? Что происходит?

— Это я тоже не уполномочен обсуждать. И вообще, я опаздываю на заседание комитета по снабжению. На целых три минуты.

– Да мне плевать, Чарльз! Пусть хоть вся планета сойдет со своей оси – я не отстану, пока не получу ответа. Предпринимается ли хоть что-нибудь в связи с захватом, заключением в тюрьму и, возможно, пытками одного из наших сотрудников?

Даккетта уже бросало в дрожь от мысли о том, что этот донельзя заведенный и явно вышедший из подчинения подчиненный действительно не отстанет и последует за ним на предстоящее ему самое скучное в мире заседание. Он воззрился на Джорджа поверх очков и со всей авторитарностью, на какую был способен, сказал:

– Ты вне игры.

В бюрократическом мире Даккетта не существовало ничего более страшного, чем оказаться вне игры.

– Но вам-то лично хотя бы не наплевать?

– Нет, мне не наплевать. Мне не наплевать на процесс. Мне не наплевать на достижение взаимопонимания, на взаимовыгодные партнерства и долгосрочные международные отношения, направленные на создание платформы для гармоничного развития...

Именно в этот момент пружина, которая в течение последних шестнадцати лет медленно, но верно сжималась в голове Джорджа, неожиданно распрямилась. Он схватил Чарльза Даккетта и начал душить его тесемкой от пропуска в Госдепартамент, висевшего у него на шее.

– Ты что, с ума сошшшшш....

Как только лицо Даккетта приобрело более-менее живой розоватый оттенок, Джордж склонился к нему и прошипел:

– Если не скажете мне правду, я вас *убью*. И сделаю так, чтобы это выглядело как нападение террористов.

– Э-кх-кх-кх...

– *Вам больше никогда не поднести сотовый телефон к уху без мысли о том, что он может вышибить вам мозги.*

Джордж слегка ослабил удавку. Лицо Даккетта приняло свой нормальный цвет застывшей манной каши.

– Какого черта, Фиш?

– Еще сам не знаю. Говорите: где она, и что *делает* весь ваш никчемный бюрократический аппарат по этому поводу?

– Наверху... ре-решили придерживаться политики невмешательства.

Разгласив эту священную тайну, Даккетт буквально сдулся, как проколотый надувной шар.

Джордж испепелял его взглядом. Даккетт изо всех сил старался вжаться в стену у себя за спиной. Неожиданно Джордж протянул к нему руку, и Даккетт в панике съежился. Однако Джордж просто поправил ему галстук и воротник.

– Вам надо поспешить. Вы опаздываете уже на целых *восемь* минут.

Даккетт нервно отпрянул от него и двинулся прочь, прижимаясь к стеночке, как альпинист, идущий по очень узкому выступу.

Через десять минут трое сотрудников охраны окружили рабочий стол Джорджа. Они отвели его в кабинет помощника заместителя заместителя помощника по вопросам кадров и внутренней безопасности. Даккетт уже сидел там с пунцовым лицом. Когда вошел Джордж, он вздрогнул.

– Это вы напали на мистера Даккетта? – спросила ПЗЗППВКИВБ.

Джордж посмотрел на Даккетта.

– О Чарльз, неужели вы в *таком* свете им это изложили?

– Именно в таком! Потому что это правда!

– Даже не знаю, с чего начать, – как бы нехотя сказал Джордж тоном порядочного человека, которому необходимо объяснить что-то весьма некрасивое. – Дело в том, что Чарльз, то есть мистер Даккетт, приставал ко мне в коридоре.

– Что?!! – заорал Даккетт.

– И хотя мои сексуальные предпочтения хорошо всем известны и я не делаю из них никакого секрета, мистер Даккетт не только мой непосредственный начальник, но и вообще не в моем вкусе. Я уж не говорю, что он женат и воспитывает троих детей. Я пытался ему об этом сказать, пока он щупал меня, самым, кстати, *неуклюжим* образом, но он не хотел слушать. А теперь вот к чему это привело. Должен сказать, Чарльз, вы меня разочаровали.

– Но... Это же нелепость!

– Я не хочу подавать в суд за сексуальное домогательство. Совсем не хочу. Давайте будем считать это минутной слабостью. Но если вы собираетесь дать ход этому делу, то я готов подать жалобу прямо сейчас. У вас имеются соответствующие бланки, мисс Попсель?

ПЗЗППВКИВБ посмотрела на Джорджа, а затем перевела взгляд на чуть не плачущего Даккетта.

– Мистер Даккетт, – сказала она, – каковы будут ваши действия? Будете подавать жалобу на мистера Фиша?

Даккетт, который мгновенно вообразил себе газетные заголовки и крах своей карьеры, выдавил жалобный стон:

– Нет. Нет...

– Мистер Фиш, а вы будете подавать жалобу на мистера Даккетта?

– Кто старое помянет, тому глаз вон. Но руки больше не распускать, Чарльз. Договорились?

– Если бы ты знал, как это было клёво! – сказал Джордж Ренарду. – Бедняга не попадал в такую передрягу с тех самых пор, как ЦРУ взорвало его Культурный центр в Эквадоре. Впрочем, это не самое важное. Теперь мы знаем, что Госдеп умыл руки. Флоренс придется рассчитывать только на себя.

– Не факт.

– Мы с тобой вообще-то не бойцы подразделения "Дельта форс", которое занимается спасением заложников.

– К черту! – ответил Рик. – Если уж нас все равно прижмут за эти деньги, то почему бы нам их не потратить с толком?

– В самом деле, – просветлел Джордж. – Почему бы и нет, черт подери!

– Значит, в Дамаск?

– Значит, в Дамаск.

Глава тридцать первая

– Ваше Высочество! – произнес Малик в телефонную трубку, пожалуй, излишне подобострастно.

Дыхание его источало аромат бренди, которым он укреплял присутствие духа, перед тем как позвонить принцу Баваду бен Румалла аль-Хамуджу, министру иностранных дел королевства Васабия, возлюбленному племяннику короля Таллулы и плюс ко всему этому — своему фактическому боссу.

— Да прольет Аллах свой свет на лик ваш и претворит в жизнь все ваши желания!

В ответ Бавад поприветствовал Малика до такой степени небрежно, словно тот работал заправщиком на соседней бензоколонке. С тех пор как Бавад сменил кресло посла в Соединенных Штатах на пост министра иностранных дел, он стал вообще недосягаем для простых смертных. При этом он вполне отдавал себе отчет, что все эти недавние тектонические сдвиги в политике региона начались в Вашингтоне с побега самой взбалмошной из его жен, ныне покойной Назры, и мысль эта была для него весьма и весьма болезненной. Поэтому его ужасно раздражало то, что матарский узурпатор Малик все еще не казнил ненавистную американку Флоренс, а вместе с ней и ее распутную любовницу Лейлу. По угодливому и даже заискивающему тону Малика Бавад сразу же понял, чего тот хотел. Однако этот матарский осел продолжал лебезить.

— Правда ли это, о Высочайший? Верна ли та достославная новость, которую донес до моих ушей западный ветер? — говорил Малик.

Фетиш только что сообщил ему, что четвертая жена Бавада, занявшая место злосчастной Назры, родила тому сорок второго сына. Или сорок третьего.

— У вас мальчик, дорогой принц? Мое сердце скачет от радости, словно выпущенная из клетки газель, словно...

— Чего? — перебил его Бавад. — А-а, ну да. Мне уже сказали.

— Воистину прекрасная новость! — продолжал надрываться Малик. — Дитя мужского пола. Хвала Аллаху! Пусть вырастет этот отпрыск таким же мудрым и таким же... кхм, кхм... и таким же одаренным, как его достойный отец!

Малик подождал ответа, но не услышал ничего, кроме тишины.

— Доставлен ли... мой подарок? — наконец выдавил он, теряя последние остатки собственного достоинства.

Незадолго до этого он отправил Баваду детскую кроватку, изготовленную из чистого золота лондонской ювелирной фирмой "Венфрю энд Венфрю", специальный отдел которой занимался производством золотых предметов для пресыщенных нефтяных шейхов.

— Э-э... Что?

— Кроватка?

— Я не... Да, может быть. Я наведу справки.

— О нет, не беспокойте свою августейшую милость.

— Ну ладно, Аллах с тобой. Его Величество, мой дорогой *дядя*, призывает меня к себе. Спасибо, что позвонил.

— Э-э, Ваше Высочество, еще одно слово, если соблаговолите оказать мне такую честь. Эта американка, Фло-ренц...

— Да. Его Величество, мой *дядя*, не понимает, почему этот вопрос до сих пор не решен.

— Тут требуется тонкий подход, мой принц.

— Тонкий подход? Какой еще тонкий подход, эмир Малик? Она американский шпион, провокатор, бунтовщик, бесстыжая нечестивая раз-

вратница и заклятый враг ислама. Мой собственный заклятый враг. Она пыталась унизить меня, и не только меня, но и *весь* дом Хамуджа, да хранит его Аллах. О каком тонком подходе тут может идти речь?

— Э-э, — выдавил из себя Малик, прекрасно осознавая преимущество Бавада, окончившего Кембриджский университет, а также имевшего огромный опыт лживых светских бесед в самых модных салонах. — И тем не менее...

— Почему она все еще жива?

— О Достойнейший, о ней теперь говорит весь мир...

— И что это меняет?

— Незачем становиться врагами всей циви...

— Американцы совершенно ясно высказались на этот счет. Она их компрометирует. Посол в Каффе лично сказал нам об этом.

— Да? О-о... Ну тогда...

— Слушай, Малик, ты хочешь править Матаром? Его Величество рассчитывает на тебя. Имя твое все чаще упоминается на заседаниях нашего совета.

— Вот как? Ну что же... Чудесно...

— Я бы не спешил так говорить.

— Да? Ага. А может быть, мне отослать *вам* эту женщину Флоренс и шейху Лейлу? А вы уж сами разберетесь там с ними, чтобы порадовать свою душу! Задайте им хорошенько...

— Преступления, которые совершили эти две женщины, — весомо сказал Бавад, — осквернили твою землю, священную землю Матара...

— Священную? Ну я бы так не сказал: воистину священна только ваша земля. Мы лишь греемся в лучах вашей славы...

— Нет, Малик, очищен должен быть именно Матар.

— А мне лично кажется, о Достойнейший, что эти женщины стремились осквернить Васабию. Я в том смысле, что Матар ведь и без того уже был осквернен. И кто лучше вашего дяди вынесет справедливый приговор? Слышали бы вы, что они обе говорили во время допросов о вас лично и о короле. Я просто не смею этого повторить. Это ужасно. Отвратительно.

— Слушай меня внимательно, Малик, — сказал Бавад таким тоном, что стало совершенно ясно: разговор на этом заканчивается. — Его Величество король желает, чтобы эта проблема была исчерпана. Быстро. Более того, ты сам, лично, должен ее решить. Причем так, чтобы все об этом узнали. Тогда те, чья душа отклонилась от истинного пути, и в твоей, и в нашей стране увидят, как справедлив и страшен может быть в гневе своем Аллах. Ты ведь хочешь быть орудием в руках Его Величества и Всевышнего? Хочешь, Малик?

— Как скажете.

— Что?

— Конечно, хочу. Да, да, да, — забормотал Малик.

— Хорошо. Мне бы не хотелось думать, что мы совершили ошибку, вознеся тебя так высоко.

В трубке послышались гудки. Малик швырнул телефон в дальнюю стену, покрытую золотой и лазурной мозаикой. Телефон с треском разлетелся на мелкие куски. Фетиш услышал грохот и вошел, еще загодя начав приседать и кланяться.

— Неужели разговор с принцем Бавадом расстроил моего повелителя?

Хозяин ничего ему не ответил. Он был занят тем, что пил свой бренди прямо из горлышка.

Фетиш на цыпочках вышел из комнаты, чтобы позвонить Делам-Нуару и отчитаться об изменениях в обстановке. Но Делам-Нуар не нуждался в доносе своего шпиона, поскольку находился рядом с принцем Бавадом во время его телефонного разговора с эмиром Матара.

— У него позвоночник, как у медузы, плавающей в Красном море, — сказал Бавад с отвращением.

Делам-Нуар улыбнулся и слегка развел руками, изображая недоумение.

— Усадить его на трон было ошибкой, — сказал Бавад.

— При всем уважении не соглашусь с вами.

— Конечно, не согласитесь. Это же вы его предложили.

— А вы думаете, что вам и королю было бы удобнее, если бы на троне Матара сидел сильный и независимый человек? Марионеток лучше делать из дерева, чем из стали, не так ли? — Пальцы Делам-Нуара задвигались, как будто он управлял куклой на ниточках. — Чувствуете? Гораздо легче. Вам не о чем беспокоиться, мой принц. Матар теперь принадлежит вам.

— Зато вы получили военно-морские базы и скидку на нефть.

— Наши базы защищают ваши новые нефтяные терминалы. Так сказать, историческое сотрудничество. Такого не случалось со времен Вади Бен Салаама...

— Да, да. Но как быть с этими женщинами? Почему матарский идиот никак не может их казнить и покончить со всем этим?

Делам-Нуар покачал головой:

— При всем уважении к вам и Его Величеству я думаю, что возвести этих женщин на эшафот и публично отрезать им головы было бы очень серьезной ошибкой. Их тут же объявят великомученицами.

— У нас в Васабии это мало что значит, — сказал Бавад. — Однако наше посольство в Вашингтоне информирует нас о том, что на них оказывают давление по поводу этой женщины Флоренс.

— Два ее бывших сотрудника инициировали кампанию в прессе. Но это не имеет никакого значения — если позиция Матара будет по-прежнему примерно такой: "Мы понятия не имеем, где эта женщина, поэтому оставьте нас в покое".

— Сотрудники? И что, их кампания развивается успешно?

— Если бы я считал их проблемой, поверьте мне, я бы уже принял меры.

— Меры?

— У нас с вами ведь нет друг от друга секретов. Мои источники в правительстве США заверяют меня, что они тоже пристально следят за ситуацией. Весьма пристально. И меньше всего им нужна шумиха вокруг этой женщины. *Флоренс Аравийская?* Нет, нет. На данный момент она крайне неудобный персонаж. Если честно, то я думаю, что американцы были бы только рады, если бы Малик просто отдал приказ столкнуть ее в одну из своих новых oubliettes.

— А эти ваши источники — они из ЦРУ?

Делам-Нуар широко улыбнулся:

— Mon prince, спрашивать старого шпиона про его информаторов — все равно что пытаться узнать у шлюхи о ее клиентах. Это вопрос профессиональной гордости.

— Цены на нефть могут как опускаться, так и подниматься, — фыркнул Бавад.

— Но я говорю вам буквально все, что знаю. Операция Флоренс в Матаре была одобрена в самых высоких кабинетах правительства Соединенных Штатов. Почему? Для того чтобы поставить на место *ваше* правительство. В качестве наказания за вашу позицию по Израилю, за вашу независимость и за ваш аристократизм. Так или иначе, но эта операция, как и все зарубежные операции США, полностью провалилась. Однако нам — вам и Франции — она предоставила фантастический шанс, который вы, должен признать, блестяще использовали. Поэтому не следует *слишком* расстраиваться из-за американцев. Они в течение нескольких месяцев сделали для нас то, чего мы сами не в силах были достичь целых восемьдесят лет.

— Но им самим это очень не нравится. Наш представитель в ООН докладывает, что они готовят какую-то акцию в Совете Безопасности против Васабии.

— На которую, уверяю вас, Франция немедленно наложит вето.

— Они уже заявляют, что все это было инспирировано Францией. Ответственность, между прочим, возлагают на *вас*.

— А вы разве слышали хоть одно заявление французской стороны о том, что она готова принять на себя ответственность за действия Васабии в Матаре? — испытующим тоном спросил Делам-Нуар. — Мы не сказали об этом ни слова.

— А как насчет этого еврея-сенатора из Нью-Йорка? Он вчера целую речь произнес, обвинив во всем Францию. А Таллулу назвал парижским орудием!

Делам-Нуар неодобрительно зацокал языком.

— Какой позор. Но что вы хотите? Это ведь тот самый сенатор, который поднял шумиху, когда мы освободили из заключения девяносточетырехлетнего старика. Вы только подумайте — девяносто четыре года! А этот еврей раскричался всего лишь из-за того, что тот имел отношение к печально известным концлагерям во время Второй мировой войны. Вечно он всюду лезет.

— Думаю, уже слишком поздно что-либо предпринимать, — сказал Бавад, настороженно поглядывая на Делам-Нуара.

— Вы о сенаторе? Нет, ну в самом деле, Ваше Высочество...

— Да нет, я о Малике.

— А-а. Мне кажется, на данный момент это не самая лучшая идея. Возможно, в будущем... Послушайте, Матар ведь пережил очень сложный период. Всего несколько месяцев назад он сильно напоминал Лас-Вегас. Теперь же это... достойное религиозное государство. Развлечений там, если быть честным, маловато, но в принципе все о'кей. Сейчас важнее всего стабильность. Позже, если Малик и дальше будет вам досаждать, можете рассчитывать на мое содействие, — улыбнулся Делам-Нуар. — Я всегда ваш покорный слуга.

— Покорный? Ха! Но как быть с Флоренс?

— Она скоро перестанет быть важным фактором. В этом я уверен. В любом случае, у людей память короткая. И потом, я не думаю, что она

протянет слишком долго в нынешних обстоятельствах. Они ведь держат ее отнюдь не в европейской тюрьме. Вряд ли ей по вечерам кладут на подушку мятные таблетки.

Верблюдов, на которых когда-либо ездил верхом Малик, можно было пересчитать по пальцам. Он явно предпочитал кожаные кресла итальянских "мазерати" и "феррари". Однако сейчас ситуация требовала от него сесть на верблюда.

В такие моменты обязанности имама и эмира казались ему крайне обременительными. Однако лучше уж ехать верхом на этой твари, чем держать во рту кусок ее дерьма. Какие же все-таки варвары эти васабийцы!

Одним из целого множества неприятных последствий новой дружбы между Матаром и Васабией явилось то, что Матар теперь был обязан отмечать годовщину Вероломства Рафика Неразумного. Король Таллула и его совет – да благословит их Аллах – потребовали, чтобы эмир Матара лично принял участие в церемонии, проехав верхом на Королевском Верблюде по бывшей Уинстон (ныне Абгулла) авеню под аплодисменты и радостное улюлюканье своих подданных, в то время как мукфеллины будут распределять порции священного навоза и следить за тем, чтобы он в должном порядке помещался в несчастные рты. В Матаре этот день вряд ли должен был стать красной датой в календаре, но вся процедура ясно давала понять, что Матар теперь – часть великой Васабии. Малик пытался убедить короля Таллулу и министра иностранных дел принца Бавада в том, что посасывание верблюжьего помета – не тот ритуал, который укрепит узы братства между народами Матара и Васабии. Однако Таллула и Бавад были непреклонны: Таллула хотел умиротворить и занять делом своих фанатичных мукфеллинов, а Бавад злился на непослушного Малика за его медлительность в деле шейхи Лейлы и настырной американки Флоренс.

Поэтому теперь Малик в самом дурном расположении духа сидел на животном, вызывавшем у него отвращение, и обязан был разыгрывать центральную роль в идиотском васабийском ритуале, после которого изо рта его подданных должно было – в буквальном смысле – нести дерьмом. Хвала Аллаху.

По завершении утренней молитвы несчастного Малика водрузили на горб Шема, нынешнего Королевского Верблюда. Этот Шем был богато украшен золотыми и серебряными кистями. Малик с утра облачился в парадное одеяние верховного шарифа Матара и головной убор великого имама Букки. За поясом у него торчал *на'к'алл* – церемониальный кинжал, усыпанный драгоценными камнями, которым, согласно легенде, шейх Алик Макмех по прозванию Праведный кастрировал пятьсот английских крестоносцев (из уважения к новому союзнику Матара Малик решил не брать с собой в эту поездку кинжал, которым некогда были кастрированы сто пятьдесят французских рыцарей).

Как только Малика усадили в седло, Шем издал долгий, глубокий и полный страдания стон, сопровождавшийся извержением кишечных газов, который продолжался целую минуту.

Малик раздраженно зажал нос и рявкнул на Яссима, ухаживавшего за Королевским Верблюдом:

– Во имя Пророка! Чем ты накормил эту проклятую тварь?!!

— Я дал ему только *аашаах ешовкийя*, о Святейший! — сжался от испуга Яссим. — Самого лучшего качества!

— В следующий раз поставь ему клизму, прежде чем я сяду на него! Это крайне неприятно!

— Конечно, о Величайший! Да благословит Аллах...

— Заткнись. Давайте уже начнем.

Малика и Шема, который продолжал тяжело стонать и оставлял за собой стойкий зловонный след, вывели из ворот дворца на Абгулла-авеню, где уже были построены угрюмые толпы матарских граждан. Мукфеллины двигались следом за Королевским Верблюдом, раздавая небольшие кусочки высушенного верблюжьего кала.

— За это они меня точно полюбят, — пробурчал Малик себе под нос.

— Умммммммммоооооаааааааааххххххх! — простонал Шем.

— Если он еще хоть раз пёрнет, — зашипел Малик на погибающего от страха Яссима, который вел животное, — лишишься головы.

— Но, Ваше Великолепие...

— Заткнись. Держи шаг.

Малик без особого энтузиазма помахал толпе. Толпа ответила тем же. Впереди взвод мукфеллинов избивал человека, отказавшегося принять на язык церемониальную какашку.

"Хоть бы скорей он закончился, этот день", — подумал Малик.

Все придворные эмира шагали позади него, морщась из-за обильных выхлопных газов Шема. Яссим изо всех сил старался спрятать голову под свое одеяние. Когда Малик проезжал мимо группы каких-то юношей, Шем неожиданно изверг эпический по своим масштабам клуб газа, что вызвало у молодых людей немедленный приступ хохота. Поскольку смех в этот день был запрещен, а в другие дни, согласно васабийским законам, не одобрялся, рядом мгновенно появились мукфеллины, щедро осыпая провинившихся ударами своих палок. Возгласы гнева и боли понравились Малику, поскольку наглецов надо было хорошенько проучить. Ему совсем не хотелось быть объектом насмешек. Он и без того понимал, что в этот момент являлся самым жалким эмиром на всем Ближнем Востоке. Более нелепо, чем сейчас, он не чувствовал себя никогда. Нельзя сказать, что ему очень нравились спиртные напитки, но на сей раз, когда закончится весь этот цирк, он собирался опустошить целую бутылку бренди. А может, и две.

Именно в тот момент, когда Малик мечтал о выпивке, случилось непоправимое. Позже это событие стало известно среди матарцев — а также и васабийцев — как Возмездие Рафика. На расследование причин этого происшествия потребовался не один день, однако вот как все это запомнилось самому Малику.

Он сердито смотрел в сторону избиваемой мукфеллинами молодежи, как вдруг прямо под ним раздался оглушительный взрыв, и в следующую секунду он уже летел в хмурое утреннее небо как космонавт в просторы вселенной, удаляясь — если говорить поэтическим языком — от тяжких земных пут. Далее его полет стал больше похож на сон, поскольку он, в общем-то, потерял сознание и беззаботно перелетал от звезды к звезде, как беспечное шаловливое дитя. Но, увы, это прекрасное невесомое состояние длилось недолго, так как Малик пришел в себя, находясь примерно в тридцати метрах от поверхности земли и — увы еще

раз! – стремительно к ней приближаясь под воздействием неизбежных и неумолимых законов гравитации.

Приземлившись на то, что осталось от Королевского Верблюда, Малик был спасен – хвала Всевышнему – от неминуемой смерти. И хотя это было не самое величественное ложе, оно по крайней мере оказалось мягче асфальта на Абгулла-авеню. За те кости эмира, которые остались не сломаны после его приземления, он должен был, по мнению врачей, до конца своей жизни благодарить нижнюю часть крупа почившего в бозе Шема.

Глава тридцать вторая

К взрывам на Ближнем Востоке давно все привыкли, однако даже там правителей государства не часто взрывают при помощи их личных верблюдов. Несмотря на гробовое молчание официального Матара, эта новость быстро облетела весь мир.

Кто-то даже умудрился заснять все происшедшее на пленку. Видео получилось настолько хорошим, что соответствующие инстанции пришли к выводу о причастности создателей этого фильма к самому покушению. Уже через несколько часов кадры с парящим в небе эмиром активно просматривались в Интернет-кафе, в залах ожидания, в барах и на миллионах телеэкранов – то есть везде. Спектр газетных заголовков начинался с умеренных (НОВЫЙ ПРАВИТЕЛЬ МАТАРА ПОЛУЧИЛ СЕРЬЕЗНЫЕ РАНЕНИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА) и заканчивался гораздо менее сдержанными (ТРИ, ДВА, ОДИН, КОНТАКТ, ВЕРБЛЮД!).

Впрочем, самого Малика больше волновал тот факт, что от его ног – тех самых ног, которые когда-то управляли самыми быстрыми гоночными автомобилями в мире, – остались теперь одни культи чуть выше колен. Целая команда опытнейших хирургов-ортопедов из Франции билась изо всех сил, но поскольку ноги эмира разлетелись друг от дружки на сотни метров, сделать они больше ничего не смогли.

Из позитивного было то, что церемониальное серебряное седло, которым за сотни лет до этого пользовался эмир Ахмед бен Улала'ам, защитило жизненно важные органы имама. По крайней мере наиболее существенную их часть. Группа опытнейших французских урологов пришла к выводу, что Малик (со временем, разумеется) сумеет, быть может, с помощью протеза продолжить свой род. А вот органы королевского пищеварения перенесли гораздо более серьезную травму. Эмиру отныне было противопоказано острое и вообще все, что надо было жевать. Насчет селезенки врачи говорили, что, конечно, совсем неплохо ее иметь, но вполне можно обойтись и без этого органа. Оптимизма добавлял также тот факт, что уцелевшее ухо эмира помаленьку уже начинало улавливать кое-какие звуки.

От всех мировых лидеров рекой полились изъявления сочувствия, уверения в дружбе и предложения помощи в расследовании теракта. Соединенные Штаты, несмотря на заметно ухудшившиеся в последнее время отношения с Матаром, дружелюбно предложили прислать группу экспертов по взрывчатке. То же самое сделали Россия, Англия, Италия и, как ни странно, Болгария. Помощь США, разумеется, была хо-

лодно отвергнута, а всем остальным отказали более-менее вежливо. Официальный Матар заявил, что следствие будет проводиться своими силами, то есть васабийцами и французами.

Таким образом, майор Бертран Маттеоли-Пике из следственного отдела французской криминальной полиции оказался в Матаре, где, сидя на корточках перед зловонными останками Королевского Верблюда, изучал их при помощи ультрафиолетового спектрометра и время от времени произносил самое подходящее к случаю слово из французского языка:

— Merde.

— Что случилось, шеф? — спросил его ассистент.

Маттеоли-Пике передал ему свой инструмент. Ассистент взглянул на дисплей, и глаза его округлились.

— Ого, — сказал он. — И что будем делать?

— Составляй рапорт, что еще?

После этого французские специалисты быстро завершили свою работу, чтобы перейти к более важной процедуре — к обеду.

В двадцати метрах от них над другой частью Шема склонился человек в форме матарского департамента общественного здоровья. Он внимательно изучал не только останки несчастного животного, но и фрагмент церемониального серебряного седла, а также часть левого ботинка эмира. Все эти объекты он аккуратно поместил в пластиковый контейнер, который тщательно опечатал и промаркировал. Французы не обратили на него никакого внимания. Как, впрочем, и полиция, оцепившая место преступления. Этот человек выглядел, как все остальные криминалисты, ковырявшиеся в ужасных останках.

Французы отправили свой рапорт начальству по электронной почте, классифицировав его VRAIMENT SECRET (совершенно секретно). Первым местом, куда он попал, был 11-й отдел. И лег он на стол лично месье Делам-Нуару, после чего французский кудесник плаща и кинжала немедленно вылетел из Каффы обратно в Амо-Амас, чтобы возглавить расследование.

В первой же строчке рапорта Делам-Нуар наткнулся на слово "экзюперин", после чего у него на несколько секунд перехватило дыхание. Он был не из тех, кого можно легко смутить, и тем не менее ему потребовалось целых пятнадцать минут вышагивания из угла в угол, обильного потения и брани, чтобы взять себя в руки и сделать необходимый звонок в Париж.

"Улица педиков" — так назывался самый "голубой" из всех "голубых" баров в городе Вашингтоне. Джордж сюда захаживал нечасто. Это Бобби предложил ему отправиться туда, чтобы поговорить по телефону. Бобби не без оснований считал, что правительственные агенты не любят входить следом за своими подопечными в бары для геев. Они боятся, что их там кто-нибудь ущипнет.

Джордж выглянул в окно и увидел черный автомобиль, в котором сидели два подтянутых джентльмена. Ровно в три минуты девятого зазвонил его сотовый телефон.

Бобби четко изложил всю имеющуюся информацию. На это у него ушло чуть меньше трех минут. Будучи профессионалом до мозга костей,

Джордж запомнил все дословно. После этого он отключил свой мобильник, подошел к одному из таксофонов рядом с мужским туалетом и набрал номер Томаса Лоуэлла, работавшего в вашингтонском бюро газеты "Нью-Йорк таймс".

Этот Томас Лоуэлл практически всю свою жизнь писал в "Таймс" о Ближнем Востоке. Именно он пустил в обиход фразу "Арабская улица" (первым метонимическим термином, который он изобрел для обозначения общественного мнения в арабском мире, был "Улица Сезам", но продюсеры известной детской телевизионной программы немедленно начали протестовать). Лоуэлл также пытался запустить в обращение термин "Еврейская улица", но он не прижился. Тем не менее Лоуэлл не сдавался и вставлял его в свои статьи, где только мог, а редакторы "Нью-Йорк таймс" методично его вырезáли. В данный момент Томас находился в Вашингтоне, будучи высланным из Васабии. Официальной причиной высылки явилась бутылка виски, обнаруженная в его гостиничном номере. Однако на самом деле его выдворили из страны после статьи о наследном принце Бахбаре, у которого во время учебы в университете Южной Калифорнии был роман с еврейкой. Поскольку Бахбар в настоящий момент занимал пост заместителя министра по антисемитизму, эта история не вызвала энтузиазма на "Арабской улице" в Каффе, однако на "Еврейской улице" она прошла на ура.

Джордж был знаком с Лоуэллом уже долгие годы. Они оба свободно владели арабским. Лоуэлл проявил большой интерес к тому, что ему рассказал Джордж.

Флоренс провела почти три дня в абсолютной темноте рядом с разлагающимся трупом. Ни еды, ни питья ей уже не давали. Даже тот факт, что мертвец оказался не Бобби, радовал ее в этой ситуации недолго. Под кроватью ей удалось найти кружку с водой, которую охранники, очевидно, забыли убрать. Она растягивала оставшуюся жидкость как могла, но жажда брала свое. Несмотря на то, что Флоренс была дико голодна, мысли о еде ее не тревожили. Она постоянно вспоминала одно место из Дантова "Ада" — тот эпизод, в котором заточенный в башне со своими детьми дворянин постепенно сходит с ума и превращается в каннибала. Возможно, именно этого ждали от Флоренс ее мучители.

Она без конца молилась всем богам, которых могла вспомнить. Когда ужас подбирался к самому ее сердцу, она начинала лихорадочно вспоминать выученные в детстве стихи и переводить их с английского на арабский, потом на итальянский, потом на французский, а после этого вновь на английский. К концу третьего дня она почувствовала, что сходит с ума.

Когда дверь в ее камеру наконец распахнулась, Флоренс восприняла это как настоящее чудо. Охранник, зажимая нос рукой, вошел в камеру, схватил Флоренс и выволок ее в коридор. Там она, захлебываясь, задышала полной грудью, втягивая незараженный воздух, как будто это был чистый кислород. Два охранника потащили ее по коридору. Кандалы в этот раз надевать не стали. По дороге Флоренс молилась о том, чтобы ее привели на казнь. Она испытывала чувство вины, прося об этом Пресвятую Богородицу (Флоренс была воспитана в лоне католицизма), но удержаться и не попросить уже не могла.

Ее дед когда-то написал так и не опубликованные мемуары о том, как он сражался в Северной Африке в 1930-х годах. Муссолини, который почитал себя новым Цезарем, отправил тогда свою армию за Средиземное море, чтобы отвоевать земли, принадлежавшие две тысячи лет назад его предкам. Идиотская сама по себе, эта затея тем не менее украсила жизнь деда, прозябавшего до того на посту уличного регулировщика во Флоренции.

Флоренс нашла эту рукопись еще в детстве и, разумеется, прочитала. Теперь, когда ее тащили по коридорам, она неожиданно вспомнила один эпизод из фронтовых воспоминаний деда. Его подразделение оказалось окружено войсками Омара Мухтара. Всем итальянцам грозила неминуемая смерть или плен и все связанные с ним ужасы. Два молодых солдата, служившие под командой деда, сняли с плеча винтовки и одновременно выстрелили себе в рот. Дед Флоренс даже не пытался остановить их. Обе воюющие стороны творили с пленными ужасные вещи. А через несколько мгновений из-за холма показалась колонна итальянских танков, и нападавшие были рассеяны. В том бою в подразделении ее деда никто не погиб, кроме тех двоих, которые убили себя сами. Дед потом написал их родителям о том, что мальчишки приняли геройскую смерть во славу Нового Рима.

Тем временем охранники втолкнули Флоренс в какую-то комнату. Содрогаясь и хватая ртом воздух, она лежала на каменном полу. Теперь она уже не испытывала чувство вины за то, что просила у Божьей Матери смерти. Святая Дева должна была ее понять.

Наконец открылась дверь. Послышались чьи-то шаги. Кто-то поднял ее с пола и усадил на стул. После этого заговорили на арабском:

— Дайте ей попить.

Другой голос ответил:

— Нет.

И все же ей сунули в руки стакан с водой. Она схватила его и осушила одним глотком.

Кто-то закричал на нее:

— Мне нужны имена заговорщиков. Или ты никогда не выйдешь из этой комнаты.

Заговорщики? О чем это он? Единственное, что она знала, это то, что остаться навсегда в этой комнате гораздо лучше возвращения в камеру. Флоренс изо всех сил постаралась сконцентрироваться на человеке, который задавал ей вопросы. Да, теперь она узнала его. Это был Салим бен Джудар, начальник королевской охраны. Рядом с ним стоял еще один человек. Зрение подводило ее. Перед глазами все расплывалось. Военная форма... Полковник... Небкир? Да, это был Небкир из Особого отдела секретного подразделения, созданного еще англичанами в 1920-х годах. Официально его сотрудники относились к королевской полиции, но отчитывались только перед британским губернатором. Флоренс пару раз видела Небкира во время своих визитов во дворец. Обычно он держался где-то на заднем плане. Настоящий закулисный человек. Вид у него был всегда неприступный, и тем не менее, встретившись глазами с Флоренс, он неизменно ей кивал, а иногда даже улыбался.

Мысли ее путались. В голове стоял туман. Все перед ней расплывалось. Надо было немедленно сконцентрироваться.

— *Назови... имена... других... заговорщиков*, — требовал Салим.

Они специально задают рутинные вопросы, подумала Флоренс, чтобы найти повод отрубить ей голову. Она решила ускорить процесс. Вернуться в свою душную гробницу, где разлагается чей-то труп, она уже просто не могла. На поясе бен Джудара она увидела пистолет.

— А почему бы вам, — тихо сказала она, — не засунуть Коран себе в задницу? В вашем случае он подойдет.

Это должно было сработать.

Салим бен Джудар вскочил со своего стула и выхватил пистолет.

"Вот и хорошо", — подумала Флоренс.

Закрыв глаза, она приготовилась к выстрелу. Мужчины, находившиеся в комнате, громко ругались.

— Вы разве не видите? — говорил один голос. — Она провоцирует вас!

— Нечестивая сука!

Флоренс открыла глаза и посмотрела на Небкира. Это был крепкий человек с квадратным лицом, тонкими усиками и аккуратной бородкой. Вполне разборчивый в средствах, этот миролюбивый мужчина мог стать убийцей, если того требовала ситуация. Говорил он мягко.

— Мадам, на эмира совершено покушение. Поэтому, надеюсь, вы поймете, что мы профессионально заинтересованы узнать то, что известно вам.

Салим бен Джудар упрекнул Небкира в разглашении лишней информации. Флоренс пришло на ум, что все это часть какого-то хитрого плана, и она решила им подыграть.

— Единственным заговорщиком, — с трудом произнесла она пересохшим ртом, — был мистер Тибодо, которого вы убили и бросили в мою камеру.

Небкир ответил ей не без сочувствия:

— Его гибель была неизбежна. То, что его бросили к вам... Поверьте, это была не моя идея. И все же, мадам, я буду с вами откровенен: в этих стенах находятся люди, которые готовы и даже хотят совершить... по отношению к вам нечто немыслимое. — Он склонился к ней и продолжил очень искренним тоном: — Помогите мне, и я постараюсь помочь вам. Хотя перед лицом Аллаха должен признаться, что вы вряд ли выберетесь отсюда живой.

— Тогда и я перед лицом Аллаха, — ответила Флоренс, — скажу вам, что мне ничего не известно ни о каком покушении на эмира.

— Врет! — взорвался Салим бен Джудар.

Он бросился к Флоренс со своим пистолетом, а Небкир безуспешно попытался его остановить. Салим приставил ствол к голове Флоренс.

"Какой прохладный, - с наслаждением подумала она. - Да. Нажми на курок. Нажми".

— Говори! — приказал он.

— Салим! — закричал Небкир.

"Через секунду всему этому придет конец", — думала Флоренс.

Она снова закрыла глаза и сделала глубокий вдох. Возможно, последний.

— Говори!

После этого Флоренс ощутила вспышку у себя в голове, и все вокруг погрузилось в темноту.

— Идиот! Ну и чего ты, на хрен, добился? — закричал Небкир на Салима, который стоял над телом Флоренс.

Из виска у нее хлестала кровь. Небкир вынул из кармана платок и прижал его к ране.

— Пусть подохнет от потери крови, а труп выбросим собакам, — прорычал Салим.

Небкир выпрямился во весь рост и с угрозой надвинулся на Салима.

— *Дурак!* Тебе приходило в голову, что в это дело могут вмешаться американцы? А если они здесь появятся, ты что думаешь, я возьму на себя убийство их женщины? Может, тебе хочется провести остаток жизни в тюрьме Гуантанамо под вопли тамошних обезьян?

Глава тридцать третья

Каким-то чудом, понятным одному Аллаху Премудрому и Всезнающему, Яссим, ухаживавший за Королевским Верблюдом, не погиб во время взрыва. Впрочем, он вряд ли мог рассчитывать на то, что ему когда-нибудь еще доведется предводительствовать на королевских парадах.

Замурованный с ног до головы в гипс, он лежал на кровати в больнице имени Короля Надира. Машина, с которой он был соединен множеством трубок, издавала столько всяческих попискиваний, клекота и кудахтанья, что больничная палата напоминала скорее электронный курятник.

За пострадавшим бдительно наблюдали два хмурых офицера из королевской охраны — люди Салим бен Джудара, — а также агент департамента общественного здоровья и непременный мукфеллин с характерным для его профессии угрюмым взглядом. Беззвучно и безрадостно шевеля губами, он читал свой потрепанный томик Книги Хамуджа.

Вот в этой непринужденной обстановке и появился еще более бледный, чем обычно, Делам-Нуар, сопровождаемый некой француженкой привлекательной наружности в белом врачебном халате и с чемоданчиком в руке. Делам-Нуар даже не стал представляться матарцам. Они и так прекрасно знали, кто он такой.

— Он что-нибудь рассказал? — поинтересовался Делам-Нуар.

Один из офицеров охраны мрачно покачал головой.

Тогда Делам-Нуар ненавязчиво, но при этом весьма твердо объявил, что доктор Роше, "выдающийся невропатолог" из Парижа, должна обследовать пациента. Поэтому — просьба всем удалиться.

— У меня приказ оставаться в этом помещении, — сказал охранник.

Делам-Нуар окинул его таким холодным взглядом, на какой способны одни только *галлы.*

– Я доложу об этом эмиру. А также Его Королевскому Высочеству королю Таллуле в Каффе. А вы перед кем отчитываетесь?

Палата опустела в мгновение ока.

Делам-Нуар склонился над Яссимом и впился взглядом в его лицо, на котором царило отсутствующее, но вместе с тем вполне счастливое выражение. Оно объяснялось струившимся в его жилах блаженством, уносящим его от страданий и боли на роскошные берега райских рек с резвящимися на них девами в предельном цветовом разрешении. Яссим питался теперь манной небесной, а жажду утолял райской росой.

Делам-Нуар кивнул своему "выдающемуся невропатологу", которая на самом деле была одним из лучших специалистов 11-го отдела в области химических препаратов и носила кодовое имя Цветок Зла. Она вынула из своего чемоданчика шприц и ввела в капельницу Яссима десять миллиграмм налоксона. Глаза несчастного пациента распахнулись, как ставни на окнах.

— *Ооооx.*

— Итак, Яссим, вы живы? — обратился к нему Делам-Нуар. — Хвала Всевышнему. Вы заставили нас беспокоиться, друг мой.

— Мне больно, Ваше Превосходительство... Очень больно.

— Да, да, мы снимем боль через минуту. Но сначала вам придется ответить на несколько вопросов. О'кей?

— Где я?

— Вы в надежных руках. За вами ухаживают французские врачи. Короче, Яссим, чем вы кормили верблюда Шема перед парадом Рафика?

— Кормом, Ваше Превосходительство.

— Кормом? Что вы имеете в виду? Травой? Сеном?

— Особым кормом. От короля. Это был дар от Его Величества.

— Дар? Дар *верблюду?*

— От Его Королевского Величества, короля Таллулы. В честь годовщины Вероломства Рафика. Для парада, Ваше Превосходительство.

— А кто принес этот "дар"?

— Какой-то человек, Ваше Превосходительство.

— Да, да, я понимаю — некий человек. Но кто именно? Вы ведь не берете корм для верблюда эмира от первого встречного.

— Мне больно, Ваше Превосходительство.

— Я сделаю так, чтобы не было больно. Кто это был, Яссим?

— Слуга короля Таллулы, Ваше Превосходительство.

— Откуда вы знаете? Как вы это определили?

— Он так сказал.

— Яссим!

— Он выглядел очень важным. И показал мне письмо короля. На мое имя. Такая честь...

— Продолжайте, продолжайте.

— В письме говорилось, что этот корм из его собственных королевских конюшен. В знак дружбы между народами Васабии и Матара.

— Где это письмо?

— У меня в комнате, Ваше Превосходительство.

Делам-Нуар едва слышно чертыхнулся.

— Был еще другой человек, Ваше Превосходительство. Ваш человек.

— В каком это смысле — мой человек?

— Он сказал, что работает на вас.

— Я никого к вам не посылал.

— Но у него были документы... и письмо от вас. Это был француз. Теперь в Амо-Амасе так много французов, которые помогают строить Новый Матар. О, как мне больно, Ваше Превосходительство...

Делам-Нуар сунул руку в карман пиджака и вынул оттуда фотографию. На ней был запечатлен Бобби Тибодо.

— Вот это ваш француз? — он ткнул фотографию в лицо Яссиму.

— Да, Ваше Превосходительство. Это он.

Несколько часов спустя на сайте газеты "Нью-Йорк таймс" в Интернете появилась статья, озаглавленная следующим образом:

ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО, ПРИМЕНЕННОЕ В МАТАРСКОЙ "ВЕРБЛЮЖЬЕЙ БОМБЕ", ИДЕНТИЧНО ТОМУ, КОТОРОЕ ИСПОЛЬЗОВАЛОСЬ ПРИ ВЗРЫВЕ СУДНА, ПРИПИСЫВАЕМОМ ФРАНЦУЗСКИМ СПЕЦСЛУЖБАМ

Следователи сообщают о наличии экзюперина в останках Королевского Верблюда, на седле и одежде раненого эмира.

Томас Лоуэлл
Специально для "Нью-Йорк таймс"

В течение часа эта новость облетела всю планету. В апартаментах Малика, которые были срочно переделаны в больничную палату, тоже имелся телевизор.

Немного найдется в мире руководителей государств, предпочитающих узнавать дурные новости из телевизионных репортажей, и тем не менее в наш электронный век такое случается весьма часто. Даже американские президенты порой получают неприятную информацию именно таким образом, а вовсе не от своих генералов и руководителей спецслужб. Малик начал яростно нажимать кнопку звонка и вопить на весь дворец. Слуги, врачи, охрана и духовные наставники — все бросились на его зов.

Для Франции момент был не самый удачный. Президент республики находился в этот момент в Квебеке с целью поддержки референдума, призывающего всю Канаду принять французский язык в качестве единственного официального. Теперь же, вместо того чтобы утверждать первенство языка Корнеля, Расина, Мольера и, если настаиваете, Виктора Гюго, элегантный предводитель галлов отбивался от целой толпы оголтелых репортеров, которые с микрофонами наперевес требовали от него признания — "давал ли он свою личную санкцию на убийство матарского эмира".

Президент "категорически и настоятельно" отвергал эти "абсурдные" домыслы, отвергая параллельно "в тысячный раз уже, о'кей?" тот факт, что Франция принимала какое бы то ни было участие в затоплении судна "Уэйлпис" с защитниками природы на борту. Он изо всех сил пытался повернуть разговор в сторону величия французского языка и тех причин, по которым владельцы скотоводческих хозяйств где-нибудь в Альберте должны именно на нем заполнять свои налоговые декларации, однако репортеры настойчиво соскакивали на тему экзюперина, поскольку это сложнейшее взрывчатое вещество производилось только во Франции и пользовались им — по крайней мере до настоящего момента — только специалисты французских вооруженных сил и секретных служб. В конце концов президент оказался вынужден искать убежища в стенах французского консульства в Монреале, где первым делом, буквально кипя от ярости, он прорычал своему помощнику:

— Свяжите меня с Делам-Нуаром — *быстро*!

Тем временем в Вашингтоне некая инициативная группа, назвавшаяся "Друзьями свободного Матара" и располагавшаяся в кабинетах компа-

нии "Ренард стратиджик комьюникейшнз", была занята размещением объявлений размером в целую страницу в газетах и журналах США и за рубежом. Эти объявления весьма агрессивно рекламировали статьи Томаса Лоуэлла в "Нью-Йорк таймс" и призывали к международному расследованию ситуации в Матаре. Основной мотив этой рекламной атаки был позаимствован из репортажей Томаса и обыгрывал тот факт, что Франция просто-напросто манипулировала Васабией, которая являлась в этой истории не более чем "простым орудием" Парижа. Согласно репортажам Томаса, Васабию убедили принять участие в матарском перевороте. И сделал это не кто иной, как "те же спецслужбы, которые теперь подложили взрывчатку под седло эмира". Франция, как утверждал Томас, была твердо намерена усадить на трон "своего человека" для того, чтобы "вывести Васабию из равновесия".

Но и это было еще не все: в рекламных объявлениях сообщалось также о том, что лица французской и васабийской национальности захватили в Матаре американку Флоренс и вдову почившего ("и всеми любимого") эмира Лейлу. "Друзья свободного Матара" заявляли, что обеих женщин держат в "печально известном пыточном центре" недалеко от Амо-Амаса, "перед которым бледнеют даже американские стандарты допросов и пыток".

Каждое объявление завершалось словами, набранными крупным, кричащим шрифтом:

ПОЧЕМУ МОЛЧИТ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ США?

Все это привело к заметному оживлению в Париже, Каффе и Вашингтоне. Американский президент, не очень склонный к сильным выражениям, прочитав один из этих памфлетов, не удержался и во время своего утреннего брифинга сказал:

— Что за хрень творится в этом Матаре?

То, что ситуация стремительно приближается к кризису, было очевидно из газетного заголовка, появившегося уже на следующий день:

ЗАЩИТНИКИ ЖИВОТНЫХ ВОЗМУЩЕНЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЕРБЛЮДА В ПОКУШЕНИИ НА УБИЙСТВО

Раздаются многочисленные призывы к законодательному запрету на использование верблюдов в политических убийствах.

Глава тридцать четвертая

"Quelle ordure", — думал Делам-Нуар на своем языке, и это означало примерно следующее: вот попал так попал.

Он ждал, когда его пригласят в покои эмира, время от времени прикладывая к влажному лбу изысканный носовой платок. Последние несколько дней прошли не самым лучшим образом. На него обрушились звонки разгневанного президента Франции, взбешенного короля Васабии и крайне нервозного эмира Матара. Тем не менее он решил достойно держать удар и выглядеть молодцом. В конце концов, он был человеком une certaine dignité, то есть, попросту говоря, знал себе цену.

Наконец дверь открылась, и он вошел в знакомую комнату. Впрочем, сейчас она выглядела иначе.

— Bonjour, mon emir. Счастлив отметить — выглядите вы гораздо лучше.

— Что? — рявкнул Малик. — А?

Врач немедленно прошептал на ухо Делам-Нуару, что слух эмира пострадал на девяносто процентов. Делам-Нуар огорченно вздохнул. Вдобавок к тому, что он был человеком немалых достоинств, он был также и человеком нюансов — художником жеста и тонкого намека. Однако теперь ему предстояло прокричать свои объяснения прямо в (уцелевшее) ухо безногого мелкого диктатора с лиловым лицом. Он понимал, что это будет непросто. Ситуация в Амо-Амасе ухудшалась самым катастрофическим образом.

После трансляции телевизионного репортажа об экзюперине — quel désastre![1] — Малик два раза злобно отказался отвечать на звонки президента Франции. Он также отказался разговаривать с принцем Бавадом, который жаждал убедить его в том, что Васабия отнюдь не была орудием Франции. Малик отказал в разговоре даже королю Таллуле.

В этой туповатой враждебности эмира укреплял Салим бен Джудар, который теперь принял на себя еще и обязанности визиря. Фетиш был арестован. И даже не просто арестован, а подвергнут допросу с пристрастием людьми Салима. Он слишком часто выступал в защиту Делам-Нуара и la belle France[2]. И это теперь тоже было проблемой. Делам-Нуару оставалось только молиться и уповать на то, что Фетиш окажется крепким малым. Впрочем, по собственному опыту он знал, что на преданность платных информаторов рассчитывать не приходится.

А Малик после всего происшедшего стал если не умнее, чем когда бы то ни было, то уж точно решительней. Колеблющийся и вечно сомневающийся правитель канул в лету. Теперь каждая клеточка его тела — из тех, разумеется, что остались, — принадлежала Малику Грозному, не говоря уж о Малике Параноидном.

Он наглухо закрыл границу с Васабией, привел свои войска в боевую готовность, отозвал посла из Каффы и выслал французского посла из Амо-Амаса, а с ним и всех остальных лиц французской национальности. Когда Франция направила в Матар целый флот аэробусов, чтобы вывезти из страны своих граждан, Малик приказал не давать им посадки. Французам пришлось пройти через настоящее унижение, выстаивая на страшной жаре в бесконечных очередях в городском порту Амо, а потом погрузившись — как беженцы — на несколько убогих сухогрузов, отправлявшихся в Дубаи. Такой бесславной эвакуации они не знали, наверное, со времен Дюнкерка. А кого слава заботит больше, чем французов?

— Я принес Вашему Величеству хорошие новости, — сказал Делам-Нуар.

— ЧТО?

— ХОРОШИЕ НОВОСТИ, ВАШЕ ВЕЛИКОЛЕПИЕ. МЫ ВЫЯСНИЛИ, КТО ПОДЛОЖИЛ БОМБУ.

1. Какая беда! (*франц.*)
2. Прекрасная Франция (*франц.*).

Малик нахмурился. Губы его, покрытые мазью от ожогов, придавали угрюмой физиономии эмира еще более отталкивающий вид.

– Ээннх!

Смысл этого "ээннх!" был неясен. Поэтому Делам-Нуар продолжил орать изо всех сил:

– ЭТО БЫЛИ АМЕРИКАНЦЫ. ИХ ЧЕЛОВЕК ТИБОДО, ЛЮБОВНИК ЭТОЙ ФЛОРЕНС. ОН ВЫДАЛ СЕБЯ – МНЕ НЕПРИЯТНО В ЭТОМ ПРИЗНАТЬСЯ – ЗА ФРАНЦУЗА. С НИМ БЫЛ ЕЩЕ ОДИН САМОЗВАНЕЦ, ВЫДАВАВШИЙ СЕБЯ ЗА ПОСЛАННИКА КОРОЛЯ ТАЛЛУЛЫ. ЯССИМ...

– Доказательства... Какие доказательства?

– Я ДОПРОСИЛ ЯССИМА, ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО, ДО ТОГО КАК ОН...

– Ха. Приведите его сюда. Я сам допрошу эту собаку.

– Я СОЖАЛЕЮ, НО ЭТО НЕВОЗМОЖНО, ИМАМ. К НЕСЧАСТЬЮ, ОН СКОНЧАЛСЯ ОТ РАН.

Яссим, этот идиот из идиотов, умудрился-таки совершить самый дурацкий поступок в своей жизни: взял и помер, не подтвердив эмиру того, что он рассказал Делам-Нуару. Разумеется, Малик прекрасно знал, что Яссима уже нет в живых, но не собирался в чем-либо помогать Делам-Нуару, который, по его мнению, так или иначе был виноват в том, что случилось. Это ведь именно он, в конце-то концов, предложил Малику занять трон Матара. Смерть Яссима не только лишила Делам-Нуара единственного свидетеля, но к тому же бросила на француза тень подозрения в его убийстве. Разве не он появился у смертного одра Яссима с этим своим "выдающимся невропатологом" из Парижа и приказал всем выйти из палаты? И разве не был Яссим мертв уже через несколько часов? Все это в должном порядке было передано Малику теми самыми охранниками, которых Делам-Нуар выставил в коридор. Им очень хотелось заявить о своей невиновности и о злодействе француза.

– Где ваши *доказательства*? – потребовал Малик.

– Я ПОКАЗАЛ ЯССИМУ ФОТОГРАФИЮ. И ОН...

– Яссим МЕРТВ!

– ИХ ПЛАН, ВАШЕ ПРЕОСВЯЩЕНСТВО, СОСТОЯЛ В ТОМ, ЧТОБЫ ВЫСТАВИТЬ ВАШИХ ВЕЛИКИХ ДРУЗЕЙ И СОЮЗНИКОВ, ВАСАБИЮ И ФРАНЦИЮ, В КАЧЕСТВЕ ЗАГОВОРЩИКОВ, И ЧТОБЫ ВЫ, ПОВЕРИВ В ЭТО...

– Взрывчатка... Откуда она у американцев? А? А?!!

– ДА, МЫ КАК РАЗ СЕЙЧАС ЗАНИМАЕМСЯ ЭТИМ ВОПРО...

– И почему ваши люди не сообщили об ЭТОМ в своем докладе? А? *А?!!*

Вот здесь Малик попал Делам-Нуару прямо в его ахиллесову пяту. Увидев слово "экзюперин" в докладе саперов, Делам-Нуар немедленно исправил его на "семтекс". Это было гораздо более распространенное взрывчатое вещество, производившееся в Чешской республике и применяемое... ну практически всеми. Именно этот исправленный вариант доклада он и передал матарским властям.

Однако Делам-Нуар ни сном ни духом не ведал о том, что полковник Небкир проводил собственное расследование на месте взрыва. Его специалисты обнаружили множественные следы экзюперина в останках Шема, на фрагментах церемониального седла, а также на искореженной королевской обуви, после чего они вручили *свой* доклад людям эми-

ра (и еще кое-каким людям). Вот так Делам-Нуар оказался уличен во лжи размером примерно с Монмартр.

Когда нет путей к отступлению, единственный выход – двигаться прямо вперед.

– MON EMIR, ПОХОЖЕ, ТУТ ДЕЙСТВУЮТ НЕКИЕ СИЛЫ, О КОТОРЫХ ДАЖЕ МНЕ НИЧЕГО НЕ ИЗВЕСТНО. И ВСЕ ЖЕ Я АБСОЛЮТНО УВЕРЕН...

– Ба! Вранье! Это была ФРАНЦУЗСКАЯ взрывчатка! Посмотрите, что она со мной сделала!

– СОГЛАСЕН, ОНА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БЫЛА *ПРОИЗВЕДЕНА* ВО ФРАНЦИИ, НО УВЕРЯЮ ВАС, ЧТО ВАШИ ДОБРЫЕ ФРАНЦУЗСКИЕ ДРУЗЬЯ НЕ ИМЕЮТ К ЭТОМУ ПРОИСШЕСТВИЮ...

– У меня есть доклад!

– ПОВЕЛИТЕЛЬ, НУ КАК ВЫ НЕ ПОНИМАЕТЕ! ОНИ ЖЕ ПЫТАЮТСЯ ПОДСТАВИТЬ ПАРИЖ И КАФФУ, ЧТОБЫ ПОССОРИТЬ ВАС С ПРЕДАННЫМИ ДРУЗЬЯМИ И СОЮЗНИКАМИ. И ОНИ УЖЕ В ЭТОМ ДО ОПРЕДЕЛЕННОЙ СТЕПЕНИ ПРЕУСПЕЛИ, ОДНАКО...

В этот момент вошел врач и сделал эмиру укол. Делам-Нуару не терпелось продолжить свои объяснения, хотя он вполне отдавал себе отчет в том, насколько неубедительно и неуклюже они звучали. Необходимость орать делу явно не помогала.

– А где это письмо, которое Таллула якобы написал Яссиму? – мгновенно успокоившись после укола, спросил Малик. – Покажите его мне.

Делам-Нуар тяжело вздохнул. Этот гребаный американец Тибодо и здесь переиграл его. При обыске комнаты Яссима действительно было обнаружено письмо на очень дорогой бумаге. Вернее, бумага была, а текст на ней отсутствовал. Чернила исчезли. Это была одна из самых старых уловок в шпионском ремесле, однако, увы, она по-прежнему работала безотказно. Учитывая, разумеется, что использовалась она против такого тупицы, как Яссим.

– ПИСЬМО БЫЛО НАПИСАНО СИМПАТИЧЕСКИМИ ЧЕРНИЛАМИ, ВАШЕ СВЯТЕЙШЕСТВО. НО Я УВЕРЕН, ЧТО ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ, ВНЕ ВСЯКИХ СОМНЕНИЙ, ДОКАЖЕТ ПРИСУТСТВИЕ ЭТИХ ЧЕРНИЛ НА БУМАГЕ, И ТОГДА...

– Довольно! Довольно этих жалких, никчемных оправданий! Вы должны были меня защищать! А теперь посмотрите – во что я превратился! Вы бы хотели остаться без ног, а? А, французик?

Сообразив, что в этих краях в качестве наказания все еще существовала практика отсечения конечностей, старый и умный француз счел немедленное отступление самым благоразумным в сложившейся ситуации. Нет, он не был трусом, он сражался при Дьенбьенфу и лично убил в Алжире больше арабов, чем кто бы то ни было. Он не боялся умереть, если возникнет необходимость, – традиционная последняя сигарета перед строем солдат с оружием наизготовку не такой уж плохой конец. Но вот позволить отпилить себе ноги, дабы доставить удовольствие какому-то сбрендившему эмиру, – нет, эта перспектива Делам-Нуара не привлекала.

– ВАМ ПОРА ОТДЫХАТЬ, О ВЕЛИЧАЙШИЙ. Я ПРИНЕСУ ВАМ НЕОБХОДИМЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА, И ТОГДА ВЫ ПОЙМЕТЕ – КТО ВАШИ НАСТОЯЩИЕ ДРУЗЬЯ.

– ВОН! ПОШЕЛ ВОН!

Обеспокоенный доктор склонился над своим пациентом.

– ИМАМ, ВАМ *НЕОБХОДИМО* ОТДОХНУТЬ!

В соответствии с протоколом Делам-Нуар удалился, не поворачиваясь к эмиру спиной. Оказавшись у двери, он в последний раз взглянул на истеричного безногого эмира, который некогда был самым замечательным творением его рук. Лицо Малика представляло собой один огромный покрытый мазью синяк, теперь до такой степени лиловый, что на секунду Делам-Нуару даже показалось, будто он вот-вот взорвется.

Глава тридцать пятая

Флоренс очнулась в светлом помещении, и несколько секунд ей казалось, что она умерла и что вся эта белизна соответствует какой-то волшебной комнате ожидания на берегу реки Стикс.

Затем она ощутила боль в левом виске и нащупала бинт. Теперь ей стало понятно, что она не умерла. Левая рука ее была пристегнута наручниками к кровати.

Она находилась в ярко освещенной и чистой комнате, а не в темной камере с трупом или в помещении для допросов, где на нее кричали вооруженные мужчины. Флоренс лежала на кровати, застеленной чистыми простынями. К тому же ее кто-то помыл. Она больше не источала запах смерти.

Флоренс взглянула на дверь и за толстым стеклом увидела чье-то лицо, уставившееся на нее из коридора. Поняв, что она пришла в себя, лицо исчезло, и у Флоренс осталось всего несколько спокойных минут на то, чтобы оценить ситуацию.

Последнее, что она помнила, был прижатый к ее лбу пистолет. Салим бен Джудар. Еще там был полковник... Небкир? Висок у нее гудел от боли. Свободной рукой Флоренс оттянула повязку и нащупала под ней несколько швов, твердых, как рыболовная леска. Видимо, бен Джудар ударил ее в висок своим пистолетом. А теперь она находилась в каком-то тюремном госпитале. Судя по всему, они пока не собирались ее убивать.

Дверь открылась, и в палату вошел Салим бен Джудар. Почему-то он уже не выглядел таким страшным и скорее напоминал затюканного менеджера среднего звена, который засиживается допоздна на работе, чтобы приготовиться к важному докладу и объяснить начальству, каким образом можно сократить оперативный бюджет следующего квартала на восемь процентов. В руках у него была дощечка с зажимом для документов.

– Так, значит, пришла в себя. Подпишите нам вот это.

Он протянул ей свою дощечку.

– И в чем я должна признаться на этот раз?

– В том, что участвовали в покушении на эмира. Вас казнят завтра вечером. Без разницы – подпишете вы это или нет.

Его безразличие выглядело нарочитым. Типа: *да, чуть не забыл, мы же вас завтра убьем. Сначала несколько других человек, а потом вас.*

"Ладно", – подумала Флоренс.

Она тоже умела играть в эту игру.

– Я вам подпишу что угодно, – как можно небрежней сказала она. – Но только после того, как вы разрешите мне встретиться с Лейлой.

— Ее здесь нет. Она в другом месте.

Было совершенно ясно, что он лгал.

— С ней все в порядке?

— Хватит с нее того, что она до сих пор жива.

— Разрешите мне с ней встретиться, и я это подпишу, — Флоренс протянула ему обратно дощечку с бумагой. — И больше я говорить об этом не буду. Вам уже меня не испугать, Салим.

Он молча уставился на нее, и в глазах у него мелькнуло нечто похожее на уважение. За свою карьеру он успел известить шестнадцать человек о том, что их скоро казнят. Ни один из них не воспринял эту новость с таким спокойствием. Салим бен Джудар повернулся и вышел из комнаты.

Через час дверь снова открылась и внутрь вошли два охранника. Они уже не стали заковывать ее в наручники и грубо с ней обращаться, однако покрыли ей голову абайей и только после этого вывели из камеры. Пройдя с ними несколько коридоров, она услышала, как открываются тяжелые двери, и немедленно ощутила волну раскаленного воздуха, ворвавшуюся снаружи. Ее усадили в машину между двумя мужчинами, от одного из которых сильно несло потом. Ехали они почти целый час. В конце концов ее вывели из машины, и она снова ощутила палящую жару Матара — если, конечно, они находились не в Васабии. Флоренс завели в здание, где снова было прохладно. Затем ее усадили на стул, и она поняла, что перед ней стоит стол. Абайю, в которой не было отверстия для глаз, с нее не снимали, и поэтому она все еще ничего не видела. Прошло несколько минут. Наконец раздался звук открываемой двери, и она услышала мужские голоса. Флоренс, говоря с Салимом, не блефовала: они уже действительно были не в силах ее испугать. Весь запас ее страха был исчерпан.

Кто-то снял с нее абайю. Флоренс от неожиданности заморгала, а потом увидела, что напротив нее за столом сидит Лейла.

— О, моя дорогая сестра, — сказала Лейла, и глаза ее заблестели от слез. — Что они с тобой сделали?

Флоренс подалась вперед и взяла руки Лейлы в свои. Та выглядела изможденной, постаревшей, но по-прежнему красивой. Глаза ее, некогда полные огня и веселья, теперь напоминали глаза загнанного животного.

— А ты как себя чувствуешь, дорогая сестра? — спросила Флоренс, и обе они разрыдались.

— Ну вот, — сказала Лейла, утирая слезы. — Теперь они скажут, что это правда — что мы с тобой точно две местные лесбиянки.

Флоренс улыбнулась и от этого почувствовала себя как-то странно. Она вдруг поняла, что уже долгое время не улыбалась.

— Ну что же, — сказала она. — Мы все еще живы. И как это нам удалось?

Кроме них в маленькой комнате не было никого. Впрочем, наверняка за ними наблюдали и даже записывали на пленку.

— Ты знаешь хоть что-нибудь о том, что произошло? — спросила Флоренс.

— Похоже, кто-то пытался убить Малика.

— Да, — кивнула Флоренс. — И мне теперь придется... — Голос ее дрогнул, и она замолчала.

В глазах Лейлы появилась тревога. Она покачала головой.

— Не надо, Фьоренца, не делай этого.

— А тебя они заставили в чем-нибудь признаться?

— В том, что я оказывала дурное влияние на Газзи.

Флоренс опять улыбнулась:

— Ну это не новость. А что обещали взамен?

Женщины обменялись пристальными взглядами.

— Сотню ударов плетью, — ответила Лейла.

— О господи, Лейла...

Это был смертный приговор. Неужели она об этом не знала?

— В конце концов, это не намного хуже, чем те ужасные школы, куда меня отправляли в детстве. Потом они вышлют меня из страны. — Она выдавила улыбку. — Надеюсь, куда-нибудь на юг Франции, а не в мрачную местность в окрестностях Сахары. А ты, Фьоренца? Что они сделают с тобой?

— Депортируют, — солгала Флоренс. — Похоже, я тут всем надоела.

В этот момент открылась дверь и вошел охранник.

Поняв, что их сейчас разлучат, они крепко взялись за руки.

— Значит, увидимся на юге Франции, — сказала Флоренс.

— Договорились. На юге Франции. И упьемся шампанским в стельку.

— Храни тебя Бог.

— И тебя, моя дорогая. *Аллах маа'ек йехфатхек. Эшуфек бихеер.*

О том, что он должен немедленно вернуться в Париж, Делам-Нуара известили ледяным голосом по телефону. Самолет уже ждет, и этому рейсу матарские власти дали разрешение на посадку. Делам-Нуар все понял.

Наклонившись вперед, он попросил у водителя сигарету. Хорошо, что он на Ближнем Востоке. Здесь курят буквально все. Сам он бросил более сорока лет назад после тяжелого приступа депрессии и стыда, когда ему пришлось прижигать сигаретой грудь несговорчивого заключенного в Алжире, чтобы развязать тому язык. Теперь он с удовольствием закурил, втянул дым и откинулся на спинку кожаного сиденья с той безмятежностью, которую приносит с собой лишь окончательное поражение. Через секунду он решил сделать последний звонок принцу Бавaду в Каффу. Скорее из любопытства, чем по какой-либо иной причине.

Бавад начал немедленно отчитывать Делам-Нуара в самой жесткой манере. Делам-Нуар пропустил этот поток брани мимо ушей, как пропускал пустынные пейзажи за окном автомобиля. Его больше интересовал страх Бавада, который он ощущал почти физически.

— А каково будет решение касательно этих женщин? — спросил Делам-Нуар, глубоко затягиваясь сигаретой.

Он получал от нее истинное наслаждение. Как жаль, что он не курил так долго.

— Малик собирается убить их завтра! — завопил Бавад.

— Вас вроде бы это должно радовать, mon prince. В конце концов, это именно то, чего вы столько времени добивались.

— Вы что, не понимаете, что это осложнит ситуацию? Значительно осложнит! Его Величество в ярости!

— Ну так сделайте что-нибудь.

— Этот маньяк закрыл границы и выслал оттуда всех. Мы *не можем* ничего сделать!

– Когда нет альтернативы – нет и проблем. Знаете, кто мне это сказал? Сам де Голль. Я его хорошо знал.

– Это вы во всем виноваты!

– Да что вы говорите.

– Он хочет убить эту женщину, Флоренс, только из-за того, что вы без конца отговаривали его от этого! А теперь он вас так ненавидит, что убьет ее просто вам назло!

– Я в самом деле всегда считал, что убийство этих женщин будет ужасной ошибкой с точки зрения общественного мнения. Но мне ведь известно, насколько вам всем тут нравится рубить головы. Так что можете теперь наслаждаться этим своим национальным спортом. – Делам-Нуар еще раз глубоко затянулся благоухающим турецким табаком. – Думаю, что очень скоро почва под вами поплывет, как зыбучие пески, mon prince. Передавайте привет королю. Au revoir.

И Делам-Нуар нажал на кнопку отбоя, успев подумать, что не часто в жизни проделывал это с таким удовольствием.

Самолет уже ждал его. Они прислали за ним его собственный реактивный лайнер. Со всеми удобствами. На борту вместо очаровательной Селин, которая обычно ему прислуживала, оказались двое мужчин. Делам-Нуар радушно их поприветствовал. Он знал, что любое его слово, любое действие и любой жест станут предметом разговоров в определенных кабинетах в Париже уже на следующий день – и, в общем-то, в течение еще многих лет, – поэтому решил сделать все от него зависящее, чтобы эти разговоры велись с интонациями почтения и даже восхищения, если возможно.

– Ну что, – сказал он, – может, выпьем?

Вынув припрятанную Селин в укромном местечке бутылку виски сорокалетней выдержки, Делам-Нуар налил по стаканчику своим молчаливым гостям, а когда самолет взмыл в небо и полетел над сверкающим голубым Заливом, готовясь к развороту на запад, поднял свой стакан и сказал:

– За Новый Матар!

Через два дня в газете "Фигаро" появился некролог: Доминик Лоран Делам-Нуар, семидесяти четырех лет, армейский ветеран, награжденный военным Крестом и орденом Почетного легиона, вдовец, заместитель заведующего отделом по ближневосточным вопросам Министерства иностранных дел, умер от эмболии, выгуливая собаку рядом со своим домом в Брив-ла-Гайарде. Панихида и погребение проводятся в частном порядке.

Глава тридцать шестая

Флоренс была довольна, что *это* произойдет не в торговом центре.

Всю вторую половину дня ее мучила мысль о том, что ей отрубят голову именно там и тогда последним, что она увидит в этом мире, станет кафе "Старбакс". В самой смерти не было ничего позорного, однако она не хотела умирать в эпицентре распродажи женских туфель с 30-процентной скидкой.

Машина остановилась. Флоренс выглянула в окно и увидела, что ее привезли на какую-то площадь. Судя по всему, это была площадь Рэн-

дольф, ныне площадь Ясгур. Флоренс раньше ходила сюда за покупками. Здесь была палатка, в которой продавали чудесные персики.

Вокруг эшафота стояла толпа из нескольких сотен человек, в основном женщин. Все они тихонько стонали и подвывали, как подобает арабским женщинам, которых согнали смотреть на очередное отвратительное действо. Тут же крутился какой-то мулла с мегафоном. Он увещевал собравшихся и просвещал их на тему злодейской сущности Флоренс, ее безбожия и вероломства в попытке убить великого имама, да благословит Аллах его искалеченное тело.

Флоренс нервно огляделась в поисках Лейлы, а затем спросила сопровождавшего ее офицера — здесь ли будут наказывать шейху. Он ответил, что экзекуция Лейлы должна состояться в торговом центре, и Флоренс нахмурилась. Впрочем, в таком случае Лейла не увидит ее казни. Да и Флоренс не придется смотреть, как ее подругу забивают насмерть перед входом в "Старбакс". Воистину милосерден Господь.

В этот момент по толпе пробежал ропот. Через волнующееся море женских фигур, укутанных в свои одеяния, к Флоренс двигался высокий матарский мужчина из племени кали-сад, известного тем, что из него родом были все матарские палачи. Следом за ним шли мулла и капитан департамента общественного здоровья с пистолетом в руке.

Поскольку казни в этих краях случаются весьма часто, проходят они без особой помпы. В других регионах планеты любят создать особую атмосферу на эшафоте — последнее слово, благословение священника, повязка на глазах, сигарета (которую теперь, впрочем, больше не предлагают, заботясь о здоровье), барабанная дробь. Местные казни проходят быстро и по-деловому, а торжественность атмосферы во время таких церемоний вы ощутите не больше, чем на курином базаре, где курам головы рубят, не вынимая сигареты изо рта. Разница состоит лишь в том, что на эшафоте непременно воздадут хвалу Всевышнему. Флоренс это устраивало. Ей не хотелось, чтобы мероприятие затянулось. Чем быстрее с ней покончат, тем меньше останется шансов, что она вдруг потеряет над собой контроль и закатит какую-нибудь непристойную сцену. Флоренс очень хотела умереть красиво. И все же она чувствовала, как страх клубится в ее сердце.

Палач крепко взял ее за руку и повел к эшафоту. Его помощник уже стоял там с мечом в руках. Флоренс взмолилась, чтобы клинок оказался острым. Ее вдруг напугала новая мысль: а что, если палач окажется неумелым и начнет рубить ее, как пьяный мясник? Такое бывало. Как-то раз на площади Секир-Башка такой вот палач нанес целых восемь или девять неловких ударов, после чего стоявший рядом охранник не выдержал и, с отвращением оттолкнув его в сторону, прикончил жертву из своего пистолета. Флоренс пожалела, что у нее нет с собой ничего ценного для палача.

Мулла все еще продолжал вещать в свой мегафон. Толпа женщин стонала. Палач вывел Флоренс на середину помоста и поставил ее на колени. Его помощник приблизился, чтобы надеть на нее мешок, но она замотала головой. Ей до чертиков уже надоели все эти вонючие тряпки. Она не хотела уходить из этого мира с закрытым лицом.

Она стояла на коленях с прямой спиной, смотрела на толпу и улыбалась. Женщины, уже не сдерживаясь, начали завывать. Флоренс опустила голову, посмотрела на доски эшафота и увидела четкую тень палача,

поднимавшего над ее головой меч. Она закрыла глаза и постаралась расслабить шею.

В следующее мгновение Флоренс услышала выстрелы и открыла глаза. Палач рухнул навзничь, как подкошенный, а его меч со звоном вонзился в эшафот буквально в нескольких сантиметрах от ее лодыжки. Флоренс резко перевела взгляд на толпу и увидела, как в разных ее концах десятки "женщин", откинув свои одеяния, ведут из автоматов огонь по охране и полицейским. Затем кто-то подхватил ее под руки, стащил с эшафота и забросил в автофургон. Дверь за ее спиной гулко захлопнулась, и машина рванула с места.

Некоторое время Флоренс лежала на полу, прислушиваясь к своему бешено колотившемуся сердцу, а потом приподняла голову и посмотрела туда, где сидел водитель.

— Может, прижмешь пока голову, Фло? Ты ведь ее чуть не потеряла.

Когда они остановились, было уже темно. Он открыл заднюю дверь, и Флоренс бросилась в его объятия.

— Ну ладно, — наконец произнес Бобби. — Скоро контрольное время. Смотри под ноги. У них вся страна кишит змеями.

Она направилась к воде. Босиком идти по песку было очень приятно. На секунду Флоренс задумалась: успели уже бюрократы Малика переименовать пляж Бленхайм или нет?

Потом они с Бобби стояли по щиколотки в прибойной волне, и он к чему-то прислушивался, сжимая в руках свой автомат.

Прошло десять минут. На дороге засветились фары приближающегося автомобиля.

— Бобби! — окликнула его Флоренс.

Он несколько раз посигналил небольшим фонариком. Фары в ответ дважды зажглись и погасли, а затем чуть погодя мигнули опять. Бобби побежал по песку к машине. Через минуту он вернулся, поддерживая одной рукой женщину, согнувшуюся явно от сильной боли.

Флоренс обняла Лейлу.

— Не так сильно, моя дорогая, — поморщившись, проговорила Лейла. — Эти ублюдки успели врезать мне десять раз, прежде чем началась пальба. Я бы сейчас с удовольствием чего-нибудь выпила.

Теперь они стояли у кромки воды втроем. Наконец со стороны моря послышался шум мотора, и они увидели лодку, в которой сидели вооруженные люди с черными от ваксы лицами.

До этого Флоренс никогда не была на подводной лодке. Она ожидала услышать вой сирен и крики: "Убрать перископ! По местам!" Но их всего лишь встретил симпатичный спокойный офицер в хаки, который улыбнулся и сказал:

— Мэм! Ваше Королевское Высочество! Добро пожаловать на борт.

После этого Флоренс услышала голос в динамиках:

— Приготовиться к погружению.

А еще секунду спустя раздался другой звук — весьма приятный для уха. Кто-то открыл шампанское. И хотя официально на судах военно-морского флота США алкогольные напитки не подают, но учитывая обстоятельства...

Эпилог

После восстания арабских женщин Матар опять погрузился в хаос, но, впрочем, ненадолго. Изолировав себя от своих бывших хозяев из Васабии и Франции, Малик оказался в полном одиночестве. А поскольку политика, как и природа, не терпит пустоты, полковник Небкир из Особого отдела — при поддержке людей, которых предоставил ему Бобби, — решительно начал ее заполнять. Уже через неделю Малику пришлось спасаться бегством. И даже в самом его отъезде странным образом проявила себя его карма: изрыгающего проклятия бывшего автогонщика увозили в ссылку в кузове небольшого грузовичка. Нынешнее его местонахождение никому не известно. Некоторые говорят, что он нашел убежище в Йемене, другие утверждают, что в Могадишу. Впрочем, это не самая популярная тема для разговоров.

После реставрации Лейла со своим сыном Хамдулом, который — согласно воле Всевышнего — взойдет однажды на трон, вернулась в Амо-Амас. Пока страной управляет полковник Небкир, и большинство матарцев этим явно довольны. Хотя, надо признать, обещанные им выборы постоянно откладываются по той или иной причине.

ТВМатар под руководством Лейлы снова процветает, стремясь донести идеалы гуманизма до самых темных уголков арабского мира. Огромные, как и прежде, доходы от рекламы идут на счета Фонда арабских женщин, которым в Вашингтоне руководит некая женщина, имеющая определенное сходство с Флоренс Фарфалетти. И если прав был тот выдающийся антрополог из Чикагского университета, который утверждал, что многие арабские женщины не хотят быть "освобожденными", пусть так оно и будет. Но зато теперь по крайней мере у некоторых из них в этом вопросе появилась возможность выбора.

Франция так и осталась sans (без) военно-морских баз и дисконта на нефть, но зато по-прежнему и навсегда belle (прекрасна).

Васабия снова оказалась отрезанной от моря и вынуждена платить Матару ненавистный налог Черчилля, удвоенный по сравнению с тем, что было прежде. Король Таллула обвинил во всех этих неудачах своего племянника министра иностранных дел и принца крови Бавада. В соответствии с какими-то запутанными нюансами васабийского права, опозоренный принц был лишен всех богатств и самых красивых жен, после чего его отправили в ссылку в глухую область Васабии, населенную в основном бабуинами (пожалуй, единственное место в этой стране, куда стоит заглянуть туристам). Машины останавливаются, и гиды, перекрикивая рев бабуинов, объясняют, что вон та приземистая глинобитная хижина вдали является нынешним местом жительства принца Бавада — да-да, "того самого" принца Бавада. Говорят, что его вопли по ночам перекрывают рев бабуинов, однако это вполне может быть преувеличением. Даже у васабийцев есть чувство юмора.

Джордж и Ренард теперь работают вместе. Их компания "Ренард и Фиш стратиджик комьюникейшнз" является одной из ведущих вашингтонских PR-фирм с клиентами по всему миру. По иронии судьбы — типично вашингтонской иронии — именно их фирму наняло королевство Васабия с целью поправить свой имидж в Соединенных Штатах. А имидж, разумеется, в этом сильно нуждался.

Оба они теперь так заняты, что Джордж постоянно жалуется на отсутствие свободного времени. Впрочем, Джордж никогда не бывает по-настоящему счастлив. То немногое свободное время, которое ему удается выкроить, он посвящает капитальному ремонту дома Фишей, выкупленного им после смерти матери. Кое-кто уже говорит, что видел там ее привидение.

Скромный домик Флоренс в Фогги-Боттом мгновенно сделался объектом нашествия журналистов и любопытных. Каждое утро его порог обивали бесконечные литературные агенты с контрактами на книгу и сценарий. Америка любит осложнять жизнь своим героям. В конце концов Флоренс сбежала от них на своем мотоцикле, выйдя через заднюю дверь. Они бросились в погоню, но она сумела от них оторваться на пригородных улочках. С помощью Бобби она поменяла имя и паспорт. Нет никакого смысла описывать ее новую внешность. Стоит отметить лишь то, что мужчины по-прежнему провожают ее взглядом, когда она проходит по улице. Фонд арабских женщин процветает.

После бегства на подводной лодке ей пришлось много раз отвечать на вопросы различных официальных лиц. Все они как один скептически пожимали плечами и разводили руками, стоило Флоренс завести разговор о таинственном дяде Сэме. И тем не менее все эти чиновники вынуждены были признать, что ей не удалось бы совершить все то, что она сделала, без определенной поддержки правительства Соединенных Штатов. Чем более очевидным это становилось, тем меньше они проявляли желания продолжать разговор. А что, если все это шло... с самого верха? Чиновники начинали нервно поглядывать друг на друга. Паузы становились все более длинными и все более неловкими. Матар снова стал Арабской Швейцарией, нефть бежала без всяких помех, Америка — хвала Всевышнему — избавилась от необходимости быть более благоразумной в потреблении энергии, а французы и васабийцы опять знали свое место. Ну какой смысл в этой ситуации задавать ненужные вопросы?

— Вопросов больше нет, — обычно подытоживал старший среди чиновников, который ни разу не удосужился назвать свое имя.

У выхода он оборачивался, смотрел на Флоренс и говорил:

— Отличная работа. Вы сегодня вечером свободны?

Флоренс начали посещать дурные сны. Любой диагност скажет, что провести три дня в камере с гниющим трупом, а после этого избежать в последнюю секунду смертной казни — такое не проходит бесследно. Она просыпалась среди ночи в холодном поту и прижималась к Бобби. В последнее время ей снился дядя Сэм. Целыми днями она мучила себя размышлениями о том, кем же он был на самом деле, а по ночам он являлся ей со своей усмешечкой и отеческим взглядом.

Ее сон начинался с того, что она на огромной скорости мчалась на своем мотоцикле по сельской дороге. Затем прямо перед ней неожиданно появлялся он. Флоренс резко тормозила и вылетала с дороги в заросли шиповника и цветущей желтой форсиции, густые переплетенные ветви которой опутывали ее как сеть. Словно несчастное насекомое, застрявшее в паутине, она билась в этих пылающих яркими красками зарослях, и наконец рядом с ней обязательно оказывался ухмыляющийся дядя Сэм. Он пристально смотрел на нее и говорил:

— Вы разобьетесь, если будете так гонять, юная леди.

В этот момент она, вскрикнув, просыпалась — рядом с ней лежал Бобби, который повидал за свою жизнь все ужасы на свете, а теперь преспокойно и как ни в чем не бывало храпел.

Сидя однажды утром с чашкой кофе в руках после одного из таких тревожных снов, Флоренс обратила внимание на заголовок в разделе экономики газеты "Вашингтон пост". Это была третья страница. Она с легкостью могла ее пропустить.

УОЛДОРФ-ГРУП ПОЛУЧИЛА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 2,4 МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ В РАМКАХ ВАСАБИЙСКОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

Флоренс несколько мгновений задумчиво смотрела на этот заголовок, а потом прочитала статью. Ничего особенного в ней она не нашла. Ей и без того было все известно про "Уолдорф-груп". И не только ей. Никакого секрета вокруг деятельности этой организации не существовало. Ею управлял совет из двенадцати директоров, трое из которых являлись бывшими президентами США, а остальные — бывшими министрами обороны, госсекретарями, руководителями торговых и финансовых ведомств и двое — директорами ЦРУ...

— Вот сукин сын! — в конце концов пробормотала Флоренс.

— Что? — спросил Бобби, входя босиком на кухню в пижамных брюках, почесывая грудь, зевая и принюхиваясь — не пахнет ли свежим кофе.

Кабинеты "Уолдорф-груп" занимают два верхних этажа одного офисного здания, которое самым удобным образом расположено напротив Белого дома. Из окон комнаты для заседаний совета директоров открывается замечательный вид на разнообразные правительственные здания, некогда возглавлявшиеся завсегдатаями этой самой комнаты. Стол для заседаний сделан из массивного орехового дерева, а стулья обтянуты роскошной миланской кожей. Большинство директоров любят подымить свежими кубинскими сигарами, поэтому на столе сверкают пепельницы из самого лучшего хрусталя. Карта мира, утыканная десятками булавок, обозначающих инвестиционные проекты "Уолдорф-груп", красноречиво провозглашает: "Мир очень, очень большой, и он принадлежит нам!" Сегодня очередная булавка будет воткнута в Васабию, а после этого директора немного выпьют, немного поболтают, обменяются неприличными анекдотами — самый модный сейчас тот, что про двух монахинь, путешествующих по Трансильвании, — а затем разъедутся на своих сопровождаемых спецслужбами машинах, вертолетах и личных самолетах. Сегодняшнее заседание может затянуться дольше обычного, учитывая недавние события.

Председатель совета докладывал о недавних инвестициях группы в алмазные копи неподалеку от Йеллоунайфа, когда дверь вдруг открылась и в кабинет вошла женщина.

Это была весьма привлекательная блондинка в деловом костюме, к лацкану которого был прикреплен бэджик с таким высоким уровнем доступа, что десяток агентов снаружи даже не пытались препятствовать ей на пути к небожителям.

Председатель удивленно посмотрел на вошедшую женщину. Заседания совета директоров "Уолдорф-груп" прерывались нечасто. Рот пред-

седателя, которого оборвали на полуслове, так и остался открытым. Несколько нервно он повернулся к пожилому человеку, сидевшему у стены. Тот взглянул на женщину, встал, улыбнулся и сказал:

– А, Флоренс, привет.

– Привет, Сэм, – ответила она.

– Думаю, представления излишни, – сказал дядя Сэм.

Двенадцать мужчин, сидевших вокруг стола, посмотрели на Флоренс. Трое бывших президентов мило улыбнулись. Впрочем, сделали они это лишь по той причине, что среди всех присутствующих у них были самые отточенные политические рефлексы. Бывшие министры не улыбнулись. А бывшие директора ЦРУ нахмурились.

– Может, чуть позже поговорим? – сказал дядя Сэм. – У нас тут заседание.

– Нет, – ответила Флоренс. – Разговаривать будем сейчас.

– Мне все-таки кажется...

В этот момент открылась другая дверь, и в комнату с решительным видом вошел весьма крепкий мужчина. У него на лацкане тоже имелся бэдж с высоким доступом секретности. Он скрестил руки на груди и хмуро уставился на дядю Сэма.

– Привет, Бобби, – сказал дядя Сэм. – Ну что ж, теперь, кажется, все в сборе.

И тут заговорила Флоренс:

– Так значит, я работала на шайку инвестиционных банкиров?

Один из экс-президентов ответил ей мягким дружелюбным тоном:

– Так или иначе, Флоренс, мы все работаем на инвестиционных банкиров.

– Ваша группа, – сказала она, – начала свою деятельность на васабийские деньги. В прошлом году прибыль составила восемьсот миллионов долларов. Если разделить на двенадцать, получается по шестьдесят шесть миллионов на брата. Поздравляю вас, джентльмены. Это большой успех. Вот только зависит он от постоянного финансирования из Васабии. А там вдруг начались внутренние проблемы. Терроризм, концентрация власти в узких кругах. Сорок тысяч наследных принцев. Высокий уровень безработицы, и при этом половина населения страны не достигла шестнадцати лет. А если королевство рухнет и превратится в исламскую фундаменталистскую республику, ваше финансирование полетит псу под хвост. Поэтому вы и решили устроить там реформы. Модернизировать королевство, так сказать. Что, впрочем, само по себе и неплохо. Вот только они этих реформ не захотели. А даже если б и захотели, то все равно бы не смогли – из-за концентрации власти, а также по причине давнего договора королевской семьи с религиозной сектой фанатиков. Власть принадлежит королевской династии, а фанатики должны следить за поддержанием тех порядков, которые установились еще в старом добром Средневековье. Реформы нужны им, но они не могут себе их позволить. А какие рычаги имеются в вашем распоряжении? Каким образом вы можете повлиять? Только при помощи принца Бавада, посла в Соединенных Штатах, и личного приятеля многих из вас, старого партнера по гольфу, горным лыжам и охотничьим забавам. А я от себя добавлю – самого отвратительного создания на планете. Однако не будем поддаваться эмоциям. Женщины ведь так склонны к этому, не правда ли?.. А потом вдруг в один прекрасный день жена Бавада со-

вершает попытку побега. Мы, разумеется, возвращаем ее обратно, поскольку ничто не должно препятствовать потокам нефти и... инвестиционных капиталов. Ее казнят. И тут на сцене появляюсь я. Я направляю служебную записку своему руководству в Госдепартаменте, и там начинается переполох. Но зато вы сможете начать извне реформы в Васабии. От вас только и требуется, что нажать несколько кнопок и потянуть за кое-какие нити. Ведь связей у вас, вместе взятых, побольше, чем у самого Господа Бога. Да тут еще замечательным образом выходит так, что все это — ради доброго дела. Такое ведь нечасто случается в Вашингтоне, правда? Сразу два добрых дела — права женщин и прибыли для "Уолдорф".

— Флоренс, — заговорил один из экс-президентов. — Думаю, все присутствующие со мной согласятся, если я скажу вам, что вы проделали огромную и очень важную работу.

Над столом прошелестело многочисленное: "Да, да, да".

— Я также думаю, что все со мной согласятся, Флоренс, если я скажу вам: добро пожаловать в команду.

— Да, да, да.

Теперь улыбались даже экс-директора ЦРУ. Бобби же, в свою очередь, смотрел на них так, будто хотел вынуть из-под пиджака свой большой пистолет и, не сходя с места, войти в историю. Заголовки в газетах были бы сногсшибательные.

— Ну вот и все, — сказала ему Флоренс. — Нам здесь больше нечего делать.

И они оба направились к выходу.

— Если передумаете, — сказал дядя Сэм, — то вы знаете, где нас найти. А мы знаем, где найти вас.

20 октября 2003 – 19 мая 2004
(годовщина смерти Т. Э. Лоуренса в 1935 году)
Сан-Луи Обиспо, Вашингтон

От редакции

Среди благодарностей, которые автор романа выражает в конце книги, есть и такая: "И наконец, я хочу выразить уважение и воздать должное Ферн Холланд, реальному прототипу Флоренс Аравийской, вероломно убитой в Ираке 9 марта 2004 года в возрасте тридцати трех лет".

Альфред Эдуард Хаусман

Четыре стихотворения

Переводы с английского. Вступление Григория Кружкова

Альфред Эдуард Хаусман. Рисунок Уильяма Ротенстайна (1906)

© Григорий Кружков. Перевод, вступление, 2006
© Алла Хананашвили. Перевод, 2006
© Светлана Лихачева. Перевод, 2006
© Лев Оборин. Перевод, 2006
© Марина Бородицкая. Перевод, 2006
© Борис Архипцев. Перевод, 2006
© Виктор Лунин. Перевод, 2006
© Владимир Светлосанов. Перевод, 2006
© Мария Фаликман. Перевод, 2006

"Парень из Шропшира" и его песни

Старался студент, но зачета не сдал,
Искусств бакалавром, увы, он не стал.
Аой!
Служил регистратор в патентном бюро,
Служил, но порою чесалось перо.
Аой!
Сидел в кабинете ученый сухарь,
Он душу отдал за латинский словарь.
Аой!

I

В этих эпических строках — главные вехи творческой карьеры А. Э. Хаусмана (1859–1936). Честолюбивый и способный студент, он действительно умудрился провалиться на заключительном экзамене и должен был пойти на службу. Но по вечерам после своих патентных трудов Хаусман отправлялся в Британский музей и упорно работал над латинскими текстами и комментариями. Публикации вызывали такое уважение в ученом мире, что в 1891 году, несмотря на отсутствие степеней и званий, его избрали заведующим латинской кафедры Лондонского университета, а еще через десять лет, в 1901 году, пригласили возглавить кафедру в Кембридже.

Ровно посередине между этими событиями, в 1896 году, вышел первый сборник стихов Хаусмана "Парень из Шропшира". Лирический герой этих стихов — полная противоположность тому ученому латинисту, джентльмену в цилиндре, сюртуке, полосатых брюках и с зонтиком, которого мы знаем из описаний современников. Это — простой деревенский парень, который гуляет с друзьями, сидит в таверне за кружкой эля, горюет об улетающих годах и сетует на суровые законы жизни, печально умиляясь ее недолговечной прелести. Иногда, для разнообразия, его вешают или забирают в солдаты.

Одну из первых рецензий на книгу Хаусмана опубликовала Эдит Несбит — та самая знаменитая сказочница, чьими книгами до сих пор зачитываются дети в Англии (впрочем, тогда они еще не были написаны). Несбит горячо приветствовала появление нового, необычного таланта:

> Он умеет производить максимальный эффект минимальными средствами — черта великой поэзии... Лучшие его строки поражают точностью, "неизбежностью" выражения. Это не та поэзия, которая берет сердца читателей приступом, как поэзия Суинберна, вряд ли ее станут цитировать политики или возникнут общества толкователей Хаусмана. Рассчитывать на мгновенное и бурное признание этим стихам не стоит. Но они пробьются — медленно и верно.

Проницательные слова, сбывшиеся почти полностью, за исключением пророчества об обществах Хаусмана. Такие общества все-таки возникли — и в Англии, и в Америке.

II

Хочется вспомнить еще одну рецензию. Опубликованная анонимно в еженедельнике "Новое время" (The New Age), она подчеркивала самобытное направление автора – поперек эпигонским тенденциям времени.

Этот голос, может быть, не слишком вдохновляет. Он не увлекает нас в будущее, не будит славу минувшего и не воспевает настоящее. Но он говорит с такой искренней, задушевной силой, какая встречается из современных поэтов, может быть, у одного только Гейне[1].

Видимая простота и близость к народным песенным формам (в данном случае, к английской балладе) действительно сближает Хаусмана с Гейне. Роднит их также неожиданный простодушный юмор и скептическое отношение к небесным авторитетам. Так, в стихотворении о холодной весне герой Хаусмана возмущается: "Что за негодяй / Нам вместо жизни подложил свинью?":

Там, наверху, – разбойник или тать?
Бесстыдство, кто бы ни был он таков,
Последнего веселья нас лишать,
Отправленных за смертью дураков.

Атеизм Хаусмана сочетается с суровым стоицизмом древних. "Помни, только лишь день погаснет краткий, / Бесконечную ночь нам спать придется", – эти слова Катулла, кажется, навсегда отпечатаны в сердце "парня из Шропшира". Оттого-то ему приходится смирить и свою гордость, и непомерные желания: "Пей, брат, и небо подпирай плечом".

Искать причину хаусмановской меланхолии в его подавленной гомосексуальности, как это делает, например, Оден и другие, по-моему, так же малопродуктивно, как объяснять сходными причинами мировоззрение самого автора "Щита Ахилла" и "Музея изящных искусств". Или – если взять русского современника Хаусмана – так же бессмысленно, как сводить поэтическую тоску Иннокентия Анненского к какому-нибудь стандартному набору фрейдистских причин.

Параллель "Хаусман–Анненский" представляется мне, к слову говоря, довольно интересной. Оба сочетали в себе поэта и ученого, оба были однолюбами в своем увлечении античностью, всю жизнь углубленно занимаясь: Анненский – Еврипидом, Хаусман – римским поэтом Манилием. Оба скупо печатались при жизни. У Хаусмана вторая книга "Последние стихотворения" (1922) вышла через двадцать шесть лет после "Парня из Шропшира", а третья – "Еще стихи" – через несколько месяцев после его смерти. Анненский издал свои "Тихие песни" (1904) позже, чем Хаусман, и так же немного не дожил до выхода подготовленного им последнего сборника "Кипарисовый ларец" (1910).

И Хаусман, и Анненский были одиночками в литературе, не смыкаясь ни с какими группами, якобы отставая от своего времени (как говорили о Хаусмане) либо забегая вперед (как иногда говорят об Анненском). Оба с трудом укладываются в прокрустово ложе критики, оставаясь до сих пор неполно или неверно понятыми.

1. Цит. по: Grant Richards. Housman. – L., 1941, p. 10.

Конечно, всякое сравнение хромает, но истинно хорошее сравнение подобно сороконожке, которой хромота – даже на две-три ноги – не слишком вредит.

III

Вот еще одна хромающая нога сравнения. Анненский был переводчиком Еврипида, а Хаусман – лишь текстологом. О самом Манилии, авторе длинной дидактической поэмы "Астрономия", он однажды обмолвился, что тот пишет об астрономии и астрологии, не понимая ни того ни другого. Но как увлекателен может быть Хаусман, говоря о таком, кажется, сухом предмете, как текстология! Конечно, это говорит поэт:

"Диковинки литературы"
Муза: Ах, Альфред, как же мы вас проглядели! Вы же наш парень! Парень из Шропшира!

Карикатура Берта Томаса в журнале "Панч" в связи с публикацией сборника "Последние стихотворения" (1922)

Текстолог – не Ньютон, исследующий движение планет, он, скорее, собака, ищущая блох. Если бы собака искала блох согласно математическим правилам, основываясь на статистических данных о территориях и населении, она никогда не поймала бы ни одной блохи, разве что по случайности. Блохи требуют к себе индивидуального подхода; каждая проблема, возникающая перед текстологом, должна рассматриваться как единственная в своем роде.

Таким образом, текстология не имеет отношения ни к мистике, ни к математике; ее нельзя выучить, как катехизис или таблицу умножения. Эта наука – или это искусство – требуют от изучающего больше, чем одной способности к учению. Точнее сказать: criticus nascitur, non fit[1].

Тут, разумеется, переделано известное латинское изречение о поэте. Текстологами тоже "не становятся, а рождаются".

Как мы видим, Хаусман был человеком острого и парадоксального ума. Почему же он отвергал метафизическую поэзию, когда в 1920-х годах она, с легкой руки Т. С. Элиота, вошла в моду? Да потому и отвергал, что метафизический метод, как показали бесчисленные подражатели Донна в XVII и в XX веке, легко *кодируется* и, как следствие, имитируется. Это опять способ, как "выучиться на поэта". Но поэтами не становятся – poetae nascuntur.

Кто бы подумал, что стихи Хаусмана окажутся и в антологиях английского нонсенса! Например, такое:

1. A. E. Housman. The Name and Nature of Poetry and Other Selected Prose. – New York, 1989, p. 132–133.

О грозная громада!
Ты — омовенье взгляда.

Узрев тебя однажды,
Сказал я: "Волны влажны!"

Сказал — и удивился,
Потрогал — убедился.

Кто скажет: ты сухое,
Тот лжец, и все такое.

О море! Слякоть мира! —
Что в нем еще так сыро?

Кому достанет духа
Хлябь вычерпать досуха?

О влажная стихия!
Другие все — сухие,

Лишь ты одна — сырая,
Тебе кричу "ура!" я.

"Ура!" — кричу протяжно.
Прощай же, море влажно!

Эта пародия весьма поучительна для переводчика; она еще раз напоминает, что поэзия Хаусмана держится на тончайших вещах: не заметив их, тотчас погрязнешь в бессмыслице (что часто и происходит). Хаусман бывает прост, но никогда не банален. Банальность — бесформенная масса, которую можно перебрасывать вилами туда-сюда; но каждое стихотворение Хаусмана — виртуозная конструкция, которая при неловком прикосновении рассыпается как карточный домик. Есть вещи, которые, по собственной оценке автора, "держатся на самой грани абсурда; чуть заступи — и все рухнет"[1].

Иногда смысл стихотворения зависит — как жизнь Кащея от крохотной иголки — от одного-единственного слова. В стихотворении о разлуке с юностью: "Into my heart an air that kills..." — это ветер-убийца в первой строке. Откуда он залетел, Бог весть — не из стихов ли Эдгара По: "Из-за тучи холодный ветер подул и убил мою Аннабел Ли"? Но именно это необъяснимое "an air that kills" в условно-традиционном сюжете застревает, как заноза, в уме читателя.

IV

В своей лекции "Об имени и природе поэзии" Хаусман проводит резкое разделение между риторикой и поэзией. Все, что нарочито и обдуманно,

1. Сказано о балладе "Адские врата". Цит. по: W. H. Auden. Forewords and Afterwords. — New York, 1974, p. 328.

логично и изящно, он оставляет за скобками своего ощущения поэзии. Так, в XVIII веке, на его взгляд, были лишь четыре истинных поэта: Коллинз, Кристофер Смарт, Купер и Блейк – все четверо, как он подчеркивает, "не в своем уме" ("mad"). И подкрепляет свой вывод авторитетом Платона: напрасно тот, в чьей душе нет "мусикийского безумия", кто рассчитывает лишь на умение, будет стучаться в дверь поэзии.

Хаусман говорит: для меня это вещь скорее физическая, чем интеллектуальная; я не более способен дать определение поэзии, чем терьер – определение крысы, но покажите терьеру крысу – и, будьте уверены, он не ошибется. Поэзию узнают по своим особым признакам. Один из них описан в Книге Иова: "И дух прошел надо мною; дыбом стали волосы на мне". "Опыт научил меня, – продолжает Хаусман, – когда я бреюсь по утрам, не отвлекаться и, пуще всего, не вспоминать никаких стихов, ибо, стоит какой-нибудь поэтической строке прозвучать в моей памяти, как волосы у меня на лице встают твердой щетиной и бритва перестает их брать".

Другие признаки, которые упоминает Хаусман: озноб, пробегающий по спине, комок в горле, слезы в глазах, горячая боль, входящая прямо под вздох, словно копье. Между прочим, они не слишком отличаются от симптомов любви, как они описаны у Сафо: пламень, пробегающий по телу, мрак, застилающий глаза...

Есть два способа переводить стихи. Первый: отобрать то, что поддается переводу, и изложить это по-русски, по возможности гармонизируя и достигая естественности русского стихотворения. Таковы, например, почти все лучшие переводы Эмили Дикинсон.

Но есть второй способ: обязательно постараться *перевести непереводимое*. При этом переводчику, может быть, придется еще дальше уйти от буквальности в пространство интуиции. Может быть, как в той дзен-буддистской притче, черный конь по пути превратится в белую кобылу. Но лишь такой перевод способен "поднять волоса" читателя. И только эта кобыла обскачет всех лошадей в Поднебесной.

Первые переводы Хаусмана на русский язык появились, сколько мне известно, через год после его смерти в "Антологии новой английской поэзии" (1937). Переводчики – Сусанна Мар, Иван Кашкин, Ю. Таубин. Из одиннадцати стихотворений удачными русскими версиями можно признать от силы два-три. Затем последовала долгая пауза, если не считать нескольких публикаций в периодике. В томе "Европейской поэзии XIX века" (1977) серии "Библиотека всемирной литературы" даны девять стихотворений Хаусмана в переводе Бориса Слуцкого. Эти переводы – явный шаг вперед по сравнению с антологией 1937 года. Не каждое стихотворение получилось и у Слуцкого; но есть немало строф, достойных того, чтобы их процитировать. Например:

Отмыла куст и облака
Проточная вода,
Земли заманчивей река –
Мне хочется туда.
.....
Но там, где речка ток струит,
В лазоревой волне
Печальный дурачок стоит:
Он просится ко мне.

Замечательный наш ученый-античник Михаил Леонович Гаспаров перевел пародийный "Отрывок из греческой трагедии" А. Э. Хаусмана. Этот уморительно смешной текст можно прочесть в книге М. Л. Гаспарова "Экспериментальные переводы".

Хор. — О ты, прекраснокожанообутая
Глава пришельца! Как, какие поиски
Кого, зачем, отколь тебя доставили
В пределы наши славносоловьиные?

Несмотря на отдельные удачи, русского Хаусмана еще нет. Может быть, это и хорошо. Мало есть английских поэтов, которых так легко начисто погубить в переводе. Но искать адекватные русские версии его стихов все же надо. Нынешняя подборка, в которой "соревнуются" переводчики разных поколений, — одна из таких попыток. Надо идти дальше вглубь Хаусмана — простого и таинственного.

* * *

The chestnut casts his flambeaux, and the flowers
Stream from the hawthorn on the wind away,
The doors clap to, the pane is blind with showers.
Pass me the can, lad; there's an end of May.

There's one spoilt spring to scant our mortal lot,
One season ruined of our little store.
May will be fine next year as like as not:
Oh ay, but then we shall be twenty-four.

We for a certainty are not the first
Have sat in taverns while the tempest hurled
Their hopeful plans to emptiness, and cursed
Whatever brute and blackguard made the world.

It is in truth iniquity on high
To cheat our sentenced souls of aught they crave,
And mar the merriment as you and I
Fare on our long fool's-errand to the grave.

Iniquity it is; but pass the can.
My lad, no pair of kings our mothers bore;
Our only portion is the estate of man:
We want the moon, but we shall get no more.

If here to-day the cloud of thunder lours
To-morrow it will hie on far behests;
The flesh will grieve on other bones than ours
Soon, and the soul will mourn in other breasts.

The troubles of our proud and angry dust
Are from eternity, and shall not fail.

Bear them we can, and if we can we must.
Shoulder the sky, my lad, and drink your ale.

* * *

Каштан роняет факелы, развеян
Цветов боярышника аромат.
Дверь хлопает, свет ливнями рассеян.
Май на исходе; дай мне кружку, брат.

Весна конец наш скорбный приближает
И превращает жизнь в ненужный хлам.
Утешит ли грядущий год? — кто знает,
Но двадцать три уже не будет нам.

Мы далеко не первые, наверно,
От бурь житейских прячемся в трактир,
Хороним планы, проклинаем скверну —
И подлеца, что сотворил наш мир.

Несправедливо грубым произволом
У обреченных радость отнимать.
Чужие мы на празднике веселом,
И глупой смерти мы несем печать.

Несправедливо; но налей мне снова.
Не принцами мы родились на свет.
Судьба людская к нам с тобой сурова:
Хотим Луну — к ней сил добраться нет.

Сегодня собрались над нами тучи,
А завтра унесутся прочь дожди.
Чужая плоть сожмется в боли жгучей,
Скорбеть душа начнет в другой груди.

Не знает гордый прах иной юдоли —
А вечность пострашней любых цепей.
Но, друг мой, нам ли покоряться боли?
Взвали на плечи небо, эль допей.

Перевод Аллы Хананашвили

* * *

Каштан бросает факелы; ветра
С терновника рвут за цветком цветок;
В незрячих окнах — ливень до утра.
Дай кружку, милый; маю вышел срок.

Прожитых вёсен убывает счет —
Стал на одну скуднее наш запас;
Погожим май вернется через год,
Но — двадцать пятый год пойдет для нас.

Нет, мы не первые в тавернах пьем —
Пока все то, чем дорожат сердца,
Швыряет в бездну буря — и клянем
Мир и тупую злость его творца.

Верховное тиранство бытия —
Нас обморочить суетой сует
И обобрать, покуда ты и я
Вслепую ковыляем на тот свет.

Пускай тиранство; дай мне кружку, друг —
Мы не царями родились на свет, —
Удел наш — тот же, что у всех вокруг:
О чуде молим, но ответа — нет.

Сегодня в небе нависает мрак,
А завтра — туча минет стороной;
Плоть облечет уже не наш костяк,
И мыкаться душе — в груди иной.

Терзать наш чванный и гневливый прах —
Бессрочной вечности слепая цель;
То внове ль нам? — снесем и боль, и страх.
Взвали на плечи мир — и пей свой эль.

Перевод Светланы Лихачевой

* * *

Каштан роняет свечи, и цветы
Боярышника по ветру летят...
То дождь хлестнет в окно из темноты,
То хлопнет дверь; придвинь мне кружку, брат.

Не так уж много вёсен нам дано,
Чтоб этот май теперь у нас отнять;
Год минет, и весна вернется, но —
Увы, уже нам будет двадцать пять.

Нет, мы не первые, как ни считай,
Сидим и пьем, кляня судьбу свою,
И дождь, и холод... Что за негодяй
Нам вместо жизни подложил свинью!

Там, наверху, — разбойник или тать?
Бесстыдство, кто бы ни был он таков,
Последних утешений нас лишать,
Отправленных за смертью дураков.

Бесстыдство... но подвинь еще одну
Мне кружку, брат; ведь мы не короли,
А требуем — достаньте нам луну,
И каждый думает — он пуп земли.

Сейчас нас гром в дугу грозит согнуть,
И кажется — невзгод не обороть;
Но завтра боль войдет в другую грудь,
В другую душу и в другую плоть.

Мы вечностью на скорбь осуждены,
А вечности все в мире нипочем.
Терпите, праха гордые сыны.
Пей, брат, и небо подпирай плечом.

Перевод Григория Кружкова

* * *

Crossing alone the nighted ferry
With the one coin for fee,
Whom, on the wharf of Lethe waiting,
Count you to find? Not me.

The brisk fond lackey to fetch and carry,
The true, sick-hearted slave,
Expect him not in the just city
And the free land of the grave.

* * *

Ты заплатил одну монету,
Прошлое хороня.
С парома сойдя, на причале Леты
Ты не увидишь меня.

Живущего только служенья ради,
Вернейшего из рабов
Ты не найдешь в справедливом граде,
В свободной стране гробов.

Перевод Льва Оборина

* * *

Преодолевши темную Лету
С медной монеткой в горсти,
Ты не меня ль на пристани этой
Ждешь увидать? Прости!

Раб твой проворный, слуга покорный,
В сердце тоска и сушь, —
Разве такого впустит дозорный
В царство свободных душ?

Перевод Марины Бородицкой

* * *

В темноту и в туман отплывает паром,
Хрипло птицы вдогон прокричали...
Кто, ты думаешь, встретит тебя на другом
Берегу, на летейском причале?

Был да сплыл жалкий раб твой, покорный лакей,
Не рассчитывай, деспот мой милый,
Вновь найти его в граде свободных людей,
В справедливой стране за могилой.

Перевод Григория Кружкова

* * *

Into my heart an air that kills
From yon far country blows:
What are those blue remembered hills,
What spires, what farms are those?

That is the land of lost content,
I see it shining plain,
The happy highways where I went
And cannot come today.

* * *

Вдыхает ветер в сердце яд
Из дальней стороны:
Там синие холмы стоят,
Там шпили взметены?

Заветный край, забытый рай,
Сияющий фасад,
Навек прощай, счастливый край,
Мне нет пути назад.

Перевод Бориса Архипцева

* * *

Мне ядовитый ветер шлет
Далекая земля:
Голубизна холмов зовет,
И шпили, и поля.

Счастливый край, прекрасный дол
Сияет сквозь года —
Страна, откуда я ушел
И не вернусь куда.

Перевод Льва Оборина

* * *

Из той далекой стороны
Мне в сердце смертью веет:
Там крыши острые видны,
Там горы голубеют...

То незабвенные края,
Счастливые чертоги,
Где некогда бродил и я,
Куда мне нет дороги.

Перевод Марины Бородицкой

* * *

Убийца-ветер в сердце мне
Влетает из глуши.
О, сколько ферм в той стороне
Осталось и вершин?

Там радости ушедшей дым,
В сиянье все пути.
Дороги счастья, по каким
Уже мне не идти.

Перевод Виктора Лунина

* * *

Вонзился в сердце тот мотив
И болью стал моей:
Как жить без тех холмов и нив,
Тех пастбищ и церквей?

Утраченной не обрести
Земли, но, видит Бог,
Я шел к ней и не мог прийти,
Увы, прийти не мог.

Перевод Владимира Светлосанова

* * *

Снова ветер подул из далекой страны,
Словно грудь мне стрелой просквозили;
Что за горы знакомые в дымке видны,
Хутора и высокие шпили?

Это счастья былого утраченный дол,
Та страна, из которой когда-то
Я по залитой золотом тропке ушел
И куда больше нет мне возврата.

Перевод Григория Кружкова

Infant Innocence

The Grizzly Bear is huge and wild;
He has devoured the infant child.
The infant child is not aware
It has been eaten by a bear.

Святая простота

Свирепый гризли, зверь-гора,
Младенца растерзал вчера.
А тот не сознает, что съеден,
Злодейски убиен медведем.

Перевод Бориса Архипцева

Младенческая невинность

Медведь огромен и силен.
Младенца мигом слопал он.
Но невдомек младенцу было,
Что им зверюга закусила.

Перевод Марии Фаликман

Неведение малыша

Огромный гризли-людоед
Ребенка слопал на обед.
А тот сидит внутри медведя
И знать не знает, что он съеден.

Перевод Льва Оборина

Блаженное неведение

Медведь мохнат, свиреп и дик,
Дитя-малютку съел он вмиг.
Дитя, невинное созданье,
Не осознало миг съеданья.

Перевод Марины Бородицкой

Детская невинность

Безжалостный медведь, шутя,
Сожрал невинное дитя.
Невинный отрок, канув в Лету,
Не ведает, что его нету...

Перевод Виктора Лунина

А. В. Карельский

Немецкий Орфей: беседы по истории западных литератур

Главы из книги

Публикация и вступление
А. Ботниковой, О. Вайнштейн

В настоящую подборку входят две лекции замечательного германиста и переводчика, профессора Московского государственного университета Альберта Викторовича Карельского (1936—1993). Это главы книги "Немецкий Орфей: беседы по истории западных литератур", которая выйдет в издательстве РГГУ и в которой собраны работы А.В. Карельского по немецкой словесности. Название рубрики — "Из будущей книги" — здесь звучит как печальный парадокс, поскольку свою главную книгу Альберт Викторович написать не успел. Немецкой литературой он занимался всю жизнь, и особое, привилегированное место в его исследованиях всегда занимал немецкий романтизм. Поэтому и в готовящемся к печати томе основное место будет отведено немецким романтикам.

Карельский начал читать лекции о немецком романтизме в ту пору, когда в отечественном литературоведении еще не были изжиты вульгаризаторские подходы к литературе и официально утвержденные учебники заявляли, что существуют *два* романтизма — революционный (или прогрессивный) и реакционный (или консервативный). В связи с чем к *одним* художникам надолго прилипало определение "реакционный", *другие*, напротив, зачислялись в "прогрессивные". Помимо вульгаризации самого литературного процесса, это влияло и на издание книг. "Реакционных" писателей, разумеется, и не публиковали, и не переводили — их, в сущности, отлучали от литературы. Особенно не повезло Э. Т. А. Гофману, который в докладе А. Жданова, вызвавшем к жизни печально известное Постановление ЦК ВКП(б) о журналах "Звезда" и "Ленинград" (1946), был назван "родоначальником салонного декадентства и мистицизма". Среди таких же "подозрительных" авторов числился и Новалис.

К романтическим художникам и к самому романтизму Карельский подходил непредвзято, без осознанного намерения извлечь тот или иной урок — просто стремился рассмотреть явление как бы "изнутри". Конечно, у него были предшественники, прежде всего В. М. Жирмунский и Н. Я. Берковский. Но если первому были интересны связи немецкого романтизма с исканиями символистов, а второму — его антикапиталистические устремления, то Альберт Викторович, возможно, оттого, что ему привелось заняться романтизмом позже, сумел более

© А. В. Карельский, 2006

отстраненно взглянуть на этот феномен и воспроизвести самое структуру романтического сознания, отмеченного уважением к позиции личности и стремлением к неограниченной свободе.

Любимое словечко автора лекций применительно к немецкому романтизму было *воспарение*. *Воспарение* — это и прорыв к абсолюту, и возможность взгляда с высоты, и стремление к постижению главного и общего. При этом "учитывались" и восприимчивость к тайнам души, и проникновение вглубь сознания личности. Обращаясь к творчеству отдельных писателей, Карельский неизменно проявлял, говоря его собственными словами, "внимательно-сочувственное стремление понять и объяснить... цельную судьбу" каждого.

Сохранившиеся в рукописи лекции А. В. Карельского отличаются друг от друга и по жанру, и по степени проработанности, законченности текста. Две из них, предлагаемые здесь читателю, представляют два разных типа. Первая — о Новалисе — построена по хронологическому принципу, в ней прочерчивается путь писателя к главному его созданию — роману "Генрих фон Офтердинген", во второй — о Гофмане — целостный образ художника создается за счет интерпретации сквозных мотивов его творчества. (Карельский неоднократно писал об этом немецком романтике — напомним хотя бы его предисловие к шеститомному изданию.)

Лекции печатаются по авторской записи. Некоторые из них почти полностью были готовы к публикации. Они написаны изящным некрупным почерком (каким сейчас уже почти никто не пишет), почти без помарок. Видно, что над ними автор работал особенно долго. Другие (как, например, лекция о Гофмане) испещрены пометками на полях, иногда снабжены замечаниями типа: "Продумать дальше", "Далее из моей статьи — страницы такие-то", иногда указаны даты внесения того или иного пассажа. Все это создавало определенные трудности для публикаторов. Хочется, однако, надеяться, что подготовленные к печати тексты не расходятся с замыслом автора.

Цитаты в лекциях, как правило, даются в переводах — иногда с указанием имени переводчика, иногда с пометой "Перевел сам"; порой имеется ссылка на источник, но чаще — отсутствует. Поскольку ссылки есть отнюдь не ко всем цитатам и предназначались они скорее для себя, а не для слушателей, мы сочли возможным приводить ссылки на источники выборочно.

Новалис (1772–1801)

Обратимся к творческой судьбе Новалиса, к его художественной практике – ибо в ней в наиболее законченной форме воплотилась *исходная* фаза романтического мироощущения, ранний его этап – тот этап, когда романтизм гордо поднял знамена и казалось, что ему заведомо суждена победа.

Чуть позже нам с вами предстоит наблюдать горькие поражения романтической мечты, крушение иллюзий. Новалиса эта судьба, эта горькая чаша, можно сказать, миновала – он умер в 1801 году, двадцатидевятилетним, когда романтизм еще находился на взлете, в зените. Может быть, именно по этой причине романтики и их приверженцы почти обожествляли Новалиса как пророка, как мессию романтического евангелия. Имя его долгое время было окружено ореолом легенды. Но, как

и всякая легенда, она ретушировала истинный облик героя, идеализировала и канонизировала его. Отчасти дело объяснялось и ранней смертью, тем обстоятельством, что он присутствовал на пирах романтизма, но не видел горького похмелья – ушел, прежде чем оно наступило. Впоследствии жизнь развенчала многие самообольщения романтиков – но Новалис не успел разочароваться почти ни в одной из иллюзий, а это редкий жребий для поэта, и сам по себе достойный легенды.

Итак, в известной мере, Новалис – символ раннего немецкого романтизма, художественное подтверждение и оправдание его утопической веры. Неслучайно у Новалиса нет иронии.

Я уже не раз говорил о том, что в самой основе романтизма лежит противопоставление искусства и жизни, поэзии и прозы. Судьба Новалиса и в этом отношении есть как бы формула, парадигма романтического мироощущения – даже с точки зрения внешних фактов его личной и творческой биографии.

В реальной жизни это был человек с обычным немецким именем Фридрих фон Харденберг; в искусстве он принял звонкое поэтическое имя Новалис[1]. В реальной жизни то был сын управляющего заводом и благочестивой хозяйки; в искусстве – духовный наследник средневековых рыцарских поэтов, певец возвышенной, духовной любви и мистических откровений. В реальной жизни – чиновник на административной службе, асессор, чью исполнительность и аккуратность неоднократно удостоверяли начальники; в искусстве – утонченный поэт, мечтатель-мистик, провозгласивший поэзию и фантазию единственно достойной и единственно реальной сферой человеческого бытия. Он как бы прожил две жизни: одну – как Фридрих фон Харденберг, другую – как Новалис. Из причудливого переплетения этих двух жизней и родилась романтическая поэзия Новалиса, которая поражает прежде всего сочетанием логичности и мистики, аналитического ума и типично романтической одушевленности.

В 1790 году восемнадцатилетний Новалис поступил в Йенский университет. В ту пору там читал лекции Шиллер, и Новалис не избежал ни увлечения его личностью, ни увлечения философией Канта, приверженцем которой тогда был Шиллер. На короткое время Шиллер стал для восторженного юноши чуть ли не божеством. Его влияние явственно ощущается и в философских рассуждениях студента Харденберга: "Разум – вот единственное имя и единственное спасение, данное человечеству на земле". Однако это увлечение оказалось столь же кратковременным, сколь и пылким. Дитя романтической эпохи, Новалис очень скоро отрекся и от рационализма, и от Шиллера, которого теперь считал его олицетворением. То была характерная для многих романтиков реакция – романтики Йены не только разлюбили Шиллера, но и принялись иронизировать над его пристрастием к обобщенным образам, над его якобы проявившейся неспособностью передавать индивидуальные нюансы мысли – теперь они считали его напыщенным резонером.

Тем большее влияние оказало на Новалиса знакомство со своим ровесником, студентом Йенского университета Фридрихом Шлегелем. В письме к брату Фридрих Шлегель восторженно пишет о Новалисе:

1. От *лат.* – целина, новь, поле под паром. (*Прим. автора.*)

"Судьба дала мне в руки молодого человека, из которого можно сделать все... Изучение философии дало ему роскошную легкость в формировании красивых философских мыслей – его волнует не истина, а красота. Он очень жизнерадостен, очень мягок и примет сейчас любую форму, в которую его отольют".

Естественно, что Шлегель захотел "отлить" Новалиса в романтическую форму и преуспел в этом: "Благодаря тебе, – напишет вскоре Шлегель, – я познал небо и ад и вкусил от древа познания".

Новалис становится верным приверженцем романтических идей; он начинает скрупулезно анализировать собственные переживания. Прежде всего, убеждает себя в том, что поражен модной эпидемической болезнью века – равнодушием к жизни и ее прозе, ему импонирует поза "отчаявшегося игрока". Продолжая некоторое время сочувственно относиться к Французской революции и осуждать деспотизм, Новалис постепенно все больше склоняется к тому, что всякая политическая борьба бессмысленна и что подлинный смысл жизни заключается в том, чтобы "тихо уйти в себя", не подпуская реальную жизнь слишком близко.

На этот же период приходится еще одна встреча, еще одно увлечение, которое во многом способствовало превращению жизни и имени Новалиса в легенду. Это встреча с четырнадцатилетней Софией Кюн. Младшая дочь бюргерского семейства Рокентинов, София Кюн жила в соответствующей атмосфере здоровой уравновешенности и практичности, была хороша собой, что в числе других современников засвидетельствовал Гёте. Новалис влюбился, сделал ей предложение, оно было принято. Этой девочке и суждено было стать музой поэта Новалиса. Но самое парадоксальное и романтическое в этой истории то, что Софии сначала предстояло умереть, прежде чем сыграть эту роль в жизни поэта. В юношеских поэтических опытах Новалиса много посвящений другим женщинам, но нет ни одного стихотворения, обращенного к живой возлюбленной. Увлечение Новалиса Софией длилось чуть больше года, он уже почти успел разочароваться в ней, когда в марте 1797 года она умерла, не дожив до свадьбы. А через месяц умирает младший брат Новалиса Эразм. Тогда-то в Новалисе, о котором Шлегель писал: "...он очень жизнерадостен и очень мягок", происходит разительная перемена – теперь он певец смерти и ночи. Перемена, однако, не удивительная, если учесть внутреннее душевное состояние Новалиса. Будучи сам человеком от природы болезненным, он особенно в эту пору увлекается, приобщаясь к романтизму, и элегически-кладбищенской поэзией сентиментализма, и в качестве одного из ее источников – мыслью о бренности бытия, о быстротечности и краткости всего сущего. И вдруг – такое неопровержимое, трагическое подтверждение той же мысли: девочка, невинное существо, ангел, умирает, не дожив до 15 лет! Новалис объявляет, что отныне все, что бы он ни делал, он посвятит памяти умершей, которую обожествит так же, как Данте обожествил Беатриче и Петрарка – Лауру. Он создает свой знаменитый цикл стихотворений в прозе "Гимны к ночи", поразивший воображение современников.

В основе "Гимнов к ночи", появившихся в 1800 году, лежит мысль о том, что смерть возлюбленной перевернула всю жизнь поэта и навсегда наложила на нее отпечаток. Но отпечаток специфический. Вчитываясь

в эти тексты, иной раз трудно отделаться от впечатления, что Новалис чуть ли не благодарен смерти за то, что она унесла Софию в иной мир, тем самым оставив ее как благодатный материал для возвышенного переживания, не замутненного никакими земными помыслами.

В последующей критической традиции роль "Гимнов к ночи" в общем контексте творчества Новалиса явно преувеличена. На основании этих гимнов его иной раз "каталогизировали" как певца смерти. На самом деле все обстоит сложнее – а может быть, и проще. Необходимо, прежде всего, понимать, что гимны эти – не целостная, единая, сформулированная философия (какой они, несомненно, могут казаться, да и *хотят* казаться), а произведение, продиктованное разными – и существенно отличающимися друг от друга – рядами побуждений. Здесь и первичный – совершенно естественный! – стимул излить в стихах скорбь по поводу смерти любимого человека. Побуждение, так сказать, сугубо личное, биографическое. Здесь и попытка подняться над этой скорбью, возвыситься до стоической позиции, и побуждение это тоже имеет серьезную личную основу: "жизнерадостный и мягкий" Новалис, как я уже говорил, был тяжело болен, и желание не поддаваться смерти тоже понятно и очевидно. Наконец, было тут и сугубо литературное, философско-эстетическое побуждение: придать своей биографии некий обобщающий смысл в духе формирующейся романтической философии, то есть *стилизовать* индивидуальную эмоцию, возвести ее в ранг эталона и канона. И тут на личный опыт, конечно, сразу же наложились и литературные влияния, прежде всего, уже упоминавшаяся кладбищенская поэзия сентиментализма, очень популярная среди первых романтиков[1].

Если посмотреть на "Гимны к ночи" именно с такой историко-литературной точки зрения, то перед нами реакция очень характерная для романтика. Для него не столь важно подлинное событие, сколько возможность усмотреть за этим сокровенную тайну бытия. Новалис, надо сказать, довольно быстро примирился со смертью реальной Софии Кюн – через год он уже предложил руку и сердце другой избраннице. Но смерть Софии он превратил в тему романтического переживания, уверовав, что смерть – это высшая форма бытия, и в этом смысле София Кюн не умерла, а возродилась в новом, высоком и прекрасном мире. В дневнике он записал: "Я должен жить только ради нее, я существую лишь для нее, для себя и больше ни для кого. Она – мое высшее, единственное. Моя задача совершить все в отношении ее идеи"[2].

Заметьте это знаменательное, по сути, скорее даже холодное, аналитическое заключение – "в отношении ее идеи". И вот Новалис, объявив, что он проник в тайну иного мира и понял высшее блаженство смерти, вдохновенно начинает воспевать смерть, которая величественнее жизни, ночь, которая светлее дня.

Это не в меньшей мере поэтическая поза, чем крик души. И неудивительно, что в последующих своих сочинениях Новалис как бы начис-

1. Заметка Карельского: "Добавить здесь слова Пушкина из письма к П. А. Вяземскому: "Тебе грустно по Байрону, а я так рад его смерти как высокому предмету для поэзии. Гений Байрона бледнел с его молодостию. В своих трагедиях, не выключая и Каина, он уже не тот пламенный демон, который создал Гяура и Чайльд Гарольда. Первые две песни Дон Жуана выше следующих". (Данное письмо датируется 24–25 июня 1824 г. (*Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, – прим. публ.*)

2. Все цитаты из Новалиса приводятся в переводе автора.

то забудет эту свою "любовь к смерти", столь безоговорочно тут провозглашенную. Тон этих последующих сочинений вовсе не элегический, а торжествующий, дифирамбический. Не ночь, не смерть будет воспевать "зрелый" Новалис, а поэзию, жизнь, бытие, творческий гений человека и Вселенной. Он и впрямь был "жизнерадостным", этот поэт; "Гимны к ночи", при всей их лиричности и музыкальности, — все-таки незрелые излияния чувствительного, подверженного моде юноши.

Подлинный Новалис — мыслитель и поэт, один из самых ценимых в Германии, — начинается не с поэзии, а с прозы, правда, прозы предельно лиричной. В конце 1797-го — начале 1798-го Новалис пишет небольшую повесть "Ученики в Саисе". Это, собственно, даже не повесть, а, скорее, философский этюд или, точнее — выражаясь в традициях романтической техники, — *фрагмент*, в котором воплощены философские раздумья автора над проблемами познания природы. Фактической основой для повести послужили знания, полученные Новалисом в Горной академии города Фрайберга на занятиях у известного профессора Вернера. Поэт обращается в этот период к естественным наукам, изучает физику, химию, математику, геологию. Поначалу такой круг интересов может показаться странным для поэта-романтика, только что обосновавшегося в царстве грез и далекого от научного познания. Но здесь сыграло свою роль романтическое стремление к универсальности, всеобщности. Кроме того, принципиально романтичным было само отношение Новалиса к естественным наукам.

Мы привыкли считать область естественных наук сферой *строгой, точной*, где все может быть расчислено, сведено к формулам. Но, поэтизируя и обожествляя природу, романтики захотели опоэтизировать и науку о ней. Познание природы должно быть не системой, а поэмой, иметь дело не с формулами, а с символами, шифрами, тайной. Методом познания должна стать не эмпирическая точность расчетов, а поэтическая интуиция.

Это стремление романтизировать науку и нашло свое отражение в повести "Ученики в Саисе". По существу, вся повесть представляет собой философский спор о взаимоотношениях человека и природы, о возможностях и границах науки в познании природы и мира. Внешняя форма повести — беседа учеников и учителя в Саисе, где находился легендарный храм Изиды. Согласно преданию, статуя Изиды была скрыта под покрывалом, снять которое не было дано ни одному смертному. Статуя богини, таким образом, олицетворяет загадку мироздания. В разговоре учеников с учителем кристаллизуется основная мысль Новалиса: научное, эмпирическое, рациональное изучение природы дает лишь самое ограниченное, поверхностное знание о ней — знание *частностей*; оно расчленяет, дробит живую природу, умерщвляя ее тем самым. Досконально исследовав все эти частности, человек утрачивает *целостное* представление о природе. Между тем человеку по силам познать природу именно в ее целостности, единстве. У него есть неисчерпаемые ресурсы такого познания — это его чувства, точнее, его способность "вчувствования". Если он отрешится от соблазнов рассудка и всю эту энергию вчувствования обратит на предметы, находящиеся вне его самого, то он обнаружит, что истинное знание о природе уже заложено в нем (согласно Канту — априорно). Мнения и чувствования, по Новалису, заключаются как бы в мобилизации эмоциональной памяти, потому

что в душе человека изначально дремлют все образы мира: каждому внешнему явлению и в целом всей природе от века соответствует некий тождественный образ в человеческой душе; требуется только, чтобы в ней раздался нужный отзвук. И самый надежный путь для этого – не активное вмешательство в дела природы, а, напротив, созерцание, медлительное, сосредоточенное, углубленное.

Причем это созерцание только кажется направленным *вовне*; на самом деле человек, созерцая природу, в то же время вслушивается и *в самого себя*. И получается несколько парадоксальный, но в этой системе вполне логический вывод: "Меня все приводит ко мне самому".

Романтическая гносеология, развиваемая здесь Новалисом, коренится в учениях средневековой мистики, прежде всего Майстера Экхарта[1]. В проповеди "О вечном рождении" Майстер Экхарт говорил: "...Лучшее и благороднейшее, к чему можно прийти в этой жизни, – это молчать и дать Богу говорить и действовать в тебе... Чем более ты способен отозвать все силы и позабыть все вещи и образы, которые ты когда-либо воспринял, чем более ты, следовательно, позабудешь творение, тем ближе ты к нему и тем восприимчивее". И еще из проповеди того же Майстера Экхарта: "Человек постигает вещи не только внешними чувствами, но и внутренним прозрением, сливаясь с их сущностью, изнутри; он перестает быть в мире чем-то обособленным, находит все в себе и себя во всем". В другом месте Майстер Экхарт, говоря об откровениях святого Павла относительно Божественного Слова, буквально заклинал своих слушателей: "Это совсем внутри, а не снаружи, совсем внутри".

Вот эту концепцию и кладет Новалис в основу романтической гносеологии. В его повесть "Ученики в Саисе" включена сказка о Гиацинте и Розенблют. Ее внешняя незамысловатость обманчива: за этим как будто бы наивным сюжетом скрывается целый мир романтического сознания, причем в самых его начальных формах, – философия романтизма, уверенного, окрыленного, еще не поддающегося сомнениям. Речь здесь идет об очень серьезных вещах – о путях и возможностях познания и самопознания, как их представляли себе ранние немецкие романтики.

Щедро одаренный радостями бытия, окруженный праздничным миром природы, любви и поэзии, герой сказки Новалиса тем не менее начинает ощущать смутное томление, неудовлетворенность. Причина его томления – жажда познать конечную истину бытия, познать самого себя, мир и свое место в нем. Это типично романтическое беспокойство, прообраз той "охоты к перемене мест", которой вскоре суждено было погнать по белу свету целый сонм романтических героев и их преемников. Новалисовский Гиацинт оставляет ради своей высокой цели уютный патриархальный мир семьи и природы, оставляет любящее его существо – прекрасную Розенблют – и отправляется странствовать. Тайна мира воплощается для него в легендарной статуе богини Изиды: покрывало, окружающее статую-тайну, не удавалось еще приоткрыть ни одному смертному. Но Гиацинту это оказывается по силам, потому что он, конечно же, не простой смертный, а идеал романтического поэта. Не зря ведом ему язык зверей и камней, не зря дан ему безоглядный по-

1. Майстер Экхарт (1260–1327) – немецкий философ-мистик.

рыв к абсолюту. Сама детская наивность и неискушенность натуры – залог его успеха на поприще познания. У ранних романтиков искушенность, опытность были под подозрением, ибо предполагали застарелую и необратимую оседлость, будничность, обремененность привычками жизненной прозы. Новалис особенно настойчиво и вдохновенно утверждал мысль о том, что более всего открыты истине сердца детей и поэтов.

Итак, непременное условие познания истины – романтическое вдохновение, причастность к миру поэзии, отрешенность от прозаической повседневности. Но что есть сама эта романтическая истина? Каков смысл романтического интуитивного откровения? Согласно концепции ранних немецких романтиков и, в частности, Новалиса, душа истинно романтического поэта не просто способна объять целый мир, а искони содержит его в себе, она изначально *равна универсуму*; надо только "вспомнить" это дремлющее в тебе знание. Познавая себя, человек тем самым познает мир; но и наоборот – познавая шаг за шагом всю необъятность мира, он убеждается, что все это ему уже знакомо, всему есть отзыв в его душе. "Меня все возвращает к себе самому", – говорит герой-рассказчик новалисовской философской повести "Ученики в Саисе", в которую и вставлена сказка о Гиацинте в качестве поэтического ядра. Эту же мысль варьирует и двустишие Новалиса:

Все же один приоткрыл покрывало богини Саиса.
Что ж он увидел под ним? – Чудо: себя самого!

Познание как бы очерчивает магический круг и в итоге расширяет душу поэта до размеров Вселенной, осуществляя то самое слияние жизни и поэзии, о котором грезили романтики.

Правда, в сюжете сказки о Гиацинте конечный итог выглядит несколько иначе: под покрывалом богини герой обнаруживает прекрасную любящую Розенблют, покинутую им в поисках истины. Однако это не отменяет охарактеризованной выше романтической концепции познания: Розенблют и есть истина, только к истине как итогу познания добавляется еще одно новое измерение – любовь. На этом раннем этапе романтическое слияние поэзии и жизни, "я" и мира происходит не только под знаком истины, но и под знаком любви, оно озарено альтруистическим, нравственным светом. Здесь романтизм начинается на оптимистической, предельно мажорной ноте.

Впоследствии, в 20-е годы следующего столетия, один из замечательных русских поэтов романтической поры Веневитинов, скончавшийся совсем молодым, напишет в одном из немногих оставшихся после него (всего их около пятидесяти!) стихотворений:

Природа не для всех очей
Покров свой тайный подымает;
Мы все равно читаем в ней,
Но кто, читая, понимает?
Лишь тот, кто с юношеских дней
Был пламенным жрецом искусства,
Кто жизни не щадил для чувства,
Венец мученьями купил,

Над суетой вознесся духом
И сердца трепет жадным слухом,
Как вещий голос, изловил![1]

Эти строки — русская формула шеллингиански-новалисовской философии природы и познания природы. Обратите внимание прежде всего на любопытное соотношение посылки и вывода: посылка мысли тут именно вопрос о познании природы: "Мы все равно читаем в ней, но кто, читая, понимает?" Стало быть, понимают не все. Веневитинов разъясняет дальше: понимают только поэты, пламенные жрецы искусства, те, кто над суетой вознесся духом, — а кончает замечательным поворотом: "...и сердца трепет жадным слухом, как вещий голос, изловил!" Спросите себя: познает человек природу — или слушает свое сердце? Но в том-то и вся соль романтической концепции познания, что для романтика это одно и то же: хочешь познать природу, слушай прежде всего свое сердце!

Или, как говорил немецкий философ штюрмерской эпохи Гаман[2] (правда, применительно к Богу, но к Богу, понимаемому уже, по сути, как синоним Природы): "Что надобно от нас Высшей Благодати? Ей нужна не головная боль наша, а биение нашего пульса".

Хотя история Гиацинта и Розенблют насыщена философской символикой, в ней нет и следа сухого аллегоризма: она рассказана со всей бесхитростной естественностью, присущей сказкам, и это впечатление сказочности, "невзаправдашности" подкрепляется едва уловимым налетом мягкого юмора[3].

Итак, в конечном счете в основе "Учеников в Саисе" лежит романтическое стремление оспорить единовластие научного познания и, по меньшей мере, дополнить его познанием интуитивным, иррациональным. Это то, что имел в виду еще Гаман: надо не ломать себе голову, а заставить сильней биться сердце. Новалис вступает здесь в художественно-философскую полемику с рационализмом просветителей.

Причем не стоит понимать эту полемику упрощенно. Новалис достаточно ответственный мыслитель, чтобы не отвергать научный принцип познания начисто. Как я уже говорил, за этим принципом он признает заслуги в области познания частностей, деталей — заслуги анализа. Но вот синтез, по романтической мысли Новалиса, — это уже то, что науке недоступно, это дело поэзии и интуиции. Новалис как бы выстраивает своеобразную иерархию способов познания: научный способ обладает известными достоинствами, но интуитивное познание, "вчувствование" все-таки оказывается выше.

Новалисовские воззрения на природу в целом ряде отношений, "многозначно" соприкасаются здесь с философскими идеями Шеллинга, формировавшимися в это же время, в русле того же самого мироощущения романтической эпохи. "Всемирная история, — говорил Шеллинг, — это великая поэма, создающаяся согласно предопределениям высшего духа". Для Шеллинга, как и для Новалиса, наиболее прибли-

1. Д. Веневитинов. Поэт и друг (1827).
2. Иоганн Георг Гаман (1730–1788) — идеолог штюрмерского движения.
3. Уже в 1801 г. над знаменитым тезисом "Все — во мне самом" иронизировал Брентано в своем "Годви" — притче о крестоносцах, которые остановились, услышав аргумент: "Зачем искать Гроба Господня? Он в вас самих". (*Прим. автора.*)

жен к этому высшему духу художник, творческий субъект. Искусство Шеллинг считал предельно возможной формой познания действительности; хотя художник, по его мысли, никогда не может подняться до слияния с высшим духом, но он ближе остальных смертных стоит к нему, и лишь ему дано познать источник действительности. Шеллинг ставил искусство даже выше философии; он считал, что философское воззрение на природу конструируется искусственно, в то время как взгляд искусства на природу естественен и первичен. Создавая свой труд "Философия искусства", Шеллинг с самого начала оговаривает, что объектом его исследования будет не искусство как нечто особенное, а Вселенная в форме искусства, то есть сама Вселенная и есть произведение искусства, поскольку искусство, по сути, истинная копия грандиозного творческого акта, создавшего Вселенную.

Есть в новалисовской полемике с рационализмом и еще одна сторона, придающая ей горячую злободневность с точки зрения нынешней эпохи. Новалис строит свою повесть как философский диспут, точнее, как хор голосов, многоголосую симфонию. Голоса эти принадлежат то ли саисским ученикам, то ли силам природы, и каждый из голосов описывает какой-то новый модус отношений человека с природой, повертывает отношения новой гранью. В этом хоре очень сильно звучит мотив *насильственного вторжения человека в природу*, слепого и недальновидного разрушения – когда ради частного успеха в познании и в освоении природы необратимо разрушается ее внутренняя соразмерность и гармоничность, и она превращается в разъятый труп. Романтическая интуиция здесь сформулировала то, что в наши дни стало предметом опять-таки *научного* изучения; я имею в виду, как вы догадались, проблему сегодняшней экологии.

Но когда интуитивное "вчувствование" объявляется венцом познания, такой путь логически ведет к мистицизму – и Новалис этого соблазна не избежал. 1798 год проходит у него "под знаком" этого искуса. Осенью того года он находился под впечатлением только что появившихся "Речей о религии" популярного в то время теолога и религиозного философа Фридриха Шлейермахера. Явно под влиянием Шлейермахера Новалис за короткий период в октябре–ноябре 1799 года набрасывает трактат "Христианство или Европа". Опубликован он был много позднее, в 1826 году, посмертно, но в известной степени сыграл роковую роль для позднейшей репутации Новалиса как мыслителя, философа.

Дело в том, что здесь Новалис вступил на почву не только философии, но и политики. И вот тут-то и обнаружилась вся утопичность и, если угодно, вся волюнтаристичность социальных воззрений, присущих ему на этом этапе. Правда, он не стал публиковать трактат при жизни – но в собрание сочинений он в конце концов все-таки вошел, и, что называется, из песни слова не выкинешь. С системой политических взглядов Новалиса, с их эволюцией тоже приходится считаться.

Это близко тому, что провозгласил Чаадаев. Этот идеал – Средневековье с его религиозностью и господством христианства. Чаадаев отвергает классицистический идеал Возрождения, категорически пересматривает представления об эпохе Возрождения как об эпохе расцвета гуманизма: "Поверьте мне, – пишет он, – наступит время, когда своего рода возврат к язычеству, происшедший в XV веке и очень

неправильно названный возрождением наук, будет возбуждать в новых народах лишь воспоминание, которое сохраняет человек, вставший на путь добра, о каком-нибудь сумасбродном и преступном увлечении своей юности". Но и это еще не все. Предвидя ходовые возражения против такой апологии Средневековья, Чаадаев – я бы сказал, с истинно немецким бесстрашием – отвечает на них: "Пусть поверхностная философия вопиет сколько угодно по поводу религиозных войн и костров, зажженных нетерпимостью, – мы можем только завидовать доле народов, создавших себе в борьбе мнений, в кровавых битвах за дело истины целый мир идей, которых мы даже представить себе не можем"[1]. Перед нами та же самая логика, какую мы только что наблюдали у Новалиса.

Пускай Земля и впрямь лишь незначительная планета среди многих других – мыслитель *не должен* всем признаваться в этом, ибо тогда они вообще утратят веру в высокое. Если истина нас в чем-либо не устраивает – что нам такая истина? "Всех низких истин нам дороже нас возвышающий обман"[2]. Так и Чаадаев: пусть в Средние века велись религиозные войны и горели костры инквизиции – но зато была и борьба идей, и мученичество за идею – неважно, *за какую*, важно, что за *идею*, а, так сказать, не за кошелек. Это ярчайшее выражение романтической логики, ее максимализма и волюнтаризма, даже фанатизма! И столь характерной для нее амплитуды колебаний между мечтой революционной и охранительной. Резчайшую критику системы русского абсолютизма Чаадаев сочетает с философским оправданием "костров, зажженных нетерпимостью". Новалис, конечно, никогда не был глубоким аналитиком социального мироустройства, но все-таки и он колебался между расплывчатым осуждением права собственности – этой руссоистской идеей – и чуть ли не призывами к возрождению инквизиции. Любопытно, что тот же Шеллинг возмутился такими выводами Новалиса и даже написал на него пародию.

Позднейшие критики также не раз упрекали Новалиса за "обскурантизм" и "реакционность" отразившихся здесь выводов. Например, Дильтей[3] в 1865 году охарактеризовал трактат как "совершенно антиисторическую систему воззрений, снабдившую христианским одеянием Священный союз". Но опять-таки надо учитывать всю логику романтической мысли – принципиальную *отвлеченность и утопичность* программ романтиков, их манеру взвешивать самые *разные* возможности. Новалис, конечно, не ставил перед собой цели дать политическую программу для конкретных действий "Священного союза", которого в 1799 году не было и в помине, до него еще оставалось почти 20 лет. И, наконец, надо все время помнить то, о чем я уже говорил, – о проблеме романтической идеализации тех или иных комплексов прошлого. Это нельзя понимать как прямой призыв к реставрации соответствующего социального уклада, это надо понимать как стремление расширить сферу осознания духовных традиций прошлого, как стремление возродить те или иные идеи для будущего, более совершенного мироустройства. В

1. П. Я. Чаадаев. Философские письма. – М.: Современник, 1989, с. 115; 52.
2. У А. С. Пушкина в стихотворении "Герой" (1830): Тьмы низких истин *мне* дороже // Нас возвышающий обман.
3. Вильгельм Дильтей (1833–1911) – немецкий историк культуры и философ-идеалист.

этой связи справедливо пишет Г. Шульц о Новалисе: "Реставрация и реакция – это понятия, совершенно чуждые его мышлению, ориентировавшемуся на будущее, на процесс высшего совершенствования человека. Оглядка на прошлое лишь должна была показать, что возможности гармоничного и мирного развития всегда были заложены в человеческой истории".

Как бы то ни было, этот трактат не стал последним словом Новалиса. Его последнее слово – роман "Генрих фон Офтердинген" – не только самое значительное его произведение, но и один из самых замечательных художественных документов всей немецкой романтической литературы. И очень характерный штрих: увлекшись работой над этим романом, Новалис в письме к своему другу Тику (от 23 февраля 1800 года) сделал любопытное признание: "Это во всех отношениях первая попытка, первый плод вновь пробудившейся во мне поэзии... Среди умников (unter Spekulanten) я и сам было заделался отъявленным умником".

Очень многозначительное признание. Ибо "умники" тут (Spekulanten – любители философских отвлеченностей, мудрецы, так сказать) – конечно же, друзья-йенцы: это братья Шлегели, Шеллинг и Шлейермахер. Нет, Новалис не отрекается от них, но уже осознанно некоторым образом дистанцируется от них. Ведь какая тут антитеза? Мое истинное призвание – *поэзия*, творчество, а не отвлеченное мудрствование, философствование. И как хорошо, что эта поэзия *вновь* во мне пробудилась. Новалис проводит здесь некую черту между нынешним своим состоянием (он пишет роман) и непосредственно предшествующим периодом. В таком случае, конечно, позволительно истолковать это заявление как косвенное признание неудачи предпринятой им попытки пуститься в исторические и политические "спекуляции" – попытки, осуществленной в "Христианстве или Европе". Во всяком случае, здесь – в творчестве одного из самых, повторяю, *последовательных* и убежденных романтиков – намечается тенденция к преодолению романтической отрешенности, надземности, "спекулятивности". Эта тенденция еще яснее проявляется и в других частных замечаниях, сделанных им незадолго до смерти; намечается она и в самом романе – в частности, в образе Клингсора, о чем речь пойдет ниже.

Первая часть романа "Генрих фон Офтердинген" вышла в 1802 году, уже после смерти Новалиса. Непосредственным поводом к его написанию послужил вышедший в 1796 году роман Гёте "Годы учения Вильгельма Майстера". Роль, которую сыграла книга Гёте для романтического движения в Германии, необычайно интересна. Прочтя ее, романтические поэты ухватились за нее как за новую библию. Увлеченные осознанием нового романтического мироощущения, они поначалу решили, что признанный глава немецкой поэзии Гёте написал "романтическую" книгу. В самом деле, "Годы учения Вильгельма Майстера" содержали в себе немало предвестий романтической эпохи. Внешне герой романа Гёте – истинная находка для романтиков: ищущий, тоскующий, неудовлетворенный человек, художник по натуре – идеальный герой романтической книги. Но разобравшись повнимательней, романтики поняли, что веймарский классик весьма далек от романтизма. Его произведение скорее антиромантично: изобразив разочарованного и неудовлетворенного героя, Гёте в конце концов подвел его к разочарованию в своем разочаровании, предложил ему обратиться к осмыслен-

ной деятельности на благо общества. Как бы походя, с неторопливым превосходством он опроверг саму идею неясного томления по недостижимым идеалам.

Обманувшиеся в своих ожиданиях романтики обрушились с критикой на роман Гёте. Новалис, например, воспринял его чуть ли не как личную обиду и горечь свою излил в резких, оскорбительных словах: он назвал роман Гёте "фатальной, глупой книгой", обвинил в "художественном атеизме", в том, что мечты он променял на "экономику", пал жертвой "антипоэтической трезвости". И как противовес "Майстеру" он задумал свой роман "Генрих фон Офтердинген".

Герой романа — лицо полуисторическое, полулегендарное. Исторические хроники донесли до нас имя Генриха фон Офтердингена, поэта-миннезингера, но не сохранили ни одного его стихотворения. Видимо, Новалис неслучайно избрал в качестве своего главного героя именно такую призрачную, полулегендарную, полуфантастическую фигуру, от которой осталось только имя и поэтическое звание. Это дало Новалису возможность, причем очень удобную, разместить внутренний мир романа на границе между историей и сказкой, реальностью и вымыслом. Такая пограничность была для автора принципиально важна.

Герой новалисовского романа, как и Вильгельм Майстер у Гёте, как, соответственно, и новалисовский Гиацинт, еще неопытный, но чуткий и жаждущий познания юноша, отправляется в странствие по свету. Внешне цель его проста — он едет вместе с матерью к деду в Аугсбург. Но странствованиям этим с самого начала придан и иной, более глубокий, символический смысл: перед самым отъездом Генрих увидел во сне чудесный голубой цветок, и это видение глубоко запало ему в душу. Отправляясь в путешествие, он втайне надеется, что найдет, обретет этот цветок.

Голубой цветок Новалиса, ставший впоследствии как бы символом, знаком немецкой романтической школы, — это символ тайны мироздания; точно таким же символом в "Учениках в Саисе" стало покрывало богини Изиды. Там целью было сорвать покрывало, здесь — отыскать голубой цветок.

Странствуя, Генрих встречается со многими людьми внешнего, реального мира, сталкивается с практическими интересами и целями рудокопа, купцов... Но не успевает Новалис вывести их на сцену, как с ними происходят знаменательные превращения. Купцы начинают рассуждать о том, какими неограниченными возможностями обладает поэзия, — тема весьма необычная в устах торгового купечества. Рудокоп, вроде бы призванный олицетворять практический труд по освоению природы, размышляет о возможностях философии и научного познания, и так далее. В каждой странице, в каждом образе Новалис сознательно разрушает мир реальный и камень за камнем возводит воздушные философско-поэтические замки. Противопоставление реальному миру мира поэтической фантазии как более совершенного, более близкого к идеалу бытия — вот основная мысль и структурная черта романа Новалиса.

Поэтому, хотя действие романа и отнесено к средневековой Германии, роман этот менее всего исторический. Никакого настоящего Средневековья там нет. А есть совершенно идеальное пространство, плацдарм для построения романтической утопии. В 1900 году молодой Гессе, вспоминая Новалиса, спорил с теми, кто воспринимал роман как изображение Средневековья: "С этим я не могу согласиться. Офтердинген

безвременен, действие романа происходит сегодня, никогда и всегда, он история не одной души, а души вообще".

Впрочем, об одной примете тогдашнего *исторического* времени стоит упомянуть особо. Новалис заставляет Генриха встретиться с рыцарями-крестоносцами, а затем с восточной пленницей Зулеймой, вывезенной ими из Крестовых походов. И вот если в рассказах крестоносцев войны с язычниками еще предстают как дело чести и геройства, то рассказ Зулеймы показывает другую сторону Крестовых походов: они не только несли людям кровь и разрушение, но и "навсегда отдалили Восток от Европы". По сути, Новалис тем самым осуждает Крестовые походы как проявление религиозного фанатизма христианской Европы – и тогда позволительно расценивать эти эпизоды как самопоправку Новалиса, как завуалированную ревизию той радикальности, с которой он еще недавно защищал христианство вплоть до инквизиции в трактате "Христианство или Европа".

Но это лишь частный эпизод. Роман Новалиса можно воспринять как пространный гимн во славу поэзии, ее центральной, почти божественной роли в мироздании. Но это не тот гимн, с которым он чуть раньше обращался к ночи, – не расплывчатые лирические излияния. Новалис стремится доказать, аргументировать справедливость своих притязаний – не просто провозглашает их как поэт, но и утверждает как мыслитель-философ. Желание обосновать права фантазии доводами логики, привлекая на свою сторону весь аппарат логического, рационалистического мышления, – одна из самых притягательных черт в романе Новалиса. Она во многом определяет и его стилистику. Очень характерно, что там, где Новалис в силу необходимости, ради продвижения сюжета вынужден рассказывать о внешних событиях в жизни Генриха, повествование становится непритязательным, сентиментальным, даже банальным. Что несущественно для автора – на это он не тратит усилий. Но как только его взгляд обращается внутрь, в глубины поэтической души, появляется тот удивительный синтез поэзии и логики, о котором я говорил раньше, рождаются неповторимые образы, как у истинного поэта, и глубокие мысли, как у истинного философа.

Я уже говорил, что герой – неискушенный, наивный юноша, почти мальчик, пока даже не отважившийся сложить свою первую песню. Он еще не волшебник, он только учится. Но он поэт в душе, по складу своей натуры; кроме того, в романе Новалиса подкупает удивительное доверие ко всем юношеским порывам души, безоглядная категоричность в утверждении их единственной ценности, отсутствие каких бы то ни было сомнений. Отчасти мы уже знакомы с этой точкой зрения по "Ученикам в Саисе", еще более последовательно она утверждается в романе. По выражению одного из исследователей, всесилие поэтического гения Новалис воспринимает и воплощает с "непревзойденной никем наивностью".

В этом отношении очень характерна одна сцена в романе. Некий отшельник, встретившийся Генриху, показывает ему древнюю книгу, в которой заключены сменяющие одна другую картины человеческой истории. Листая книгу, Генрих вдруг на каждом из рисунков с удивлением обнаруживает самого себя. Что это значит? Это, конечно, символ и аллегория. Меняются люди, события, эпохи, а дух поэзии присутствует везде и всюду. Но Новалис не удовлетворяется такой, как бы банальной метафорой: "дух поэзии вечен". Поскольку дух поэзии для него воплощен прежде все-

го в *личности поэта*, то он и здесь как бы материализует метафору: не только абстрактный дух поэзии присутствует в веках, но и сама личность поэта – опять-таки не в переносном, а в буквальном смысле слова! – присутствует и в прошлом, и в настоящем, и в будущем. Метафору "поэт живет в веках" Новалис как бы предлагает понимать совершенно буквально.

Эпизод с отшельником важен и для понимания новалисовского представления о самом развитии человеческой истории во времени. Присутствие единого образа поэта в каждом эпизоде этой истории как бы лишает ее традиционно полагаемого временного протяжения, традиционной поступательности. Получается, что под неизменным знаком Поэзии история и мир уже разворачиваются не во времени, а лишь в пространстве, понятие времени утрачивает свой смысл: не время движется, а все новыми и новыми гранями открывается вечность. Это еще одно выражение желаемого романтиками всеобщего синтеза – когда должны слиться не только греза с реальностью, но и прошлое с настоящим и будущим. "Прошлое и настоящее, – говорит Новалис, – суть только знаки природы; лишь она есть единственная реальность".

Особая проблема романа – скрытая полемика с Гёте, с *его* вариантом "романа воспитания" в "Вильгельме Майстере". Отношение Новалиса к Гёте двойственно. В романе ассоциации с Гёте вызываются образом поэта-сказочника Клингсора. Новалис не может отказаться от преклонения перед художественным талантом Гёте-Клингсора, от благоговейного ученического чувства по отношению к нему.

И поэтому Клингсор в романе – подлинный поэт и подлинный мудрец, наставник Генриха, его кумир. Он высказывает много здравых, "неромантических" мыслей обо всех главных проблемах, трактуемых в романе, говорит о том, что поэту не следует слишком отрываться от реальной жизни, резко осуждает хаотичное, "неоформленное" искусство, чрезмерное увлечение беспочвенными фантазиями.

Кстати говоря, и сам Новалис – уже вне романа, от *своего* имени – вскоре напишет Каролине Шлегель: "Сны и фантазии пора оставить, нельзя сосредоточивать на них все внимание". Так что крайний субъективизм Новалиса уже и сам себя со временем начинал подвергать сомнению. Сам Новалис тоже "взрослел", шел к более взвешенным суждениям. Но пока, создавая "Генриха", он вкладывает подобные мысли в уста не Генриху, а Клингсору; да и тут придает всем таким "трезвым" мыслям дополнительный, полускрытый смысл: реальная жизнь все-таки вторична по сравнению с поэзией. Новалис как бы контрабандой протаскивает в систему взглядов Клингсора свои собственные взгляды. А в конце романа, не выдержав двойственности собственной позиции, прибегает, можно сказать, к прямому поэтическому насилию над образом учителя: заставляет Клингсора рассказывать главную, центральную для замысла сказку романа.

Как и в "Учениках в Саисе", она призвана стать сгустком, ядром развиваемой во всем произведении философии – ведь говорил же Новалис, что сказка есть канон поэзии, ее высшая форма. И вот в сказке Клингсора как бы окончательно, в итоговой аллегорически-символической форме утверждается мысль о высшей, организующей роли поэзии в мироздании.

Как могучий романтический аккорд, эта сказка покрывает все предшествовавшие споры и дискуссии. Здесь создается новая романтичес-

кая мифология или, скорее, даже новая космогония. Весьма запутанные сюжетные перипетии этой сказки не слишком важны, важна главная идея: рано или поздно произойдет полное слияние достоверности и фантазии, наступит полная гармония бытия и не будет трагического противоречия между жизнью духовной и материальной. Новалис формулирует это так: "Люди, звери, растения и созвездия, стихии, звуки, краски сольются в одну семью, будут действовать и говорить как одна семья"[1]. Обратите внимание на демонстративное смешение самых разных сфер бытия в этом перечислении.

Идея всеобщего синтеза, единства Вселенной – это конечная идея новалисовской философии бытия (отчасти подхватывающей идеи древней так называемой "досократической" философии: "Все в одном и одно во всем"). Символом этого всеобщего синтеза и должно было стать – во второй, ненаписанной части романа – явление Генриху голубого цветка.

Мысль о всеобщем единстве Вселенной – равновеликой, тождественной в то же время внутреннему миру человеческого "я" поэта – постоянно варьируется во фрагментах Новалиса. Даже его образное, метафорическое мышление обретает предельную материальность, когда он говорит об "одухотворенности" Вселенной: "Растения – это девочки, а животные – мальчики природы"; "Вода – это мокрое пламя". И как бы коронный афоризм всего этого мировоззрения: "Философия, собственно говоря, – тоска по родине, стремление быть во Вселенной, как у себя дома". Здесь Новалис выразил сокровенную мечту всего первого поколения романтиков – мечту о всеобщности, о великом синтезе природы и науки, жизни и искусства, а также убеждение, что человек должен для этого вернуться к детской простоте души.

В самом начале лекции о Новалисе я приводил высказывание о нем Фридриха Шлегеля: "Он очень жизнерадостен, очень мягок..." – и так далее. Теперь я приведу продолжение этого рассуждения из того же письма: "С необузданной пламенностью излагал он мне в один из первых вечеров свое убеждение в том, что в мире вообще нет никакого зла и что все мы снова приближаемся к золотому веку". Это очень показательно для позиции Новалиса – и резко отличается от "мировой скорби", с которой мы зачастую связываем – в основном, благодаря Байрону и "байронизму" – представление о романтизме. "Мировая скорбь" – новая, хотя и близкая по времени, почти синхронная фаза романтического сознания. Новалис этого порога не переступил. В его лице перед нами – заряд положительной, созидательной, мажорной энергии романтизма в почти беспримесном ее виде.

И оттого этот поэт, человек явно трагической личной судьбы, поэт, начавший с гимнов ночи и смерти и умерший молодым, оказался, в конечном счете, одним из самых светлых явлений в истории немецкого духа.

Резкое разделение сфер поэзии и прозы, идеала и реальности – разделение, которое, как я уже говорил, составляет самое основу романтического сознания, у Новалиса не имеет характера конфликта, столкновения, "обнажаемого" на глазах у всех разлада, раскола. Новалис не изображает "отрицательных сторон" действительности, он более склонен наслаждаться, упиваться поэзией бытия, вопреки своим ранним "Гимнам к ночи".

1. См. пересказ 2-й части у Людвига Иоганна Тика в кн.: "Избранная проза немецких романтиков". Т. I. – М., 1979, с. 341. *(Прим. автора.)*

Да и там в конце концов он воспевает ночь с почти чувственным экстазом влюбленного – влюбленного в эту сторону бытия, не боящегося ничего, присущего бытию, – даже ночи и смерти. Как скажет потом Гюго, "для всего есть место в этом мире". Разлад идеала с действительностью, трагизм бытия, художественное воплощение трагизма – не сфера Новалиса. Его сфера – захватывающие, энтузиастические проекты слияния идеала с действительностью, философское и художественное доказательство возможности такого слияния.

Но надо осознать в полной мере и цену подобного оптимизма. Он возможен *только* при условии полного отключения сферы реальной жизни. И сам Новалис это в общем-то прекрасно понимал. В одном из своих фрагментов он описал очень простую психологическую основу и механику подобного возвышенного оптимистического жизнестроительства: "Кто несчастлив в сегодняшнем мире, кто не находит того, что ищет, пусть уйдет в мир книг и искусства, в мир природы... пусть живет в этой гонимой церкви лучшего мира. Возлюбленную и друга, отечество и Бога обретет он в них... Однажды придет время, когда всякий посвященный [лучшего мира] увидит, подобно Пигмалиону, как мир его, созданный и собранный вокруг него, пробуждается в сиянии высочайшего рассвета, и увидит, как воздастся ему за долгую любовь и верность"[1]. Это, как мы видим, не философски-рациональное, обоснованное и аргументированное утверждение, а чистая вера – эстетическая религия в ее самом откровенном выражении.

Как я уже говорил, романтики и их приверженцы создали представление о Новалисе чуть ли не как о святом, они так и называли его – "святой Новалис", Христос романтизма. Более сдержанно отозвался о нем Гейне. Он считал талант Новалиса болезненным, но в то же время отдал должное его поэтическому мироощущению: "Новалис видел всюду чудеса, и чудеса прекрасные, он подслушал беседы растений, знал тайну каждой распускающейся розы, отождествил себя, наконец, со всей природой, и когда наступила осень и опали листы, он умер". Гейне, который был необычайно резок в оценке романтических мыслителей, все-таки нашел для Новалиса очень взволнованные слова, так как почувствовал в нем подлинно поэтическую душу. Не стоит забывать, что именно Новалис провозгласил созидательность поэзии для мироздания, взгляд на нее как на действенное начало, творящее мир, и, в общем-то, хотел, чтобы жизнь, по возможности, стала более духовной и более достойной человеческого предназначения, а это, согласитесь, немало.

Эрнст Теодор Амадей Гофман (1776–1822)

Творчество Эрнста Теодора Амадея Гофмана ознаменовало собой одну из вершин немецкого романтизма и в то же время, как и творчество Клейста и Гёльдерлина, по-своему вскрыло его противоречивую, глубоко трагическую основу.

1. Литературная теория немецкого романтизма: Документы / Под ред. Н. Я. Берковского. – Л.: Изд-во писателей, 1934, с. 127.

Мы уже много говорили о склонности романтиков к отдалению от действительности и перенесению в сферу утопической мечты. Это и в самом деле одна из характерных черт немецкого романтизма. Мы уже достаточно говорили и о том, как она сформировалась. Отвергая современность как царство пошлой буржуазно-филистерской прозы, романтики неустанно трудились над построением некоего идеального фантастического мира, над которым не властны законы филистерских буден и в котором поэт может дать волю своей фантазии, своим грезам о прекрасном бытии человека, где он, поэт, — единственный господин. Полная суверенность, независимость, недосягаемость для жизненной прозы — вот идеал романтического творчества в его классическом немецком варианте. Реальная жизнь полна трагедий, полна неразрешимых противоречий. Поэт стремится воссоздать гармонию, имитировать закономерности царства фантастической грезы, где мнит себя полновластным хозяином.

Неслучайно в произведениях немецких романтиков так много чудес, сами слова "чудесный", "необыкновенный" являются самыми ходовыми в их лексиконе. Каждый поэт-романтик наивно имитировал Господа Бога, который, как известно, только и делал, что творил чудеса. "Всех горьких истин нам дороже нас возвышающий обман" — эти слова могли бы стать эпиграфом ко всей творческой деятельности немецких поэтов романтического поколения. Видя в окружающей действительности одну лишь торжествующую пошлую прозу, они — во что бы то ни стало — мечтали о чуде; они, как дети, жаждали сказок, которые собирали и сочиняли сами. Немецкая литература на какое-то время словно впала в детство с его наивной верой в существование чудесных, сверхъестественных сил. Романтические поэты как бы постоянно рвались преодолеть земное притяжение — оттолкнуться от земли, воспарить как можно выше. Петер Шлемиль, герой Шамиссо, получает семимильные сапоги. О таких сапогах мечтали все романтики.

Однако земное притяжение существует не только в физике, но и в искусстве, и, пожалуй, это сравнение поможет нам найти подход к творчеству Гофмана и наглядней всего выявит его своеобразие. У Гофмана чуть ли не больше фантазии и фантастики, чем у любого другого романтического поэта, но у него и гораздо острее понимание того, что земное притяжение — объективно существующий и непреложный закон.

Такое понимание есть в самых фантастических историях Гофмана: да, земная жизнь недостойна поэта, жалка, убога, но, как свинцовая гиря на ногах, она крепко его держит, от нее не уйдешь, не убежишь, зато можно воспарить в заоблачные сферы. И чем безоглядней мечта, тем больнее и горше неминуемое падение на землю. Каждая строка гофмановского произведения — это документ трагического единоборства мечты и действительности, взлета и падения. Оттого и сами фантазии Гофмана столь часто приобретают изломанный, гротескный характер: неземная фея оказывается механической куклой, добрая няня — отвратительной мегерой-колдуньей. На каждом шагу читателя подстерегают неожиданности: то зло ощерится дверной молоток, то обыкновенный торговец оптическими стеклами выкатит глаза, налитые кровью, как у вурдалака. И все это хохочет и издевается над героем и над читателем...

Вспомните Гоголя — он очень многими нитями связан с Гофманом. Читая Гофмана, мы все больше и больше начинаем понимать, что перед

нами на самом деле вовсе не мистика, как может показаться на первый взгляд, а мистификация, и романтическая фантазия здесь хохочет и издевается прежде всего над собой и над теми, кто верит в нее и в спасительность сказки. Никто так не жаждал спасительной сказки, как Гофман, и никто так остро не ощущал ее беспочвенность и всесилие земной реальности. Оттого так перемешаны у Гофмана фантазия и реальность – фантазия оказывается злой, как реальность, а реальность становится фантастической, как кошмар.

Это ощущение полной дисгармонии мечты и действительности лежит в основе мировоззрения и творчества Гофмана. И если в этом он похож на романтиков, то отличается от них тем, что не может попросту отмахнуться от действительности и уйти в мир мечты, не может поверить в легкое решение – для этого он слишком подлинный, слишком остро чувствующий художник. Гофман будто приговорен к действительности, к реальной земной жизни, как бы жестока и трагична она ни была.

Я позволю себе привести здесь одну аналогию с современностью. Если кто-нибудь из вас внимательно, без предубеждения прочел уже Кафку, то, может быть, вы теперь, прочитав по программе Гофмана, обнаружите неуловимую сразу, но явно наличествующую связь между этими писателями – при всем их внешнем несходстве. Произведения Кафки, как и многие произведения Гофмана, могут поначалу казаться бредом, порождением галлюцинирующего мозга – пока мы вдруг не начинаем понимать, что в этом безумии, говоря словами шекспировского Полония, есть своя система, есть последовательность. Кафке, как и во многом Гофману, сама действительность представляется бредом, ибо она находится в кричащем противоречии с нормальным, достойным человека бытием.

Когда мы говорим о чем-нибудь, поначалу кажущемся нам неподвластным уму, мы говорим: "Это какой-то бред", "Это какой-то кошмар", "Это уму непостижимо"... Но мы не понимаем сказанные слова буквально, тогда как Гофман и Кафка прибегают к художественному приему материализации метафоры. Они придают метафоре буквальное, прямое значение и изображают действительность как кошмар. Причем и тот и другой исходят при этом из реальных явлений, которые мы в силу привычки не воспринимаем как нечто из ряда вон выходящее, но оба писателя так обнажают эти явления, что вскрывается их бесчеловечность, их противоречие естественному человеческому бытию.

В частности, в романе Кафки "Процесс" показано, как бюрократическая государственная машина преследует и в конце концов уничтожает человека, причем с точки зрения юридической – человека абсолютно невинного. И именно оттого, что при всей своей невинности он, ощущая свое бессилие, ведет себя униженно, как виновный, – именно оттого история эта приобретает характер кошмарной фантасмагории. Но стоит вспомнить, что в XX веке Германия знала времена, когда люди, и в самом деле ни в чем не виновные, боялись стука в дверь, боялись шума подъехавших к дому служебных машин, боялись не только высокого начальства, но и привратника в подъезде – как подсудимые, еще не представшие перед судом. И становится понятно, что все это отнюдь не бред, а просто художественная аллегория.

Примерно то же самое делает Гофман. Когда он хочет сказать, что люди бездушны, он не просто говорит: "Люди бездушны", – а превраща-

ет своих героев в автоматы, сродни модным ныне "роботам". Когда он хочет показать, как мечутся его герои между мечтой и действительностью, как раздваивается их сознание, он не просто говорит, что оно раздваивается, а показывает, что у человека появляется двойник. Он, как и Кафка, материализует метафоры. Кошмарность, неподвластность уму реальной жизни у него тоже изображается буквально. Конкретно-историческая реальность Германии тех лет представляется Гофману абсурдной, вопиюще уродливой, и он придает ей фантастические черты. Он не просто восклицает: "Какие рожи вокруг меня!" – он рисует эти рожи.

Здесь мы уже подходим к более конкретным чертам художественного метода Гофмана. Напомню вам еще раз посылку, с которой я начал свои рассуждения о писателе. Как и все романтики, Гофман исходит из представления о разрыве между идеалом и действительностью, между мечтой и реальностью. Но он не может отказаться от изображения реальности, не может уйти в мир мечты – реальность крепко его держит, он понимает беспочвенность всяких мечтаний. Вот почему его мечтания сплошь и рядом оборачиваются насмешкой над самим мечтателем.

Такая разорванность сознания, такая его раздвоенность: желание найти утешение в сказке и невозможность уйти от реальности – отражается на строе гофмановских произведений. Ведь двоемирие, представление о противоречивости мечты и реальности, лежит в самой основе романтического мировосприятия. Но в то же время гофмановское двоемирие – совершенно особая мировоззренческая и художественная структура.

Художественная система других немецких романтиков покоилась на представлении о двоемирии как исходном постулате, однако они так или иначе тяготели к его преодолению, к идее синтеза ("универсализма"!). Двоемирие декларировалось или подразумевалось ими, но в художественную систему они столь демонстративно, как Гофман, его не допускали. Помните, я говорил об этом в связи с Новалисом. Хотя разлад мечты и действительности и предполагался, осмысление его как бы происходило "до начала" творчества, и художественный мир строился лишь на одной стороне дилеммы: создавалось царство мечты, утопии, утопического синтеза.

Если в раннюю романтическую эпоху немецкий художник обращается к идее противоречивости, двойственности собственного бытия, он тут же переосмысляет ее как свою особую творческую свободу, и в результате воплощением этого противоречия, в рамках принятой художественной системы, становится романтическая ирония. Этим оружием располагает только такой художник, который может как бы заворожить, "заклясть" грозную противоречивость своего бытия, придав ей безобидную форму игры, игровой диалектики: я бессилен разрешить мировые загадки, зато я могу виртуозно обыграть это свое бессилие, я могу так "посмеяться над милым сердцу предметом", что как художник я не останусь в накладе; в активе у меня будет именно художническая победа. Я знаю, но мне не страшно! Но это, конечно, победа сугубо артистическая, к реальным противоречиям бытия отношения не имеющая.

Гейдельбергские романтики остро почувствовали в такой позиции опасность чистого эстетства, роковой замкнутый круг и, отшатнувшись от разверзшейся перед романтизмом пропасти, стали искать цельности, синтеза в "общинности и народности". В то же время эта тенденция про-

являлась и вне Гейдельберга, у таких крупных поэтов-"одиночек", как Гёльдерлин и Клейст. Для них двоемирие, разрыв – трагическая, кровоточащая проблема. Гёльдерлин – это поиски преодоления пропасти и путей к единению; он "настроен на синтез", на желанную цельность. Точно так же Клейст: пафос всего его творчества – обретение твердой опоры в бытии; он неустанно ее ищет – ищет в человеческой душе, мечтая о сильных и цельных людях ("Пентесилея", "Амфитрион", "Михаэль Кольхаас"), ищет во внешнем бытии – то в форме благой воли Провидения ("Кетхен из Хайльбронна"), то в форме надличностного закона, ищет – в государственной, патриотической, национальной, религиозной общности (тот же "Михаэль Кольхаас", "Битва Германа", "Принц Гомбургский").

У Гофмана – иное. Он вообще делит все человечество на художников и филистеров: "Как высший судия, я поделил весь род человеческий на две неравные части. Одна состоит только из хороших людей, но плохих музыкантов или вовсе не музыкантов, другая же – из истинных музыкантов".

Итак, первая часть человечества – "хорошие люди, но плохие музыканты". Эпитет "хороший" здесь, несомненно, употреблен иронически. Хорошие люди – прежде всего люди обычные, будничные, это немецкие филистеры, обыватели, бюргеры, те, кто ползает по земле, кому не доступны высокие порывы души, кто живет лишь прозаическими, низменными в романтическом понимании интересами – нажить денег, чтобы потом поесть, попить, поспать, кто "отбрасывает широкую тень", как говорил Томас Манн в связи с Шамиссо.

Другая часть человечества – музыканты, художники, поэты, люди не от мира сего, а от мира искусства; "хорошие люди" их чаще всего не понимают, смеются над ними. Но для Гофмана они объект глубочайшей любви и сострадания. И в этом характерное отличие позиции Гофмана от многих романтиков. Новалис и Тик полны ощущения собственного превосходства, их герои высокомерно презирают филистеров или, во всяком случае, не подпускают к себе мир житейской прозы. Гофман понимает, что его героям некуда бежать, они обречены жить среди филистеров, это их крест, и он жалеет их, каждое их поражение в столкновении с жизнью – и его, Гофмана, поражение; он часто посмеивается над ними, но, как у Гоголя, это "смех сквозь слезы".

У Гофмана из повести в повесть, из сказки в сказку переходят милые чудаки, возвышенные мечтатели, беззаветно преданные искусству, умеющие быть нежными возлюбленными, верными друзьями, всегда готовыми на самопожертвование. А их окружают филистеры, которым несть числа и которые не имеют представления ни об искусстве, ни о любви, ни о дружбе, ни о верности. Это два разных мира, обреченных на совместное существование. Не только художники страдают от того, что они вынуждены жить вместе с филистерами, – филистерам тоже неприятны художники, которые мешают их размеренному существованию, вносят в него беспокойство и тревогу. А для филистера нет ничего страшнее беспокойства и тревоги, и филистерский мир ожесточенно ополчается на художников, стараясь изгнать их из жизни, – те и рады бы уйти, да некуда.

Это лишь один и самый общий признак той разорванности художественного сознания, которая является главным структурным признаком мироощущения и творчества Гофмана.

Раздвоение сознания идет у него и дальше. Не только общество раздвоено, поделено на две части, — каждый человек носит в себе противоположные, взаимоисключающие начала: добро и зло, стремление к возвышенному и подчинение низменному, злому. Эта раздвоенность особенно болезненно воспринимается теми, кто умеет мыслить. Филистеры попросту ничего не замечают, а художники постоянно ощущают шаткость, непрочность собственного "я". Герой Гофмана мучится сознанием своего несовершенства, своей двойственности, постоянно опасается темных сил, заключенных в его собственной душе.

Гофман продолжает здесь линию немецкого романтизма, прежде всего нащупанную Клейстом. Но гофмановская романтическая личность совсем уж далека от того, чтобы считать себя царем Вселенной, напротив, она преисполнена ощущением собственной зыбкости.

Такое отсутствие цельности, понимание глубокой противоречивости человеческой души воплощается у Гофмана и в конкретной образной структуре, и в мотиве двойничества. У его героев часто обнаруживаются двойники — личность утрачивает свою определенность, участвуя в самых неожиданных превращениях. Один и тот же герой зачастую переживает несколько таких превращений. В сказке "Золотой горшок" злая колдунья оказывается то няней героини, то даже дверным колокольчиком; архивариус Линдхорст — то великим чародеем, то принцем Саламандром. Причем в каждом отдельном случае это вроде бы всего лишь типичное для всякой сказки волшебное превращение.

Однако Гофман, сознательно выбравший для себя амплуа трагического насмешника, паяца немецкой романтической литературы, отчасти обыгрывает здесь распространенную среди романтиков идею предсуществования душ. В "Генрихе фон Офтердингене" герой Новалиса обнаруживает в старой таинственной книге, найденной им в пещере отшельника и рассказывающей о давно прошедших временах, свой собственный образ. Оказывается, он существовал задолго до того, как появился на свет в нынешнем своем обличье. По мысли Новалиса и многих других романтиков, каждый человек не просто живет от рождения до смерти: как личность, как индивидуальность он существовал и раньше и будет существовать потом, после смерти, но — в другом облике. Романтическая личность разрывает рамки времени, для нее не существует ни настоящего, ни прошлого, ни будущего.

В этой идеалистической концепции есть, конечно, и свое "рациональное зерно": романтики одними из первых почувствовали историзм человеческой личности, обусловленность ее поведения не только окружающей средой и особенностями индивидуального характера, но и какой-то более глубокой традицией, передающейся из поколения в поколение, некими чертами, присущими данному типу поведения вообще. В обыденной жизни мы, часто того не замечая, прибегаем к идее предсуществования. Когда мы называем кого-нибудь Гамлетом, Маниловым, Дон Жуаном, мы бессознательно (на образном уровне) восстанавливаем в глуби времен такую связь между разными поколениями, выделяя в поведении того или иного человека черты, уводящие от индивидуального к типичному. Романтики придали этой идее подчеркнуто мистическую форму, но, повторяю, "рациональное зерно" в этой концепции есть. И кто знает, может быть, современные открытия в области генетики, отыскивающей носителей наследственных признаков, превратят

в научные законы кое-что из того, что у романтиков имело форму образно-художественного предчувствия.

Влияние идеи предсуществования на художественную концепцию Гофмана очень заметно. В сказке "Повелитель блох" мы, к величайшему своему изумлению, обнаруживаем, что, к примеру, студент Георг Пепуш — не только студент Георг Пепуш, но в некотором другом измерении — еще и принц Чертополох, а Дертье Эльвердинк — не просто Дертье Эльвердинк, дочка оптических дел мастера, но еще и принцесса Гамахея, и так далее.

Мысль о разорванности человеческого сознания, да еще облекаемая в форму двойничества и предсуществования, логически влекла за собой мысль об отчуждении человека и от самого себя, и от общества. Гофмановские двойники, как и реальные явления, обособляются, отчуждаются от того, чей образ повторяют. И уж тем более отчуждены они от филистерского общества. Происходит как бы процесс цепной реакции расщепления личности: мыслящая личность отчуждается от общества, потому что оно ей глубоко враждебно; обособившись от общества, она всю свою мыслительную энергию направляет внутрь, наблюдая себя как бы со стороны, и тем самым отчуждается от самой себя: двоится. В этом, в сущности, проблема всякого самоанализа. Когда я анализирую свои поступки, мое сознание как бы раздваивается: одна его часть совершает тот или иной поступок, другая этот поступок рассматривает со стороны. Когда человек не может совладать с этим раздвоением, появляется болезненная психология — ее клинической формой является шизофрения.

Подобное самоотчуждение у Гофмана еще и художественный образ, но такой, в котором уже много горячечного, нездорового. В его дневниковых записях содержится немало свидетельств тому. В 1804 году он отмечает в дневнике: "С 4 до 10 сидел в новом клубе. Крайне напряженное состояние к вечеру. Все нервы возбуждены крепким вином. Мысли о смерти не дают покоя. Двойник". Запись 1809 года: "Странная фантазия пришла мне в голову 6 числа во время балета. Мне кажется, что я вижу свое "я" сквозь увеличительное стекло; все двигающиеся вокруг меня создания — мои "я", и я сержусь на то, что они делают, как поступают и тому подобное". Запись 1810 года: "Почему я и во сне, и наяву часто думаю о смерти?"[1]

Но если мы попробуем реконструировать структуру гофмановского сознания и мировосприятия на основе его произведений, то окажется, что в совокупности все его превращения работают на более серьезный образ — образ расшатанного, призрачного мира, где нет ничего постоянного, цельного, где даже человеческая личность оказывается чем-то зыбким, заменяемым.

Образы многих героев Гофмана неуловимы, они ускользают от привычного восприятия. В повести "Песочный человек" так и остается неясным, являются ли адвокат Коппелиус и коммивояжер Коппола одним и тем же лицом или нет, и вообще неясно, существуют ли они на самом деле или это только плод больного воображения героя повести Натанаэля.

1. E. T. A. Hoffmann. Tagebücher—München, Winkler-Verlag, 1971, S. 65, 107, 112. Перевод, видимо, принадлежит Карельскому; в оригинале: "Думаю о безумии?"

Как мы видим, сама фантастика у Гофмана имеет более широкие функции, чем сказочная фантастика в привычном понимании. В ней, в сущности, заключена целая философия, основывающаяся именно на том, что человеческая личность не есть что-то постоянное, а, наоборот, что-то зыбкое, способное в любую минуту удвоиться, утроиться, учетвериться.

Идея множественности, нееединичности, нестабильности человеческой личности у Гофмана, в отличие от Новалиса, имеет трагическую основу. Для Новалиса это была как бы мажорная идея, она служила доказательством величия личности поэта, который воплощал для него Вселенную, а раз так, то и личность поэта становилась безграничной и вездесущей, как сама Вселенная. Я вездесущ — вот смысл новалисовской идеи предсуществования и превращения, и это качество "вездесущести" сближает поэта с Богом, Творцом Вселенной. Гофмановские же превращения слишком часто имеют тревожный, трагический подтекст. Я распадаюсь, я теряю свою цельность, я не знаю, где я и кто я, — вот гофмановская постановка вопроса, когда он касается идеи разных существований личности. Иногда эта идея принимает безобидную форму сказочного превращения — но иногда становится поистине страшной, как, например, в "Эликсирах сатаны" или в повести "Песочный человек".

В то же время было бы величайшей несправедливостью по отношению к Гофману видеть тут только трагичность бытия. Это та самая красивая банальность, которой Гофман чурается! Не красоту трагедии показывает он, не ею он гордится — вот, мол, гений, избранник Божий, оттого и страдает! Гофман показывает боль этой трагедии, реальную боль, и если изображает мученический венец на челе творящего, то без всякого любования подобным венцом. Оттого он и доискивается до корней, до причин, до истоков боли. И эти причины — не только в окружающем, филистерском мире, но, как оказывается, и в самом сознании романтического гения!

Тут снова появляется романтическая ирония, ирония над самим собой, над романтическим одушевлением — но уже не как свидетельство преодоления художником противоречий бытия, а как переживание этих противоречий самим сознанием!

Борьба между отчаянием и надеждой, между мраком и светом ведется во всех творениях Гофмана. В этом отношении характерна уже упоминавшаяся повесть "Песочный человек". Герой ее, студент Натанаэль, наделенный поэтическим даром, одержим идеей фикс, наваждением. В детстве родители пугали его песочным человеком: если ты не заснешь, придет песочник, бросит тебе в глаза песок, а потом отнимет у тебя глаза. Уже став взрослым, Натанаэль не может избавиться от страха перед этим песочным человеком: он убежден, что кукольный мастер Коппелиус — песочный человек, что коммивояжер Коппола, продающий увеличительное стекло, — тот же Коппелиус и, значит, тот самый песочный человек.

Гофман ведет свой рассказ где-то на грани между страшной фантастической сказкой и клинической историей болезни, а именно — помешательства. "Что-то ужасное вторглось в мою жизнь, — пишет Натанаэль своему сводному брату. — Мрачное предчувствие страшной, грозящей мне участи стелется надо мною, подобно черным теням облаков, которые не проницает ни один приветливый луч солнца". Ему отвечает его

невеста, Клара: "Скажу чистосердечно, мне думается, что все то страшное, о чем ты говоришь, произошло только в твоей душе, а действительный внешний мир весьма мало к тому причастен... Ежели существует темная сила, которая враждебно и предательски забрасывает в нашу душу петлю... ежели существует такая сила, то она должна принять наш собственный образ, стать нашим "я"; ибо только в этом случае мы уверуем в нее и дадим ей место в нашей душе, необходимое ей для ее таинственной работы"[1].

Не дать темным силам места в своей душе – вот проблема, которая волнует Гофмана. Причем именно романтически-экзальтированное сознание особенно подвержено этой болезни! История Натанаэля не просто трагична, она еще и иронична и даже гротескна! Ибо, по сюжету, он отвергает Клару, которая кажется ему убогой мещанкой, ради механической куклы, автомата, не видя, не понимая, что это не более чем автомат. Когда он читает этой кукле свои романтические стихи, которые якобы не оценила Клара (а та всего лишь пыталась сбить его экзальтацию, ибо в ней как раз и ощущала опасность!), – так вот, кукла отвечает только "ах, ах!", ибо это единственное, что она умеет произносить, но герой-то считает, что нашел наконец достойного ценителя! Разумеется, неслучайно история Натанаэля кончается у Гофмана подлинным клиническим безумием. Это история сознания, не способного к верному, тождественному восприятию мира, ибо оно, так сказать, романтически закомплексовано. Ему повсюду мерещатся ужасы, фантасмагории, оно культивирует их в себе. Как говорил Брентано, "фантазия сама наполовину нас сожрала!"

Еще одна характерная черта – мотив увеличительного стекла, тоже проходящий через все творчество Гофмана. Этот образ символизирует трагедию человека, наделенного способностью видеть больше других. Дар наблюдательности явно был для Гофмана источником страдания, потому что неустроенность мира и человека он видел острее, чем обычные люди.

В повести "Песочный человек" Натанаэль влюбляется в механическую куклу, на которую глядит в подзорную трубу, а подзорную трубу ему продал человек, с детства вселявший в него ужас. И когда этот песочный человек разоряет куклу, разрывая ее на части, он, прежде всего, похищает ее глаза, и эти кровавые глаза – первое, что видит Натанаэль, когда бросается на крик своей возлюбленной.

Мотив глаза, зрения, как мы видим, определяет всю внутреннюю структуру гофмановской повести. Здесь искусственные увеличители зрения прямо приравниваются к смертоносному оружию – романтик Гофман тут не только развивает философскую идею губительности чрезмерного дара наблюдательности, но и явно связывает ее с социальным явлением – с развитием науки и техники как тенденцией буржуазного прогресса.

В повести "Повелитель блох" изобретатель микроскопа Левенгук изображен как сухой педант, брюзгливый злодей; сражения между злыми волшебниками происходят на подзорных трубах: они "бичуют" друг друга усиленными оптическим стеклом взглядами.

В этой же повести Мастер-блоха дарит Перегринусу Тису волшебный микроскоп, с помощью которого можно читать мысли собеседни-

1. Перевод А. Морозова.

ков. И бедному Перегринусу открывается такая бездна человеческого лицемерия и двуличия, что он в отчаянии отбрасывает чудодейственное злое стекло: "Как, – восклицает он, – человека, испытывающего сокровенные мысли своего ближнего, не постигает как следствие этого рокового дара ужасная участь вечного жида, который скитается по пестрому миру, как по негостеприимной, безутешной пустыне, без надежды, без горя и радости, в тупом равнодушии, этой последней стадии отчаяния? При беспрестанно возникающих надеждах, при бесконечно возобновляющемся доверии к людям и при повторяющемся каждый раз горьком разочаровании в них возможно ли, чтобы недоверие, злостная подозрительность, ненависть, мстительность не свили себе гнезда в душе и не истребили бы в ней всех следов воистину человеческого начала, выражающегося в сердечной доверчивости, кротости и добродушии... Нет, преступление, безбожное преступление желать, подобно падшему ангелу света, сравнивать себя с вечной силой, которая читает в душах людей, потому что владеет ими. Прочь, прочь, этот злополучный дар!"[1]

Это, конечно, горькие раздумья самого Гофмана, которому дано было видеть слишком много и для которого подобное знание оказалось тяжелым, невыносимым бременем. Поэтому образ увеличительного стекла преследует писателя как наваждение. Слово "наваждение", кстати, одно из самых подходящих для характеристики многих произведений Гофмана. Сам мир воспринимался Гофманом как наваждение, из-за каждого угла ему чудились ухмыляющиеся рожи, и сама душа его была полна таких вот страшных видений.

Гофман – один из самых страстных апологетов искусства: музыки, поэзии, – но в то же время у него нет веры в романтический тезис: искусство – панацея от всех бед бытия. Его художники несчастны не только оттого, что филистеры их не понимают, но и оттого, что сами они, эти художники, не могут обрести "адекватности сознания" и связей с реальностью. Механически сконструированный искусственный мирок тоже не сулит избавления душе, уязвленной страданиями человечества, неустроенностью большого мира!

И потому там, где романтическое сознание, обходя подлинные противоречия бытия, тешит себя иллюзией цельности и синтеза, то есть надеждой на будущее – воображаемое, оторванное от реальности, от современности, – у Гофмана это будущее подвергается ироническому осмеянию. Многие его произведения кончаются хеппи-эндом: "Золотой горшок", "Повелитель блох", "Крошка Цахес". Но как иллюзорна эта победа!

Сюжет сказки "Крошка Цахес" вам, очевидно, уже известен. Отвратительному уродцу Цахесу добрая фея, проникшись к нему жалостью, дает три золотых волоска, имеющих чудодейственную силу. Их волшебное действие заключается в том, что отныне все заслуги других людей приписываются Цахесу. Студент Бальтазар читает прекрасные стихи своей возлюбленной – она благодарит за прекрасные стихи Цахеса. Заезжий маэстро, изнемогая от вдохновенного порыва, дирижирует оркестром – публика устраивает овацию Цахесу. В глазах людей Цахес – мудрее, красивей, достойней всех. Он с молниеносной быстротой становится первым министром, получает руку прекрасной Кандиды –

1. Перевод М. Петровского.

пока наконец волшебники и студент Бальтазар совместными усилиями не разоблачают мерзкого уродца.

Здесь перед нами снова излюбленная гофмановская тема. Филистерское общество слепо, ему все равно, кому поклоняться: автомату или уроду. Там, где ни в грош не ставятся подлинные человеческие ценности, возможно все; там механическая кукла может стать законодательницей гостиных зал, а отвратительный недоумок – первым министром государства.

Нужно уметь расслышать этот тревожный глубинный фон сквозь бравурную оркестровку веселой гофмановской повести о крошке Цахесе – "самой юмористической из всех, написанных мною", как говорил о ней автор. Такова уж была творческая позиция Гофмана, таков его стиль как человека и художника – облекать в покровы юмора вещи, всю серьезность которых он прекрасно осознавал. Смешна история маленького уродца, околдовавшего с помощью полученных от феи волшебных чар целое государство, но идея, лежащая в основе этой истории, скорее страшна: представление об ослепленном, оглупленном обществе, утратившем все ценностные критерии и уже не просто принимающем "сосульку, тряпку за важного человека", но еще и в каком-то извращенном самобичевании творящем из него кумира, отдающемся ему в полную власть.

При этом фантасмагория у Гофмана насыщена очень конкретными временными и социальными приметами. Княжество Барсануфа – это убийственная сатира на любое из многочисленных германских полуфеодальных княжеств той поры. Великолепный экскурс в историю "просвещенной деспотии" князя Пафнутия – это не только чисто романтическая притча об извечной филистерской враждебности поэзии ("Всех фей гнать!"), но и сатирическая квинтэссенция немецкого убожества с его претензиями на великодержавность и неискоренимыми мелкопоместными замашками, с его полицейским просвещением, с раболепием и подавленностью подданных[1].

Но есть еще одна черта, характерная для этой повести: у Гофмана неслучайно в основе главной сюжетной линии лежит мысль о том, что Цахесу приписываются чужие заслуги. Здесь тема отчуждения приобретает острый социальный характер. В филистерском обществе, точнее, в немецком обществе начала XIX века, сами плоды человеческих усилий отчуждаются от человека, от автора, и их нагло приписывает себе тот, кто по тем или иным, часто случайным, причинам приобрел вес в государстве.

Известно, что Маркс восхищался повестью "Крошка Цахес", и это закономерно. Проблема отчуждения личности, взятая в социальном аспекте, была одной из главных проблем, волновавших молодого Маркса. Он первый выкристаллизовал эту проблему как наиболее характерную для формирующегося буржуазного общества – впоследствии в основу "Капитала" Маркса ляжет та же самая проблема, взятая уже в социально-экономическом аспекте. Понятно, что Марксу запомнилась гофмановская сказка, – романтик Гофман обнаружил здесь такую гениальную прозорливость, которая оказалась созвучна идеям самого последовательного материалиста XIX века.

Миру филистерства противостоит, как и повсюду у Гофмана, мир "энтузиастов", мечтателей, поэтический мир возвышенных чувств и благостного ча-

1. Здесь и далее курсивом выделены "автоцитаты": фрагменты из предисловия А. Карельского к сборнику "Немецкая романтическая повесть". – М.: Прогресс, 1979.

родейства, разгоняющий наваждение. Но легко заметить, что и этот мир не изгоняется Гофманом из общей иронической стихии, царящей в повести. Образ романтического мечтателя Бальтазара размещен в тех узких пространственных пределах, которые разделяют сферы великого и смешного. Чего стоит хотя бы эпизод, где чародей Альпанус с уморительной авторитетностью квалифицирует поэтический опыт влюбленного Бальтазара ("О любви соловья к алой розе") как "опыт в историческом роде", как некое документальное свидетельство, написанное к тому же "с прагматической широтой и обстоятельностью". Ирония здесь поистине тонка, как лезвие, а предмет ее – романтическая поэзия и – поза...

Столкновение двух миров разрешается в повести Гофмана сокрушительным поражением филистеров и триумфальной победой энтузиастов. Но у этого триумфа есть специфическая особенность: он оформляется автором подчеркнуто театрально, с массой вспомогательных режиссерских эффектов. Гофман бросает на поле боя целую машинерию чудес, головокружительный поединок Альпануса и Розабельверде, феерическую сцену разоблачения Цахеса. В этом фейерверке чудес отчетливо ощутим нарочитый перебор, утрировка. Гофман играет в сказку, и вся эта поэтическая пиротехника призвана образовать дымовую завесу, чтобы за нею тем убедительнее предстала победа добра.

Режиссерская "сделанность" счастливой концовки оттеняется еще одним мотивом, уже содержательного плана. Устроив благополучное соединение влюбленных, Проспер Альпанус делает им свадебный подарок – "сельский дом", на приусадебном участке которого произрастает "отменная капуста, да и всякие другие добротные овощи"; в волшебной кухне дома "горшки никогда не перекипают", в столовой не бьется фарфор, в гостиной не пачкаются ковры и чехлы на стульях... Идиллия, воплотившись в жизнь, вдруг оборачивается вполне филистерским, мещанским уютом; и это после соловьев, после алой-то розы – отменная капуста и идеальная кухня! Точно так же в повести "Золотой горшок" этот "заглавный" сосуд предстает в качестве символа исполнившегося романтического стремления; ирония здесь тем ядовитей, что золотой горшок, конечно же, призван вызвать ассоциации с прославленным голубым цветком Новалиса.

Как мы видим, идеальное мироздание, конструируемое Гофманом к концу сказки, целиком держится на искусственных литературных подпорках; и прочность его более чем сомнительна, ибо каркасом здесь служит особая и наиболее "разъедающая" форма литературной экспозиции – ирония. Проза Гофмана – одно из впечатляющих пиршеств романтической иронии, этой попытки играючи возвыситься над противоречиями бытия. Но та победа над прозой, та абсолютная свобода, на которую рассчитывали при этом теоретики романтизма, совершенно недвусмысленно оформляется и подается здесь в своей, так сказать, реальной себестоимости – как сказка, как иллюзия, как "сон золотой" и в широчайшей гамме смеховых приемов, составляющей основу иронического стиля Гофмана. Даже на веселый его юмор падают трагические тени от более "темных", более горьких форм смеха – фантастического гротеска, сарказма, сатиры.

При внимательном чтении даже в самых фантастических вещах Гофмана можно обнаружить весьма глубокие наблюдения над реальной жизнью, причем именно над жизнью современной. Гофман, по сути, –

один из первых немецких романтиков, который не просто осудил современную ему действительность как антипоэтическую сферу бездуховной прозы, но и включил ее в саму художественную структуру своих произведений – в качестве предмета изображения. В рамках романтической художественной системы Гофман стремился исследовать закономерности социального развития современного ему общества. И это тоже демонстративный жест. Пошлая проза заслуживает не только высокопарного пренебрежения – а анализа! Эта обыденная проза – увы! – и есть жизнь, и страдания романтического гения тоже останутся красивой фразой, если он будет просто страдать в одиночку, не докапываясь до сути жизни.

До сих пор я пытался подробно охарактеризовать романтическую фантастику Гофмана, но теперь хотел бы специально остановиться на том, как преломляется в романтических произведениях Гофмана реальная действительность.

Рассматривая творчество Гофмана с этой точки зрения, мы обнаружим, что Гофман не только изощренный фантаст, фиксатор темных сторон человеческой души, трагический певец раздвоенности – но и блистательный сатирик, обличитель нравов немецкого общества, безвременья той поры. Чтобы убедиться в этом, нам даже не нужно обращаться к каким-то новым произведениям – достаточно пройтись по тем, о которых я уже говорил.

"Песочный человек" – одна из самых страшных фантастических повестей Гофмана. Натанаэль, как вы помните, влюбился в механическую куклу, которую профессор Спаланцани мастерил в течение двадцати лет и, выдав за свою дочь Олимпию, ввел в высшее общество провинциального города. Натанаэль, бедняга, конечно, не понимал, что предмет его воздыханий – хитроумный механизм. Но это еще, так сказать, полбеды. А вот какой эффект произвела Олимпия в городе: она, рассказывает Гофман, с успехом посещала "благомыслящие светские собрания с чаепитиями", и все восхищались ее красотой и образованностью, хотя она не говорила ни слова и, вопреки всяким приличиям, чаще чихала, чем зевала (потому что, когда чихала, заводился ее механизм).

И вот, когда обман был разоблачен, на "благомыслящих собраниях" в городе восстановилась атмосфера, которую Гофман описывает следующим образом: "Многие влюбленные, дабы совершенно удостовериться, что они пленены не деревянной куклой, требовали от своих возлюбленных, чтобы те слегка фальшивили в пении и танцевали не в такт, чтобы они, когда им читали вслух, вязали, вышивали, играли с комнатной собачкой и так далее, а более всего, чтобы они не только слушали, а говорили бы и сами, да так, чтобы их речи и впрямь выражали мысли и чувства... Во время чаепития все невероятно зевали и никто не чихал, чтобы отвести от себя всякое подозрение".

Эти строки не просто написаны пером блестящего сатирика-реалиста. Сегодня мы, люди XX века, которых время от времени пугают перспективой создания говорящих и мыслящих роботов, можем смело отнести эту повесть Гофмана прямо-таки к разряду научно-фантастических и поразиться гениальности гофмановского предчувствия. Но в свое время это, конечно, воспринималось как блестящая сатира на современность. Изображаемые Гофманом завсегдатаи "благомыслящих светских собраний и чаепитий" не только не способны отличить человека

от автомата, но и сами готовы превратиться в автоматы. Олимпии самое место в таком обществе, большего оно не заслуживает. Гротескный образ приобретает здесь резко сатирическое, обличительное содержание.

Или возьмем повесть "Повелитель блох", в ней есть вставной эпизод о советнике юстиции Кнарпанти, приехавшем в провинциальный город, чтобы доказать соучастие Перегринуса Тиса в похищении некой принцессы, которую никто и не думал похищать. "Проницательный Кнарпанти, – пишет Гофман, – имел наготове не меньше сотни вопросов, которыми он атаковал Перегринуса и на которые часто нелегко было ответить. Преимущественно они были направлены на то, чтобы выведать, о чем думал Перегринус как вообще всю свою жизнь, так, в частности, и при тех или других обстоятельствах, например, при записывании подозрительных слов в дневник. Думанье, полагал Кнарпанти, уже само по себе как таковое есть опасная операция, а думанье опасных людей тем более опасно. Далее задавал он такие лукавые вопросы, как, например, кто был тот пожилой человек в синем сюртуке и с коротко остриженными волосами, с которым он двадцать четвертого марта прошлого года за обеденным столом договорился о лучшем способе приготовления рейнской лососины? Далее: не очевидно ли для самого Перегринуса, что все пробелы в его бумагах справедливо внушают подозрения, ибо все то, что им было оставлено незаписанным, могло содержать много подозрительных вещей и даже полное сознание в содеянном преступлении?"

После такой характеристики метода судебного расследования, которым пользуется Кнарпанти, выясняется также, что на самом деле он знает, что Перегринус невиновен, но просто хочет доказать свое рвение, чтобы выслужиться перед государем. Неудивительно, что книжку тут же конфисковали, а против Гофмана, по обвинению в оскорблении суда, было возбуждено судебное дело – точь-в-точь по Гофману: "...думанье уж само по себе как таковое есть опасная операция, а думанье опасных людей тем более опасно".

В качестве своеобразного итога всего творческого пути Гофманом был задуман огромный роман "Житейские воззрения кота Мурра"; автор написал только первые два тома, собирался писать третий, но уже не успел. Однако и эти два тома составляют вполне целостную структуру.

Роман "Житейские воззрения кота Мурра" собрал воедино весь творческий опыт Гофмана, здесь налицо все темы его предшествующих произведений, и Гофман, напомню, сам талантливый музыкант, развивает на материале этих тем богатейшую полифонию романа. Если можно было бы в романтической литературе Германии применить к чему-либо обозначение "энциклопедия немецкой жизни", то это были бы, конечно, "Житейские воззрения кота Мурра".

Гофман прежде всего включил в сюжет этого итогового романа своего любимого героя – гениального и одинокого композитора Крейслера, в судьбе которого нетрудно угадать поэтически воссозданную биографию самого автора. Крейслер – типично гофмановский герой, и окружение, в котором он находится, так же типично: карликовое княжество с глупым и чванливым князем Иринеем, интриганами-придворными, слабоумным наследником, принцем Игнатием, "обреченным на вечное детство", как сочувственно-деликатно выражается Гофман.

Прежним осталось и авторское отношение к герою-художнику — глубоко сочувственным и чуть насмешливым. Гофман понимает не только одиночество своего героя, но и его вопиющую неуместность в мире филистерства. Есть широко известное, несколько парадоксальное, выражение: "Кто среди преступников один остается честным человеком, тот, строго говоря, и является единственным преступником". Применительно к Крейслеру можно было бы сказать, что в мире торжествующего чудачества он, гениальный человек, выглядит единственным чудаком, нарушением нормы.

В общем, в романе Гофмана многое оказывается развернутыми вариациями на прежние темы. А вот совершенно новым является то, что он отважился здесь параллельно с романтическим рассказом о гениальном художнике-одиночке создать свою самую решительную и поистине грандиозную пародию на само романтическое мировоззрение — образ своего знаменитого кота Мурра.

Чрезвычайно необычна композиция романа. Его основное содержание, как предупреждает в предисловии издатель, — это записки ученого кота Мурра, его повествование о жизни. Но при издании книги, поясняется далее, произошел настоящий конфуз: когда к издателю стали поступать корректорские листы, он с ужасом обнаружил, что записки кота Мурра перемежаются с каким-то другим текстом — кусками из совершенно другой книги: биографии капельмейстера Иоганнеса Крейслера. Как выяснилось, кот Мурр, излагая свои житейские воззрения, рвал на части книгу, взятую из библиотеки своего хозяина, и листы из нее употреблял "частью для прокладки, частью для просушки". Эти листы остались в рукописи, и, по небрежности, их тоже напечатали.

Жизнеописание гениального композитора как макулатурные листы в биографии ученого кота! Кому нужна жизнь Крейслера, его страдания и печали, на что они годятся? Разве что на просушку графоманских упражнений ученого кота!

Но и это еще не все. Кот Мурр, как оказывается, тоже не лыком шит и не без оснований претендует на главную роль в романе — он с полным правом может потягаться с самим Крейслером по части поэтического гения! Прежде всего его стиль, его лексикон — это типичный стиль и лексикон романтического поэта, высокопарный, велеречивый, полный фантастических мечтаний: "Мои сочинения, несомненно, зажгут в груди не одного юного, одаренного разумом и сердцем кота высокий пламень поэзии, а, повторяя описанные в моей биографии забавы на крыше, иной благородный кот-юнец всецело проникнется возвышенными идеалами книги, которую я вот сейчас держу в лапах, и воскликнет в восторженном порыве: О Мурр! Божественный Мурр, высочайший гений нашего достославного кошачьего рода! Только тебе я обязан всем, только твой пример сделал меня великим!"[1]

Изобразить романтического гения в образе кота — очень смешная идея, и Гофман до конца использует ее комичность. Правда, каждому читателю ясно, что по натуре своей кот Мурр — типичный филистер, просто научившийся модному романтическому жаргону. На этот раз кот

1. Перевод Д. Каравкиной.

не просто рядится под романтика – он делает это с успехом, с чувством стиля. Он не только выдает себя, он компрометирует романтизм!

Вот мы читаем "макулатурные листы" – печальную историю капельмейстера Крейслера, одинокого гения, страдающего среди мелочных людишек при дворе князя Иринея. Романтические вдохновенные тирады, огненные взоры, пламенные восклицания – и вдруг повествование обрывается, и те же самые романтические тирады начинает настырно бубнить ученый кот: "Смутная печаль, какая часто находит на юных романтиков, когда в сердце у них совершается борение великих, возвышенных идей, побуждала меня искать уединения. Долгое время казались мне постылыми и крыша, и погреб, и чердак. Наравне с небезызвестным поэтом, поселившимся в маленьком домике на берегу журчащего ручья, под мрачной сенью плакучих ив и берез, я предавался кротким, идиллическим радостям и грезил, не вылезая из-под печки".

"Грезил, не вылезая из-под печки" – ситуация необыкновенно благодарная для иронии. Но когда такими кошачьими излияниями все время перебиваются излияния Крейслера, то тут уж в этой многоярусной гофмановской иерархии иронии прямо теряешься, пока не начинаешь понимать, что автор и здесь, как и в "Угловом окне", правда, на другом уровне, прощается с романтизмом. Когда идея начинает высмеивать и пародировать самое себя – она находится на грани самоизживания.

Нужно очень четко представлять себе особенности структуры этого романа, подчеркиваемые самой его композицией. Структура эта необычна для Гофмана. Внешне может показаться, что жизнеописание Мурра и биография Крейслера – это повторение гофмановского разделения мира на две части: художников и филистеров. Но все обстоит сложнее. Двуплановая структура уже есть в самой биографии Крейслера (Крейслер и двор Иринея). Новое здесь – именно линия Мурра (вторая структура надстроена над первой). Здесь кот пытается предстать перед читателем энтузиастом, мечтателем. Вот эту мысль очень важно понять, потому что обычно студенты на экзамене, наскоро перелистав роман, упорно твердят о том, что Мурр – филистер, и точка. На самом деле жизнеописание Мурра – это пародийное зеркало прежней гофмановской романтической структуры. И обе части существуют только во взаимодействии. Без Мурра это была бы еще одна типично гофмановская повесть, без Крейслера – замечательный образец очень распространенной в мировой литературе сатирической, саморазоблачительной иронии (что-то вроде "Премудрого пискаря" Салтыкова-Щедрина). Но Гофман сталкивает здесь пародию с высоким романтическим стилем, что придает его иронии совершенно убийственный характер.

Любопытно и то, что в самой биографии Мурра встречаются обстоятельства, повторяющие биографию Гофмана. (Буршеншафты – специфически немецкая форма романтизма, проявляющегося в общественно-политической жизни: попойки как форма бунта.) Писатель не побоялся включить свою собственную жизнь в сферу пародии, и это еще раз убеждает нас в том, что кот Мурр не столько воплощение филистерства, как часто считают, сколько пародия на романтическое мироощущение.

Наиболее отчетливо поворот Гофмана к реализму проявился в небольшом рассказе, точнее даже этюде, "Угловое окно", написанном за год до смерти. Поначалу мы видим типичного гофмановского чудака

(кузена рассказчика), в прошлом писателя-сатирика, а сейчас — тяжело больного человека, никого до себя не допускающего и проводящего дни в полном одиночестве. И вдруг он зовет к себе рассказчика, и тот с радостным изумлением видит на дверях комнаты латинское изречение: "И если сейчас нам плохо, то это будет отнюдь не вечно".

"Ты, чего доброго, думаешь, — спрашивает герой рассказа, — что я уже поправляюсь или даже совсем оправился от моих недугов? Отнюдь нет... Но вот это окно — утешение для меня; здесь мне снова явилась жизнь во всей ее пестроте, и я чувствую, как мне близка ее никогда не прекращающаяся суета. Подойди, брат, выгляни в окно!"[1]

Оказывается, сидя в одиночестве у своего углового окна, он наблюдает "жизнь во всей ее пестроте" и находит в этом настоящую радость. Обращение к реальности, декларируемое как художественная программа, выражено в рассказе с глубокой, поистине выстраданной убежденностью.

Конечно, "Угловое окно" несет на себе явную печать художественного перелома. Хорошо сформулировал это немецкий писатель Виллибальд Алексис[2]: "Проживи Гофман подольше, и его субъективный огонь превратился бы в тепло объективности". "Угловое окно" не с неба свалилось в гофмановское собрание сочинений.

Вряд ли стоит гадать о том, какой характер приобрело бы творчество Гофмана, проживи он дольше, но два его последних произведения, таких, как "Записки кота Мурра" и "Угловое окно", свидетельствуют о том, что писатель был недалек от расчета с романтизмом, точнее, с беспочвенной романтической мечтательностью, романтическими претензиями на всемогущество личности гения.

Хочу обратить ваше внимание на одно принципиально важное обстоятельство. Гофман, как я пытался показать, принадлежит к тем немецким писателям романтического периода, которые так или иначе приходят к выводу о внутренней несостоятельности ортодоксально-романтического взгляда на мир, фиксируют симптомы кризиса романтического мироощущения. Но именно у Гофмана проблема эта осложняется тем, что, выявляя кризисное состояние романтизма, он, с точки зрения средств языкового выражения, стилистически, как правило, не выходит за рамки романтизма.

Как явление стиля, как способ выражения идей, роман "Житейские воззрения кота Мурра" — это, конечно же, произведение романтическое, и даже саму насмешку над романтизмом здесь еще можно принять за чисто романтический формальный прием — пресловутую романтическую иронию. "Угловое окно" — всего лишь маленький этюд, утверждающий необходимость нового взгляда на мир. В целом, Гофман писал по-старому, романтически — так же, скажем, как Гёльдерлин, хотя, как мы видели, и у того были насчет романтической позиции весьма серьезные сомнения. Иную форму преодоления романтизма мы обнаруживаем у Клейста — он хотя и не декларирует новых взглядов, но начинает писать по-новому, на практике пробует новые формы, новый стиль. Это вовсе не подразумевает более высокого или более низкого места в табе-

1. Перевод А. Федорова.
2. Виллибальд Але́ксис (псевд. Вильгельма Херинга, 1798–1871) — немецкий писатель, автор исторических романов.

ли о рангах: предпочтение здесь – дело вкуса; я просто хотел еще раз подчеркнуть, что внутренняя полемика с романтизмом у разных писателей велась по-разному. У Гофмана – преимущественно внутренними, внутриромантическими средствами.

Творчество Гофмана с самого начала вызывало резкие споры, которые не утихали до последнего времени. Его резко критиковали Гёте, Гегель, его защищали Герцен, Белинский, Гейне, Бальзак. В 40-е годы XX века мы потревожили тень великого поэта, объявив его родоначальником современного декаданса[1]. Гофман действительно противоречив, как были противоречивы все великие писатели, – вспомним суждения Энгельса о Гёте и Бальзаке, Ленина о Толстом (я называю только хрестоматийные примеры)... Это нисколько не помешало ни их величию, ни глубине поэтического анализа современной им действительности.

Из немецких романтиков Гофман, пожалуй, оказался наиболее "влиятельным" – употребляю это слово в его первородном значении (как прилагательное, образованное от глагола "влиять") и беру его в кавычки. Взаимоотношение Гоголя и Гофмана – серьезная проблема сравнительно-исторического исследования. О родственных связях Гофмана с Кафкой я уже говорил. Мне напомнили о связях с Булгаковым. Можно привести в пример и такого писателя, как Томас Манн. Его трактовка темы "художник и общество" в рассказе "Тонио Крёгер" и других позволяет провести далеко идущие аналогии с Гофманом. Провозглашенный зрелым Томасом Манном принцип: "Я вижу смысл стилистики только в пародии", – родствен творческому методу Гофмана. Можно провести аналогию и между трагическим романом Томаса Манна "Доктор Фаустус" и, как это ни парадоксально покажется на первый взгляд, гофмановскими "Житейскими воззрениями кота Мурра". Неслучайно в дневнике тех лет, когда Томас Манн писал "Фаустуса", постоянно встречаются записи: "Сегодня читал "Кота Мурра".

На всех этих связях я не могу сейчас останавливаться – может быть, когда вы сами лучше узнаете всех названных писателей, вас заинтересуют и связи их с Гофманом.

1. Косвенное упоминание известного доклада Жданова, где есть такие слова: "И у акмеистов, и у "Серапионовых братьев" общим родоначальником являлся Гофман, один из основоположников аристократически-салонного декадентства и мистицизма".

Что-то такое над нами... *Небо Европы*

В июне 2003 года Литературный клуб в Граце, столице австрийского литературного авангарда, провел необычную акцию. Были приглашены полтора десятка известных писателей из разных уголков Европы, в том числе и переселившиеся с других континентов, чтобы каждый из них рассказал, что он думает о Европе как "особом пространстве жизненного опыта"; точнее — о "небе над Европой", этом зримом воплощении значимой для нас общности, не вмещающейся ни в какие границы. И еще: о воздухе, свете, ветре — тех "элементарных стихиях", которые вместе образуют небо и сопровождают нас повсюду, влияя на характер, настроенье, на все... Ниже мы публикуем четыре эссе из книги, вышедшей в том же году в грацском издательстве "Дрошль".

Урс Видмер
Небо Европы

Перевод с немецкого А. Егоршева

1

Боги воздуха — это зефиры, маленькие, почти прозрачные, с бахромчатыми краями существа, которых на нашей планете миллионы, если не миллиарды. В большинстве своем они порхают над травами и цветами, чуть ли не касаясь их, прочие же гоняются друг за другом в вышине, причем отдельные так высоко, что земля под ними, вдали, кажется ядрышком. Свет, сияющий, лучистый, — это богиня. Как она зовется, неизвестно, ибо свое имя она носит впечатанным в чело и светит так ослепительно ярко, что при ее приближении нам приходится закрывать глаза, из-за чего мы и не знаем, как она выглядит. Во всяком случае, она яснооkая, объемлющая своим взором половину земного шара. Наконец, ветер — это мужчина, бог-исполин. Зовется он Орканос, а за пределами нашего континента — Хурри Хан. Нередко его называют также Тай Фун: своим дыханием он способен так вздыбить океан, что нас мгновенно охватывает суеверный трепет.

Воздух, свет и ветер образуют небо. Оно горит холодным как лед огнем и сияет такой голубизной, что с ней не сравнится никакая земная голубизна. Стой на своем месте и подними глаза: голубизна неба потрясает! Утешает того, кто, умирая, лежит в снегу. Обещает счастье влюбленным, льнущим друг к другу во ржи. И бодрит крестьянина, шагающего за плугом к горизонту.

© Urs Widmer, 2003
© А. Егоршев. Перевод, 2006

У каждого места – свое небо. Небо над Афинами... Говорят, когда-то оно было еще голубее, и это сущая правда. А вот небо над Стокгольмом – цвета стали, и по нему летят журавли. Летят дикие гуси. И над Лондоном небо голубее, нежели гласит легенда. Небо над Римом – голубое. Над Дубровником, Ригой, Брестом, Лиссабоном – голубое, голубое, голубое, голубое. Но голубее всего оно над Кикладами, Паросом или Наксосом. Каждый год, между Пасхой и Троицей, наксосцы и паросцы встречаются на безымянном кусочке суши меж их островами и, не переводя дыхания, состязаются в описании своего неба. Они знают свыше ста слов, обозначающих оттенки голубого, некоторые – и того больше. Побеждают те, у кого богаче фантазия. Жители Наксоса или обитатели Пароса. Если же запас воздуха и слов иссякает у соперников одновременно, то самым голубым небом Европы объявляется небо над Санторином[1].

Вернемся, однако, к небу в других краях. По парижскому небу стремительно бегут темные облака – можно сказать, непрерывно. Та же картина над Альпами, моей родиной. В Гёшенене или Эрстфельде небо почти неустанно клубится над рельсами железной дороги. Каждый машинист знает, что видимость в тоннеле лучше, чем снаружи. Это знает каждый местный житель. Знаю это и я.

Самые безотрадные места из тех, что мне доводилось видеть, находятся в Европе. Самые прекрасные – там же. Гёшенен (отвратителен) и Эрстфельд (ужасен) мы уже упомянули. Возьмем Шуанде, тоже вполне кошмарный швейцарский городишко: небо над Шуанде может быть великолепным. Высоким, лучезарным. В Венеции, самом красивом городе континента, все наоборот: небо там порой какое-то осклизлое, липкое, просто гадкое. На город и лагуну низвергаются тогда потоки черного дождя, и гондольеры не знают, где им высадить своих пассажиров – близ площади Святого Марка или все-таки в открытом море. Часто ситуация разрешается сама собой: любитель прокатиться на изящном челне камнем уходит под воду, и лишь короткое буль-буль свидетельствует о том, что он навсегда распрощался с этим миром. Десятки туристов исчезли в Венеции таким драматическим образом. Женихи – на глазах у невест, которые, однако, вовсе этого не замечали: туман был столь густым, что они и на суше принимали гондольеров за своих суженых и только следующим утром, пробыв всю ночь на седьмом небе, обнаруживали ошибку, но, как правило, не сожалели о ней. Из-за туч вновь проглядывало солнце, и они оставались в Венеции.

Я не принадлежу к числу отважных путешественников, мне и на моем континенте не тесно, тем не менее я уже дышал и воздухом Америки, и воздухом Азии, и воздухом Африки. Да, везде там тоже воздух, это факт. Но вот какая штука. Стоя в Бостоне у моря, нередко дышишь глубже, чем обычно, и пытаешься всем своим обонянием определить, нет ли в той доле воздуха, что достается здесь тебе, и какой-то толики запахов Амстердама или пахучей крупицы Бретани. Эта тоска снедала уже салемских ведьм: вырваться на волю, снарядить новое судно под названием "Мейфлауэр"[1] и отправиться на нем обратно, к берегам исконной родины!

В Азии по небу плывут рыбы – в Азии всё иначе. В погоне за комарами скворцы и щеглы ныряют в морскую воду, а косяки лососей, как парусники, движутся туда, куда дует ветер. Выйдя на рыбный промысел, корейцы забрасывают сети в небо, а вьетнамцы вонзают копья в речные потоки и выуживают оттуда кабанов. (Самых красивых женщин я видел не в Кракове и не в Берлине, а в Поднебесной: при всей их невероят-

1. Второе название острова Тира в Эгейском море. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

1. Имеются в виду жительницы американского городка Салем, обвиненные в 1692 г. в колдовстве и казненные по приговору суда присяжных. На судне "Мейфлауэр" в Америку прибыли первые переселенцы из Англии.

ной пригожести они были такого роста, что, живя в равнинной местности, дышали горным воздухом, подобно крестьянам на наших альпийских лугах. Как ни странно, но мы, горцы, — народ низкорослый. Словно хотели бы дышать воздухом долин, из-за чего у некоторых из нас нос располагается ниже шеи. Многие мои соплеменники знают о существовании неба вообще только по слухам и несут о нем несусветную чушь. Рассказывают, к примеру, что на небо попадет лишь тот, кто считает свои горы юдолью печали, а вот тому, кто пытает счастья уже в этом мире, уготован ад.)

В Африке воздух или очень сухой (Сахара), или очень влажный (Конго). Над Сахарой ночью сверкают звезды, каких не увидишь больше нигде. Облаков нет никогда, а если они все же появляются, то в кои веки раз. Тем чаще, будто в отместку, облака нависают над Конго — красные от крови, которая испарениями поднялась вверх, чтобы пролиться над обитателями тропических лесов. И укрыться от этого нещадного дождя невозможно. Европа, где тоже пролито много крови, по крайней мере такой участи избежала. Наша кровь не испаряется, она свертывается и покрывается корочкой. Потому небо над нами выглядит ни в чем не повинным.

До недавнего времени небо Европы заканчивалось над "железным занавесом". Точно его рассекли ножом, достающим до неба. И мы тут, на Западе, в общем и представить себе не могли — наша ошибка! — что на той стороне тоже были воздух, свет, ветер. Было небо. И вдруг с изумлением узнали, что оно простирается до Урала, а может, и гораздо дальше. Говорят, остров Сахалин залит светом, как рай. Изобилие воздуха. Ветер всегда прохладен и так переполняет легкие, что глотнуть водки хочется и глубокому старику, и малому ребенку.

Иногда боги воздуха, богиня света и бог ветров встречаются, объединяются и пускаются во все тяжкие. Бушуют над континентом в веселом настроении. И тогда синоптики на ТВ впадают в растерянность, не могут объяснить, что происходит. О таких встречах читаешь в летописях и старинных фолиантах. Вселенские потопы, засухи, апокалипсисы... И ты понимаешь, что боги не добры и не злы. Они просто существуют и развлекаются на свой манер. Зефиров не смутит даже самая грубая шутка Орканоса, а богиня света излучает свет неизменно, от начала времен.

2

Не знаю, воспринимают ли боги и духи, все эти Хурри и Ханы, Фуны и Тайи, резвящиеся в бесконечности, которую мы называем небом, Европу как-то особо. Ведь Европа — маленькая, намного меньше обширной Африки и громадной Азии, заметная разве что для специалистов, и, наверное, среди богов и духов действительно есть специалисты по Европе, любители единичного, подобно тому, как в Японии есть германисты, которые вплоть до выхода на пенсию занимаются исключительно одним представителем немецкой литературы, допустим Альбрехтом Гёсом или Максом Бензе[1]. Они знают все о Бензе и Гёсе и буквально ничего об остальном поэтическом мире, так что, может статься, какие-нибудь крохотные духи в небе взирают — а глазенок у некоторых из них подчас больше дюжины — на Европу, только на Европу, в лучшем случае при этом вполуха слушая более солидных богов, когда те горделиво расписывают, как им уда-

1. Альбрехт Гёс (1908–2000) — немецкий писатель. Во время Второй мировой войны был связистом и священником в госпитале. Писал стихи, повести, эссе, биографии, проповеди. В своем творчестве следовал принципам христианско-гуманистической морали; Макс Бензе (1910–1990) — немецкий философ, основатель "информационно-теоретической эстетики". Красота произведения определяется, по Бензе, соотношением между содержащейся в нем информацией и ее избыточностью. Оказал сильное влияние на "экспериментальную литературу", в частности на "конкретную поэзию".

лось накрыть в Карибском море сразу семь островов волнами высотой в трехэтажный дом или пройтись катком по Флориде.

Они заботятся об этом маленьком кусочке Земли, большей частью зеленом, нередко закрытом облаками, с тучными стадами черно-белых коров на равнинах и нарядными лыжниками на склонах заснеженных гор. Приблизившись к европейскому ландшафту настолько, чтобы различать мелкие детали, наши духи-наблюдатели уже ощущают в себе способность к некой систематизации, к специализации — и приступают к ней, ведь их так много, что, собираясь на свои конгрессы, где боги-корифеи в лучшем случае выступят с приветственным словом или поприсутствуют на заключительном заседании, они заполняют небо до горизонта. Да-да, духов, гномов, зефиров-непосед, нимф — часто размером всего лишь с ноготь большого пальца — так много, что отвести им всем в Европе отдельные участки непросто. Поначалу боги, ответственные за распределение территорий, были довольно щедрыми и отводили умным на вид духам-гномам целые страны — Францию, Венгрию, Люксембург... Однако затем пошли на попятную, ибо требовалась все более узкая специализация, и вскоре у каждого камня и каждого дерева Европы появился свой небесный специалист-куратор.

И каждым из нас, людей, уполномочен заниматься один из духов-гномов, причем решить, какого он пола — мужского или женского, — мы не можем, ибо соответствующие признаки у малых богов нам незнакомы. С великими этой проблемы нет: Афродита — женщина, Зевс — мужчина, хотя именно Зевс неоднократно нас обманывал, а однажды обманул даже невинную Европу, когда она охотно согласилась прокатиться на широкой спине быка. Но и духи-малютки обладают поразительными способностями, и это притом, что сами они, как уже говорилось, порой меньше булавочной головки. Такой малыш может навлечь на тебя беду и предостеречь от грозящей опасности. Не знаю, отличает ли он одно от другого, но иной раз определенно становится чем-то вроде твоего духа-хранителя.

Христианское представление об ангеле-хранителе идет от того, что есть духи-хранители, пусть без крыльев и без возгласов "аллилуйя" в песнопениях. (Однако с того же самого неба над нами падали в свое время и ангелы-отступники, ангелы, отвергнутые Богом: светлые крылатые существа в начале падения и черные, обугленные — в конце. Некоторые пролетели мимо Земли, многие же врезались в нашу планету, по большей части в Европу. Отсюда, якобы, богатые залежи угля в Рурском бассейне и Польше, ведь ангелы, согласно этой версии, сыпались с заоблачных высот градом, так что в указанных местах и поныне добывают обугленных ангелов.)

Я упомянул песнопения с возгласами "Славьте Господа". Когда же поют гномы и духи, это ужасно. В небесах — звонкое жужжание вперемешку с шипением и визгом. Чаще всего пение духов раздается над Бермудами — в небесном треугольнике, который два-три раза в году отводится им для хоровых выступлений. И тогда в глубинах моря исчезают целые флотилии танкеров, в пучину срываются самолеты. А духи даже не замечают, что творят. Заливаются во всю мощь своих голосов ради собственного удовольствия.

Любят, однако, и посоперничать друг с другом. Богоподобные крошечные существа, ведающие Италией, расхваливают великолепные виноградники и города с их прекрасной старинной архитектурой. Эльфы из Исландии славят больше глетчеры, разноцветные мхи и гейзеры, в струях которых с радостью купаются, хотя — или потому что — легко выдерживают температуру порядка 4500 градусов. Гномы, ответственные за Германию, с течением веков несколько онемечились и говорят "Все ясно" в ситуациях, когда другие произносят

просто "Да". То же самое можно сказать о французских сильфах: они с удовольствием едят сыр, хотя сыр не относится к основным продуктам питания. Гномы, опекающие с небес Австрию, склонны к громкому ликованию. Особенно тихими вечерами, в высоких, очень высоких сферах, откуда далеко до авиатрасс, к которым они спускаются лишь изредка. Но когда они начинают носиться вокруг быстро летящего лайнера компании AUA или LOT и при этом чудить и куролесить, то не по себе становится даже самому хладнокровному командиру корабля, и он решает проверить, не забыл ли, как подается сигнал бедствия.

Пусть редко, но бывает, что несколько тысяч духов собираются вместе и устремляются в точно рассчитанном пике к одному из унылейших мест континента. Например, к Шуанде, Гёшенену или Эрстфельду. И присутствуют там невидимками. А жители не понимают, почему у них сегодня какой-то иной душевный настрой, почему им так легко, так хорошо, а в головах такая ясность. Как будто они на небе. Как будто Европа — их небо. С утра до позднего вечера все обитатели Эрстфельда, Гёшенена и Шуанде удивленно глядят на небо Европы, которое, являясь частью безбрежного мира, на один день, на несколько часов сблизилось с ними.

Альфред Коллерич

Попытки писать о небе. Предостережение

Перевод с немецкого А. Егоршева

Предисловие

Не знаю, не сузите ли вы ваше поле зрения, уйдя вашей жизнью, вашим временем в письмена, сковав себя цепями фраз. В вашем возрасте вы уже обязаны обращаться к прошлому, без него вам не подступиться к настоящему, и если вы полагаете, что еще в состоянии идти навстречу будущему, то может случиться, что оно уже разминулось с вами, оказалось позади, и вы видите перед собой пустоту и хотите ее заполнить — всем, что до этого упустили или не заметили. Мы смотрим из окна на лужайку за домом и на старые, неухоженные фруктовые деревья, плоды с которых уже упали, если они вообще были. (В ту пору, когда прежние хозяева, перестав ухаживать за этими деревьями, избрали себе, хоть и с раздвоением в душе, совсем иное жизненное направление.)

© Alfred Kolleritsch, 2003
© А. Егоршев. Перевод, 2006

Пространство меж деревьями заросло непролазным кустарником, высокой травой и крапивой. Виднеются также горные сосенки и обыкновенные, с искривленными стволиками, никакой взаимосвязи нет, все вылезло из земли случайно.

Мы вообще утратили способность понимать природу. В ней все должно пребывать в гармонии... Чем больше мы читали об этом, тем сильнее становилось чувство страха. Громадная, чуть ли не бесконечная Случайность, в которую вплеталась гармония, исчезала нередко за потрясающими событиями, великолепием красок, устремленностью ввысь, блеском и сверканием — за той видимостью, которую рождало наше восприятие. Отождествляя эту видимость с природой, мы делались фанатиками природы. Мы бродили по холмам и долам, и то, что мы созерцали, в туманной ли дымке, за пеленой ли дождя, или на вечерней заре, глубоко трогало нас, казалось нам целым миром. Глаза видели сущность, но мы остерегались искать слова, способные выразить то подлинное, что скрывалось за всем этим.

Первая попытка

Парк имеет форму квадрата, окаймлен разного рода лиственными деревьями, на южной стороне, словно образуя границу, укрылись за глухой зеленой стеной каретные сараи. Вкруг замка простираются лужайки, одну из них однажды превратили в пруд. Неподалеку от замка — жилая постройка, а прямо перед ним — оранжерея.

Я жил там с момента моего рождения. В уютной обители из сосен, елей и множества других деревьев, главным же образом — лип, самых кротких среди своих сородичей.

С тем, что собирается в одном месте, я знакомился в течение всей моей жизни — с особенностями земли, неба, людей, с игрой между открытостью и закрытостью пространства[1]. Бог там, он, для многих, — тот, в чьем владении вид на окрестности. Бывали дни и даже ночи, когда к горизонту влекло сильнее обычного. Горизонт образует второе кольцо, еще зримую и ощутимую ограду. Она манит нас, обещая, что при взгляде туда *мы* ощутим себя пространством — миром без конца и края.

У этого мира есть небо. Для многих оно — предвестник погоды, оно определяет самочувствие, делает человека больным, освобождает от недомогания.

Небо открывает дорогу свету и живущим в нем краскам. Свет создал наш чувственный опыт, неиссякаемое явление всего и вся.

У каждого места свое небо, свое сияние. Свой мрак. Всякое явление начинается в каждом месте одинаково.

В детстве я лежал однажды перед оранжереей. (Росшие в ней камелии были моими наставниками по части цветения.) Слева и справа от меня расположились две дамы в белых платьях и широкополых шляпах. Та, что была моложе, сидела, положив ногу на ногу. И покачивала ногой, то убыстряя, то замедляя темп. Неожиданно узкий носок ее ботинка оказался направленным в небо. Прямо в центр разрыва меж облаками. Почувствовав сильное волнение, я уставился на этот просвет и схватил даму за ботинок. Мои соседки вскочили, обругали меня и удалились по хрустящему гравию в замок. Я же почти не обратил на это внимания и остался лежать, завороженный видом облаков и тем, что творилось в небе.

1. Это рассуждение А. Коллерича восходит к представлениям М. Хайдеггера об отношении человека к бытию в эпоху античности: "Творение храма слагает и собирает вокруг себя единство путей и связей, на которых и в которых рождение и смерть, проклятие и благословение, победа и поражение, стойкость и падение создают облик судьбы человеческого племени" ("Исток художественного творения"); "Быть под взглядом сущего захваченным и поглощенным его открытостью и тем зависеть от него, быть в вихре его противоречий и носить печать его раскола — вот существо человека в великое греческое время" ("Время картины мира"). (*Здесь и далее – прим. перев.*)

Облака охватило беспокойство, в просинях заметались очерки ботинка, однако вскоре они уступили место белоснежным утесам, которые вторгались друг в друга, чтобы через минуту снова разойтись. Они затеяли в вышине игру, как могли затеять ее, думал я, только в этот послеполуденный час для наблюдающего с земли. К вечеру небо, от созерцания которого меня отвлекли облака, полностью исчезло за ними.

Надвигаясь оттуда, где садилось солнце, красные полосы облаков вплетались в мглистую ширь, словно стремились оживить догорающий день. Мне показалось чудом, что тогда, как и каждый год в эту пору, появились первые перелетные птицы, чертившие в небе свои знаки. Тысячи скворцов заполонили его, огромные стаи взмывали ввысь, резко снижались, описывали круги, вклинивались друг в друга. А с наступлением темноты стали устраиваться на ночлег в каретных сараях.

Найдя меня перед оранжереей, встряхнув и поставив на ноги, отец пожелал, как уже нередко бывало, чтобы я проводил его до тех сараев. Я последовал за ним. Оглядев затянутое облаками небо, он лизнул средний палец и поднял руку, чтобы определить направление ветра. "Считай, штиль", – сказал он с удовлетворением.

Перед сараями стояла необычная тишина, точно пространство там уплотнилось. В самих же сараях царили взбудораженность и беспокойство. Мы спрятались за каким-то деревом. Когда вокруг все замерло, отец хлопнул в ладоши, и произошло нечто неописуемое. Подобно вулкану, сараи извергали черные комья птиц, кидая их в небо. На секунду-другую стало еще темнее.

Какое-то время мы постояли, наблюдая, как черная туча птиц каплями возвращается в сараи, пока опять все не успокоилось, хотя несколько скворцов продолжали то подниматься в воздух, то снова влетать под стрехи, неся дозорную службу.

Ушли мы неслышно, миновав пруд, с ночной глади которого вспорхнули утки. Этот день обогатил мое представление о небе. Одновременно расширив знание о родных местах. И пробудив интерес к звездам. Не зря же суеверные люди считают, что при рождении человека звезды, посылая с неба свои лучи, некоторым образом воздействуют на то место, где он появляется на свет.

Вторая попытка

Такое не могло случиться ни в какой иной день. Меня предупредили, что еще до вечера решится судьба одного замечательного места. Речь шла об искусно сколоченном и закрепленном меж мощных, раскидистых ветвей липы помосте со столами и скамьями на нем. Липа высилась возле замка, и с помоста, если смотреть вниз и на северо-запад, была видна широкая долина до самых террас вдали, которые были когда-то берегом реки, бегущей у подножия гряды холмов.

Доверительно мне сообщили, что владелец замка, он же хозяин тамошнего ресторанчика, решил продать липу и замок государству. У него уже побывали чиновники из ведомства здравоохранения. Замок и пространство на подступах к нему, как они выразились, были нужны, чтобы срочно устроить там психиатрическую лечебницу. "Замок – у самой границы, вблизи высокого обрыва, стены – толстые, криков не будет слышно".

Владелец замка, в высшей степени нервный человек, пожелавший отойти от дел еще и потому, что большую часть заработка ему приходилось отдавать государству в виде налогов, находил продажу полезной и для него самого. Он попросил тех, с кем вел переговоры, оставить за ним в замке одну комнату. "Числясь умалишенным, я почувствую себя наконец нормальным человеком".

Я тотчас же поехал к замку, оставил машину у подножия горы и, тяжело дыша, поднялся наверх. Словно приглашая меня к себе, владелец зам-

ка стоял посреди больших ворот, через которые мы прошли в окруженный кирпичной стеной передний двор, где росла липа. "Вы действительно решили продать замок?" – спросил я хозяина. "Он продан. Но сегодня я еще могу вас обслужить, – ответил он. – Хотите сесть за стол на помосте под кроной липы? Ранний осенний день все приблизит, а главное, вы отчетливо увидите столь любимые вами горы-вулканы".

Взойдя по ступеням на помост, я остановился, глубоко потрясенный. Обвел взглядом местность, присел к столу – и замер. Заказывать ничего не надо было, хозяин принес мне обычный набор и сказал: "А все-таки то, что словно вырезано из мира сего и простирается вон там, под этим светом небесным, не так уж и мало́". "Вы можете продать даже все, что имеете, – ответил я, – то, что я наблюдаю отсюда, давно во мне. Сейчас я и впрямь сижу здесь, а коли когда-нибудь буду разбит параличом, то все, что я вижу с липы, и большое, и крохотное, явится моему мысленному взору, увидится с внутренних подмостков. Я останусь сидеть тут, даже если они повалят и липу. Это место незыблемо, в нем – нить времен, и глаза мои всегда будут открыты, чтобы взглянуть на мир именно отсюда. Отделите этот мир от вашей липы. Я тогда не спеша сложу его обрезки в свою печку и начну жизнь сначала. Я работаю ради тех часов в сутках, что принято называть особыми. Когда сегодня зайдет солнце и взойдет луна, я отдам себя во власть небу".

Третья попытка

Любое место вбирает в себя кусочек мира из холодного, воображаемого людьми пространства, которое подлежит измерению и размежеванию в соответствии с законами человеческого разума. Место противополагает себя всеобщности этого пространства, оно хранит в совокупности то, чем само и является. Дорога собирает вокруг себя небо, холмы, ложбины, расчленяющие ландшафт.

Четвертая попытка
Так мы пребываем под небом

Когда я, восхищаясь цветущими в оранжерее камелиями, лежал на гравии у ног дам, остроносый ботинок одной из них, вытянутый вверх, так привлек мое внимание к небу, что я забыл обо всем вокруг и, пожалуй, впервые в жизни весь ушел в созерцание того, что вытворяли там облака. Надо мной было небо с исходящим от него светом – огромная сияющая чаша, словно призванная оберегать то, что под ней, на суше и под водой. Оберегать со стороны видимого, которое покоится на невидимом и заслоняет его, это невидимое, именно светом[1]. Наблюдая в пруду рыб, я часто пугался, ведь рыбы могут обитать только в воде.

Так мы пребываем под небом, обманчивая бесконечность заканчивается сразу за облаками, желанию дышать сопутствует смерть. (Срок жизни – узкая ленточка, обвивающая земной шар. В ленточку вотканы красота, увядание, гибель. Следовало бы примкнуть к акимитам[2], не надо ничего отдавать сну, сон не должен ставить сознанию никаких преград. Во сне мы прощаемся с жизнью.)

1

Я сидел под дубом на дамбе. Пруд, к которому склонялись ветви дуба, блестел в лучах предполуденного

1. Этот образ перекликается с поздним стихотворением Р. М. Рильке "Смерть": "Здесь смерть стоит. Отвар голубизны / в глубокой чашке, без подставки к ней. / И место странноватое для чашки: на тыльной стороне руки. <...>" Перевод В. Летучего.
2. Акимиты – "неусыпные" монахи: сменяясь, они непрерывно совершают богослужение.

солнца. Утки двигались самыми разнообразными зигзагами. От дуба к воде вела тропинка в обрамлении из сорной травы и камыша. Пруд зарос темно-зеленым чилимом, утки бегали по нему как по лугу. Кое-где зеленые листья торчали из воды наискось, образуя причудливые узоры.

На противоположном берегу некогда стояли дубы. Ураган, внезапно обрушившийся с неба, пронесся по земле и свалил их. Дубы упали в пруд. Зелень листьев набухла. На великанах поселились кваквы[1].

Других птиц переманило небо.

Мостик, с которого сыплют корм карпам, выдавался над поверхностью пруда довольно далеко. Вода около него была темной и свободной от растений. Ночью, при яркой луне, плавники карпов светятся — луна спорит с солнцем.

Пруд смотрит на нас как око. Чомги с вытянутыми шеями — перья их хохолков, как пальцы, перебирают воздух. Осенью тут властвуют цапли. Стремительно взмывают вверх и вновь опускаются. Пересекающиеся круги их полета вписываются в небо. Рыбы боятся такого росчерка. Нередко появляются сотни чаек.

Кувшинки светятся, словно хотели бы примирить жизнь в воде с кровожадностью деспотичных птиц.

2

В другой раз я лег на дамбе в траву. Прислушивался к плеску выпрыгивающих из воды рыб, к призывному кряканью уток. Иногда вскрикивала какая-нибудь цапля. Надо мной покачивались сойки. Надо мной было небо, ставшее прудом.

Голова у меня вдруг закружилась, и мне пришлось встать. Пространство видится четче, если, не сходя с места, медленно поворачиваешься вокруг своей оси. Ходьбой его завоевываешь, оживляешь.

1. Кваква — птица семейства цапель.

Дамба разделяла два пруда. Вдоль нее рос густой камыш. Теперь, весной, его коричневые метелки развевались по ветру. На поверхности воды соперничали несколько течений, небо отражалось в ней поразному, так же как высокая трава, ели, ольхи, ивы, тополя, орешник. Там, где волны не пританцовывали, отражение затягивало растения в глубину и затемняло воду. Круг в середине пруда, лишенный тени, ярко светился. И был того же цвета, что и небо с рассеянными по нему облачками. Там же, где ветер гнал сильную рябь, вода светилась сама. Будто не признавала отражения.

Но они не могли существовать друг без друга, как далекие от воды птицы в небе и птицы, принадлежащие воде.

3

Когда осенью воду из прудов спускали, это будоражило, возникало ощущение перемен. Я считал своим долгом следить за тем, как образовывалась пустота. Ответные картины исчезали. Рыбы барахтались в лужицах. Прижимаясь друг к другу, рыли носами ил.

Свет странным образом удалялся вверх, свинцово-серый противоположный мир говорил об утрате воды. Оставалась рана, которая несколько недель хранила воспоминание о тех днях, когда вода здесь была.

Зимой тусклое зеркало прикрывал снег. Снег устраняет контрасты и пренебрегает красками неба. Так мир беднеет. Чистое поглощает многообразие прекрасного, разноликость цветения. Небо оскудевает.

Пятая попытка

Они лежали на скошенном лугу, где производились раскопки, лежали бок о бок, на спине, вытянувшись. Небо было переполнено белыми, рыхлыми шарами облаков, они

быстро летели, скапливались, раздувались, напоминая теперь грозных исполинов, и неожиданно исчезали, будто проглоченные расстилавшейся над ними синевой.

Время возникло вместе с небесным пространством.

Он спросил себя, как можно вынести тот факт, что небо над античным городом, когда в нем еще кипела жизнь, было таким же, как небо, которое раскинулось сейчас перед его глазами.

Небо было таким же, земля под ним — такой же, а все остальное — иным. Глаза умирали многие тысячи раз, а без глаз и других органов чувств мира не существовало. Оставался один ужас.

Они лежали так, чтобы показать небесному свету все свое сладострастие, до конца отдаться желанию быть видимыми, паря на острие высшего блаженства, подобно Симеону на столпе.

Вожделение поспешно, на мгновения, сближало их с происходящим вокруг, очеловечивало его.

Если она была небом, а он — землей, то облака были их взаимным прикосновением. Потом они взглянули на место, где лежали. Оно зияло пустотой.

Он показал ей руины античного сооружения. Когда-то он любил посидеть там вечером, простор терялся в лучах заходящего солнца, поля, казалось, изгибались к горизонту, утрачивая свою тяжеловесность.

Теперь, вспоминая, он смотрел в эту даль вместе с ней, прошлое становилось настоящим, неудовлетворенность, которую он чувствовал уже тогда, усиливала его симпатию к ней — неудовлетворенность оттого, что ему не удавалось остаться тут надолго, как и там, где он годами жил чуть ли не неподвижно.

Она считала, что любовь не нуждается в каком-то особом месте. А он был прикован к одному месту, что было ужасно и упоительно.

Он рассказывает ей о восходе солнца, но в самый последний момент перед его уходом она его прерывает и просит оставить при себе сравнение, которое готово сорваться у него с уст.

Когда он останавливается перед старым домом, где живет один, с пруда шумно взлетают несколько чаек и стремительно проносятся над ним. Это могло бы быть знаком того, что она покидает его окончательно.

Он хочет разобраться в том, что делает с ним любовь. Он ощущает свое тело, скребущую боль под грудиной. Когда же пробует освободиться от боли, то ослабляет чувство любви, уменьшает ощутимое. Все вокруг объято этой "болью", вовлечено в это действие, которое больше не позволяет ему поступать так, как удавалось до сих пор. Вещи расположились по отношению друг к другу иначе, они подчиняются иным волнам, трутся друг о друга иначе. Он им не нужен. Ему недостает их обнаженности и навязчивости. Надо отказаться от привычки описывать любовь как нечто частное, глубоко интимное, затрагивающее только самого любящего и потому отделенное от того, что касается всех. Любое чувство, при таком взгляде на него, публично, это нечто такое, что появляется вместе с человеком, это — взволнованный чувством мир.

Когда он говорит: без тебя нет покоя, то имеет в виду, что возможные пути шатки, что на них нет поводыря, что они не такие, какими были прежде. Он бредет неведомо куда, он и сам неведомо какой. Все очень просто: товарищем ему — смерть, она снимет с него униформу, он бы и не прочь пройти этим путем, но — сделав его своим.

Он не обязан встраиваться в бесконечные разговоры о любви. Этому облаку мы все нужны по отдельности. Иначе оно не что иное, как старая абстракция, любовь в себе, смерть в себе.

Тайна — это зарубка, которой является каждый из нас, великолепно непреодолимая конечность бытия. Покинутость под небом человека-одиночки. Он сидит у озера и думает: почему ее нет здесь, хотя она ему теперь ближе, чем если бы была рядом с ним, но — далекая ему.

Шестая попытка

Начиная с определенного возраста лучше искать не нового опыта, а сравнений. Безоглядная вера в то, что собственную жизнь можно измерить некоей истинной жизнью, с которой ты всего лишь разминулся, неуютна. От нее веет существованием, полным сомнений, холодом пространства, в котором ты пребываешь вместе с иным и с иными...

Такой тоже может быть родина.

Седьмая попытка

Сидеть днем, нередко часами, под сводом из виноградной листвы и глядеть вниз на равнину и старые, поросшие буком горы-вулканы вдали было главным моим увлечением, из которого рождалось желание читать и писать. Беседка была метра три в длину и метра два в ширину, густо заросшей, за исключением входа, вьющимися лозами с множеством синих гроздьев. Солнечный свет почти не проникал в нее, озаренные им фруктовые деревья напротив беседки казались от этого еще более светлыми. Беленая стена дома виноградаря прямо-таки сияла...

Я сидел на ладно сбитой скамейке у стола с зеленовато поблескивающей на нем двухлитровой бутылью красного вина.

В глазах прохожих это место было одним из множества ему подобных, расположенных вдоль дорог. И большое ореховое дерево рядом с беседкой тоже было всего лишь одним из множества ореховых деревьев.

Легко было бы сравнить все эти места, выявить различия, занести на какую-нибудь схему и исследовать их историю. Но вертикаль моего замкнутого в себе места была бы тогда уничтожена вместе с листьями и гроздьями — моей частью неба, солнца, созвездий и луны.

Пребывая там, можно было думать о самом важном, о тяжести и легкости в их соотношении, о безднах и идиллии, о любви и преступлении. Об истории мира и бегстве из него в отрешенность. Земля была сырой, утрамбованной глиной — ложбинкой, сбегающей к дому. Была фактически жизненными путями отца, дедов, воинов разных времен. Неизменной оставалась дорожка к дверце погреба. Выбравшись оттуда по лестнице, отец часто поднимал кувшин со сверкающим вином и говорил: "Вот оно, пойманное солнце!"

Когда приходили друзья, они под виноградным узорочьем отводили душу в разговорах, обычно о разнице во вкусовых ощущениях при дегустации, часто само это слово становилось предметом обсуждения. Но дегустировать никто не хотел, пили просто так, сомневались, хвалили. Говоря о том, что чувствовали нёбом, языком, по аромату, описывали место, где жили, небо, погоду, землю, росу, ветер.

Сидя там один, я расставался с тем, что было у меня внутри. В такие минуты выпускаешь все на подмостки, даешь волю фантазиям. И они начинают водить свой хмельной хоровод в пространстве. И ты уже сам — пространство. Пьешь в пространство. Пьешь и отрекаешься от разорванности на внутренний и внешний миры. Я не вслушивался в себя, я слушал то, что выплескивалось из меня. "Опять строишь мир", — говорил ученый дед, которого я видел повсюду: меж виноградными лозами, в кронах деревьев, неслышно пробирающимся через кукурузные поля... Он давно умер, но остался в этом мире, воскрес вместе с этим миром, одарившим нас зрением.

Быть благодарным ландшафту с его светом или все проклясть!

Смотря из виноградника вдаль, я слышал рядом копошение птиц, их голоса. Из-за величественной естественности того, что открывалось моим глазам, мне трудно было говорить о мистическом мгновении. Даже когда я вдруг понял, что время около тебя может на какой-то миг остановиться.

Нередко передо мной появлялся дед, часть этого мира, вместе с ним приходили предки, рассеянные по стране, давно умершие. Они были ничем, провалом во времени между их прошлым и их странным будущим. Дед был в черных брюках и черном сюртуке, из-под полей шляпы волнами ниспадали белые волосы. На нем были ботинки, которые я когда-то назвал ботинками мира: их носки, двигаясь по кругу, указывали поочередно на все стороны света. Сквозь прореху его брюк виднелась мошонка, темно-коричневая, в белых волосках. Дед прожил свой век как провинциал, как анархист, который многое остро чувствовал. Всю нищету и убогость мира, любую социальную несправедливость, а главное, унизительное бессилие, которое охватывало его, когда он погружался в размышления. "Как Гегеля", — сказал он однажды, но мы поняли это слишком поздно. Ощущение бессилия проявлялось в отрывистости его фраз, в пророчествах с их пророческой логикой. Другим он не позволял говорить в таком тоне. "Ваши разглагольствования и этот край — вещи несовместные. Я только даю понять, как мы могли бы жить, — пояснял он. — Никому ничего предписывать не хочу".

Сло́ва "сущность" он избегал, хотя знал, что было сущностью. Сущностью их жизненного мира. "Солнце свершает тут обход наших дней, по небу над нашим краем". Именно потому, что ему было так ясно и понятно, какой жизнью мы тут живем, он считал склонность давать всему имена вредным соблазном, стремлением вновь и вновь подтверждать неизменность окружающего мира. Неизъяснимое тогда забывается.

Дед любил холмы, на которых теперь появлялся передо мною. Любил шумную череду гор и долин, упругую мощь ландшафта, быструю смену света и тени.

Его симпатии принадлежали фруктовым садам и виноградникам. "Их языком я беседую с землей, небом и демонами. И тогда все становится видимым". Поговаривали, что у него, и это, мол, заметно по внешнему виду, есть яблочные и винные дни и что в такие дни он одевается по-разному. В честь вина он облачался утром винного дня в черный костюм и, как рассказывали, шел по холмам от часовни к часовне, от храма к храму. В ясный день подходил к церкви так, чтобы колокольня закрывала солнце. "Тогда я разом попадаю из тени на припек".

Я вспоминал его рассказ о том, как он исписал тысячи страниц и ночами читал вслух сам себе отрывки оттуда, читал, испытывая мучения, ибо уже лунный свет заставлял его опасаться, что без многоголосого языка невозможно, как он говорил, "исчерпать мой край". Как он был счастлив, когда сидел у органа с двумя рядами клавиш, а ноги его были третьим и четвертым приводом... Играя, он наполнял пространство храма бушующей стихией многоголосия.

Люди в деревне давили виноград, и до них долетали звуки органа.

Восьмая попытка

Если вечером въехать на гору Штрандль из другой долины и обернуться наверху, то увидишь, как сияют колокольни штраденских[1] церквей. Когда мы лет десять тому назад сидели у старого Пайшлера, кто-то сказал: "Вон там, на той стороне, замок, в котором хранится священный Грааль". А Пайшлер ответил: "Да, твой дед учил нас жить, учил уму-разуму. Без него — он это часто повторял — мы остались бы чистыми дураками, да-да, чистыми дураками". Пайшлер сказал это с такой лукавой улыбкой, что я, сидя рядом с отцом, сразу же догадался, что сам он любил в дураках нечистое — свободу в сердце, счастливом лишь тогда, когда в нем растет виноградная лоза с наливающимися, зреющими гроздьями, как превращение огня, порождавшего здесь когда-то извержения вулка-

1. Штраден — селение в Штирии (Австрия).

нов, пока вся лава не отвердела и не появились люди. Они обнаружили в вине тот древний, вернувшийся в земные недра огонь и потребную для жизни отвагу. Они поняли, что горные породы и земля превращаются в вино, которое, если пить его на закате солнца, ухитряется приобретать "небесный привкус".

Девятая попытка

Под этим небом и сенью виноградных лоз, где бы жить и жить до самого конца, потому что хочешь избежать новых впечатлений как рассредоточения уже собранного, знакомишься и с безумием — своим, собственным.

Можно подумать, что привычность, близость тебе всего этого удерживают счастье и затыкают дыры, сквозь которые врывается ветер другого мира.

В такие моменты безумие оборачивается счастьем. Оно вступает в игру против чуждого тебе. Оно спасает и освобождает от мишуры заданной действительности, ты узнаешь в человеке сотворца мира, каждый новый опыт являет себя свету вместе с предыдущим. Тогда с наступлением ночи я стою перед виноградными кущами и надеюсь, что могу любить этот край просто так, любить, не делая его своей вотчиной, — наперекор узколобым патриотам.

Они не подозревают о существовании спрятанных в ветвях подмостков. Они — экстремисты противоположного толка. Я убедился в этом, наблюдая за человеком, чей опыт складывался в зависимости от наличия и яркости солнца. Говоря о чем-нибудь, он вдруг выкрикивал восторженно и одновременно с отчаянием в голосе: "Солнце! Солнце!" Темное было ему неведомо. Он не знал ничего потаенного.

А другие игнорировали солнце. Они жили, погрузившись в поток рыночного равноденствия.

Мир вокруг маленького виноградника они столкнули в мир потребления, как в жерло вулкана, их родина — деньги. А чтобы как-то охранить себя, эти лишенные мира люди обрядились в национальные костюмы. Маскарад, да и только.

Порой я проводил под кружевом из виноградных лоз целые ночи, и тогда нередко случалось, что часть мира, связанная со смертью, наносила ответный удар. Заявляло о себе само отсутствие — свое присутствие обнаруживала со всей беспощадностью конечность бытия.

Я вглядывался в ночь, мои слух и обоняние обострялись, на небе вспыхивали звезды, и оно от этого ширилось, но ощущение близости меркло. Устрашающе часто из тьмы приходил мертвый дед. И я вспоминал его лежащим в гробу — первого человека, увиденного мною мертвым.

В годы детства он, словно небесный шатер, удерживал нити моего мира, не давая им разойтись. Под этим пологом я учился понимать, что значит встретить кого-то, слиться с другим человеком, стереть границы.

Он лежал весь какой-то одеревенелый, руки, неправильно сложенные, сползли с груди. Черные носки лоснились. Лицо, с его неменяющимся выражением, меня испугало. Я потерял ориентацию. На протяжении нескольких дней ни один знак не был для меня указующим, нити порвались. Небо было затоплено равнодушием.

Когда он являлся мне перед беседкой из винограда, я снимал ботинки и прижимал голые ступни к сырой глине. Я ненавидел землю, которая его забрала.

В такие ночи я без устали ждал восхода солнца. Сначала сквозь тонкие ленточки облаков проступал бледный свет. Постепенно они розовели, небо за ними начинало сиять голубизной. Растекаясь над горизонтом, она сменялась алым пожаром. Дышалось уже легче. Воздушное пространство вокруг меня ширилось. Дневное око растворялось в созерцании. Во все это вливалась перекличка птиц. Я уходил от темной стороны смерти.

Ильма Ракуза

Троекратный юг. Ощущения

Перевод с немецкого Е. Соколовой

На высоте в две тысячи метров пасутся коровы. Они жуют сочную альпийскую траву, пьют из быстрых ручьев. Перевал Юльер. Скупое убранство гор: коричневый – зеленый – серый, над ними скользят облака. Случается, они проглатывают скалу, улицу – все. И серпантины ведут в никуда, а о коровах напоминает лишь далекий звон колокольчиков.

Но по ту сторону, далеко внизу мерцают Энгадинские озера. Первый юг шлет привет совсем иным светом. Неотразимое сияние снежной белизны, водной глади, огненно-желтых лесов. Горный воздух пахнет ветром, воды текут к Дунаю и Адриатике. В обитых изнутри кедровой доской домах Шамфера, Сильс-Марии, Малойи говорят на ладинском диалекте[1]. Здесь есть римские дороги, романские церкви, мемориальные доски с именем Ницше и могила Сегантини[2]. Никаких чащоб. Территория косуль, серн и сурков смотрит на высокую цивилизацию, и давно. Союз природы и культуры. Мы в Швейцарии, не в Канаде.

Раздробленность, причудливое разнообразие. Из Энгадина вьется дорога в Малойю круто вниз, в Бергель. Валь Брегалья[3]. Почти отвесный провал в прогрессирующий юг. Деревни называются Касаччиа, Викосопрано, Боргоново, Стампа. Из Стампы – род художников Джакометти. Отсюда Альберто[1] покорил весь мир, постоянно возвращаясь в *стюа*[2] к матушке. Si parla italiano, peró un dialetto italiano[3]. Брегальот – терпкий, как здешний ландшафт; резко обрывает конечные гласные. Крыши покрыты камнями, из камней дорожки и стены. Выше Стампы в конце XIX века какой-то богатый южанин велел построить небольшой замок цвета бычьей крови – с зубчатыми стенами, французским садом и безукоризненно прямой центральной аллеей. Залитый солнцем, раскинулся он на склоне – странный и нежилой. А над ним, на лесистом холме, светится Сан-Пьетро с апсидой, расписанной Аугусто Джакометти[4], и просторной мощеной площадью перед въездными воротами – чтоб извозчикам было где развернуться. В прежние времена тут часто справляли свадьбы; теперь разве что случайный гость нажмет на дверную ручку, а после, в задумчивости, – на педали фисгармонии. Если не считать этих вздохов, тихо. Совсем тихо. Или где-то все-таки блеет овца? Ниже скальная гряда преграждает путь в долину. Река огибает гряду, машины проскальзывают в тоннель. Но римскую башню не заметить невозможно, а рядом с ней как сестра – приветливо разукрашенная романская колокольня Носса Донна[5].

© Ilma Rakusa, 2003
© Е. Соколова. Перевод, 2006

1. Ладины – народ группы ретороманцев, живущий на севере Италии и в Восточной Швейцарии; говорят на диалекте ретороманского языка. (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Джованни Сегантини (1858–1899) – итальянский художник, мистик и философ, один из идеологов национального символизма.
3. Бергель – округ в Швейцарии (в кантоне Граубюнден); Валь Брегалья – долина Брегалья.
1. Альберто Джакометти (1901–1966) – швейцарский скульптор и живописец, родившийся в Стампе.
2. От stüa, на брегальоте, диалекте итальянского языка, – комната в деревенском одноэтажном доме.
3. Здесь говорят на итальянском, вернее, на итальянском диалекте (*итал.*).
4. Аугусто Джакометти (1877–1947) – швейцарский художник, родившийся в Стампе. Приверженец дадаизма.
5. Носса Донна – церковь Богоматери, построенная в X веке.

Вот мы и в Соттопорте, южной части Бергеля. Иду по узкой дороге, ведущей из селения Промонтоньо в другое, Бондо, — мимо *гротти*[1] и тенистой площадки для *боччиа*[2]. Меж елей и лип растут настоящие каштаны, свет заметно мягче. Вот уже тридцать пять лет я приезжаю сюда. Мне хорошо знакомы шум здешних фонтанов, запах конюшен, грубые камни мостовых, многоцветные закаты. И здешние жители в двух поколениях. В любое время дня и ночи бродила я по этим кривым улочкам, останавливалась то перед домом Скартаццини[3], исследователя Данте, то перед колокольней в Сан-Мартино, то перед стопалым Палаццо Салис[4] (камины, камины!), соседствующим с диким фруктовым садом. Словно здесь все всегда в порядке. Надежное укрытие. (Безыскусный, прародительский мир, как говорит Л.) По вечерам с шести до семи на ферме продают парное молоко, в полдень и в восемь вечера неизменно звонят колокола, а за большим круглым столом в единственном кафе по воскресеньям ни одного свободного места; римская sentiero storico[5], по-прежнему роскошно извиваясь, ведет в Кастасенью[6], а на церковной фреске с изображением Тайной вечери рыба и крабы еще не съедены. Нельзя не вспомнить ежегодный турнир по *боччиа*, завершающийся награждением победителя и танцами, и еще — осенний фестиваль блюд из дичи неподалеку, в промонтоньонском отеле "Брегалья", где подают вкуснейшие *пиццокери* – макароны из гречишной муки с картошкой, сыром и луком-пореем.

1. От *итал.* grotto — грот, пещера; домики, частично вырубленные в скале, теперь в них часто располагаются ресторанчики.
2. Боччиа — игра в шары между двумя игроками или командами, состоящими из двух или трех человек, на ровной площадке, засыпанной песком.
3. Иоганн Андреас Скартаццини (1837–1901) — швейцарский филолог и публицист, священник; с 1871 г. жил в Куре.
4. Дворец, ныне отель в селении Сольо, построенный в 1630 г.
5. Историческая тропинка (*итал.*).
6. Небольшая деревенька в Бергеле на высоте 680 метров над уровнем моря рядом с итальянской границей.

Тут хоть и тесно, но свободно. Многие нити сходятся здесь воедино и разбегаются затем по всему миру. Молодежь жаждет уехать куда угодно — в прежние времена немало кондитеров родом из Бергеля было и в Варшаве, и в Санкт-Петербурге, — но ведь и возвращение неминуемо. В тени горных хребтов, в прозрачном каштановом лесу, в солидных каменных домах по-настоящему хорошо.

Бондо — точка на карте Европы. Для меня — уголок родины. Под ногами — под гранитной мостовой, травой, галькой — ощущаю слои истории, ее шаги, а над собой — чистое прозрачное небо. Европейский палимпсест простирается до здешних лесов, где перемешаны листья — чистые и уже исписанные.

Защищенность предполагает границы, но и тесные связи. Есть и разница, и непрерывность. На солнечном склоне напротив — местечко Сольо, где есть Палаццо Салис с комнатой Рильке и почти субтропическим парком, в котором летом беспрерывно стрекочут кузнечики. Повсюду козы со звонкими колокольчиками. В местных лавках продают козий сыр, косметику на основе козьего молока, лапшу из мякоти каштанов и горный мед. Бескрайние каштановые рощи с рассыпанными там и тут сушильнями для каштанов тянутся до самой Кастасеньи, благополучно минуя границу и углубляясь в Италию. Меняются? Становятся чуть менее ухоженными. Повсюду подлесок. Придорожные деревеньки по ту сторону тоже стараются поскорее спуститься вниз, в Кьявенну. Лишь Пиуро рассыпался, превратился в место запустения: процветавший когда-то торговый город был разрушен камнепадом в 1618 году. Повсюду обломки скал, новое поселение вскарабкалось наверх, миновав пощаженную виллу "Вертемате", которая благодаря своим прудам с рыбой и фрескам на стенах кажется редкостной жемчужиной.

В Кьявенне склоны по краям долины почти отвесные, засажены виноградной лозой. Винные погреба вырублены прямо в скалах, выпи-

вать здесь любят на холодке. Католическая среда, уже ощутимы какая-то особая живость, "итальянский колорит" – совсем недалеко озеро Комо. Бергель – округ протестантский. Один из тех, кто распространял здесь Реформацию, Пьетро Паоло Верджерио[1], был родом из Истрии. Нет связи? Он пощадил картины, фрески. С росписи апсиды в Бондо, из мандорлы[2], вот уже много веков оберегающим взором глядит Христос Пантократор. Только взгляд – глаза в глаза, без царственного жеста. Подлинная близость, возможная разве что в "скромной" и все же "подключенной к миру" провинции.

Бондо – поселение старое, Бондо – в морщинах. Как Европа. Лиственный и хвойный лес, по ту сторону гор – совершенно другая идиоматика. Многие приезжают, чтобы вскарабкаться по северному склону Пиц Бадиле[3]. Я остаюсь в долине за спиной громады и, стоя на берегу реки, слежу за быстрыми рыбками, собираю каштаны. Только что выскочив из колючих футлярчиков, они кажутся лакированными. Драгоценные камушки.

Триест, раковина детства. Залив, замок Мирамаре[4], маяк – Faro della Vittoria[5]. Белые вырезанные зубцы, лишь цвет моря варьируется. Между зеленью пальмы и кобальтовой синевой, между грязно-серым и пенисто-желтым. Когда я говорю "море", я имею в виду именно это – расстеленное полукругом, с вплывающими и выплывающими кораблями.

Стою на крутом склоне Барколы[1], неподалеку от маяка, подо мной – виадук старой южной дороги. Каждые несколько минут по нему проезжает поезд. Времена заклинило. Архитектура Какании[2] на службе у XXI века. Тут виллы, там, в центре города, – Борго Терезиано[3], мрачные постройки эпохи грюндерства[4]. Здесь – пляж и домики, там – монументальное желтое здание почты, городской парк с ротондами и бюстами поэтов. Монархия все еще присутствует в материальной плотности камня, и, едва увидев желтый цвет ее зданий, я сразу "попадаю в образ". Чувствую – я у себя.

Сто́ит желтому цвету соединиться с запахом бурого угля – и передо мной Любляна в прежние времена. (А также отчасти Загреб, Грац, Прага, Краков.) Я могу ориентироваться с помощью носа или языка. Откуда пахнет штруделем, там среднеевропейская территория. Триест знает штрудель, знаком он и с оладьями, кайзерским омлетом, пирогами с начинкой, круглым кексом, тортами "Добош" и "Захер", мясом по-кайзерски, мягким сыром и голасом – или гулясом, или же гуляшом, – как минимум, семи разных видов. Вдобавок средиземноморские блюда из рыбы, итальянская паста, славянские *чевапчичи, разничи*[5]. Подобный ассортимент – большая редкость. Триест – сложносоставный конгломерат.

В подтверждение тому есть здесь и русская православная цер-

1. Пьетро Паоло Верджерио (1498–1565) – итальянский католический епископ, папский нунций, который лично познакомился с Лютером и стал его последователем. В 1549 г. он навсегда покинул Италию и поселился сперва в Швейцарии, а позже в Германии.
2. Мандорла (от *итал.* mandorla – миндалина) – принятое в христианской живописи изображение миндалевидного сияния вокруг фигур Христа и Богоматери, символ божественного света.
3. Отвесная гранитная стена высотой в 900 метров, популярное место у альпинистов.
4. Мирамаре (смотрящий в море; *итал.*) – замок в Триесте, построенный наследным принцем Максимилианом Австрийским. Он окружен одним из самых больших в Северной Италии парков.
5. Маяк Виктории (*итал.*).

1. Баркола – прибрежное местечко с морскими купальнями на окраине Триеста.
2. Какания – название, придуманное Робертом Музилем для обозначения Австро-Венгерской империи.
3. Борго Терезиано (Терезиенштадт), или Новый город, – часть Триеста, отделенная от Старого города улицей Виа дель Корсо.
4. Эпоха грюндерства в Австрии – период 1870–1873 гг., отмеченный крахом венской биржи, возникновением множества новых акционерных обществ и расцветом железнодорожного и жилищного строительства.
5. Сербские блюда из мяса, рубленого (чевапчичи) и цельного (разничи).

ковь, и сербская с синими куполами, и католический собор, и импозантная синагога. Есть и памятники истории: римский театр и раннехристианская базилика, образцы монументальной архитектуры фашизма и печально знаменитая рисовая фабрика Сан-Сабба. Во время Второй мировой войны в ней был устроен концлагерь, где евреи ожидали отправки дальше, в лагеря смерти; там уничтожали словенских партизан.

Нельзя ни шагу ступить по Триесту, не провалившись в историю. Падаешь в прошлое в переулках старого гетто. Камни плачут.

Европа en miniature. На узком пространстве теснейшим образом взаимодействуют этносы и культуры — без блеска, скорее уж жестко. Триест — больше не порт Империи, но уже и не мертвая оконечность Италии, безнадежно утопленная в тени труднопреодолимых границ. Нежеланная изоляция — в прошлом, но сохранился приобретенный опыт: близость границы обостряет восприимчивость к различиям. Выше, на плато Карст и в раскинувшейся у его отрогов Истрии, живут словенцы. Живут они и в самом Триесте — в их распоряжении несколько национальных школ и культурный центр.

До сих пор слышу голос своей няни Амелии — она поет мне словенские песни. Прошло уже много лет. По-прежнему существуют пятьсот пятьдесят четыре ступеньки, ведущие к ее окруженному виноградниками дому, стоит и дом, только самой Амелии больше нет. Амелии, которая жарила самые сочные на свете сардины и метким ударом туфли убивала скорпионов. Места связаны с людьми. Я стою возле дома моего детства — без Амелии, без горбатой Виолетты. Осыпается ржаво-красная штукатурка. Жалюзи закрыты. Сад зарос. Лишь море сверкает по-прежнему в своей постоянной изменчивости.

Наверное, я так скучаю по этому городу из-за моря. Скучаю по его утомленному блеску, терпкой парадоксальности. Разрушенные пути на товарной станции, прилегающие к порту пустыри, неразбериха пригородных строений, пронизываемые борой[1] ущелья улиц. Море, как шелк. Его окружает сияние, высоко над торчащими вверх светлыми скалами. Оно смешивается с горизонтом, оно — само небо.

Свет пахнет барвинком.

Свет.

Ночь пахнет буком, тисом, тимьяном, жасмином.

Бывает короткая ночь сиесты и долгая ночь звезд и прерывистых сигналов маяка. Когда тишина такая, что наверху слышен звук прибоя. Море лижет берег, море качает водоросли. И лежащих в ночи без сна.

Как я спала в Триесте, сколько видела снов... На трех языках. Хватит на много лет.

Моря нет, но тимьян, розмарин, лаванда, дрок, волнистая от виноградников равнина и позади гора. Властная гора. Называется Ветряная гора, Мон-Ванту. Самая высокая в Провансе (1908 метров), на нее поднимался Петрарка, положив тем самым начало европейскому альпинизму. Самый опасный этап "Тур де Франс". Потому что плоская ее вершина, совершенно голая, подставлена солнцу и непогоде. А подъем серьезный.

Издалека — строго лицом к лицу — светлая вершина напоминает лежащую женщину, непристойно раскинувшуюся. В облачные дни у вершины вырастают рожки и руки, она дымится, как вулкан, или вообще пропадает из виду. Потом это наваждение кончается. Но вскоре начинается новый спектакль, новое превращение. В этой горе есть что-то сакральное. Давным-давно выбрала я ее своей Фудзиямой. На ее склонах растут кедровые леса, где без счета грибов и ягод. С вершины к северу открывается вид на Альпы до самой горы Мон-Блан, на юг — до Камарга[2]. Панорама не охватывает

1. Бора — сильный ветер, дующий преимущественно в холодное время года вниз по горному склону и приносящий значительное похолодание.
2. Камарг — болотистая область на средиземноморском побережье Франции, в устье Роны.

того, что остается тысячекратно неохватным. Когда мистраль крепок, когда ярки цвета. Извилины и изгибы первого дня Творенья.

Однажды в базарный день, возвращаясь из Карпентра, я чуть не потеряла голову, или, вернее сказать, рассудок, — там, наверху. Ветер свистел и хрустел, до костей пробирая. Вокруг простирался ступенчатый мир всех мыслимых оттенков. Красота была невыносима. И я решила впредь оставаться внизу.

Внизу, то есть в Венаске. В старом каменном доме с террасой, на древнем скальном отроге хребта, принадлежавшем поочередно римлянам, Меровингам, сарацинам. Тут баптистерий VI века с большим восьмиугольным крещальным бассейном, там — "башня сарацин", в тени которой и старый, и малый играют в шары. Между ними элегантная узкая деревенская улочка с двумя фонтанами и легендарным трактиром. Его хозяин изобрел мороженое с трюфелями. Мсье С. понадобилось немало времени, чтобы сделаться специалистом по трюфелям. Он родился в Германии, вырос в Швейцарии и вел свое дело в Париже, пока в один прекрасный день не развернулся вдруг спиной к суете большого города и не купил старый дом в древнем Венаске. Он научился готовить, да еще как. Гости съезжаются со всего света, а его кулинарные курсы притягивают даже американцев и австралийцев. Голубей он берет на деревенской голубятне, сыр — прямо у пастуха, морскую рыбу — на Авиньонском рынке. День начинает с рассветом и заканчивает уже за полночь, выкуривая напоследок сигару. В его ресторанчике семь столиков, этого достаточно. Выходят от него со счастливыми лицами.

Может быть, это место и предназначено специально для счастья. Высокое темно-голубое небо, бесцеремонные цикады, вишневые деревья и оливковые рощи, виноградники, изгороди из дрока. И ароматы в любое время суток. Олеандра, лаванды, кипариса, пряностей. Чтобы захватить все пять чувств.

Мы все тут: мой сосед польского происхождения, политический репортер из Парижа; мой добрый старый друг Юрий, петербургский еврей, известный парфюмер; художник Н. с женой-финкой. Привлеченные светом и видом на Мон-Ванту. Юрий — ему сильно за восемьдесят, — сидя в плетеном кресле на террасе, рассказывает о детстве на берегах Невы, о школьных годах в Берлине, военной неразберихе в Марселе, об основании фирмы в Париже, нескольких годах работы в Индии. Но больше всего он любит читать вслух стихи: русские — Пушкина, Лермонтова, Блока; немецкие — Рильке, Гёте, Гейне; если попросить, может прочесть французские или английские — всегда наизусть, только на языке оригинала, с тихой печалью в голосе. Если бы все вышло, как он хотел, с юности он посвятил бы себя литературе. Набоков напечатал когда-то несколько его стихов. Но вместо поэзии звуков возникла другая — поэзия ароматов. Парфюмерия.

Биография европейца, рассказанная с раскатистым "р" в той части Прованса, где находятся старейшие во Франции синагоги. И где сегодня приверженцы Ле Пена расставляют ложные метки. Поощряя регионализм и ненависть к чужакам. Но Европа — это палимпсест. Европа — пестрая псина, она не может стать одноцветной. И вот мы сидим, случайно сведенные вместе на этой террасе. И искрятся виноградники.

Ночью начинается звездопад, рука тянется к пуговице[1]. Где-то квакают лягушки. А перед городскими воротами с шумом катаются шары: Tirez![2] Играют местные и чужаки, гости — да все желающие. Кто хочет смотреть, стоит, облокотившись о старинную сарацинскую стену. Бриз добирается до проводов подсветки, лампы качаются, отбрасывая танцующие тени на песок под ногами. Здесь-

1. Швейцарцы нажимают на пуговицу при виде падающей звезды, чтобы сбылось загаданное желание.
2. Бросайте! (*франц.*)

то как раз неровно, тут и там крупная галька. Шары тормозятся, почему их и стараются подбросить повыше. Игра для терпеливых, в сомнительных случаях расстояние до "поросенка"[1] измеряют линейкой. Опытный игрок тщательно протирает шар перед каждым броском, присаживается на корточки и свободно, быстро направляет его вперед легким движением кисти. Точно в цель. Существуют специальные поощрения, советы, шуточки, игроки непрерывно переговариваются, хлопают друг друга по плечу, топчутся на песке. С точки зрения социальной гигиены, лучше не придумаешь: все эти игры, турниры... Здешние мужчины уж точно не чувствуют себя одинокими.

Будь-то *буль*[2] или *боччиа*: катится тяжелый металлический шар. По тщательно взрыхленному прямоугольнику или по естественному грунту, по-итальянски, по-французски – все равно. Пока он катится, время не существует. Не играет никакой роли. Пока не выключат свет, пока дождь не зашлепает по площадке.

Юг. *Буль* и *боччиа* так же принадлежат югу, как порывистый северный ветер, как резкие линии теней. Три моих родных уголка образуют *ББ*-треугольник. Для меня нет большой разницы между закрытыми от ветра площадками и другими, не защищенными от него, – под каштанами ли, под платанами ли. Что имеет значение, так это *ББ*-язык, идиоматика терпеливой игры. На *ББ*-широтах привычна невозмутимость, люди знают толк в выпивке, в продуктивном безделье. Ну и что. По утрам все равно встает солнце – а как же. Красное, как кораллы. Биржа, барометры, балансы могут и подождать.

Иногда я воображаю, что прячусь внутри уха мира. Ощупываю фиговый лист, следую геометрии лавандового поля. На его краю стоит *бори*, древняя пастушья хижина, серая, как ехидна. По камню носятся крошечные ящерки. Оглушающая тишина. Шагать. Шагать. Вспоминать-забывать. Шагать. Мимо тонких цветочных брешей. Шагать. Долго. Путь, петляя, уводит в долину. Охряная земля. Твердолистые скальные дубы противятся солнцу. Дальше шагать. Еще. Пока не отпадут взбесившиеся страхи, не придет равновесие. Внизу, в долине. Вне времени.

Мария Рыбакова
Шумит Тирренское море

Я прислушиваюсь к шуму волн. Это Тирренское море бьет в прибрежные скалы. Под серым небом итальянской зимы волны отчаянно врезаются в камень, что крошится под их напором, оказывается пористым, как губка, впитывает в себя эту зиму, как впитал уже множество зим. Морские быки с пеной у рта ревут и бодают утес, и скала уступает. Звуки ударов и шипение отходящей волны раздаются так громко, что заглушают слова моего спутника, заглушают мое собственное дыхание.

1. Фигура, к которой шары должны подкатиться.
2. Буль – от *франц.* boules – шары. Игра, распространенная на юге Франции, разновидность боччиа, отличается от нее лишь тем, что площадка для игры не должна быть песчаной и ровной, грунт может быть любым.

© Мария Рыбакова, 2006

Мы поднимаемся в гору по вьющейся тропе. Неужели я ошиблась, и это тонкие стволы бамбука шумят, колеблемые ветром? В шелесте бамбука — шипение волн, в шепоте моего спутника — прерывистое дыхание тех, кто идет впереди нас, за нами, рядом с нами. Иногда они оборачиваются и разглядывают наши непривычные европейские лица. Каждый кутается от ветра в пальто.

Волны встают стеной даосского монастыря. Строители избегали прямых углов, стремясь к бесконечным закруглениям. Странные медные боги с клювом и когтями птицы смотрят на нас. Знак: пернатое существо, летящее ввысь (значение: вечная жизнь). Рядом статуя старика, что обрел бессмертие. Из его глазниц проросли тонкие руки, держащие зрачки в ладонях. Одни и те же частицы складываются разнообразно, определяя течение жизни, — и потому добрый монах гадает, сидя за столиком. Волосы на голове забраны в круглый пучок, монах кивает тем, кто подходит, спрашивая: "Что меня ждет?" Нам тоже хочется знать наше будущее. Но мы не умеем говорить по-китайски и потому остаемся в неведении (может быть, так даже лучше: если не знаешь наверняка, что тебя ждет, остается надежда). Однако мы можем попросить богов о бессмертии или хотя бы продлении жизни. Мы зажигаем тонкие ароматические палочки, чтобы опустить их в горячий песок медной курильницы. Мои пальцы зарывались когда-то в песок. Это Тирренское море раздробило скалу на мельчайшие доли, на песчинки. Пернатые бессмертные существа перекликаются с чайками Горация, когда я опускаю руку в горячий песок, но песок остывает.

Я купила томик Горация утром в магазине иностранной печати. У этих стихотворений нет названий, у них есть номера. Одиннадцатая ода первой книги. Эта поэма преследует и бередит меня уже много лет. Я — со сборником в кармане, мой спутник — с фотоаппаратом. При выходе из монастыря перед нами расстилается огромное озеро. Лучи холодного солнца искрятся в его тихой воде. Смутные очертания невысоких гор окружают водную гладь, посреди которой — остров, а внутри него — второе озеро, в миниатюре повторяющее большое. Мы в Ханчжоу. Марко Поло, как утверждает легенда, был здесь три года губернатором. "Для богов — небеса, а для смертных — Ханчжоу", — говорил он.

Вдоль холмов, поросших лесом, пробираемся мы от пагоды к пагоде. Где-то в чаще спрятано святилище бога семейных уз. Мы хотим избежать его и сворачиваем влево, карабкаясь все выше, выше, к разрушенной и снова построенной башне, где "медлят облака".

От ходьбы мы согреваемся. Столь редко бывает нам здесь тепло, что мы кутаемся в него, как в расшитый золотом плащ. Все эти долгие осенние и зимние месяцы мы пытались согреться. Холодный ветер проносился по казахской, монгольской, маньчжурской степи. Там, где Китай граничит с Сибирью, простирая на север худую руку железной дороги (а встречная несет торговцев из России, как несла когда-то отступающих белогвардейцев), мы работаем учителями. Бог времени невидим и нелюдим: как еще объяснить, что институт истории античных цивилизаций возник посреди кочевой когда-то степи, продуваемой всеми ветрами? По темным коридорам трехэтажного дома бродят сквозняки. Я вхожу в аудиторию, не снимая шубы, и спрашиваю домашнее задание. Студенты — в куртках и варежках. Один из них поднимает руку и декламирует с легкостью, противоречащей снегу за окном и мерзлым стенам здания. Дыхание горячо и, вылетая, становится паром, а пар — латинским словом:

> Не спрашивай, Левконоя, — знать
> не дано, какой мне, какой тебе
> боги судят конец, и вавилонские
> числа ты не пытай. Буде что
> сбудется:

много ли зим Юпитер нам даст,
или эта последняя
бьет Тирренского моря валы о
пемзу прибрежных скал.
Мудрой будь: потихонечку вина
процеживай,
нить надежды коротким
пространством мерь.
Пока мы с тобой говорили,
времени след простыл —
срывай же день, как можно
меньше веря грядущему.

Много ли зим Юпитер нам уделит, или эта последняя, что дробит кости невыносимым холодом? Все мысли направлены на возможный источник тепла: обогреватель, одеяло, грелка, газ на плите, два часа горячей воды по вечерам, бутылка вина. Стоило солнцу поблекнуть и прозрачному воздуху потемнеть, дрожь снова подбирается к нам.

Мой спутник хотел взглянуть на гору, усеянную каменными изваяниями будд, однако сумерки заставляют нас вернуться в гостиницу. Мы так и не увидим гору, что, по преданию, перелетела сюда по воздуху вслед за монахом, вернувшимся из странствий. Только в воображении мы увидим фигуры пузатеньких будд с молитвенно сложенными руками среди кустов, деревьев, камней. Даже конец дня не в нашей власти, не то, что целая жизнь: наши намерения остаются фантомами.

В гостинице я говорю: "Послушай, еще в Европе мне снилось, будто я сажусь на велосипед и перелетаю на нем огромную цепь гор, то ли Урал, то ли Гималаи. Подножие этой горы все в резных скульптурах, и вот горная цепь оборачивается бесконечными книжными полками".

Но мой спутник слушает молча, положа руку под голову и вытянувшись на кровати. Мы никогда не перебиваем друг друга. Я не знаю, о чем он думает. Мне хотелось бы прочитать ему стихотворение, но я медлю и упускаю момент. Уже включен телевизор.

"Смотри-ка, что передают — корриду. Многие хотят ее запретить. Однако я считаю, что это своего рода спорт. Ты как думаешь?" — "Развлечение". Мы смотрим, как на арену выводят молодого, полного сил бычка. Худощавый тореадор с помощниками принимаются его дразнить. Крупным планом — лицо тореадора, большеглазое, хищное. Бык мне милее. Он бросается на красную тряпку и получает рану в шею. А потом доверчиво стоит, пока его снова не начнут дразнить. На наших глазах он теряет силы, но ему, встряхивающему головой, это еще неведомо. Через короткий отрезок времени мы скажем: этот красивый бык — был. Его жизнь проходит перед нами, от радостных скачков до небытия; мы рукоплещем печальной тайне превращения живой материи в неживую. Я родилась в год быка.

Желание следить за умирающим существом: погребальные игры тирренцев, где кровь раба орошала могилу, их бессодержательный потомок — бой гладиаторов — и, наконец, коррида. Но тирренцев больше нет, как нет и римлян. Мы следим всего лишь за быком, бессловесной тварью. Значит ли это, что мы тоже обречены на исчезновение? Возможно, наш интерес к печальному поединку происходит оттого, что мы слишком живо угадываем свою судьбу в борьбе со временем.

Бычья кровь льется на песок. Я наливаю красное вино в стакан и смотрю сквозь стекло на свет лампы: в вине пляшут блики. Стоит покачать стакан, вино плещется о его стенки, бурное море цвета вина бьется в скалы. Снова слушай шум Тирренского моря волн!.. Где-то (где-то возле Неаполя) когда-то (когда-то очень давно) я сидела у окна в ненастную погоду и прислушивалась к биению валов о скалы, как врач слушает биение пульса больного, пытаясь угадать, долго ли продлится эта зима, эта болезнь.

Отчего возникает эта картина, от присланной ли кем-то открытки, где итальянская деревушка примостилась у скалы над пучиной? Она заснята в момент разыгравшейся стихии: огромные волны долетают до

первых этажей, дома испуганно жмутся друг к другу под серым небом. Не видно ни единого человека: жители попрятались по домам или покинули деревню. Я не помню текст: "путешествую", "скучаю", "скоро буду обратно"? Он вдруг кажется необычайно важным, будто имеет отношение к сегодняшнему дню. Пытаюсь восстановить строчку за строчкой, но мысль прерывается, оттого что мой спутник спрашивает: "Хочешь, летом поедем куда-нибудь на юг – в Испанию или в Италию?"

Я выключаю свет.

Слепоглухие, мы превращаем тепло одеял в пейзажи нашего воображения. Свернувшись клубком, каждый пребывает где хочет. Я не знаю, по каким лугам ступает в темноте мой спутник, глядится ли он в каменные глаза будд, гладит ли быков, обреченных на смерть. Мне хочется последовать за ним, но я остаюсь в старом доме на скале, что отвесно спускается в море. Снизу доносится рев волн, бьющихся в отчаянии об одну и ту же преграду. Уже две тысячи лет здесь зима, а вино все еще не процежено. Я снова гадаю по вавилонским табличкам...

Баярд Тейлор

Путешествие в Грецию и Россию, а также поездка на Крит

Фрагменты книги

Перевод с английского и вступление Галины Лапиной

Россия 1858 года глазами американского писателя

Из истории русско-американских связей XIX века имя американского литератора и путешественника Баярда Тейлора (1825—1878) выпало незаслуженно. По сути дела, он был воплощением этих связей, культурным посредником между двумя странами. В России, где Тейлор побывал летом 1858-го и провел зиму 1862—1963 годов, он, человек широко образованный, знавший несколько языков, объездивший полсвета, удивлял своим несоответствием привычному образу янки. У себя на родине он разрушал стереотипные представления о нашей стране, делясь своими впечатлениями о ней в путевых очерках, статьях, публичных лекциях и даже стихах. Взгляды и оценки Тейлора не могли не воздействовать на образ России и русских в американском культурном сознании, поскольку его литературная репутация в свое время была чрезвычайно высока.

Современники называли Баярда Тейлора "великим американским путешественником" и зачитывались его книгами о дальних странах. Послушать его лекции о путешествиях собиралось до четырех тысяч человек: "Залы были переполнены, барышни вытягивали шеи, отовсюду слышался шепот 'вот он! это он!'".

О его стихах и прозе одобрительно отзывались Лонгфелло и Теккерей, По и Браунинг, Теннисон и Ауэрбах. Перевод на английский язык гётевского "Фауста" принес ему признание в академических кругах. Кроме немецкого и французского, он знал арабский и русский языки и читал Пушкина в оригинале.

Он участвовал в политической жизни Североамериканских Штатов, выступал за отмену рабства, лично знал Линкольна, многих сенаторов и министров и остро переживал события Гражданской войны, унесшей его любимого брата. Он был секретарем и поверенным в делах посольства САСШ в Петербурге и в конце жизни — послом в Германии.

Американский писатель Баярд Тейлор родился в 1825 году в городке Кеннет-Сквер, штат Пенсильвания, в небогатой семье, сохранявшей в своем укладе квакерские традиции. Формальное образование его завершилось в 17 лет, когда ему пришлось поступить в типографию учеником наборщика. Через два года, выпус-

© Галина Лапина. Перевод, 2006

тив по подписке первый поэтический сборник и пообещав редактору газеты присылать путевые заметки, Тейлор отправился в Европу. Это было первое из его многочисленных путешествий. "Чтобы лучше узнать английский язык, нужно выучить другой язык, чтобы больше узнать о своей стране, нужно пожить некоторое время за ее пределами. Нет ничего важнее сравнения", — писал он в 1845 году из Франкфурта-на-Майне. Сравнение, правда, оказалось не в пользу Европы — повсюду он находил подтверждение превосходства американских институтов и американских нравов: "Многое из того, на что дома мы в силу привычки не обращаем внимания, здесь нас поражает. И должен сказать, что для нас, как и для всех американцев, отправившихся за океан, каждый день приносит доказательства тому, что свободные Штаты намного, намного опережают любую страну мира, хотя было бы глупо предположить, что нам нечему научиться у других". Когда через два года Тейлор вернулся на родину, он, к своему удивлению — и немалому удовольствию — узнал, что его путевые заметки, которые печатались в газетах "Tribune", "Saturday Evening Post" и "United States Gazette", имели успех у читателей. Вскоре солидное издательство *Wiley & Putnam* решило выпустить их отдельной книгой. Книга, которую Тейлор назвал "Пешком по Европе с мешком за плечами и с палкой в руках", лишь за один 1846 год выдержавшая шесть изданий, принесла автору известность в литературных кругах и положила начало успешной карьере писателя-туриста. В 1849 году по заданию газеты "Tribune" Тейлор отправился в охваченную золотой лихорадкой Калифорнию, и вскоре появилась ставшая еще одним "бестселлером" книга "Эльдорадо, или Приключения на дорогах империи. С иллюстрациями автора" (1850). Окрыленный успехом Тейлор едет за впечатлениями в самые экзотические страны. О географии его поездок говорят названия книг, выходивших одна за другой: "Путешествие в Центральную Африку, или Жизнь и природа от Египта до негритянских королевств на берегах Белого Нила. С картой и иллюстрациями автора" (1854), "Земли сарацинов, или Картины Палестины, Средней Азии, Сицилии и Испании" (1854), "Посещение Индии, Китая и Японии в год 1853" (1855), "Северные путешествия: Летние и зимние картины Швеции, Дании и Лапландии" (1857). В 1858 году Тейлор совершил продолжительное путешествие по Греции, которое должно было стать последним: он собирался обосноваться на родине, построить дом и посвятить себя семье (он недавно женился и, по его словам, был "счастлив, как никогда в жизни"), поэзии и литературе. Однако на карте "великого американского путешественника" оставалось большое белое пятно — Российская империя, которая давно манила его, и ему не хотелось покидать Европу (как ему казалось, навсегда), не посетив ее. В середине июня, оставив жену в Готе на попечение ее родных (Мари Гансен была дочерью известного немецкого астронома), он поспешил на дилижансе в Москву. Вся поездка заняла у него чуть больше месяца, но благодаря опыту профессионального путешественника ему удалось многое посмотреть, увидеть и описать. В книге "Путешествие в Грецию и Россию, а также экскурсия на Крит" (1859) России посвящено девять глав, которые, по словам автора, "следует рассматривать скорее как эскизы, нежели законченные картины. Они представляют собой попытку запечатлеть веселую, странную, пеструю русскую жизнь в ее *внешних* проявлениях".

Прошло всего четыре года, и Тейлор вновь приехал в Россию, на этот раз в роли дипломата — секретаря посольства, а затем chargé d'affaires[1]. Он занял важный дипломатический пост в острый для его страны момент: Север терпел по-

1. Поверенный в делах (*франц.*).

ражения от армии конфедератов, и этим хотели воспользоваться Англия и Франция, вынашивавшие планы интервенции совместно с Россией. Однако склонить на свою сторону Россию им не удалось, в чем есть и заслуга исполнявшего обязанности посла САСШ в Петербурге Баярда Тейлора. К американцу благоволили император и князь Горчаков, с которым у Тейлора сложились весьма доверительные отношения. Он вдохновенно и успешно играл роль дипломата: регулярно встречался с министром, бывал во дворце, беседовал с императором, писал подробные депеши на родину, изучал русский язык. При этом он оставался прежде всего литератором и мечтал написать большую книгу о России, "достойную этой страны". К сожалению, мечта его не сбылась: через год Тейлору, не получившему вопреки его желанию место посла, пришлось покинуть Петербург.

Современник Тейлора и автор первой биографии писателя Р. Конвелл, размышляя над будущим его литературного наследия, предсказывал, что "его книги о путешествиях будут читать еще сто лет независимо от того, побывают ли в тех местах и среди тех людей, о которых он рассказал, тысячи или единицы новых путешественников"[1]. По мнению Конвелла, "как писатель, повествующий о своих путешествиях и изображающий людей в необычной обстановке, в малоизвестных странах, Тейлор не имел себе равных". Хотя славой своей Тейлор был, прежде всего, обязан книгам о путешествиях, он мыслил себя прежде всего поэтом.

Первый свой стихотворный опыт — "Монолог молодого поэта" — Тейлор напечатал в шестнадцать лет и стихи продолжал писать практически всю жизнь. Он был учеником и — увы! — подражателем поэтов-романтиков, но романтическая поэзия принадлежала дню вчерашнему, и стихи его, едва успев выйти из-под пера, теряли свежесть. Правда, современники, товарищи по поэтическому цеху, отзывались о них довольно благосклонно, сборники стихотворений и баллад Тейлора быстро расходились, и он поверил, что "публика наконец признала в нем не только путешественника, но и поэта". Испытания временем стихи Тейлора не выдержали и сегодня практически забыты — за исключением разве что нередко входившей в антологии американской поэзии "Песни бедуина" из сборника "Восточные стихотворения" (1855). Та же участь постигла и художественную прозу Тейлора — четыре романа и сборник коротких рассказов, оказавшиеся нежизнеспособными из-за мелодраматизма, назидательности и искусственности построения сюжета. Один из романов, "Ханна Торнстон" (1863), "в котором развивается женский вопрос", был переведен на русский язык и напечатан в приложении к некрасовскому "Современнику" (1864). В своем предисловии А. Н. Пыпин оценивает его как "чисто общественный, в ближайшем смысле этого слова, роман, посвященный изображению известной области общественной жизни с более или менее определенной точки зрения". Говоря о прозе Тейлора, любопытно вспомнить рассказ "Красавица и зверь", давший название его прозаическому сборнику. В предисловии Тейлор предупреждает читателей о том, что факты заимствованы им у русского автора Petjerski, а фантазия — его собственная. Имелся в виду Мельников-Печерский и его рассказ "Старые годы", увидевший свет в "Русском вестнике" в 1857 году. Сопоставление этих двух рассказов дает основание говорить о "Красавице и звере" как о переложении (и даже частичном переводе) рассказа русского писателя. У Тейлора действуют те же герои — как главные, так и второстепенные, — что и у Мельникова-Печерского. В центре повествования тот же конфликт барина-крепостника, воплощающего зло, и его невестки, носи-

1. R. H. Conwell. The Life, Travels and Literary Career of Bayard Taylor. – Boston, 1881.

тельницы добра и красоты. Среди многочисленных "фактов", которые Тейлор заимствует у Печерского, — описание забавы самодура-барина, заставлявшего своих крепостных прыгать с обрыва в замерзшую реку и головой пробивать лед — "делать резака" (в английском варианте "reisak"). Тейлор, судя по всему, способен был прочесть и понять стилистически сложный текст. О том, насколько внимательно он читал оригинал, свидетельствует само название его рассказа: хотя оно и иное, чем у Печерского, скорее всего оно навеяно следующим пассажем из оригинала: "Княгиня Варвара Михайловна такая была *красавица*, что *дикого зверя* взглядом бы своим усмирила". Прилежно пересказав основные события рассказа "Старые годы", идеалист-романтик Тейлор изменил трагическую развязку на "happy ending": звериный нрав самодура-крепостника в его рассказе смягчается под благотворным влиянием красавицы невестки — красота побеждает зло.

Тейлор умер в Германии 19 декабря 1878 года и был похоронен в родном городе Кеннет-Сквер. За строками некролога, помещенного в петербургском журнале "Живописное обозрение" (1879, № 8. С. 178—179), читалось искреннее восхищение энергией и целеустремленностью — качествами, уже тогда ассоциировавшимися с американским характером, — благодаря которым человек из низов прокладывает себе дорогу в жизни:

"Талантливый, оригинальный писатель, наблюдательный путешественник и хороший этнограф, замечательный лингвист Баярд Тейлор своими солидными познаниями, серьезным образованием, развитием и почетным общественным положением обязан единственно самому себе. Он выбился на хорошую и честную дорогу из страшной нищеты, без постороннего содействия и, выйдя из борьбы с жизнью полным победителем, доказал самым наглядным образом, что́ может сделать светлый ум при помощи энергии и упорного труда".

Можно сказать, что Тейлору повезло: он оказался в России в третий год царствования великого реформатора Александра II, в то время, которое Лев Толстой впоследствии иронически назвал временем "цивилизации, возрождения и прогресса России", когда вся страна "как один человек, находилась в неописанно восторженном состоянии". Это восторженное состояние, как кажется, передалось и Тейлору. Конечно же, он замечал живописную экзотику старой, "азиатской" России, внимательно вглядываясь в лица странных и малопонятных ему людей на улице — бородатых крепостных, извозчиков в квадратных шапках, баб в сарафанах, продавцов кваса — и стараясь их запечатлеть. Интерес свой сам он объяснял тем, что "эти персонажи иллюстрируют такие черты русской жизни, которым скоро суждено перемениться или вовсе исчезнуть". Подтверждение тому, что Россия находится накануне "грядущих великих перемен", что "старое уходит, а новое нарождается", он находил в московских гостиных, где "был приятно удивлен" тем, с какой свободой и оптимизмом собравшиеся обсуждали грядущие реформы, в прекрасных железных дорогах (пусть и построенных при помощи американских инженеров), способных кого угодно "отучить от суеверия", в людях, подобных Кокореву, готовых использовать заработанные капиталы на благо своего народа, в устройстве Воспитательного дома, где дети-сироты окружены небывалой даже для Америки заботой государства. В наивном оптимизме Тейлора по поводу будущего России отразилось общее умонастроение предреформенной России, что придает его забытому путевому очерку особый историко-культурный интерес.

Три или четыре раза в неделю из Варшавы в Москву отправляется дилижанс. Расстояние между этими городами — восемьсот английских миль — карета первого класса, которая отбывает вечером по понедельникам, преодолевает за пять дней, тогда как остальные — за шесть. Плата составляет пятьдесят серебряных рублей (37 долларов 50 центов) за место снаружи и семьдесят (52 доллара 50 центов) — внутри. По причине большой жары мы предпочли разместиться на воздухе, однако коль скоро никто из пассажиров не проделывал весь путь подобно нам, мы могли занимать освободившиеся места. <...>

Первую ночь попутчиком нашим был молодой поляк. С интересом узнал я от него, что стихотворения Лонгфелло опубликованы на польском языке в Люблине, большом городе в ста милях на юго-восток от Варшавы. Он сказал также, что знаменитый польский поэт Адам Мицкевич был большим поклонником Эмерсона и нередко цитировал его в своих прозаических сочинениях. Император Александр недавно разрешил издать в Варшаве собрание сочинений Мицкевича (кроме некоторых из его политических статей), а также организовать сбор пожертвований для семьи поэта.

Станции расположены на расстоянии от двенадцати до двадцати двух верст друг от друга. Остановки коротки — едва хватает времени переменить лошадей. В городах побольше дилижанс стоит полчаса, и пассажиры имеют возможность перекусить. Поляк, помогавший нам первые двенадцать часов пути, вышел, оставив нас на произвол судьбы, — кондуктор говорил только по-русски. Чтобы не пропасть, нужно было овладеть кое-каким знанием языка. Я взялся за дело и с помощью далеко не совершенного словаря в книге *Murray* выучил числительные до ста, а также слова "сколько?" и "быстро"; beef-steak звучит одинаково на всех языках, tea по-русски произносится так же, как по-китайски —"tchai". Итак, отныне мы могли без труда удовлетворять свои желания. Что до словаря, то он, как и большинство словарей в книгах для путешественников, имеет целью обучить вас словам, которые никогда не пригодятся. Вы узнаете, как по русски "floating preserve for fish"[1] или как сказать "я дворянин", однако ж не сможете отыскать в нем таких вульгарных слов, как "таз" или "полотенце" или даже глагола "иметь". <...>

Едва ли где-нибудь в мире найдется дорога лучше, чем та, что ведет на Москву. На всем своем протяжении она вымощена щебнем и содержится в образцовом порядке. Если когда и отклоняется она от прямой, то это почти не заметно. Кроме того, не считая нескольких речных переправ, здесь нет крутых спусков или подъемов, которые могли бы затруднить строительство железной дороги. Достаточно построить шесть-восемь мостов, и можно прокладывать рельсы от Варшавы до Москвы. Через каждую версту стоит столб, указывающий расстояние до этих городов, до Санкт-Петербурга, а также до ближайших почтовых станций в обоих направлениях. Каждая верста, кроме того, поделена на пять отрезков. Все почтовые станции построены из кирпича по единому плану: дом выходит окнами на дорогу, с обеих сторон к нему примыкает высокий кирпичный забор с воротами, за забором — просторный двор с конюшнями и постройками для прислуги. В доме три или четыре чистые,

1. Садок для рыб (*англ.*). (*Здесь и далее – прим. перев.*)

удобные комнаты: здесь путешественники найдут все необходимое, кроме кроватей. Русские возят с собой постельные принадлежности и при желании всегда могут заночевать на широких кожаных диванах. Тот, кто пускается в дорогу не в дилижансе, обязан иметь подорожную или разрешение правительства на получение лошадей на станциях, как в Швеции. Иностранцу, пожелавшему путешествовать подобным образом, следует обзавестись коляской и уметь объясниться по-русски.

На третий день утром мы приехали в город Бобруйск, что на Березине. Именно в этих местах, вверх по реке на переправе у Борисова, отступавшая из Москвы французская армия попала в беду. В настоящее время Березина — глубокая, полноводная, спокойная река с низкими, извивающимися берегами, которая ниже по течению сливается с Днепром. Кругом города радуют глаз березовые и осиновые рощи, среди которых возвышается краснокирпичная масса нового форта. У моста бравый солдат, опиравшийся на крымские костыли, попросил у нас милостыню; на наших глазах два сильных, хорошо сложенных конюха сбросили с себя одежду, вскочили на лошадей и, уподобившись Тритонам, поплыли на середину реки. <...>

В пятницу мы прибыли в Древнюю Россию — на Святую Русь, как ее иногда с любовью и благоговением называют в народе. Деревни стали попадаться все чаще, и в каждой высилась церковь — прелестная, белая как снег, с ярко-зелеными куполами и шпилями, число которых соответствовало пропорциям здания. Эти веселые, грациозные строения, время от времени выраставшие над вершинами берез, придавали особое очарование монотонному пейзажу. Исчезли из виду евреи с пейсами, на станциях более не принимали польских денег, а внешность и одежда крестьян выдавали в них чисто русский тип. Лица всех крестьян украшали бороды, что придавало даже самым простым из них выражение особого достоинства. Бывало, едва наш дилижанс остановится, его тотчас обступает толпа весьма почтенных и очень грязных людей: беспрестанно с восточной мрачностью кланяясь, они просят нас проявить к ним милосердие. Я нисколько не сомневаюсь, что они прибегали при этом к выражениям в высшей степени изысканным и элегантным. Вели они себя настойчиво, однако без излишней навязчивости. Невозможно было обратить на них свою наблюдательность, чтобы тут же не услышать новые изъявления почтения и мольбы о помощи.

От Днепра мы переместились к Оке. Воды этой реки сливаются с Волгой, и та несет их в Каспийское море. Местность уже нельзя было назвать равниной. Скорее она представляла собой холмистую прерию, как на юге Висконсина, с тою только разницей, что спуски и подъемы там более крутые. Лошади наши сумасшедшим галопом неслись под уклон, и разбега их хватало на то, чтобы доскакать почти до вершины следующего холма. Случалось, дилижанс за час преодолевал расстояние в пятнадцать верст. Утром в субботу мы завтракали в Малоярославце, где видели обелиск в честь разгрома Мюрата, а вечером добрались до Подольска — оживленного городка у большого тракта, что ведет из Москвы на юг — в Тулу и Орел и дальше в Одессу и Крым. До Москвы оставалось всего верст тридцать пять, и нам не терпелось увидать ее прежде, чем стемнеет. За пять дней и пять ночей пути мы немного утомились, но благодаря великолепной дороге могли продолжать путешествие. Лучи заходящего солнца освещали серебристые березовые рощи, холмы и

долины с колосящимися злаками. Небо заволакивали темные тучи, усталость брала свое, и мы готовы уже были погрузиться в сон, как на горизонте показалась длинная вереница темных башен и восточных куполов, четко и резко вырисовывающихся на фоне грозного сияния. Это была Москва! Скоро мы спустились в долину Москвы-реки, много верст с грохотом ехали по темным улицам, в полуночном мраке окинули взглядом великолепную громаду Кремля и, одолев, казалось, бесконечную поездку в русских дрожках, достигли наконец гостеприимного рая уютной гостиницы.

Кажется, мадам де Сталь воскликнула, увидев впервые Москву: "Voilà Rome Tartare!"[1] Слова эти, возможно, и были справедливы в отношении древнего города, каким он был до пожара, но едва ли применимы к Москве нынешней. Она столь велика, что вполне может соперничать с Римом — из всех современных столиц Москва уступает разве только Лондону. Хотя азиатский характер и правда ощущается здесь не менее сильно, чем в Константинополе, однако ж Москва вовсе не татарский город. Космополитизм Москвы поистине уникален — тут она не имеет себе равных в мире. Позолоченные купола Лакхнау[2], китайские пагоды, византийские церкви, греческие храмы, дворцы в стиле Версаля, тяжелые невыразительные немецкие здания, деревянные избы, сияющие американские вывески, сады, тихие переулки, шумные улицы, рынки, турецкие базары, французские café, немецкие пивные и китайские чайные — все можно здесь найти, но не собранное в отдельных кантонах, а перемешанное и соединенное воедино так, что Европа и Азия, Прошлое и Настоящее, Старый Мир и Новый переплетены и перепутаны, и уже невозможно сказать, что здесь преобладает. Другого такого столь же причудливого и живописного города не найти. Назвать его русским значило бы слишком сузить представление о нем: Москва предполагает весь мир.

Местоположение Москвы неподалеку от воображаемой границы между двумя континентами объясняет эту особенность. Воды Москвы-реки ищут Азиатского моря, однако ж ближайшие порты находятся в Центральной Европе. Торговые нити протянулись из Москвы на восток, через татарские степи в Монголию и Китай; на юг в Самарканд и Бухару, в Кашмир и Персию; на север в Архангельск и Северный океан; на запад в Европу. Народ, ее основавший, пришел с юго-востока и принес с собой минарет, разбухший восточный купол, любовь к позолоте и ослепительно-ярким цветам. Свою религию он взял в Константинополе вместе с византийской колонной и греческим крестом; а между тем основатель российской державы обучался торговле на западе. На каждом из тысяч московских шпилей и куполов сияет полумесяц (напоминающий о том, что они побывали в руках татар), а над полумесяцем возносится победоносный крест. На юге Москвы муэдзин с крыши своей мечети призывает на молитву, а в это время на севере гудок паровоза объявляет об отправлении поезда на Петербург.

Москва не менее оригинальна, если смотреть на нее с высоты. Множество противоречивых впечатлений, возникающих из-за несообразности ее черт, забыты, и широкая, ослепительно-прекрасная панорама

1. "Вот татарский Рим!" (*франц.*)
2. Город в Индии.

обретает необыкновенный драматизм. Это грандиозное представление, имеющее целью произвести на вас впечатление, и трудно поверить, что перед вами — не декорации, которые можно разобрать и унести со сцены, как только цель будет достигнута. Откуда это множество травянисто-зеленых крыш, из которых вырастают сотни шпилей и башен — более странных и более фантастических, чем некое порождение фантазии сумасшедшего архитектора? Откуда эти позолоченные и посеребренные купола — они слепят вас отражением солнечных лучей, и, когда вы идете, вам кажется, что, опьяненные собственным великолепием, они танцуют и покачиваются? То, что открывается вашему взору, не может быть городом торговли и правительства, удовольствий и скандалов, преступлений и религии. Этот город построили во времена, когда сказки "Тысячи и одной ночи" были правдой, и в его главном дворце правит Князь Ста Островов. <...>

В Москве расстояние с севера на юг в поперечнике не превышает восьми миль, в то время как окружность составляет чуть меньше двадцати пяти. Город — это низкие дома, широкие, расползающиеся во все стороны улицы, большие дворы, рынки, сады и огороды. Расстояния здесь обманчивы, причем у местных жителей свои представления о том, что близко, а что далеко. Я совсем было растерялся, пока это не понял. "Рукой подать" означало целую милю. Если кто-то говорил: "Мы живем по соседству" — можно было не сомневаться, что от одного дома до другого не менее часа ходу. Кроме того, прямых улиц так мало, что почти невозможно пройти, не отклоняясь, из одной точки в другую. Ваш путь представляет собой либо прямой угол, либо полукруг, либо эллиптическую кривую, либо букву S. Я достаточно напрактиковался в orientieren, но топографию Москвы так до конца не освоил. В городе множество едва заметных поворотов, и постепенно вы все больше уходите в сторону, хотя при этом совершенно уверены в том, что идете правильно. Представьте себе, что ваша задача — с завязанными глазами докатить до определенного места тачку, и вы поймете, как легко в Москве сбиться с пути.

Именно это обстоятельство, однако, продлевает ощущение новизны, столь милое сердцу старого путешественника, коим является ваш покорный слуга. Здесь я нашел напоминания о всех тех уголках мира, где мне довелось побывать. При этом нигде более нет той особой живописной несообразности, которая отличает Москву. Лишь две улицы — Тверская, ведущая от Кремля к Санкт-Петербургским воротам, и Кузнецкий Мост по-столичному деловиты и остаются таковыми на всей протяженности; другие же изменяются на ваших глазах и готовят вам сюрпризы. Вы минуете дворцы с величественными портиками и оказываетесь в деревне; затем попадаете на многолюдный рынок; затем любуетесь церквями с золотыми звездами на куполах; затем идете вдоль торговых рядов с модными европейскими товарами. Неожиданно картина преображается: со всех сторон вас обступают сады, но пройдите еще шагов сто, и зеленое уединение сменится шумным восточным базаром. В Москве никто, кроме старожилов, не знает, что уготовила ему улица.

Население столицы весьма разнородно. Европейского вида джентльмены в цилиндрах и лайковых перчатках не кажутся более неуместными под золотыми куполами с полумесяцем на маковке, чем персы с желтовато-бледными лицами или разодетые в шелка армяне рядом с французским дворцом. Русский крестьянин с окладистой черной боро-

дой, в красной рубахе и широких, забранных в сапоги штанах, встретившись с вами на узком тротуаре, норовит толкнуть вас локтем. Чинно проплывает дама в самой маленькой из шляпок и самом широком из кринолинов, на почтительном расстоянии за ней следует слуга, как залог ее добропорядочности. Если бы не он, дама могла бы вызвать подозрение. Навстречу шагает красавец черкес с голубыми глазами и фигурой Адониса; а вот появился татарин в круглой шапке из черной бараньей шерсти или китаец, напоминающий поделку из желтой глины, вылепленную до сотворения подлинного Адама; за ними идут щеголеватые и наглые европейские торговцы, русская няня в красном головном уборе, похожем на распущенный павлиний хвост; длинноволосый священник в черной рясе; меняла, чье безбородое лицо служит свидетельством его бесполости; компания извозчиков в черных квадратных шапках и длинных синих кафтанах; офицеры в мундирах; пожарники в золотых шлемах, старые, похожие на святых нищие; дети, в чем мать родила; падшие женщины, цыгане, казаки. Вся эта бесконечная и постоянно изменяющаяся процессия проходит перед вашими глазами.

Лучший вид на Москву с высоты птичьего полета открывается с колокольни Ивана Великого в Кремле. Златоглавая колокольня имеет высоту 200 футов. Миновав Царь-колокол, покоящийся на гранитном пьедестале у ее подножия, вы входите в башню и взбираетесь по ступеням через полдюжины ярусов с колоколами на вершину, откуда вашему взору открывается почти вся Москва — *почти*, ибо северная ее часть не целиком попадает в поле вашего зрения. Город простирается во все стороны, насколько хватает глаз — между ним и небом темнеет на горизонте лишь узкое зеленое лесное кольцо. Под ногами, подобно раненой змее, извивается река Москва. Гигантское море бледно-зеленых крыш почти полностью поглотило ее. Широкая зеленая гладь крыш пестрит розовыми и желтыми пятнами домов повыше, и повсюду — близко и далеко, поодиночке или пучками, пронзают ее башни колоколен и открываются под солнцем золотые и серебряные бутоны куполов. Как гневно и победоносно отражается солнце на этих слепящих глаз полушариях — и вот уже вся столица севера полыхает жарче, чем в тропиках! Что за блеск и великолепие, что за игра всеми цветами радуги под бледно-голубым небом!

Еще более красивый вид открывается с Воробьевых гор. Кругом вас березы и ели. Внизу вьется река, в которой отражается небо. За рекой раскинулись цветущие луга. Далеко на горизонте они переходят в сады. Это городская окраина. Над садами протянулось золотое ожерелье города. Кажется, купола, что поближе, слепят вам глаза, а самые дальние сливаются с небом. Длинный их ряд заполняет треть горизонта. Я насчитал от пятисот до шестисот куполов, причем каждый третий из них — либо позолоченный, либо посеребренный. Купол нового собора, не уступающего по своим размерам собору Святого Павла в Лондоне, горит в самом центре, подобно огненному шару, — словно солнце, вокруг которого повсюду, куда ни кинешь взгляд, сияют звезды и созвездия. Отсюда авангард наполеоновской армии впервые увидел Москву — безбрежный, молчаливый, великолепный город, пылающий в закатных лучах солнца, — город, в сердце которого уже зрели семена другого, грозного великолепия. Не приходится удивляться тому, что солдаты Наполеона замерли, повинуясь непроизвольному порыву, побросали ружья и в один голос воскликнули: "Москва! Москва!"

Главный вход на Красную площадь – это двубашенные Воскресенские ворота на северо-востоке. Поскольку я взял на себя роль valet de place[1], то попрошу путешествующих со мной читателей задержаться у этих ворот, чтобы рассмотреть поближе небольшую часовню или скорее алтарь, построенный в стене меж двух сводчатых проходов. Перед алтарем – платформа, запруженная людьми, которые беспрестанно крестятся, головы их то наклоняются книзу, то снова поднимаются. Всякий, кто проходит через ворота, делает то же самое, а многие – будь то офицер, мрачного вида горожанин или разодетая дама – выходят из дрожек, пробираются сквозь толпу и падают на колени перед священным образом внутри часовни. Мы минуем кучеров, нищих, купцов и чиновников. Все они погружены в исполнение обряда и не обращают на нас никакого внимания. Наконец мы приближаемся к освещенной серебряными лампадами нише. Лампады горят перед блистающим золотом, серебром и драгоценными камнями иконостасом. Высокородная дама в шелках и кружевах стоит на коленях рядом с крепостным, обросшим неопрятной бородой: оба с искренним религиозным рвением целуют стекло, покрывающее изображение Византийской мадонны с младенцем, чьи темные, как у мулатов, руки и лица проглядывают через золоченую, усыпанную драгоценными камнями ризу. Это Иверская Божья Матерь – чудотворная икона, которая некогда сотворила чудеса в Грузии и на горе Афон, а последние двести лет считается покровительницей москвичей. Ее молят о помощи богатые и бедные во всех случаях жизни, и вряд ли найдется другая часовня, видевшая поклонение столь неподдельное и столь всеобщее, как эта.

От Воскресенских ворот открывается вид на Красную площадь, простирающуюся на юг вплоть до берега Москвы-реки... Пройдя в этом направлении, мы оказались перед самым поразительным из всех когда-либо виденных мной строений. Что это? Церковь, павильон или гигантская игрушка? Все цвета радуги, все возможные формы и комбинации из прямых и изогнутых линий собраны здесь воедино. Мы точно заглянули в гигантский архитектурный калейдоскоп, в котором наиболее несообразные элементы выстроились в определенном порядке, – поистине другой столь странной груды не найти нигде в мире. Красивым это строение назвать нельзя, ибо Красота предполагает по крайней мере намек на симметрию, тогда как здесь идея пропорции и сообразности напрочь отсутствует. Однако общее впечатление нельзя назвать неприятным, поскольку цветовой беспорядок, в котором преобладают красный, зеленый и золотой цвета, привлекает и радует глаз. Намеренная несообразность присуща даже мельчайшим деталям, и если вы и замечаете случайное сходство форм, оно сводится на нет разницей в цвете.

Это собор Василия Блаженного, построенный во времена Ивана Грозного. Говорят, царь был настолько им очарован, что велел ослепить архитектора, дабы тот не мог более создать ничего лучше. Правда, в Европе подобные истории ходят о других постройках, а также о часах и разнообразных механизмах, и верить им нельзя. Присмотритесь повнимательнее и поймете, что собор представляет собой скопление башен, среди которых нет двух одинаковых ни по высоте, ни по форме, ни по

1. Зд.: провожатый (*франц.*).

каким-либо еще свойствам. Некоторые из башен круглые, иные — квадратные, шестиугольные или восьмиугольные. Одна башня увенчана пирамидальным шпилем, другая — конусом, а остальные — разбухшими куполами, украшенными самыми фантастическими узорами — сплетением из желтых и зеленых перекрученных полос наподобие старинного мусульманского тюрбана; зелеными и серебряными вертикально расположенными ребрами; перемежающимися голубыми и золотыми квадратами; шишковатой, словно у ананаса, чешуей; заходящими один за другой листьями малинового, лилового, золотистого и зеленого цвета. Башни соединены столь же непохожими меж собой галереями. Внутри стены украшены гротескным орнаментом: цветочные горшки, чертополох, розы, виноградные лозы, птицы, звери, завитки — все переплетается и перепутывается в некое смешенье, подобное тому, что можно увидеть на капителях и фризах византийских церквей.

Собор внутри не менее причудлив, чем снаружи. Каждая башня заключает в себе часовню, так что двенадцать или пятнадцать святых имеют свой храм. Все они находятся под одной крышей, но при этом верующие молятся, зажигают свечи и курят благовония каждому в отдельности, так что они друг другу не мешают. Узкие в основании и уходящие высоко вверх часовни напоминают флейту. Стены их покрыты религиозными фресками и всякого рода орнаментальными росписями на золотом фоне. Подымите глаза и увидите, что из купола на вас взирает Христос, или Дева Мария, или некий святой покровитель. Высота центральной башни — сто двадцать футов, тогда как диаметр часовни внутри не превышает у ее основания тридцати футов. Не в силах найти лучших слов для описания сего сооружения, назову его Апофеозом Труб.

Бесчестность русских чиновников известна всем, и Александру II приходится прилагать большие усилия, чтобы выявить и наказать виновных. Сам он немало от них пострадал. Из сорока тысяч фонарей, установленных для освещения Кремля на время коронационных торжеств, сейчас не отыскать ни одного. Тысячи ярдов алой материи, доставленной для коронации, исчезли без следа. Огромные суммы вписаны в счета за покупку предметов, которые никогда приобретены не были. Вся Москва смеялась над одним из таких случаев — слишком забавным, чтобы о нем здесь не поведать, хоть я и рискую при этом нарушить строгие правила приличия. В Москву императрицу сопровождали пятьдесят фрейлин, чье пребывание, разумеется, оплачивалось из царской казны. Когда пришли счета, обнаружилось, что для спальных комнат пятидесяти фрейлин было закуплено 4 500 ночных ваз — то есть по девяносто на каждую даму.

Я не без удовольствия оборотил свои глаза, ослепленные великолепием Кремля, на дом, который не может похвастать ни золотом, ни драгоценными камнями, однако наилучшим образом иллюстрирует патриархальный или, вернее сказать, отеческий характер российской власти. Речь идет о Воспитательном доме, хотя название это не передает ни самой идеи императорской благотворительности, ни ее широты или полноты. Подобные заведения существуют в Париже, Стокгольме, Вене и других городах, но цели их значительно уже. Наш нью-йоркский приют для детей на Рэндалл-Айланд тоже представляет собой заведение в высшей степени полезное, однако круг обязанностей его намного уже. Вос-

питательный дом отличают характерные и весьма интересные особенности, заслуживающие всеобщего внимания, ибо они тесным образом связаны с одним из тех деликатных моральных вопросов, которых *наша* цивилизация боится касаться.

Откуда бы вы ни смотрели на город, взгляд ваш привлечет огромное четырехугольное строение или группа строений на северном берегу Москвы-реки, ровно на восток от Кремля. Белый фасад возвышается над всей округой и совершенно затмевает своим горделивым обличьем дворцы, храмы, военные казармы или иные общественные здания. Строение это протянулось чуть ли не на тысячу футов и размером своим, не побоюсь сказать, в три раза превосходит Капитолий в Вашингтоне. Место главы данного учреждения по важности уступает лишь губернаторскому, и его неизменно занимает дворянин высокого чина и выдающихся достоинств. Судить о важности Воспитательного дома можно хотя бы по тому, что его годовые расходы составляют пять тысяч долларов. Часть средств на нужды заведения выделяется из государственной казны. Кроме того, щедрые пожертвования поступают от царя и частных лиц. Говорят, вся эта собственность, служащая целям поддержки, содержания и образования сирот в России, оценивается в гигантскую сумму — пятьсот миллионов долларов.

Это удивительное заведение было основано Екатериной II сразу после ее восшествия на престол в 1762 году. Восемь лет спустя Екатерина открыла отделение Дома в Санкт-Петербурге, которое в настоящее время превосходит своего московского предшественника и по размерам, и по широте задач. Согласно первоначальному замыслу, Воспитательный дом должен был служить приютом для незаконнорожденных детей и бедных сирот. К нему примыкала больница — таким образом были предусмотрены те гуманные и милосердные средства, которые служат предотвращению преступности и облегчению страданий. Скоро, однако ж, цели заведения расширились и оно стало принимать *всех* без исключения детей: вопросов здесь не задают, условий не ставят, и каждый, кто пожелает, может определить сюда ребенка. Родители, само собой разумеется, отдают своих отпрысков на службу правительству, поскольку оно берет на себя заботы по их воспитанию. Россия становится повитухой, нянькой, кормилицей, матерью и учителем для каждой юной души, которой не нашлось места среди своих близких, и она благородно и добросовестно выполняет взятую на себя обязанность. Она не только не лишает людей жизни (смертная казнь, насколько я знаю, в России не существует), но каждый год тысячи жизней спасает. Таким образом, несмотря на самодержавие, Россия на деле осуществляет одну из главных статей ультрасоциалистического кодекса.

Благодаря любезности полковника Клэкстона я получил разрешение посетить Воспитательный дом. Нас принял главный управляющий — живой, умный джентльмен, на груди которого красовалось полдюжины орденов. Он предупредил нас, что время для посещения мы выбрали весьма неподходящее, поскольку почти всех детей вывезли на лето за город (кроме тех, что были приняты за последние несколько недель). Верстах в тридцати от Москвы есть большое село, жители которого целиком посвящают себя воспитанию сирот-подкидышей. Вначале мы осмотрели то крыло здания, которое отведено осиротевшим детям чиновников. Всего здесь числилось тысяча двести детей, однако ж все

они, за исключением грудных младенцев, наслаждались летним отдыхом в деревне. Было время дневного сна, и в просторных, полных воздуха комнатах лежали сто пятьдесят младенцев — каждый в маленькой белой колыбельке под прозрачным кисейным покрывалом. Лишь один из них капризничал, остальные же крепко спали. Все помещения блистали чистотой, на удивление опрятны были и няни, которые молча стояли со сложенными на груди руками и кланялись, когда мы проходили мимо.

Содержащиеся здесь дети пользуются некоторыми привилегиями по сравнению с подкидышами и бедными сиротами. Мальчиков обучают практическим наукам или началам ремесла и нередко впоследствии записывают офицерами в армию. Девочки получают прекрасное образование, помимо прочего их обучают музыке и иностранным языкам. Многие из них становятся учительницами и гувернантками. Поскольку старшие дети отсутствовали, я не мог узнать, как именно проходит обучение. Правда, мне удалось осмотреть школу и классы, и они произвели на меня впечатление весьма благоприятное. Воспитателям и учителям вменяется в обязанность выявлять у детей таланты и развивать их в нужном направлении. Из Воспитательного дома вышли великолепные музыканты, актеры, художники, инженеры, механики: бедные, безымянные дети России снискали богатство и славу.

На пути в больницу мы прошли через церковь — самое веселое и красивое место после Парфенона из всех, виденных мной. Стены из искусственного мрамора персикового цвета оживляет легкий золотой орнамент. Купол, расписанный фресками, опирается на колонны из того же материала, высокая алтарная перегородка, хотя и покрыта позолотой, не слепит глаза, а изображенные на ней святые не похожи на сверхъестественные существа, подобных которым не найти ни на небесах, ни на земле. Престол, или алтарь, расположен под куполом, там на хорах в синем звездном небе парят прекрасные белокурые ангелы. Все в этом гигантском здании тщательно продумано. Стены сложены из кирпича или камня, полы мраморные, а в коридорах выложены глазурованной плиткой, лестницы железные. Во дворах радуют глаз цветочные клумбы. Система отопления и вентиляции великолепна. Думается, что подобно тому как в египетских печах из яйца не может не вылупиться птенец, в этих условиях из здорового от природы ребенка не может не вырасти жизнеспособный человек.

Мы проходили одну комнату за другой, и все они были уставлены рядами белых кроваток, причем возле каждой стояла няня, которая либо смотрела на своего спящего подопечного, либо нежно покачивала его на руках. Тысяча двести нянек на тысячу двести младенцев! Поистине огромный питомник для выращивания детей. Правда, не всем питомцам суждено расцвести; некоторые слабые младенцы, возможно, не смогут продолжать неравную борьбу со смертью, и, прежде чем мужчина или женщина вырастет из саженца, число их уменьшится на одну треть. Такая смертность объясняется тем, что детей нередко приносят сюда в тяжелом состоянии, после долгого пути в непогоду. Однако если принять во внимание, что детская смертность и в Москве, и в Петербурге ежегодно превышает рождаемость, то можно сказать, что правительство лучше заботится о своих детях, чем сами родители. Из увиденных нами младенцев семерых принесли сюда в этот же день, незадолго до нашего прихода, а четырнадцать — накануне. Няньки — полные, здоро-

вые, некрасивые женщины от двадцати до сорока лет — были одеты в русские костюмы: ярко-красные платья, белые фартуки и большие белые или красные головные уборы в форме развернутого веера. В каждой из комнат за порядком присматривала аристократического вида надзирательница. Несмотря на множество младенцев, стояла такая тишина, что самый нервный из старых холостяков мог бы пройти по всем комнатам, ни разу при этом не заскрежетав зубами.

Затем управляющий провел нас в расположенную в первом этаже канцелярию, где принимают детей. Множество чиновников, письменных столов, папок с документами — все говорило о том, что здесь делают большое дело. Я ознакомился с регистрационными записями Воспитательного дома со времени его основания и до сегодняшнего дня. Число детей, отдаваемых на попечение, выросло с нескольких сот в 1762 году до четырнадцати тысяч в 1857-м. С начала года (13 января по старому стилю) поступило шесть тысяч тридцать два ребенка. Общая численность принятых за девяносто шесть лет младенцев достигла трехсот тридцати тысяч; к ним можно прибавить еще шестьдесят тысяч родившихся в здешней больнице за тот же период, что составит в сумме триста девяносто тысяч человек. Петербургское отделение способно принимать еще больше детей, так что в настоящее время ежегодно тридцать тысяч детей поступают на попечение правительства. Очень большая часть их — это отпрыски бедных родителей со всех уголков страны. Родители знают, что впоследствии детей можно забрать на определенных условиях, да и в Воспитательном доме им, верно, уготована судьба не хуже, чем в родной семье. При приеме ребенка вопросов не задают, поэтому надежной статистики относительно морального состояния общества из документов данного заведения получить невозможно.

Канцелярия открыта днем и ночью, и ни один ребенок, покуда в нем теплится жизнь, не будет отвергнут. Спрашивают здесь только о том, был ли младенец крещен. Если нет, то в соседней комнате обряд немедленно исполняет состоящий при заведении священник и одна из старших нянек, выступающая в роли крестной матери. После этого имя и номер младенца вносят в специальную книгу. Те же сведения вместе с датой прибытия записывают на двух ярлычках: один привязывают ребенку на шею, а другой отдают матери с тем, чтобы впоследствии она могла узнать свое дитя и забрать его домой. Очень часто матерям позволяют ухаживать за собственными детьми, и в этом случае им, как и всем другим няням, платят за работу. Через шесть недель или два месяца пребывания в заведении ребенка отвозят в деревню, где он живет, пока не вырастет и не придет пора учебы. Жалованье обычной няни составляет примерно 50 долларов в год, не считая жилья и питания. В том случае, если родители, принесшие своего младенца, заплатят сумму, равную 25 долларам, их отпрыск будет воспитываться исключительно в стенах заведения, где уход лучше. Сумма в 200 долларов обеспечивает мальчику по достижении определенного возраста получение офицерского звания. Родителям дозволяется встречаться с детьми по определенным дням, и многие из них пользуются этой возможностью. Чаще всего, однако, они живут далеко в провинции и практически отдают детей целиком на попечение государства, впрочем, возможность справиться о них в канцелярии и забрать домой за ними остается.

В больнице не отказывают ни одной из обратившихся сюда женщин. Их принимают за месяц до родов и держат до тех пор, пока они не оправятся вполне. Если женщина желает остаться неизвестной, над ее кроватью вешают занавеску, с тем чтобы никто не мог увидеть ее лицо. Кроме того, никому, за исключением постоянных работников, не позволяется входить в больницу. Даже сам покойный император отнесся с уважением к этому правилу и отказался от посещения больницы. Говорят, все в ней настолько безупречно, что сюда приходят и бедные замужние женщины, и даже многие из тех, кто вовсе не нуждается в благотворительности. Следовательно, не все родившиеся здесь дети являются незаконорожденными. Мать не обязана оставлять младенца в заведении: при желании она может его забрать.

Мальчики средних способностей впоследствии могут пойти в солдаты, стать механиками, а девочки — работницами на фабриках. В последние годы правительство способствует тому, чтобы как можно больше бывших воспитанников селились на фермах и осваивали принадлежащие короне новые земли. Они находят себе пару, вступают в брак, селятся в деревнях, занимаются сельским хозяйством и нередко берут на воспитание сирот. Мне довелось побывать в таких деревнях: я увидел чистые швейцарские дома, где под свесом крыши теплым вечером сидели муж и жена — поблизости резвились дети, немногим младше своих приемных родителей. Все они имели вид вполне счастливый и благополучный. Их несомненно можно причислить к крестьянам-патриотам — если таковые вообще существуют, — ведь они в полном смысле слова дети своей страны.

Санкт-Петербургский Воспитательный дом, хотя и расположен в самом центре города, вместе со всеми подсобными помещениями занимает территорию общей площадью в двадцать восемь акров. Здесь работают более пятисот учителей и воспитателей, причем многие из них получают весьма высокое жалованье. Нянек, слуг и других работников в этом заведении не менее пяти тысяч. И в Петербурге, и в Москве мальчиков и девочек обучают раздельно. Только одно их обучение обходится больше чем в миллион долларов. Словом, Россия тратит на своих сирот и отверженных сумму, равную всем доходам Швеции, Норвегии и Греции.

Великолепные примеры щедрости не должны отвлечь нас от морального вопроса, который с ней связан. Ни одна другая страна мира до сих пор не ввела подобной системы; немногие правительства в настоящее время пошли бы на это. Каково же ее воздействие на общественную мораль? Система эта существует в России вот уже почти сто лет, и какое бы влияние она ни оказывала — хорошее или плохое, — оно успело к настоящему времени проявить себя. Одно несомненно: число детей, сдаваемых на попечение государства, год от года неуклонно растет, впрочем, это, как я уже показал, еще ни о чем не говорит и в значительной степени объясняется увеличением ресурсов Воспитательного дома, совершенством его устройства и широтой предоставляемого здесь образования. За неимением надежной статистики относительно нравов нам ничего не остается, как провести параллель между современным состоянием общества в России и тем, каким оно, судя по описаниям, было в прошлом веке. На основании этих данных я без колебаний заявляю, что система благотворительности не оказала пагубного влияния на моральное здоровье русского народа. Напротив, с улучшением условий жизни и с общим прогрессом цивилизации люди стали лучше. Когда я сравни-

ваю описания России у Ричарда Ченселлора или сэра Джона Шардена с тем, что я видел своими глазами, то мне трудно поверить, что мы говорим об одном и том же народе.

Но, возразит фарисей, в этой больнице грешница безболезненно и втайне от всех разрешается от бремени. Спасая ее от посрамления, такая система поощряет порок! Она устраняет справедливую кару за невоздержанность и, следовательно, постепенно деморализует общество! Я не отрицаю, что предоставляемая в данном случае помощь *способна* увеличить число нуждающихся в ней женщин, но при этом искренне верю, что моральный тон "общества" в результате не снизится: допустим, подобная благотворительность поощряет один из пороков, однако она без сомнения предотвратит одно из самых ужасных преступлений. *Россия почти не знает детоубийства и абортов.* В Америке достаточно видеть лишь то, что лежит на поверхности. Один лишь Бог знает, сколько преступлений, наиболее противных человеческой природе, совершаются втайне. Между тем, если какой-нибудь великодушный миллионер предложит построить в Нью-Йорке воспитательный дом, проповедники и журналисты испепелят его святым негодованием. О нет! Не касайтесь этого предмета — у вас слишком белые руки, чтобы управляться с дегтем. Не важно, какие преступления разъедают моральное сердце общества, коль скоро на поверхности все прилично. Незамужней матери неоткуда ждать жалости или помощи, а ее незаконнорожденному ребенку нет места в мире — пусть же она убьет его прежде, чем он появится на свет. Это лучше, чем протянуть ей руку помощи и предотвратить преступление. В десяти случаях из одиннадцати ее поступок никогда не будет раскрыт, приличия будут соблюдены, и ничто не потревожит нашу окруженную ореолом притворную стыдливость.

Было бы большой ошибкой считать, что моральный тон общества можно поддерживать, лишь превращая всех согрешивших в несчастных изгоев. Покуда мы сохраняем здоровую семейную жизнь, покуда у нас есть добропорядочные семьи, свободное образование и религиозные влияния, нам нечего бояться, что христианское милосердие, подобное тому, что я описал, запятнает нас. Оно лишь избавит нас от пятна самого черного из преступлений. Число незаконнорожденных детей возрастет за счет уменьшения абортов. Кто осмелится сказать, что предпочитает обратное? Мы похваляемся — и не без оснований — более высокой нравственностью по сравнению со странами Европы, но нам не следует забывать, что детоубийство (как до, так и после рождения) нигде не достигло такого распространения, как у нас. Должно помнить, что немилосердная, жестокая и фарисейская мораль неизбежно порождает тайную безнравственность. Спартанская святость новоанглийских пилигримов сменилась распространением противного человеческому естеству порока, который пошел на убыль, едва только смягчились железные порядки.

В любом случае не может быть ничего плохого в том, чтобы помогать попавшим в беду, даже если эта беда — следствие порока. Мне не доводилось слышать, что общества Марии Магдалины привели к увеличению числа проституток, и я не верю, что, открывая больницу для женщин, мы потворствуем разврату и прелюбодеянию. Перефразируя бессмертные строки Роберта Бернса,"Что совершили, поддается счету, / Но знать не можем, что *предотвратили*".

Будь я художником голландской или фламандской школы, я бы предложил вам множество характерных зарисовок московской жизни. Именно в Москве персонажи требуют формы, цвета и соответствующих "натюрмортов", и за перо следует браться лишь после того, как закончил свою работу карандаш. Однако в России жанровых картин мало или вовсе нет. Самый знаменитый из всех русских живописцев — Брюллов — изображал богинь, нимф, святых и гибель Помпеи. Московские улицы полны персонажей интересных уже потому, что они иллюстрируют те черты русской жизни, которым скоро суждено перемениться или вовсе исчезнуть. Извозчики с роскошными бородами, в черных квадратных шапках и синих кафтанах; крестьянки в платьях с двумя талиями возле уличных часовен; крепостной с обнаженной головой, который кланяется и крестится, глядя на купол церкви вдали; захудалые торговцы на рынках старья у лотков с разнородным товаром; сводчатые проходы Гостиного двора и странного вида торговые постройки в Китай-городе; овощные базары, продавцы кваса, сплавщики леса на Москве-реке и татары в мечети — все вызывает интерес путешественника, будь он художником или писателем. И нужно долго здесь прожить, чтобы когда-нибудь этот интерес окончательно утолить.

Для того, кто бывал на базарах Константинополя, Гостиный двор не сулит ничего нового. Это низкое строение с арками над головой, мостовой под ногами и улицами, на которых торгуют разнообразным товаром. Внутри здесь настоящий лабиринт, и, чтобы выучить его географию, нужно провести здесь немало времени. Если вы ищете гвозди, то вам придется долго бродить по многочисленным лавкам, торгующим льняными, шерстяными, шелковыми и хлопчатобумажными товарами, драгоценными камнями, восковыми свечами, смолой, скипидаром, пока наконец вы не доберетесь до скобяной лавки. Пуговицами торгуют в одной стороне, а тесьмой — в другой; сахаром — позади вас, а чайными ложками — далеко впереди. Когда вы идете по сумрачным проходам, вас со всех сторон беспрестанно окликают, предлагая купить что-нибудь. Лавочники только того и ждут, чтобы вы обратили на них внимание, и не скрывают своего восторга, стоит им завидеть в ваших глазах проблеск интереса. Между тем стремление заполучить вас в покупатели не мешает им запрашивать цену намного выше той, что они ожидают получить. Впрочем, если вы проявите хотя бы малейшее желание купить что-нибудь, сердце торговца смягчится, и с пустыми руками вы не уйдете.

Любопытны лавки ювелиров, где можно увидеть множество самых разных драгоценных камней, добытых, главным образом, в горах Сибири. В настоящее время в Москве в моде бриллианты, изумруды, жемчуг и бирюза. Высоко также ценятся опалы, зато камни второго порядка — топаз, гранат, аметист, оникс и аквамарин — имеются здесь в изобилии и весьма дешевы. В Сибири добывают великолепные изумруды и лучшие аметисты, аквамарины и топазы из всех когда-либо мною виденных. Сибирский бриллиант, которого много находят в Уральских горах, оказался всего-навсего белым топазом. Ожерелье из семидесяти пяти таких камней размером с вишню стоит немногим менее двадцати долларов. Мое внимание привлекли несколько прекрасных сапфиров, но, как я подозреваю, они попали сюда из Индии через Персию. Один ювелир показал мне гиацинт — довольно редкий камень великолепного алого цвета, за который он просил пятьдесят рублей. Были здесь

также восхитительные опалы, играющие розовыми, зелеными, голубыми и жемчужно-белыми лучами, однако ж цена их не уступала красоте. Малахит и ляпис-лазурь, которые в России нередко используют для украшения дворцов и церквей, до́роги, да и найти у торговцев хорошие камни не так легко.

Невозможно не остановить взгляд на гладких, желтовато-бледных лицах менял, на которых застыло выражение слабости и хитрости одновременно. Оказывается, все они скопцы, о чем вы смутно догадывались, глядя на них. Я тщетно пытался найти объяснение этому явлению. Люди говорят, что особый класс или гильдия менял существует уже несколько веков. Они весьма богаты, из-за своего увечья, разумеется, держатся вместе и не принимают в свою братию никого, кто не подверг себя такой же операции. Желающих добровольно обратиться в их секту немного, поэтому со временем они, вероятно, исчезнут (если не станут покупать у бедняков за большие деньги детей в том возрасте, когда те не способны еще ни осознать, что их ждет, ни воспротивиться своей судьбе). Правительство запретило подобную практику под страхом сурового наказания, и гнусное братство, вероятно, скоро навсегда прекратит свое существование.

Нельзя обойти вниманием и ряды — базар под открытым небом в Китай-городе. Хотя он и поскромнее, чем Гостиный двор, здесь еще больше лавок с самыми разнообразными товарами, возле которых с восхода солнца до заката толпятся покупатели и продавцы. В рядах вы найдете все, что простому человеку нужно для дома, для исполнения религиозных обрядов, на случай рождения, свадьбы или смерти. За несколько копеек можно выпить ковш квасу, съесть миску щей (суп из капусты) или ботвиньи (холодный суп со свежими огурцами и многим другим) и завершить обед стаканом огненной водки. С последней, однако, так же как в Швеции, принято начинать обед. Здесь можно увидеть восковые свечи всех размеров и поистине удивительное собрание святых заступников. Среди них больше всего темнокожих мадонн, однако почитают русские и святого Николая в алом плаще, и святого Георгия, побеждающего Дракона. <...>

Любовь простонародья к картинкам поистине замечательна. Не говоря уж об изображениях святых и иллюстрациях к Библейской истории, которые встречаются повсюду, существуют магазины и лавки, торгующие исключительно карикатурами и картинками на аллегорические сюжеты. Самый излюбленный из них, кажется, — наказание жадности. Богатые старые грешники — толстощекие и пузатые — в каждой руке держат по мешку с деньгами, а между тем их хватают, пронзают вилами или рвут на части черти. На другой картинке изображены две дороги — широкая, ровная и извивающаяся, тернистая; первая ведет в геенну огненную к чертям, а вторая заканчивается у ног темно-коричневой Девы Марии. Некоторые из карикатур высмеивают даже кринолины. Иные же заходят так далеко, что в присутствии дам лучше их не рассматривать. Картинки эти самого грубого и примитивного свойства. Под каждой из картинок разъясняется, что именно желал изобразить художник.

На рынках старья, которых в Москве несколько, можно увидеть страннейшее собрание вещей — от английских романов до арабских перстней с печатками, от французских шляпок до китайских туфель, от старинных распятий до помятых современных кринолинов. Кажется,

сюда смели мусор из разных уголков мира. Трудно сказать, чего здесь нет. Я целый час бродил по одному из таких рынков возле Сухаревой башни и из всех предметов, которые подсказывало мне мое воображение, не нашел здесь лишь ведерка для угля да ножа для устриц. Правда, осмотрел я далеко не все, и оба эти предмета наверняка где-нибудь отыскались бы. Один из самых глупых и самых грязных торговцев выставил на продажу коллекцию минералов. Неграмотный мальчишка предложил мне купить несколько немецких теологических книг самого ортодоксального содержания. Подняв глаза от книги, я увидел, что вокруг идет торговля сеном, мылом, упряжью, чесноком, диванами, фаянсовой посудой, гитарами, распятиями, клеенками и сыром! Среди покупателей были представители всех сословий — от крепостных до офицеров в полной форме и дам, принадлежащих к кругам самым широким.

Москва может похвастать таким местом для летнего отдыха, равного которому нет и в Париже. Я имею в виду Эрмитаж — дивный сад с театром и концертным залом под открытым небом, где собирается все светское общество. Он расположен на склоне холма, у подножия которого в тени деревьев затерялось маленькое озерцо. За озером зигзагом извиваются толстые стены — укрепления татарского города, островерхие крыши которого возвышаются на противоположном холме и уходят вдаль, сливаясь с горизонтом. Однако все это — не что иное, как сценическая иллюзия, декорация, написанная на холсте, натянутом на трех рамах, которые установлены не далее как в ста ярдах от ваших глаз. Тысячи красных лампочек освещают укромные дорожки, а на вершине холма выстроен просторный зал, окруженный аркадой. На одной стороне сцены собралась группа русских цыган, чьи песни здесь столь же популярны, как у нас эфиопские мелодии. Цыгане — прирожденные певцы, и две-три молодые девушки из тех, что я слышал, обладают такими голосами, что снискали бы успех и на подмостках Итальянской оперы. У примадонны великолепное контральто, уступающее, по мнению русских ценителей, лишь Альбони. Это девушка двадцати двух лет с великолепными волосами цвета воронова крыла и горящими черными глазами.

Всего в хоре человек двадцать пять-тридцать, причем на две трети он состоит из женщин. Лишь несколько из них, на мой взгляд, — настоящие чистокровные цыгане и цыганки с небольшими, глубоко поставленными глазами и смуглой кожей, отличающей выходцев из Египта. Остальные артисты светловолосые, с голубыми глазами, что выдает их происхождение и свидетельствует о свободе нравов в таборе. Главный в хоре — высокий, стройный, смуглолицый цыган с серебряным поясом вокруг талии и с гитарой в руке — встает перед рассевшимися рядком вдоль сцены женщинами и заводит дикую, варварскую мелодию, которую те подхватывают. Это совершенно оригинальная музыка, в которой слышится тоска — такая, что звучит в песнях всех примитивных народов, но повторяющиеся музыкальные темы весьма приятны для слуха, а переход от одной мелодии к другой поражает абсолютной гармонией. Затем смуглолицая обладательница сопрано исполняет знаменитую "Тройку": ее голос плавно, с естественной легкостью скользит по волнам мелодии, и изумительная чистота его придает пению неизъяснимое очарование. В тот же вечер увидел я танец, во многом напоминающий танцы арабских танцовщиц, хотя и не столь откровенный.

Я так много времени провел, осматривая достопримечательности, о которых сейчас веду речь, что почти не повидал московское общество. К тому же мой визит пришелся на неудачное время, когда многие семейства проводили лето в деревне или путешествовали. После того как препоны, поставленные покойным императором на пути у своих соотечественников, желавших посмотреть мир, были сняты, в Европу немедленно хлынул поток русских путешественников. Никого из тех, к кому я привез рекомендательные письма – в их числе был известный писатель Павлов, – в городе не оказалось. Однако благодаря полковнику Клэкстону я сделал несколько приятных знакомств и получил по крайней мере некоторое впечатление о русском обществе.

Я побывал на soirée и был приятно поражен манерами дам. Французский язык по-прежнему остается языком светского общества, на котором русские говорят даже меж собой, и знание его совершенно необходимо для путешественника. Есть такие, кто говорит на английском и немецком языках, причем с характерной для русских легкостью и чистотой произношения. Меня поразило, сколь хорошо мои собеседники – и дамы и господа – знают своих писателей. Некоторые имена, никогда мною не слышанные ранее, произносились с особым энтузиазмом. В Москве выходит несколько литературных журналов тиражом от двенадцати до четырнадцати тысяч экземпляров каждый.

Среди московских редакторов и литераторов я встретил весьма умных господ. Я был приятно удивлен тем, сколь свободно обсуждались в обществе политические вопросы и реформы, проводимые в стране. Большинство моих собеседников выражали свое удовлетворение по этому поводу; всеобщее настроение лучше всего отражало искреннее и лаконичное восклицание: "Только бы все так продолжалось!" Что касается освобождения крепостных, то, как я слышал, общество – в том числе и значительное большинство помещиков – эту реформу поддерживает. Тот факт, что сами крепостные, зная о грядущей великой перемене, сохраняют спокойствие и терпеливо ее ждут, считается многообещающим знаком. Наиболее сложный вопрос, связанный с реформой, состоит в том, чтобы предотвратить, по крайней мере на время, уход крестьян из родных мест. Чтобы крестьяне, в чьих жилах течет кровь кочевников-татар, остались на земле добровольно, а не по принуждению, как это было раньше, нужно заинтересовать их в этом. Впрочем, помещики не собираются отдавать свои земли безвозмездно, а крепостные не желают платить за то, что им принадлежит по праву. В связи с этим предлагается следующий компромисс: крепостные получат в собственность дома, в которых они живут, а также право при желании выкупить часть земли на выгодных для них условиях.

В России старое уходит, а новое нарождается. Исчезает множество любопытных особенностей и обычаев, которые несут на себе отпечаток пяти столетий, и почувствовать это можно даже в Москве – сердце России. Когда в город въезжает паровоз, призраки прошлого навсегда его покидают. Эти громыхающие дороги международного сообщения в большей степени, чем любой указ Петра Великого, способны отучить людей от суеверий. Москва, следует думать, со временем утратит свою способность воспроизводить прошлое русского народа, хотя она всегда будет верно отражать его характер. Она навечно останется ярко изукрашенным титульным листом истории Российской империи. Быть может,

со временем на берегах Каспийского моря или реки Амур вырастут другие столицы, но никогда они не отберут у Москвы ее почетного права представлять и иллюстрировать историю России, ее развитие, религию и многостороннюю индивидуальность.

Выезжая из Москвы в Петербург, мы должны были получить новые паспорта и сдать те, что нам были выданы в Варшаве. Формальность эта весьма хлопотная, ибо для получения документов требуется личное присутствие. Правда, никакого допроса нам не учиняли, и документы были готовы к обещанному сроку. Заплатив положенную сумму, мы собрались было уходить, когда услышали обращенный к нам шепот чиновника: "Вы забыли чаевые". Быстрота, с которой чиновник разменял протянутую ему банкноту, пока подчиненные его смотрели в другую сторону, свидетельствовала о том, что эта система денежных вознаграждений (мягко говоря) не только является широко распространенной, но и действует с попустительства властей. Многие из чиновников получают от шести до десяти рублей в месяц, этих денег едва хватает на то, чтобы одеться, поэтому без чаевых правительственная машина двигалась бы крайне медленно.

Затем я отправился к цензору, чтобы справиться о судьбе книг, отобранных у меня на польской границе. Приняли меня вежливо и сообщили, что книги еще не прибыли. Как мне показалось, цензор был чем-то смущен, и я заподозрил, что книги мои входят в список запрещенных. Я слышал, что книга о России Иоганна-Георга Коля запрещена, хотя в витринах книжных магазинов я видел издания, которые можно было бы с бóльшим основанием счесть предосудительными. Следует заметить, что всем литераторам и ученым позволяется свободно ввозить любые книги по их усмотрению. Список иностранных газет, ввозимых в Россию, недавно значительно расширился, однако ж газеты тоже проходят через руки цензора, и нередко можно видеть, как целые абзацы или даже колонки либо замазаны черной краской, либо столь аккуратно стерты, что от них не осталось и следа.

В Москве мы стояли в "Hotel de Dresde", который я могу с полным основанием рекомендовать будущим путешественникам. Это большое низкое здание на углу Тверской улицы, неподалеку от Кремля. Единственное неудобство — впрочем, общее для всех гостиниц — состоит в том, что обслуга здесь исключительно русская. Мы получили просторную, приятную комнату за два рубля в день. Еще по одному рублю мы платили за обед, приготовленный самым замечательным образом. Другие траты были в той же пропорции, так что в целом я расходовал примерно 3 доллара в день. Поскольку table d'hôte[1] в гостинице нет и обед приносят прямо в комнату, то можно сказать, что цены здесь, пожалуй, ниже, чем в Нью-Йорке. Один немецкий литератор, который провел в Москве два года, подсчитал, что холостяку на год нужно примерно 1000 долларов. Жилье и все самое необходимое для жизни дешево, между тем предметы роскоши, одежда, etc. очень дороги.

В северной части города, прямо за низкой земляной насыпью расположена большая станция железной дороги. Основной поезд на

1. Табльдот, общий стол (*франц.*).

Санкт-Петербург отправляется отсюда ежедневно в полдень и прибывает в восемь утра, преодолев 600 верст или 400 английских миль за двадцать часов. Билеты стоят соответственно 19, 13 и 9 рублей за место в вагоне первого, второго и третьего класса. Станционное здание поражает своими размерами, все операции на дороге выполняются в высшей степени точно и регулярно, хотя, возможно, слегка медленее, чем в других странах. Вагоны первого класса поделены на купе с роскошными, как в Англии, диванами; в вагонах второго класса все устроено точно так, как в американских (по правде говоря, я думаю, что их построили в Америке), но сиденья расположены не столь близко друг к другу. Вход в конце вагона, с платформы, на которой, как и у нас, стоит тормозной кондуктор. Мы уезжали в понедельник, а поскольку русские считают этот день неудачным и по возможности стараются не пускаться в путь по понедельникам, то пассажиров было немного. Мы попрощались с нашим любезным другом полковником Клэкстоном, доброте которого были обязаны тем, что наш визит получился столь интересным. Часы показали полдень, и поезд тронулся.

Рельсы четырьмя параллельными лучами стремительно вырываются на северо-запад и исчезают за горизонтом. Что бы ни попадалось на пути: леса, холмы, болота, овраги или реки — дорога не отклоняется ни на волос. После Валдайской возвышенности, которая расположена примерно посередине пути, дорога длиною в двести миль подобна начертанной по линейке прямой. Русские считают ее неким предметом роскоши. Император Николай думал о личном комфорте и возможности быстрой переброски войск, но не о стране и разработке ее ресурсов. Он настоял, чтобы дорога между двумя городами была кратчайшей, и строителям пришлось на протяжении сотен верст вбивать сваи в болота, чтобы проложить рельсы, а между тем, отклонись они немного на юг, удалось бы не только обойти болота, но и предоставить возможность Новгороду, Валдаю и Торжку вместе с заселенными сельскохозяйственными районами, их окружающими, пользоваться преимуществами железного пути и увеличивать его прибыли.

Построена и оснащена дорога великолепно; думаю, что не ошибусь, назвав ее лучшей в мире. Единственный ее недостаток — тряска, которую пассажиры время от времени испытывают, впрочем объясняется она, как я подозреваю, особенностями вагонов, а не собственно дороги. Между Москвой и Санкт-Петербургом тридцать три станции. Станционные здания в большинстве случаев совершенно одинаковы и не уступают дворцам по своему великолепию, которое обошлось недешево — немалые средства были попусту потрачены на излишнюю роскошь. Мосты представляют собой образцы прочности и долговечности. Все здесь достойно всяческих похвал, особенно же пунктуальность и четкость работы. Но какою ценой все это достигнуто! Дорога протяженностью в 400 миль проложена по равнине, строительство ее не требовало преодоления препятствий, укрепления берегов или возведения мостов (если не считать отрезка между Москвой и Тверью, около четверти всего расстояния). Тем не менее на ее строительство ушло 120 миллионов рублей (90 миллионов долларов), то есть 225 тысяч долларов на каждую милю. Сумма эта тем более внушительна, ибо труд в России крайне дешев.

Американские инженеры не только строили дорогу; мистер Уиненс по контракту с правительством в настоящее время служит главным ин-

женером, осуществляющим ее эксплуатацию. Его основные помощники тоже американцы. Десятилетний контракт мистера Уиненса истекает через три года, после чего он сможет жить на заработанный капитал. Говорят, его ежегодный доход в соответствии с контрактом составляет один миллион рублей. О щедрости договора можно судить по тому, что только на смазку отчисляются три серебряные копейки на каждое колесо за одну версту — около трех с половиной центов за милю, или 700 долларов за каждый поезд от Москвы до Петербурга. Свою часть договора мистер Уиненс выполняет честно и безукоризненно и, разумеется, заслуженно получает свое жалованье. Не приходится однако удивляться тому, что в 1857 году доходы от железной дороги за вычетом расходов составили лишь несколько тысяч рублей. <...>

Вернемся к нашему путешествию. На станциях поезд стоял довольно долго — пять, десять, пятнадцать минут, а в Твери, куда мы прибыли в пять часов вечера, полчаса, с тем, чтобы мы успели пообедать. Как всегда, все было предусмотрено для удобства пассажиров. Еда была хорошей, цена — умеренной, времени — достаточно. На всех других станциях стояли аккуратные будки, где продавались пиво, квас, содовая вода, лимонад, сигары и пирожные. Большинство пассажиров выходили на платформу, чтобы выкурить папиросу, поскольку в вагонах курить запрещено. Имеется, правда, специальный вагон второго класса для курящих: за разрешение курить в нем необходимо заплатить десять рублей. Почти все русские курят, однако на улицах городов и даже небольших деревень курить строго воспрещается.

Верст за пятьдесят-шестьдесят до Санкт-Петербурга мы миновали большое поместье, принадлежащее русскому богачу Кокореву, который снискал известность благодаря своему участию во всех начинаниях, направленных на благо его страны, — освобождении крестьян, создании пароходных компаний на Днепре и Днестре, образовании денежного фонда для поощрения промышленников и т. д. Этот Кокорев был сыном простого крестьянина и в молодости содержал дешевый трактир. Постепенно он разбогател и, будучи от природы человеком деловым и энергичным, получил контракт на изготовление водки. <...> Его капитал, большую часть которого он вложил в приобретение земли, составляет около семи миллионов рублей. В настоящее время он занимается усовершенствованием сельского хозяйства, благодаря чему поместье его разительно отличается от соседних. Чистые, удобные дома для тружеников, большие амбары для хранения зерна, леса, охраняемые и содержащиеся в прекрасном состоянии, осушенные луга, расчищенные и вспаханные земли — это лишь некоторые особенности, которые бросились мне в глаза, когда наш поезд проносился через земли Кокорева. Есть такие, кто обвиняет Кокорева в экстравагантности и непрактичности, считая, что он служит опасным примером для других, однако человек, который подобным образом использует свой капитал, может принести стране реальное благо на многие годы.

Постепенно болота за окном сменились огородами, все чаще замелькали деревни, справа показались дымящиеся трубы заводов и здания мастерских, затем ровная, однородная масса домов, над которыми высились золотые шпили, и наконец ровно в восемь часов мы прибыли на петербургский вокзал.

Не существует двух других городов, столь несхожих между собой, как Москва и Санкт-Петербург; трудно поверить, что их построил один и тот же народ. Если бы не несколько старых церквей, которые выглядят здесь на удивление неуместными, путешественник, прибывший из Москвы, мог бы подумать, что он уже покинул пределы России. Странные, фантастические, татарские черты исчезли, и все, что открывается глазу, напоминает Западную Европу. Это, однако, лишь первое впечатление. Второе — ощущение силы столь колоссальной, что она способна подчинить себе саму природу, силы, которая может проявиться только когда единой воле подчиняются безграничные ресурсы; и здесь мы снова узнаем Россию. Санкт-Петербург тоже своего рода диво, и если интерес, который он вызывает, совершенно иной, нежели тот, что мы испытываем в Москве, он столь же острый и неослабный. <...>

Нет в Европе другого двора, который при всем своем богатстве и блеске сохранил бы подобную простоту. Императорская семья, за исключением случаев государственных, избегает внешних эффектов, что является весьма приятным качеством. Ни в одной другой стране монарх не гуляет по улицам своей столицы без охраны. Даже сама императрица может при желании выйти на прогулку. Однажды нам навстречу попалась простая коляска, запряженная парой лошадей, в которой сидели цесаревич и два его младших брата, а также солдат-денщик. Эти милые, свежие, красивые юноши были совершенно одни и, по-видимому, вполне могли постоять за себя. Отец царствующей императрицы был шталмейстером в Дармштадте, и, должно быть, именно ему обязана она своей скромностью, доброжелательностью и здравомыслием. Николаю было известно ее происхождение, однако он поступил мудро, предоставив своим сыновьям полную свободу в выборе жен, и приветствовал ее с такой сердечностью, словно она вела свою родословную от самого Юлия Цезаря. Во дворце меня особенно поразила веселая простота частных апартаментов царя, которые разительно отличались от помпезности и блеска залов, предназначенных для официальных приемов.

Одним из первых мест, которые мы посетили, добравшись до Петербурга, было Пулково, расположенное в семнадцати верстах к югу от столицы. Здесь в великолепной астрономической обсерватории, построенной в годы правления Николая, обосновался мой шурин, которого я до сих пор не имел счастья видеть; здесь родился первый ребенок, который с полным правом может называть меня дядей. Мы добыли тройку — открытую коляску, запряженную тремя лошадьми, — и по Московской дороге, которая проходит под высокой Триумфальной аркой, выехали из Петербурга. Главный тракт имеет ширину сто футов, две дороги поуже проложены по обе его стороны и отделены от него двойными рядами деревьев. В конце седьмой версты московский тракт сворачивает налево, между тем как дорога на Пулково сохраняет математически точную прямизну, так что ее крайние точки — Триумфальная арка и купол обсерватории — видны отовсюду. Примерно на полпути расположилась немецкая колония: удобство домов, прекрасно обихоженные огороды и сады особенно радуют глаз в сравнении с голыми, непривлекательными русскими деревнями.

Пулково — это ближайшая к Петербургу возвышенность, и хотя самая высокая ее точка достигает всего около двухсот пятидесяти футов

над уровнем Балтийского моря, этого достаточно, чтобы отсюда открывалась панорама от сорока до пятидесяти миль в диаметре. На вершине в окружении сосновых и березовых рощиц находится обсерватория, возможно, лучшая в мире. На ее создание ушло, кажется, более миллиона долларов. Проходя через просторные залы, ротонды и башни с раздвижными куполами, я не без основания сожалел, что не в состоянии оценить великолепные приборы и специальные механические приспособления для их использования. В главной башне установлен колоссальный отражатель Фраунгофе, подобный которому – если мне не изменяет память – есть лишь в нашей Кембриджской обсерватории. Стены главного зала увешаны портретами знаменитых астрономов, среди которых я узнал Хансена и Эри.

Мне посчастливилось провести вечер в обществе директора обсерватории, уважаемого фон Струве, имя которого хорошо известно в Америке. В те дни он постепенно поправлялся после болезни, представлявшей некоторое время угрозу для жизни, и был еще довольно слаб. Лет ему шестьдесят пять-семьдесят, росту он среднего. У него крупная, правильной формы голова и на редкость кроткое и добродушное выражение лица. Блестящий астроном, он глубоко знает древнегреческий язык и владеет основными современными языками, в том числе английским, на котором говорит необыкновенно свободно и без ошибок. В беседе со мной он показал отличное знание того, что делается в Америке для поощрения астрономии и смежных с ней наук, и с большим восхищением упомянул Гулда, Пирса, Жиллиса и Мори. Фон Струве представляет собой еще один пример, подтверждающий истину, что изучение звезд не должно, как в случае с Ньютоном, делать человека безразличным к удовольствиям нашей суетной земной жизни. Подобно другим моим знакомым астрономам, он нашел счастье в семье и искренне любит общество. Леверье[1], насколько я слышал, ведет себя иначе. Он, говорят, чрезвычайно заносчив, необщителен и хвастлив. Недавно в Париже один известный немец, имевший к Леверье рекомендательное письмо, нанес ему визит. Прочитав письмо, Леверье поднял глаза, взглядом измерил подателя с головы до ног и спросил его грубым, наглым тоном: "Que voulez-vous?" – "Rien"[2], – ответил немец холодно, поклонился и вышел.

В западной части возвышенности можно увидеть груду гранитных глыб, на которой, согласно преданию, сиживал сам Петр Великий, обдумывая строительство своей столицы. Это маловероятно, поскольку слишком уж велико расстояние отсюда до города. Однако весьма возможно, что Петр любил здесь бывать. Взгляд, уставший от узкого горизонта, ограниченного темным кольцом деревьев, здесь с восторгом блуждает по широкой равнине, теряющейся в синей вечерней дымке над Невой. Множество петербургских шпилей блестят и переливаются в лучах заходящего солнца, и, подобно луне на звездном небе, ярко сияет среди них гигантский купол Исаакиевского собора. В ясную погоду отсюда можно увидеть Кронштадт – остров, зыблющийся в бесконечной морской дали.

1. Урбен Жан Жозеф Леверье (1811 – 1877) – французский астроном, иностранный член-корреспондент Петербургской академии наук (1848).
2. "Что вам угодно?" – "Ничего" (*франц.*).

В семи верстах от Пулкова находится Царское Село со знаменитым Летним дворцом, окруженным со всех сторон парком. Парк весьма обширен – как говорят, восемнадцати миль в окружности – и всегда открыт для публики. Мой новый родственник любезно предоставил мне билеты во дворец и оружейную палату. Для нашего визита мы выбрали теплый летний день, когда десятки тысяч петербуржцев приезжают в Царское Село по железной дороге. Войдя в парк с западной стороны, мы оказались среди волнистых полей, испещренных еловыми, ясеневыми и березовыми рощами – пейзаж можно было бы назвать английским, будь зелень слегка темнее и сочнее. Здесь виднелась молочная ферма, там – стойло для слонов и немного подальше – конюшня для старых, списанных на отдых лошадей. Любимых скакунов императора после его смерти отстраняют от активной службы, и они доживают свой срок в удобстве и праздности. Среди прочих здесь есть и пара лошадей Александра I, хотя им уже не меньше сорока лет. В каждом из этих заведений обслуга встречала нас очень вежливо и приглашала войти и все осмотреть. Иногда приглашение сопровождалось словами: "Я человек женатый" или "У меня есть семья", что в России означает "Я не откажусь от некоторого вспомоществования". Меня слова эти нимало не смущали, пока я не понял, что за ними стоит. Однажды, когда я рассматривал дворец Петра Великого в Летнем саду, ко мне подошел солдат и сказал: "Прошу вас, барин, войдите во дворец. Смотритель его – человек женатый".

В парке на лесистом холме возвышается каменное здание в готическом стиле. Это Арсенал, в котором хранится одна из лучших в Европе коллекциий оружия, способная порадовать глаз любого антиквара. Здесь можно увидеть все типы оружия и брони, от IX до XIX века: и тяжелые доспехи германских рыцарей, и кольчуги сарацинов, и инкрустированное золотом великолепное оружие миланской работы. В шкафу хранятся сбруи, подаренные турецким султаном: одна – по случаю заключения мира в Адрианополе после перехода через Балканы армии Дибича, вторая – когда Константинополю угрожал Ибрахим-паша и султан обратился к России за помощью. Последняя, разумеется, самая великолепная: чепрак и кобура украшены арабесками из крупнейших бриллиантов. В коллекции множество весьма интересных предметов старины, но я не могу здесь все их перечислить. Скажу лишь, что за 500 рублей можно приобрести иллюстрированный каталог.

Чем ближе мы подходили к дворцу, тем более регулярным и ухоженным становился парк. Газон был подобен императорскому бархату: казалось, что над его "ворсом" поработали гребнем, а не граблями. На идеально гладких песчаных дорожках не найти было ни одного сухого листа; гуляя по аллеям под сводами лип и вязов, мы не увидели ни одной сухой ветки. Казалось, что сама природа только что омылась в турецкой бане и нарядилась в воскресное платье. В этом дорогом раю нет ни одной сорной травинки, ни одного неуклюжего растения, ни одной лягушки, жабы, змеи или жука. Обычно за посетителями парка идет по пятам садовник с метлой, чтобы замести следы, оставленные на дорожке, однако мы были обойдены этим вниманием. Горе тому, кто осмелится прикоснуться к какому-нибудь цветку. Правда, такой опасности почти не существует – скорее вам придет в голову вырезать розу из ковра, украшающего гостиную, чем нарушить царящий здесь необычайный порядок.

В парке мы набрели на руины монастыря — имитацию столь великолепную, что если бы они находились где-либо в другом месте, то могли бы ввести в заблуждение даже самого опытного путешественника. Над развалинами одиноко возвышалась квадратная башня, на которую вела деревянная лестница. Поднявшись по ней, мы увидели знаменитую фигуру Христа работы Даннекера, создателя скульптурной группы "Ариадна и пантера". Это не традиционный Христос с низким лбом и правильными, безжизненными чертами лица, но ученый и мыслитель. Индивидуальность фигуры с первого взгляда поражает вас: Христос оборотил голову налево, слегка подался вперед и что-то говорит. <...> Чем дольше я смотрел на статую, тем глубже проникался великолепным изображением главных отличительных свойств Христа — Мудрости и Любви. <...> Мало я видел статуй, подобных этой, где форма уступает место идее. Оттого это лучшее — и наиболее любимое — творение Даннекера. Когда наконец после многих дней труда, размышлений и вдохновений он вылепил голову Христа, его внезапно охватили сомнения в успехе своей работы. Не надеясь более на себя самого или суждение своих друзей, он как-то привел в свою мастерскую малолетнее неграмотное еще дитя, поставил перед ним вылепленную голову и спросил: "Кто это?" Тот внимательно вгляделся в черты лица, столь непохожего на обычные изображения, и без колебаний ответил: "Это Спаситель". Старик, сам по-детски простой и искренний, воспринял эти слова как окончательный приговор и завершил работу в мраморе.

Путь наш лежал мимо прямых голландских каналов, искусственных горок и скал, через Китайскую деревню, совершенно непохожую на Китай, под вавилонскими висячими садами ко дворцу с фасадом, длиною в 1200 футов, который возвышается на гребне холма, плавно спускающегося к озеру. Лужайку украшают живописные дубы; на гранитном уступе бронзовая нимфа плачет над разбитым кувшином, из которого вытекает пенная струя; посреди озера стоит на якоре прелестное небольшое судно. Противоположный берег усеян миниатюрными арсеналами и крепостями, и на лесистом холме стоят турецкая беседка и минарет, внутри которого можно увидеть просторный восточный бассейн, подаренный султаном. Парк по другую сторону дворца, ближе к Царскому Селу, облачен в парадный мундир, еще более безупречный, нежели тот, что поразил нас ранее, и я искренне верю, что, если случайно какой-нибудь лист загнется на стебле, тут же подоспеет служитель и его поправит.

Все колонны, статуи, карнизы и орнаменты гигантского дворцового фасада были во времена Екатерины II покрыты толстым слоем золота. Когда они обветшали и пришла пора вызолотить их заново, императрице предложили полмиллиона рублей за соскобленную позолоту. В ответ на это она произнесла с великолепным презрением: "Я не продаю старое тряпье". Судя по тому, что над дворцом развевался флаг Российской империи, царская семья пребывала в своей резиденции, однако ж нам позволили войти во дворец. "Женатый" слуга провел нас через апартаменты, которые некогда занимали Екатерина и Александр I. Здесь много любопытного, хотя царские покои не столь великолепны, как в Зимнем дворце или в Кремле. Стены одной из комнат дворца целиком выложены янтарем — это подарок Фридриха Великого. Мягкий, богатый, восковой, приглушенный цвет янтаря радует глаз. Другие комнаты отделаны малахитом или ляпис-лазурью. В спальне Екатерины все

как при ее жизни: столбики кровати сделаны из красного стекла, стены облицованы фарфором.

Интереснее всего, однако, комнаты Александра I, в которых все вещи сохраняются с религиозным благоговением. Ложем императору служил весьма узкий кожаный матрац, набитый соломой, а за всю находящуюся здесь мебель на аукционе не выручить более пятидесяти долларов. На туалетном столике лежат гребень, бриджи, бритва и чистый носовой платок императора; на спинке стула висит плащ, а на видавшем виды письменном столе разложены перья, карандаши, кусочки сургуча и пресс-папье в том порядке, в каком он их оставил. Мое внимание привлекли сапоги Александра: должно быть, руководствуясь соображениями здоровья и удобства, он заказал их из очень тонкой кожи. Кое-где они насквозь потрескались и аккуратно залатаны. Его Величество, очевидно, убедился на собственном опыте, насколько удобнее старые сапоги по сравнению с новыми. Однако его совершенно затмил Петр Великий, чьи сапоги, хранящиеся в Москве, весят по десяти фунтов каждый; можно ручаться, что они способны служить десять лет без починки.

Вечером мы взяли дрожки и отправились в Павловск, расположенный в трех милях на восток от Царского Села. В настоящее время это летняя резиденция Великого князя Константина, но парк открыт для публики в любое время. Парк огромен: утверждают, что общая длина дорожек составляет сотню миль. Природа здесь не знает щипцов для завивки, одежды ее не ограничивают свободу, волосы развеваются по ветру. Именно поэтому Павловск понравился мне более, чем Царское Село. Его глубокие извилистые лощины, пронизанные ручьями, его великолепные леса, где растут ясень, береза и вяз, его потаенные тропы, уводящие в лесную глушь, его открытые солнечные поляны, сладко благоухающие сеном, — все это говорит не об искусстве, а об истинной культуре. Есть здесь рукотворное озеро, окруженное низкими, но крутыми холмами, а на них — летние виллы и террасные сады. Парусник на водной глади и установленная на холме за мостом бизань-мачта с полным парусным вооружением служат свидетельством морских симпатий Великого князя. Окинув мачту взглядом моряка, мой спутник высказал довольно резкую критику по поводу ее оснащения, однако это не столь важно, ибо юных князей, которые резвились у мачты, не ждет в будущем служба под парусами. Кроме того, учиться морскому делу на бизань-мачте, стоящей среди леса, — все равно что учиться плавать на обеденном столе.

По вечерам тысячи петербуржцев собираются у павильона возле железнодорожной станции, где оркестр под управлением младшего Штрауса оглашает музыкой негустеющие сумерки. Концерты устраивает железнодорожная компания, которая платит Штраусу 15 тысяч рублей за летний сезон. Музыка была не так хороша, как у его прославленного отца, чьи концерты мне доводилось посещать, и я больше разглядывал толпу, чем слушал оркестр. Джентльмены в военной и гражданской одежде, перемешанные, словно масло и уксус в салате; дамы высшего света, некоторые красивые, и все нарядные; filles de joie[1], нарумяненные, в кринолинах, вышедшие на охоту поодиночке или парами; множество присматривающих за детьми слуг в живописных крестьянских костю-

1. Непотребные женщины (*франц.*).

мах — подпоясанная красная рубаха, широкие штаны и сапоги; бледные, стройные черкесские офицеры, напоминающие древние греческие барельефы; персы в изобилии, и у каждого на голове целая овца, из-под которой выглядывает лисье лицо; вкрапления армян, казаков, татар еще больше оживляют картину. Нередко в толпе можно увидеть самого императора под руку с императрицей в сопровождении старших детей.

Один вечер мы посвятили осмотру островов, красоту которых справедливо хвалят путешественники. В дельте Невы и в границах города их всего сорок, причем лишь семь из них довольно большие. Многие из мелких болотистых островов остаются необитаемыми: летом сюда наведываются тюлени, а зимой — волки. Рядом с ними — зеленые острова, застроенные дворцами и виллами. Таким образом, налицо контраст между цивилизацией и дикой природой. Переехав через Троицкий мост, вы попадаете на большой Аптекарский остров и минуете первую петербургскую церковь — старое деревянное строение с зелеными куполами, какие можно часто увидеть во многих русских деревнях. Вы еще на острове, а вокруг вас уже не город, а его предместье с редкими домами, утопающими в зелени. Влившись в поток карет и дрожек, вы переезжаете на Каменный остров, и здесь вас уже не покидает ощущение, что вы за городом. Каждый дом — будь то хоть деревянная избушка не больше будки сборщика пошлины — уютно окружен цветником и прячется в сени деревьев. Чем дальше на север, тем больше любовь жителей к цветам. В тропических странах деревья сажают для тени, а здесь разбивают сады ради цветов и благоухания, ради ярких недолговечных красок, по которым глаза соскучились за шесть снежных месяцев. Нигде три месяца не вмещают столько лета, как здесь.

Я собирался было сравнить дороги на этих островах с восточной частью Евклидовой улицы в Кливленде, Огайо, однако там и строения, и участки вид имеют более величественный. Русские виллы — или как их здесь называют *дачи* — деревянные и выстроены без учета архитектурного стиля. Однако это причудливые, уютные, беспорядочные и живописные домики. Кое-где виднеются настоящие швейцарские шале с резными балконами. Среди самых красивых дач — настоящие деревянные дома, сложенные из обструганных и окрашенных бревен одинакового размера, заходящих одно на другое в углах срубов. Лучшего образца для американского сельского дома, особенно в Западных штатах, не найти, но у нас победила любовь к кирпично-красному цвету. Я слышал, что в России слова "красный" и "красивый" — синонимы. Мы, американцы, думаем так же. Помню, мое внимание привлек один дом где-то между Милуоки и Расином. Он был ярко-красного цвета и напоминал раскаленную печь для обжига извести. Многие дачные домики тоже выкрашены в красный цвет. Нередко над входом красуется летний навес из полосатой парусины в форме шатра, а под каждым окном прибита полка, уставленная горшками с экзотическими цветами.

На берегу Каменного острова стоит Летний театр, где играют французские водевили. Напротив — Елагин остров; здесь император выстроил себе виллу, окруженную садом, — чудо образцового порядка и элегантности. Со всех сторон через просветы в листве деревьев проблескивают чистые зеленоватые воды невских рукавов. Как будто этого лабиринта, образованного водными излучинами, недостаточно, на островах вырыты искусственные озера, насыпаны холмы и кряжи. Проехав миль пять-

шесть через волшебные островные предместья, вы попадете на оконечность Крестовского острова, омываемую водами залива. Здесь можно полюбоваться тем, как солнце заходит над Финляндией и восходит над Ладожским озером.

Если вы решите все это осмотреть, не забудьте захватить с собой пальто: хотя термометр иногда целый день показывает 90 градусов по Фаренгейту в тени, вечер приносит с собой свежий холодный воздух. Я пренебрег петербургским обычаем и простудился. До полуночи на островах царит веселое оживление. Здесь торгуют фальшивой минеральной водой, поют фальшивые тирольцы и настоящие цыгане, танцуют свои танцы русские. На открытом воздухе разрешается курить. В павильонах продают бренди, квас, шампанское и немецкое пиво. Небольшие пароходики, курсирующие между островами и Летним садом, перегружены, и последние гуляки добираются до дома только к утру.

Прежде чем покинуть Россию, позвольте мне добавить еще несколько отдельных зарисовок к общей картине Санкт-Петербурга и его окрестностей, которую я попытался развернуть перед читателем. Описание мое, однако, будет далеко не исчерпывающим, поскольку это не входит в мои намерения. Я надеюсь более основательно подготовиться к своему визиту и через несколько лет вновь посетить Россию, чтобы неспешно все осмотреть.

Самое красивое здание в России — и во всей Северной Европе — это Исаакиевский собор. Строительство собора началось в 1826 году на месте бывшего храма, возведенного при Екатерине II и Павле, и продолжалось вплоть до июня 1858 года, когда состоялось его освящение. Для завершения этого грандиозного проекта потребовалось тридцать два года работы. Строительство субсидировалось из бездонной царской казны, и общие затраты составили 99 миллионов рублей, или 67 500 000 долларов — правда, большую часть этой суммы (так же как и в наших правительственных контрактах) можно вписать в графу "мелкое воровство и кража".

На другом берегу Невы в восточной части Васильевского острова стоят два оштукатуренных здания, это Академия наук и Академия художеств. Прежде чем направиться к ним, задержимся перед знаменитой статуей Петра Великого работы скульптора Фальконе. Повидав творение Кларка Миллза — статую генерала Джексона на коне, застывшем на задних ногах, которую наши просвещенные законодатели признали лучшей в мире, я не ждал многого от Петра, ведь конь последнего не столь высоко вознесся на дыбы, а хвост его касается земли, что, по мнению вышеупомянутых ценителей искусства, является большим недостатком. Однако, когда я увидел, что Петр сидит верхом на коне как человек, а не как деревянный манекен, и что его конь застыл в положении, которое он мог бы сохранить на мгновение, не свалившись на спину, то решил, что слишком поторопился с выводами. Длинный хвост коня и извивающаяся под его копытами змея очевидно необходимы, чтобы сохранить равновесие статуи, и придают ей устойчивость без ущерба для правдоподобия. Генерал Джексон, с другой стороны, не приемлет подобной помощи. Позаимствовав у Франкони одну из его цирковых лошадей, умеющих ходить на задних ногах, он не нуждается ни в змее, ни

в конском хвосте. Тем не менее боюсь, что любой беспристрастный судья признает Петра лучшим наездником.

Академия наук открыта для публики лишь по понедельникам. Не зная этого, я выбрал для визита неудачное время и не смог увидеть интересную зоологическую коллекцию, в том числе сибирского мамонта, которого нашли вмерзшим в лед на реке Лене. В зоологическом кабинете в Москве также имеется скелет мастодонта, правда меньше того, что ранее хранился в филадельфийском музее. Российская академия наук — это правительственное учреждение, в обязанности которого входит организация всех геологических, топографических и астрономических начинаний, а также надзор за их осуществлением. Возглавляет Академию президент, граф Блудов, к которому у меня было рекомендательное письмо, но я не имел счастья с ним познакомиться, поскольку он где-то путешествовал.

Успехи Академии художеств пока невелики. Россия подготовила нескольких хороших скульпторов, но ни одного первоклассного живописца. Даже Брюллов, которого обычно причисляют к сонму гениев и который на самом деле был художником незаурядных способностей, кажется поверхностным рядом с великими старыми мастерами. В галерее русского искусства в Эрмитаже меня особенно поразила грубая, неестественная манера, общая для разных художников, будь то пейзажисты или портретисты. Изображенный на одной из картин шторм на Черном море сливается в сплошную желто-зеленую массу. Некоторые пейзажи Кавказа, правда, написаны весьма тонко и смело, хотя и им не хватает обаяния цвета. Ни один другой народ не гордится так своими великими сынами, как Россия, и, возможно, ни в одной стране истинно великий художник не удостоился бы столь щедрой поддержки, но для появления великих художников одних Академий мало. Напротив, они скорее мешают тому свободному, самопроизвольному развитию, которое необходимо искусству и без которого оно никогда не создаст ничего великого и вечного.

Ближе к западной оконечности Васильевского острова располагается еще одно учреждение, без сомнения наиболее совершенное в своем роде в мире, — Горный институт. Основал его Петр Первый с целью подготовки горных инженеров для постепенной разработки полезных ископаемых в России, и сегодня вряд ли возможно переоценить его значение и пользу для страны. Почти все громадное здание отведено под коллекции минералов, модели самых разнообразных машин, используемых в горном деле, и макеты всех основных шахт с шахтными стволами, штольнями и жилами руды, созданные с удивительным тщанием и мастерством. Коллекция минералов демонстрирует великолепное разнообразие природных богатств. Есть в ней знаменитый уральский самородок — кусок чистого золота в восемьдесят фунтов; обломок малахита весом в четыре тысячи фунтов; идеальный берилл шести фунтов весом и ценой в тридцать тысяч долларов; щетки темно-лилового аметиста; гигантские глыбы яшмы всевозможных цветов и оттенков; плиты драгоценного мрамора и глыбы гранита и порфира вместе с рудными минералами — платиной, серебром, медью и железом — яркими и прекрасными духами, ожидающими, когда огонь высвободит их из сумеречных узилищ. Несколько просторных залов заняты этими редчайшими и ценнейшими образцами.

После того как мы осмотрели модели машин, зданий и шахт, старый солдат провел нас в подвал, вручил каждому длинную восковую свечу и отпер тяжелую железную дверь. Как только мы вошли, дверь захлопну-

лась. Словно по волшебству, мы оказались в чреве угольной шахты — в узком петляющем стволе с поперечными пластами глины, угля и осыпающегося сланца. Здесь представлено все разнообразие падений, залеганий и типов угольных пластов. Затем мы оказались в настоящем подземном лабиринте — в шахтах, где добывается серебро, свинец, медь, золото и железо, причем их было не отличить от настоящих. Поразительно точную имитацию природы довершала влажность почвы, из-за которой воздух в переходах был сырым и холодным. Помимо прочего в этом подземном мире можно было увидеть открытые карьеры (весьма незначительной глубины, разумеется) и различные способы связи горняков с поверхностью. По правде сказать, Горный институт от начала до конца — это одно из наиболее всесторонне продуманных и практических учреждений, когда-либо мною виденных.

На Аптекарском острове, прямо за Троицким мостом, находится бревенчатый дом Петра Великого — его первая резиденция в молодой столице. В нем всего три комнаты. Для лучшей сохранности дом обнесли кирпичными стенами и накрыли крышей, так что старая изба превратилась в своего рода святыню, место поклонения, куда стекаются толпы набожных русских. Главная комната на самом деле представляет собой некое святилище, стены которого увешаны священными картинками, а воздух нагрелся от дюжины горящих свечей. Когда я вошел в эту комнату, она была заполнена простолюдинами, которые кланялись, крестились, бормотали молитвы и зажигали тонкие восковые свечи, причем стояла такая духота и такой сильный запах елея, что я был вынужден немедленно ретироваться. Хранитель — очевидно, человек семейный — при виде серебряной монеты отпер внутренние комнаты и показал мне простой стол и стулья, изготовленные самим Петром, а также видавший виды парус с его бота. В конце дома стоял и сам ботик — легкое, аккуратное остроносое судно длиной около пятнадцати футов, которое Брейстед внимательно осмотрел глазом моряка и признал "сработанным на славу". Хорошо, если бы все подмастерья сегодня учились своему ремеслу так, как мастер Петр из Саардама. Удивительно, однако ж, что человек, который отнял власть у русских священнослужителей и силой выкорчевал множество старых обычаев и суеверий, пользуется сегодня почитанием, достойным святого, хотя сам не был канонизирован.

Я не приглашаю читателей войти со мной в Казанский, Преображенский, Смольный соборы или в собор Александра Невского. Все они вполне современны по своему виду, если не считать татарских, украшенных звездами куполов у трех последних. В соборе Александра Невского находится усыпальница Суворова, а также гробница из литого серебра весом в пять тысяч фунтов с останками святого, которому посвящен храм. Ранее мощи хранились в монастыре на берегу Волги, пока Петр Великий не повелел перенести их в столицу. Вскоре после этого святой исчез и был обнаружен на старом месте — недовольный (как говорили монахи) своим переселением. Тем не менее Петр приказал снова перенести мощи в столицу и пригрозил строжайше наказать монахов, если те будут плохо их караулить. Стоит ли говорить, что святой с этих пор вел себя совершенно спокойно. В Неаполе, занятом французами, произошло подобное чудо, когда у святого Януария вдруг заструилась кровь.

За Гостиным двором расположен странный рынок, известный среди жителей Петербурга как Апраксин двор или — из-за сомнительной чисто-

ты его ларьков, продавцов и покупателей — как Вшивая биржа. Однако стоит все же преодолеть сомнения, которые, естественно, вызывает такое название, и осмотреть его. Это рынок старья или базар, такой же как московские, но превосходящий их по размеру и насчитывающий свыше пяти тысяч лавок. Пройдя всего несколько шагов от шумной Садовой улицы, вы окажетесь посреди странного, обшарпанного, похожего на руины города, тишину которого нарушают лишь крики "Чем вас порадовать, барин?", "Отличные матрасы!", "Очень дешевая карета", "Иконы! Полюбуйтесь! Святой Николай!", "Железные ободa — подходите!", "Сабли!", "Медные самовары — покупайте!" etc. Рынок поделен на отдельные ряды, но торговля ведется хаотично, и каждый предлагает вам то, что имеет, хотя многие товары вы скорее всего никогда не купите. С первого взгляда на нас можно было догадаться, что мы всего лишь любопытствующие иностранцы, но нам все равно настойчиво предлагали купить старые одеяла, кожу, ржавое железо, мебель для дома, сани, соленую рыбу, киоты, кресты, картины, не говоря уж о старых засаленных кафтанах и драных шляпах, дотронуться до которых — настоящий подвиг. Судя по внушительным размерам и разнообразию базаров в России, русские — страстные покупатели. Несколько рядов на Вшивой бирже отведены дешевым закускам: здесь подают чай, квас, рыбу, варенную в масле, черный хлеб и свежие огурцы. Другие завалены сухими фруктами и овощами всех сортов, и это решительно наиболее приятное место.

Фруктовые лавки на Невском проспекте готовят вам приятный сюрприз. Оттуда доносится мускусный аромат золотых дынь, долетает дыхание персиков, слив, винограда, апельсинов и свежих фиг, которые выставлены в витрине в таком изобилии, словно плоды созрели в этих краях. Все фрукты выращены в теплицах, и я не рискнул спросить цену. Роскошь такого рода легче всего извинить.

Ботанический сад, где я провел день, обладает одной из лучших в Европе коллекций тропических растений. Здесь на широте 60 градусов можно прогуляться вдоль аллеи, образованной пальмами высотой в шестьдесят футов, под древовидными папоротниками и бананами, возле прудов с лотосами и индийскими лилиями, по берегам, поросшим великолепными орхидеями, и насладиться самыми богатыми и теплыми ароматами. Гигантские оранжереи протянулись не менее чем на полторы мили. Короткое лето, длинная темная северная зима требуют особого ухода за растениями — этими детьми солнца. В течение трех теплых месяцев происходит их выгонка: они вырастают настолько, насколько могли бы вырасти за шесть месяцев, и их продуктивная способность поддерживается на нормальном уровне. Когда результат достигнут, растение разрастается столь же устойчиво, как в более благоприятном климате. Пальмы относятся к особо благородным экземплярам. Один из видов пальмы (кажется, phoenix) был в цвету — явление на такой широте неслыханное.

Пароходы, отправляющиеся из Кронштадта в Штеттин и Любек, были до отказа заполнены русскими, которые целыми семьями направлялись за границу, — билеты на них были распроданы за несколько недель вперед. Поэтому я на несколько дней сократил свое пребывание в Петербурге и купил места в казенном дилижансе, который следовал через Нарву и Ригу до прусской границы. Для того чтобы покинуть пределы России, требуется выправить специальный паспорт, а также исполнить

давно установленную формальность – троекратно поместить в газете извещение об отъезде. Как положено, наши имена – в слегка искаженном виде и с указанием "американские подданные" – появились в списке отбывающих путешественников, после чего мы получили бумагу с печатью, подтверждающую, что кредиторов, требующих нас к ответу, не нашлось, и отправились в паспортную канцелярию. Процедура оказалась длинной и несколько утомительной, однако чиновники, большинство из которых говорили на трех или четырех языках, вели себя чрезвычайно вежливо и предупредительно, и через несколько часов все было в порядке. Никто здесь не требовал чаевых; правда, казенные сборы и без того велики: мы заплатили без малого десять рублей. После получения паспорта позволяется оставаться в стране еще три недели, таким образом извещение об отъезде, публикующееся ради уведомления возможных кредиторов, практического смысла не имеет.

Система паспортов в России ранее была намного более строгой для подданных империи, чем для иностранцев. В царствование Николая за право покинуть пределы России нужно было заплатить не менее пятидесяти рублей, причем в разрешении нередко отказывали. С дворян и людей состоятельных взималась более высокая пошлина. В 1845 году в Германии я повстречал одного русского, который заплатил пятьсот рублей за год пребывания за границей. Говорят, ежегодная пошлина князя Демидова достигала не менее пятидесяти тысяч рублей. Хотя сам Николай много путешествовал, он, кажется, пожелал лишить своих подданных такой возможности, опасаясь влияния на них чужих обычаев и идей. Александр, с другой стороны, доверяет глубокому национальному чувству русских и не только не ограничивает, но и поощряет путешествия. Дворянину или мещанину паспорт сегодня обходится в пять рублей, в то время как купец, отправляющийся за границу по делам, платит лишь один рубль. В результате летом 1858 года толпы русских хлынули во Францию, Германию и Италию, и из тех господ, которых я надеялся увидеть, никого не оказалось на месте. <...>

Мы заняли места в дилижансе в шесть часов жарким летним вечером, когда солнцу оставалось еще три часа светить над горизонтом. Моим спутником оказался французский купец из Москвы – молодой человек двадцати четырех лет, бледный, с глубоко запавшими глазами, острыми коленями и уже заметной плешью. Неприятно сидеть в такой близости к человеку, чье тело преждевременно разрушилось под воздействием пороков, но путешественники не вправе выбирать себе спутников или соседей. Я попробовал испытать ум француза при помощи обычных своих приемов, пытаясь определить, тлеют ли еще искры в этой куче пепла, но не получил в награду никаких утешительных результатов. Он обожал Луи Наполеона и провозгласил, что именно ему Россия обязана отменой крепостной зависимости, ибо он тайно склонил к этому Александра II. Он настолько несвязно рассуждал по поводу самых общеизвестных предметов, касающихся России, что я скоро в отчаянии от него отступился. Помимо этого у него была неприятная привычка называть любое место, кроме Москвы "там", (là-bas). Берлин, Париж, Константинополь, Америка, Санкт-Петербург – все они были "там". "Где?" – спрашивал я раздраженно, и в ответ слышал: "Ну там". За двадцать четыре часа я до тошноты пресытился подобной беседой, после чего мы заговаривали друг с другом не чаще чем раз в три часа.

Брейстеду повезло немногим более. Его соседом по coupé (всего в дилижансе четыре места для пассажиров) оказался богатый русский, страдавший жестоким приступом диспепсии. Чтобы облегчить страдания, он пил чай и поглощал в огромных количествах сметану. Когда речь заходила о его желудке, он неизменно впадал в ипохондрию. Он ел столько же, сколько трое других пассажиров, взятых вместе, и при этом постоянно сетовал на потерю аппетита. По его словам, в былые времена он съедал жареную индейку за один присест, но сейчас мясо для него смерти подобно. Тем не менее, когда на очередной станции перед нами поставили целое блюдо котлет, наш спутник уселся за стол с решительностью самоубийцы и съел такое их количество, которое (согласно его собственной теории) вполне могло стать причиной смерти. Он честно признался, что в молодые годы растратил большое состояние и взялся за работу лишь под давлением обстоятельств, правда с тех пор весьма преуспел. Как бы то ни было, он был человеком умным, с богатым жизненным опытом, и чем дольше мы его наблюдали, тем больше появлялось у нас оснований испытывать к нему симпатию. История его жизни, которую он мне поведал, не умолчав даже о самых интимных ее сторонах, была гораздо интереснее, чем можно было ожидать. Сам того не зная, он дал мне ответ на некоторые из многочисленных загадок, которые загадали его племя и пол. Полная и подлинная история одной жизни стоит всех книг, когда-либо написанных о человеческой природе. Это факт, значение которого невозможно переоценить.

Покинув столицу, первые три часа мы ехали вдоль Финского залива в сторону Петергофа, мимо прелестных парков и вилл, где проводят лето богатые петербуржцы. Это, главным образом, деревянные дома обычной архитектуры, но, кажется, весьма уютные и удобные. Парки почти везде разбиты в английском стиле: склоны, поросшие свежим дерном, деревья с кронами естественной формы, извилистые дорожки и яркие цветочные клумбы. На протяжении пятнадцати миль эта прелестная диорама летних дворцов открывалась нашему взору слева от дороги, тогда как по правую руку простиралась широкая синь залива — от сияющих куполов города до смутных очертаний омытой волнами крепости Кронштадт. В Стрельне мы свернули налево и направились по низкой Эстонской равнине в сторону Нарвы. Почтовые станции на этой старой дороге несравнимо хуже тех, что на новом тракте из Варшавы в Москву, хотя и здесь мы получали все необходимое, а хозяева говорили по-немецки лучше, чем по-русски. <...>

В Ямбурге, довольно большом городе на реке Луга, мы решили воспользоваться получасовой остановкой и искупаться. Мы были посредине реки, когда увидели проезжающий дилижанс. Кондуктор любезно подождал нас на другом берегу и извинился за то, что пустился в путь, объяснив это тем, что не узнал нас без одежды. Он не первый человек, который смотрит на сюртук, а не на лицо. Еще через два часа мы добрались до Нарвы.

Борис Дубин

Как я стал переводчиком[1]

И снова скальд чужую песню сложит
И как свою ее произнесет.

Осип Мандельштам

Если бы не предложение и просьба моего давнего друга, коллеги, замечательного немецкого филолога-русиста, историка, социолога советской и постсоветской литературы Биргит Менцель[2] сделать для ее студентов, будущих переводчиков, сообщение на тему, вынесенную в заглавие, я, скорее всего, навряд ли предался бы рассуждениям о себе и собственном прошлом. О современном российском обществе, общественном мнении в России, российских массмедиа я в университете Гермерсхайма, филиале Майнцского университета имени Иоганна Гутенберга, по приглашению Биргит Менцель уже дважды рассказывал. Но сознание у меня устроено антидневниково и антимемуарно в том простом смысле, что, как мне кажется, за взрослого человека либо говорят его дела, либо о нем/о них не стоит и разговаривать. Однако после электронной записки Биргит я подумал: вот, может быть, повод рассказать молодым и находящимся вне российской ситуации людям о некоторых более общих вещах — например, об исторических обстоятельствах, которые, кажется, стали у нас в стране что-то слишком стремительно забываться, о случайностях, из которых чаще всего в этих обстоятельствах ткалась жизнь, а главное — о людях, с которыми эта жизнь вроде бы случайно сталкивала, но которые, что самое интересное и важное, из случая нередко становились биографией и судьбой. Говоря короче, я не без стеснения, но с благодарностью согласился.

1

Рассказывая о первых шагах в работе над переводами европейской и латиноамериканской поэзии — а она для меня началась тридцать пять лет назад, в 1970 году, — неизбежно приходится говорить о том, *чего уже нет.* Нет той страны, СССР, где это происходило. Во многом нет уже советского общества, едва ли не всего устройства жизни тех лет. Нет того конкретного издательства "Художественная литература" в пятиэтажном особняке на Ново-Басманной улице в Москве, где это началось и

© Борис Дубин, 2006

1. В основе текста — сообщение, сделанное 9 декабря 2005 г. в университете г. Гермерсхайм (ФРГ) на семинаре, организованном профессором Биргит Менцель. Благодарю студентов и преподавателей университета за участие в дискуссии и помощь в общении. Для публикации текст выступления значительно изменен и дополнен.

2. Ее статьи публиковались в журналах "Новое литературное обозрение", "Неприкосновенный запас" и др., фундаментальная монография "Гражданская война за слово: Российская литературная критика времен перестройки" (2001) вскоре выходит в русском переводе.

где столько — бесповоротно — осталось. Нет многих тогдашних позднесоветских институций, одной из которых, среди прочих, было "издательство", "государственное издательство", как нет и основной фигуры той официальной институции — "редактора".

Задачей редактора (его роль, как и роль "учителя", "инженера", "врача", как всё сословие "интеллигенции", сложилась еще в ходе сталинской культурной революции конца 1920 — первой половины 1930-х годов, периода "учебы" советских писателей и читателей) было, во-первых, довести попавший в его руки оригинальный или переводной текст до некоторых средних кондиций языковой правильности и литературного стиля, которые делали написанное пригодным для печати, а во-вторых — следить за тем, чтобы в печать не проникло ничего недопустимого с точки зрения цензуры, в самом широком спектре — от политики до эротики. Спасением для человека пишущего, если он был не халтурщик и не карьерист, становился в таких условиях "хороший редактор" (как для человека, учащегося в советской школе, — "хороший учитель", а для человека лечащегося — "хороший врач").

"Хороший редактор" работал с каждым пишущим человеком отдельно и видел свою цель в том, чтобы по возможности помочь пишущему, если в нем чувствовались способности, попасть в печать, а попутно помочь автору сделать то, что он написал — опять-таки по возможности — лучше. Не "правильнее", не "глаже", не "публикабельнее", а именно лучше. Такой редактор брал на себя в тогдашних условиях, как легко понять, определенный риск. Но при этом он вместе с автором поддерживал и даже, случалось, поднимал уровень литературы, развивал ее традиции, отстаивал ее достоинство, а с другой стороны, проявлял и распространял в окружающей среде человеческое благородство, понимание, такт. Мне повезло: я начал работать как переводчик именно с таким редактором и потом встречал в своей работе нескольких таких же.

Но тут придется отступить еще на несколько лет назад. В 1964–1965 годах в Москве возникла группа молодых литераторов, назвавшая себя "СМОГ" (сокращение, по первым буквам, от "Самое Молодое Общество Гениев" или "Смелость — Мысль — Образ — Глубина", либо еще одна расшифровка — "Сжатый Миг Отраженной Гиперболы"), в ту группу входил и я. Об этом уже кое-что написано в период перестройки и в последние годы. Группа, у которой никогда не было точного состава и строгой структуры, была как бы одним из последних воплощений хрущевской "оттепели" в кратком, но насыщенном событиями историческом промежутке между процессом Бродского в феврале 1964 года, снятием самого Хрущева в октябре того же года, делом Даниэля и Синявского осенью–зимой 1965–1966 годов и подавлением Пражской весны в августе 1968-го. Так вот, среди нескольких публичных выступлений "смогистов" — а группа просуществовала лишь до 1966 года, после чего понемногу растворилась — был вечер публичного чтения и обсуждения наших стихов в Центральном Доме литераторов в Москве, своего рода писательском клубе и вместе с тем официальной резиденции Союза писателей. Акция состоялась в декабре 1965-го. Нам, выступавшим (Леониду Губанову и Алене Басиловой, Владимиру Батшеву, Сергею Морозову, Татьяне Ребровой и нескольким другим), было примерно по двадцать, большинство слушателей были намного старше. Среди слушавших был крупный поэт военного поколения Борис Абрамович Слуцкий (мы тогда еще не знали сотен его стихов, по цензурным условиям остававшихся в рукописи). Он вместе с несколькими другими писателями на том вечере — Давидом Самойловым, Львом Славиным, Лидией Либединской, Семеном Кирсановым — заступался за нас, стараясь как-то смягчить негативные или да-

же репрессивные выводы, которые могли сделать после этой встречи официальные литературные и надлитературные власти.

Слуцкому особенно понравились стихи одного из нас, моего однокашника по филологическому факультету МГУ Михаила Елизарова, и он пригласил его заходить, показывать новые вещи. В одну из поездок к Слуцкому Миша взял с собой меня, потом мы стали время от времени звонить Борису Абрамовичу, заезжали к нему показать новые стихи, просто поговорить, советовались с ним, когда власти арестовали в 1966 году одного из смогистов, нашего друга и талантливого поэта Владимира Батшева (Володя потом был несколько лет в ссылке в Сибири, а позднее эмигрировал и сейчас живет во Франкфурте-на-Майне, издает журналы "Литературный европеец" и "Мосты", написал большую историческую монографию о генерале Власове, которая, кстати, награждена престижной международной премией, но остается, кажется, совершенно неизвестной в России).

Слуцкий старался — хотя это было занятием почти безнадежным — как-то помочь нам, Елизарову и мне. Рекомендовал нас в газетах (например, в "Комсомольской правде"), на радио и, среди прочего, направил с запиской в издательство "Художественная литература" к своему старинному знакомцу, редактору Олегу Лозовецкому — под его редакцией только что вышел тогда в свет томик избранных стихотворений Шарля Бодлера, которые переводили крупные советские мастера, и началась работа над таким же томиком Поля Верлена. Нас с Елизаровым на филологическом факультете учили французскому языку, а до этого в школе и с частными педагогами мы занимались английским, так что по молодости и нахальству считали, будто этого вполне достаточно, чтобы браться за переводы. Так или иначе, переводить Верлена мы тогда не решились, но издательство и редактора я запомнил. И когда в 1969—1970 годах я — из зависти к другу, замечательному поэту Сергею Морозову, который тогда вдруг перевел несколько вещей Гейне и Ленау, — попробовал переложить несколько стихотворений Бодлера, то понес сделанное именно Лозовецкому в Гослит (так по-старому, еще до войны, называлось издательство "Художественная литература").

Переводы, как теперь понимаю, были плохие. Но умный и опытный редактор все же, кажется, увидел в них какие-то проблески, познакомил меня с удивительным переводчиком более старшего поколения Анатолием Гелескулом (Гелескул, которым я после его переводов середины шестидесятых из Лорки и Вальехо безоговорочно восхищался, стал моим другом и, я бы сказал, учителем, хотя сам он себя учителем — ни моим, ни еще чьим-то — никогда не считал), привел в испанскую и польскую редакции того же издательства, с которыми я потом много лет сотрудничал. Наконец Лозовецкий предложил мне переводить стихи французского "парнасца" Теофиля Готье для двухтомника избранных сочинений, который начал тогда готовить. Готье — поздний, уже разочарованный романтик, который перегорел, но стоически держится тем, что довел до блеска свою стилистическую выдумку и сковал ее строжайшей стиховой формой. Из его виртуозных стихов как будто бы изгнано все личное, непосредственное, случайное. В 1910-е годы его переводил на русский язык Николай Гумилев, но публиковать Гумилева и даже его переводы в Советском Союзе настрого запрещалось.

Мне тогда были ближе всего переводческие работы Бориса Пастернака, их высокий лирический градус, щедрое просторечие, свободная, размашистая интонация, даже некоторая грубоватость. Работать над Готье с такими привычками было трудно, он был чужой, приходилось каждый день переламывать себя. Я не только без конца правил отдельные слова и строки, но несколько раз целиком переписывал наново уже переведенные

стихи, в особенности — небольшую, но емкую вещь "Слепой" и пространное, очень красивое стихотворение, уже почти поэму, "Мажорно-белая симфония". Тогда же, в 1970 году, я женился, мы с молодой женой отправились в поездку на Кавказ, на следующий год — в Крым, но и оттуда я все еще досылал Лозовецкому последние поправки и переделки. В 1972 году двухтомник вышел, в нем дебютировали несколько начинающих литераторов (один из них — известный сегодня поэт и переводчик англоязычной поэзии Григорий Кружков), там были четыре моих перевода. Это и стало для меня переводческим дебютом. Позднее я еще не раз переводил с французского, но по большей части — XX век, от Гийома Аполлинера до Ива Бонфуа.

В дальнейшем я довольно много переводил испаноязычных поэтов (язык я осваивал самоучкой, по совету Гелескула, так же как потом португальский и польский) — от средневековых анонимных песенок до сюрреалистов XX века. Большим счастьем для меня всегда была работа над переводами польской словесности XX века — писем и эссе несравненного Бруно Шульца, лирики гениального, погибшего в Варшавском восстании юноши, Кшиштофа Бачинского, стихов и прозы нобелевского лауреата Чеслава Милоша. У меня к польской речи особое отношение, как к родной; не думаю, будто дело здесь в каком-то "голосе крови" — моя бабушка по отцу Мальвина Иосифовна Лапинская, дочь кузнеца из галицийской деревни Требухивцы под Бугачем. была польско-еврейско-украинского происхождения (в такие голоса я не верю, а верю в любовь и память).

Я переводил и с английского, но из стихов — совсем немного, в основном романтиков (Блейка, Шелли, Китса), а больше эссеистику — Исайю Берлина, Сьюзен Сонтаг. Из португальцев очень интересной и важной была работа над переводами стихов и лирической прозы Фернандо Пессоа. Всего несколько раз я брался за переводы с языков, на которых не читаю, — с венгерского, болгарского. По предложению и с помощью моих друзей-унгаристов (прежде всего, неутомимой в бескорыстии Елены Ивановны Малыхиной) я перевел несколько стихотворений Эндре Ади и Яноша Пилинского. Это великие поэты, но когда не прочитал и не перечитывал стихи сам, не носил и не перебирал их в памяти годами, от сделанных переводов остается ощущение приблизительности. На них — какой-то не удаляемый туманный налет.

В девяностые годы я все больше перевожу прозу, но не повествовательную, а эссеистическую и афористическую — дневники, записные книжки, "стихотворения в прозе" и тому подобные "промежуточные" формы. Мне важно, что такая проза — не отражательная и не повествовательная. А значит, ее авторы и их переводчик не скованы соответствующими условностями, привычками, стереотипами.

2

Из таких переводов составилась, например, книга, которая вышла в петербургском издательстве Ивана Лимбаха несколько месяцев назад. Она называется "Пространство другими словами"; ее заглавие я заимствовал, с разрешения автора, у французского поэта старшего поколения Жака Дюпена, с которым дружу и которого перевожу, он назвал так сборник своих эссе об искусстве. Моя книга составлена из текстов французских поэтов XX столетия, посвященных или обращенных к изобразительным искусствам, она начинается горячей журнальной заметкой Аполлинера о Пикассо и заканчивается эссе Мишеля Деги о картине Ватто "Отплытие на Киферу". Для французских поэтов после Малларме, работавшего над переводами из Эдгара По рука об руку с великим Эдуаром Мане, творческое взаимодействие с живописью, графикой, скульптурой — насущная по-

требность и повседневная практика. Поэты пишут предисловия к каталогам выставок своих друзей-художников, художники работают над книгами друзей-поэтов как их полноправные соавторы. Этот, если угодно, обоюдный "перевод" — черта современной, "модерной" (moderne) эпохи, начало которой своей лирикой и критической рефлексией положил Бодлер, напомню только его основополагающее эссе "Художник современной жизни" (1863). Эпоху и поэтику модерна — если говорить о Франции — продолжил через десятилетие после Бодлера уже упоминавшийся Малларме, а в XX веке подхватили (и, в известном смысле, завершили) Аполлинер и сюрреалисты. Ее венцом и итогом стал, как мне кажется, Пауль Целан, а размышления над его стихами, переводами, судьбой и гибелью дали начало — в Германии, во Франции, в Америке, в Восточной Европе — уже нынешней, постмодерной эпохе.

Особенностям модерна как исторической фазы и как творческой программы в той или иной степени посвящены статьи и заметки последних 10—12 лет, которые я, по предложению Игоря Клеха, собрал в книгу "На полях письма". Она тоже вышла — в московском издательстве "Emergency Exit" — несколько месяцев назад. Главной проблемой модерна, если хотите — его "нервом", по-моему, была проблема Другого. Другого человека (скажем, человека иной цивилизации — чужака; иного социального статуса — отверженного; иного умственного и душевного состояния — ребенка, больного). Другой, невещественной реальности — сна, воспоминания, воображения. Другого, сдвинутого и перекрученного языка, способного передать непривычное, даже пугающее, но притягательное и необходимое новое.

3

В заключение — несколько слов о том, как я, для себя и в ходе собственной работы, понимаю перевод. Это суждения практика, а не систематические воззрения теоретика. Образцом такой "практической философии перевода" для меня остаются заметки Борхеса, сопровождавшие его собственные переводческие предприятия, и книги рано умершего французского филолога Антуана Бермана, который был не только глубоким аналитиком теорий перевода у немецких романтиков, но и блестящим переводчиком немецкой и латиноамериканской словесности[1].

По Борхесу, главная болевая точка в проблеме перевода — идея окончательного, единственного и неповторимого текста (плюс его столь же единственного и неповторимого автора), а значит, и противостоящая ей идея варианта, черновика. Своего рода "мистика оригинала" состоит в том, что оригинал, с одной стороны, всегда уже есть (поэтому от него недопустимо отклоняться даже в единственной запятой), а с другой — его невозможно достигнуть, почему и всякий перевод приблизителен, а переводы быстро устаревают, тогда как оригинал будто бы вечен. Отсюда — неустранимо двойственная роль переводчика: с одной стороны, он всегда лишь двойник и копиист, а с другой — творец или, по крайней мере, соавтор или даже соперник автора.

Перевод как проблема — "задача переводчика", по известной формуле Вальтера Беньямина, давшей название его основополагающему эссе, — возникает, мне кажется, тогда, когда проблемой становится адресат текста. То есть когда адресат и понимание, употребление текста больше уже не предопределены его статусом (например, сакральным или домашним) и назначением (скажем, служебным). Текст теперь обращают к чужаку, но такому чужаку,

1. Раньше я писал об этом в связи с переводами Борхеса, Анатолия Ѣлескула, Вадима Козового в статьях, теперь включенных в книгу "На полях письма" (М., 2005, с. 88—92, 138—140, 160—174).

который автору текста бесконечно важен и интересен. Понимание, перевод, передача, истолкование смысла становятся далее, можно сказать, отдельными измерениями текста, почему и возникают особые специалисты в этих областях. Один из таких специалистов, наряду с критиком, историком, преподавателем и другими, – переводчик, профессиональный переводчик.

Пределы его понимания и особенности работы в каждом конкретном случае заданы тем, как он представляет себе своего адресата, "читателя", а соответственно и "литературу". Отсюда основополагающее для статуса литературы и для работы переводчика значение самой идеи "книги книг", будь то Библия или Гомер, Шекспир, Данте или Сервантес. Отсылка к национальным гениям тут не случайна: перевод – в том смысле, который меня здесь интересует, – возникает лишь при создании национальных литератур, на разрыве между всеобщим (всемирным, мировым) и национальным, местным. Этот разрыв переводчик и фиксирует в своей работе, и пытается преодолеть.

Определяющий момент – какова для переводчика дистанция между значимым для него воплощением "всеобщего литературного разума" (высшим адресатом, тем, кто, по его представлениям, знает и понимает в слове и литературе как бы "всё") и самым непонимающим из читателей, которому буквально всё нужно, напротив, объяснить, "разжевать". В самом общем виде я бы выделил такие принципиальные разновидности перевода и самого подхода к переводимому материалу:

– "буквальный", "точный" перевод (подстрочный, словарный, лингвистический, учебный). Переводчик исходит при этом из идеи подобия или даже однозначного равенства языков, как в элементарном двуязычном словаре или разговорнике, где слева – выражение на чужом языке, справа эквивалент на родном, между ними иногда – транскрипция на условном всеобщем;

– "литературный", "выразительный", "художественный" перевод; для такого переводчика избранный им замечательный текст понятен, а в "родном" языке для его передачи уже есть "всё", нужно только добраться до вторых и третьих планов смысла, до языковых залежей и россыпей – народного разговорного языка, специальных профессиональных языков, социальных наречий и прочего. Образцы такого перевода создавал один из лучших советских переводчиков – Николай Михайлович Любимов. Однажды на своем семинаре для филфаковцев романо-германского отделения МГУ во второй половине 1970-х годов он рассказывал, что составляет для работы словари синонимов, ассоциаций, эпитетов... "Какой, например, бывает смех?" – "Громкий, раскатистый, влажный..." То есть он в этих словарях заранее собирал и фиксировал ресурсы русского народного и литературного языка. Задача переводчика при таком подходе – использовать уже имеющееся и знать, где его найти. Поэтому лучше, если эти копилки находок будут поближе к переводчику, у него под рукой. (Замечу попутно, что сам я так работать не умею, и мне это не очень интересно. Может быть, дело в том, что я начинал с переводов поэзии. В лирике с "классическими" языковыми умениями и накопленными ресурсами, увы, делать нечего. Главное отличие – в том, что у поэзии язык поэтический, а не просто русский, испанский или французский: он живет не горизонтальной последовательностью идущих слева направо слов, а "вертикальным" измерением, общим строем, который и есть смысл. И этот общий смысл, который введен в само устройство стихотворения, в его ритм вместе с ритмическими отклонениями и перебоями, в порядок рифмовки, как в сонете, канцоне или терцинах, про которые Михаил Лозинский говорил, что переводчику дантовской "Комедии" нужно слышать уже последнюю рифму каждой песни, только еще подбирая

первую, иначе не переведешь, так вот — этот общий смыслопорядок, осмысленный строй для поэта и его переводчика важней, чем отдельное слово, даже самое яркое);

— "истолковывающий" перевод, причем толкованию здесь подлежат не только экзотические слова, возможно, не известные читателю (их-то как раз легче всего найти по готовым словарям), но, прежде всего, принципы подбора и соединения слов, то есть сам процесс смыслообразования. Перевод здесь есть вместе с тем комментарий (литературно-критический, культурологический, культурно-языковой, историко-философский и т. д.). Такую работу в России делала и делает, к примеру, блестящий филолог-античник Нина Владимировна Брагинская, наново переведя некоторые сочинения Аристотеля или, уже совсем недавно, тонкий трактат византийца Михаила Пселла о любовном романе;

— "поисковый" перевод; здесь переводчик идет от того, что любой "оригинал" есть в определенном смысле только "черновик", причем он не связан с фигурой автора как непререкаемого авторитета, — текст как бы анонимен и всегда только пишется (продолжается, разворачивается). В этом смысле всякое высказывание есть "перевод", а в родном языке переводчика тоже нет ничего "готового": этот язык ему еще предстоит придумать и задним числом обосновать — отметить в нем "свое" или специально подчеркнуть "чужое". Отношение к своему "естественному" родному языку продиктовано для переводчика острым ощущением того, чего в нем нет; иными словами, это отношение к "своему" языку в перспективе "чужого", как к "чужому".

Вот этим последним типом перевода, по-моему, как раз и занимался Борхес. Больше того, он положил такой перевод в основу своей новой "литературной антропологии": для него писатель (человек пишущий) — это не Бог-Творец, не всемогущий и всевидящий Демиург, это — и именно с маленькой буквы! — читатель и переводчик. В его понимании перевода — понимании, замечу, крайне радикальном, Борхес в литературе отнюдь не консерватор — как будто бы даже нет такой привычной всем переводчикам характеристики, как знание языка оригинала. Показательно, что переводы, чаще всего обсуждаемые Борхесом, — скажем, поэм Гомера и сказок "Тысячи и одной ночи" — сделаны с языков, которых сам Борхес вообще не знал; он любил повторять слова о том, что Данте и Шекспир тоже не знали греческого, но постоянно перекладывали и транспонировали греческие оригиналы.

Скорее для борхесовской концепции перевода важны такие качества переводящего, как сознательность, собранность, внимание. Или такие, как способность к перевоплощениям, борьба с повторением, я бы даже рискнул сказать, "не-верность" — неверность тексту, неверность самому себе, сказанному автором или тобой прежде ("сознательная и удачная недостоверность", скажет Борхес об одном, по его мнению удачном, переводе "Сказок тысячи и одной ночи"). Такие, наконец, как предчувствие будущего, которое всё перепишет и перетолкует, сознание собственной неокончательности, открытости текста в завтрашний день и непредсказуемости его перемен вместе с изменениями языка, мысли, человеческого сознания. "Его подвело развитие языка", — пишет Борхес об авторе другого перевода "Тысячи и одной ночи", перевода наиболее популярного среди читателей-современников, но очень быстро устаревшего.

Поэтому главными для Борхеса в его работе были даже не переводы отдельных книг (таких работ у него как раз немного — "Дикие пальмы" Фолкнера, "Собственная комната" и "Орландо" Вирджинии Вулф, "Варвар в Азии" Анри Мишо), а случайные, полускрытые, "косвенные", говоря его любимым словом, заведомо неклассические формы перевода — отрывок, процитированный в рецензии; фрагмент, переведенный (и нередко с третьего языка-посредни-

ка) для антологии; собственный текст, мистификаторски выданный за перевод, и наоборот. Перевод для Борхеса – не просветительская транспортировка всеобщей, готовой и обязательной классики с одного языкового склада на другой. Так называемый "реалистический" подход к переводу (как и вся стоявшая за ним эстетика реалистического романа XIX века) для него – достояние лишь одной и, в общем, не такой уж длинной литературной эпохи, которая к тому же, по его мнению, завершилась. "До" нее пишущие свободно создавали свои книги из любого подручного материала, крайне мало заботясь при этом о "точности" (поскольку они ведь не знали позднейшего понятия литературы, автора, книги и подобных им экономико-правовых установлений буржуазной эпохи). "После" нее, уже в собственно борхесовское время, все эти категории, не потеряв своего смысла на литературном рынке и в суде, были поставлены под сомнение в культуре. И всякому сколько-нибудь сознательному писателю пришлось теперь задаться вопросами, как и для кого писать, как (по выражению Бориса Эйхенбаума) "быть писателем". Из чего, напомню, и родилась борхесовская литература, вобравшая, наряду со многим прочим, его чувства и мысли читателя, самокритика, переводчика.

Все в Слаку!

М. Брэдбери *Обменные курсы* / Перев. с англ. Е. Доброхотовой-Майковой. – М.: АСТ, 2006

Вы не были в Слаке? Не были?! Не восхищались барочными изысками собора Святого Вальдопина? И не осматривали величественный замок, построенный епископом Вламом, по прозвищу Потаскун? И не посещали мавзолей Григорика, который "в 1944 году, когда либеральные элементы заколебались, решительно вручил страну советским освободителям"? И не сибаритствовали в ресторане "Слака", где за умеренную плату в долларах, фунтах или, на худой конец, в местных влосках предлагаются – цитирую рекламный буклет – "такие деликатности наших кухмистеров, как кырбіі чурба (баранина, протушенная в горшочке), cotelette du porc (свинская отбивная), саркіі банату (паштет из овчины) и знаменитое мясо по-боярски, оживленное фольклоровыми песельницами и типичным оркестром"? И не пробовали тамошний персиковый коньяк ротьвитті?! Вы многое потеряли...

Всем, кто хочет стряхнуть с себя паутину житейских забот и разнообразить рутинный ритм существования яркими впечатлениями, настоятельно советую: отложите дела и отправляйтесь в Слаку, столицу маленькой, но потрясающе красивой восточноевропейской страны, не отмеченной на современных картах, приютившейся на пересечении торговых путей где-то между Нейтралией и Руританией.

Правда, для того, чтобы попасть в Слаку, нам придется совершить путешествие во времени и окунуться в эпоху жесткого противостояния стран недоразвитого социализма растленному Западу, страдающему от безработицы, промышленного спада, деиндустриализации и садо-монетаризма. Ведь Слака, какой ее придумал Малькольм Брэдбери, – столица "бескомпромиссной соцстраны, входящей в СЭВ и Варшавский договор", так что беспечного путешественника поджидают все подзабытые прелести прекрасного социалистического далёка: назойливое внимание спецслужб (аналогом штази или КГБ в Слаке является ХОГП, "основной работодатель страны", поскольку одна половина населения неусыпно следит за другой), ненавязчивый гостиничный сервис (даже в шикарном номере лучшей столичной гостиницы в ванной нет мыла, а в уборной – туалетной бумаги), крикливая показуха и марксистская риторика, не скрывающие полунищенского уровня жизни простых людей, спецмагазины для партийной номенклатуры и праздничные демонстрации с транспарантами и красными знаменами. Определенные сложности могут возникнуть в связи с языковым барьером: в тамошней державе "один язык разговорный и один книжный", грамматика колеблется вместе с линией партии, "падежей вообще-то всего три, но иногда семь", лексика – не поддающийся быстрому изучению винегрет из слов с тюркскими, романскими и финно-угорскими корнями, а правил произношения столько же, сколько жителей страны.

Но нам ли бояться подобных трудностей?! К тому же, дабы избежать недоразумений, мы можем учесть богатый опыт Энгуса Петворта: специалист по разным

лингвистическим закавыкам и бывалый путешественник, в начале восьмидесятых он побывал в Слаке с курсом лекций по заданию Британского совета и по поручению профессора Брэдбери. Петворт, конечно, малый скучноватый, звезд с неба не хватает — приторно вежливый, покладистый, пресновато-благопристойный английский интеллектуал, промышляющий снотворными лекциями про увулярное R или различия между "I don't have" и "I haven't got", — однако именно с его помощью вы, не вставая с кресла, сможете посетить "цвет среднеевропейских городов, столицу искусства и торговли, широких улиц и цыганской музыки". Только не забудьте взять с собой путеводитель — роман "Обменные курсы" (1983), правдиво рассказывающий о пребывании английского профессора в социалистическом Зазеркалье.

Если не считать повесть "Сокращения" (1987)[1] — своего рода расширенную и модернизированную версию "Вылазки в действительность" Ивлина Во, — "Обменные курсы", пожалуй, самая смешная вещь Малькольма Брэдбери, в которой неповторимым образом сочетаются традиции свифтовской сатиры и комедии положений, а кафкианский абсурд сдобрен тонким английским юмором.

За годы "холодной войны" в англоязычной литературе сформировался своего рода жанровый канон — "приключения здравомыслящего англосакса за железным занавесом". Родоначальником здесь выступил Ивлин Во (писатель, у которого Брэдбери очень многому научился, недаром же написал о нем монографию[2]): побывав в Югославии, он уже в 1946 году отправил своего героя, скромного латиниста из провинциального колледжа, за тридевять земель в тридесятое тоталитарное царство (повесть "Новая Европа Скотта-Кинга"). В рамках новой жанровой формы проявили себя (если называть авторов первого ряда) Энтони Бёрджесс (пикарескный роман "Мед для медведей", 1963), где отразились его впечатления от посещения Ленинграда) и Джон Апдайк — в первой книге новелл о писателе Бехе ("Bech: A Book", 1970).

"Обменные курсы", как и последняя книга Брэдбери, "В Эрмитаж!" (2000), продолжают славную жанровую традицию — с той разницей, что разоблачительно сатирические нотки звучат здесь более приглушенно, чем у предшественников, а герои целиком подчиняются стихии беззаботного смеха.

С бесцветным протагонистом, знать ничего не знающим, кроме своей лингвистики, то и дело случаются забавные казусы и недоразумения. Поскольку по линии культурного обмена в Британском совете подвизаются два профессора Петворта (второй — социолог), а нерадивые чиновники, естественно, посылают в Слаку фотографию и паспортные данные однофамильца, в слакском аэропорту он мучительно долго не может найти обещанного гида; в столичном университете его направляют не к филологам, а к социологам, и обижаются, когда вместо утвержденной в ректорате лекции о "прублуми английски социологыии" он собирается читать об английском языке как средстве межнационального общения; ему не дают покоя соглядатаи из ХОГП, диссидентствующие представители слакской богемы и соотечественники, в лице придурковатого британского консула и его жены-нимфоманки; к нему пристают со всевозможными услугами валютные проститутки и спекулянты; радушные аппаратчики

1. Повесть опубликована в "ИЛ" (2002, №12).
2. Bradbury M. Evelyn Waugh, 1964.

из "Министратіі культуриіі комитетьиіі" обильно потчуют "профисору Питворту" местного разлива коньяками и официальными лозунгами, а женщины буквально рвут на части, добиваясь расположения (темпераментная супруга консула так и вовсе в припадке страсти вырывает с мясом у Петворта... нет-нет, не бойтесь — молнию из ширинки парадных брюк).

Но как бы глупо и алогично ни вели себя герои (например, в сцене совращения внезапно появившийся британский дипломат, вместо того чтобы урезонить сластолюбивую супругу, начинает недипломатично валтузить обескураженного Петворта), как бы ни были нелепы ситуации, в которые попадает скромный труженик на ниве просвещения и культурного обмена, главный источник смеха в романе — язык, на котором аборигены говорят с залетным гостем — Петвортом — "Питвортом" — "Петвуртом" — "Первуртом" — "Первертом". Это и неудобопроизносимый слакский говор, изобретенный Брэдбери с помощью коллег-филологов — "Пляшки отвату иммержьнисина проддо флугси фроликат"; "маськаыии иксъген флипифлопа"; "воно иксъген ускака пор прусори, от ноки роки", — и искореженный "английский" (виртуозно русифицированный переводчицей, за что низкий ей поклон), в устах слакских гидов, чиновников и профессоров превращающийся в нечто невообразимое, гротескное — с кривым синтаксисом, хромой грамматикой и забавными словесными уродцами, типа: "бюрократчик", "доносы багажей", "моща святого в ларьке". Стилистические "слакско-английские" перлы, украшающие речь персонажей, придают роману колорит веселого идиотизма, а умопомрачительные диалоги между Петвортом и его слакскими коллегами напоминают фрагменты абсурдистской пьесы:

— Я сравниваю политические поэмы Уильяма Вулворта и Хровдата, — сообщает мисс Мамориан.

— Кого? — спрашивает Петворт.

— Да, — говорит госпожа Гоко, — пожалуйста, будьти критични, как хотити.

— Хровдата, — отвечает мисс Мамориан.

— Наш национальни поэти, — объясняет госпожа Гоко. — Переводил Байрони и Шекспири, был друг Кошути. <...>

— Да, — говорит Петворт, — но что за английский поэт?

— Вулворт, автор "Прелюда", — отвечает мисс Мамориан.

— Вы, наверное, имеете в виду Уильяма Вордсворта, — говорит Петворт.

— Наш гости критикуи верни, — вставляет госпожа Гоко. — Вулворти — названии магазини.

— Правда? — спрашивает мисс Мамориан.

— Наш гости критикуи правильни, — твердо повторяет госпожа Гоко, — и мы должны использовати это на практикыи.

Мисс Мамориан сглатывает и начинает очень тихо всхлипывать.

— А вы, господин Пикнич, чем занимаетесь? — спрашивает Петворт.

— Вы — буржуазная идеология, — отвечает господин Пикнич. — Зачем вы приехали в нашу страну? Кто вас послал?

Такого рода увеселительные сцены ожидают читателя на протяжении всего путешествия. А ведь в романе есть еще много лингвистических сувениров и сюжетных сюрпризов, благодаря которым экскурсия в Слаку запомнится надолго. Вас ожидает знакомство со сногсшибательной красавицей, писательницей, "магической реалисткой" Катей Принцип; вас непременно угостят национальной оперой-буфф

"Ведонтакал Вроп" (по мнению слакских музыковедов, ее автор "предвосхитил такие великие творчества, как 'Марьяж Фигаро' Моцарта и 'Стригун из Севильи' Россини"); вы побываете на Дне национальной культуры и, смахнув ностальгическую слезу, полюбуетесь на праздничную демонстрацию трудящихся, осененную исполинскими портретами товарищей Маркса, Ленина, Брежнева и Григорика.

Что ж, как там у "Битлз": "Roll up — Roll up for the Mystery Tour". Добро пожаловать в Слаку — город, которого никогда не существовало, в фантастический мир "развитого социализма", теперь, в дымке прошедших лет, представляющийся не более реальным, чем Лапута или Глаббдобдриб.

Николай Мельников

Забытые встречи и их знаменитые участники

Le Studio Franco-Russe 1929–1931 / Textes réunis et présentés par Leonid Livak; Sous la rédaction de Gervaise Tassis. — Toronto: Toronto Slavic Library, 2005. — 624 p.

Франко-русская студия 1929–1931 / Сост. и подг. текстов Леонида Ливака; Под редакцией Жервез Тассис. — Торонто, 2005. — 624 с.

Вряд ли тем, кто не принадлежит к литературоведческому цеху, известно, что недавно возникла новая наука — эмигрантоведение. Интерес к литературе русского зарубежья породил массу книг и статей, периодических изданий и конференций, посвященных именно и только этому объекту. Есть, однако, та сторона дела, которая почти не привлекает внимания русских ученых: взаимоотношения эмигрантов с культурой того, что скучно именуется "страной пребывания". А между тем сами они были такой проблемой весьма озабочены. Как только стало понятно, что в ближайшее время ожидать возвращения на родину не приходится и надо каким-то образом встраиваться в жизнь стран, куда забросила судьба, об этом стали думать и писать.

Современному читателю не так легко эти писания отрефлектировать. Забылись исторические события, казавшиеся сакраментальными, истрепались газеты, умерли люди. Восстановить историческую перспективу теперь должны ученые. Иногда они сталкиваются с проблемой недостатка источников. Слишком мало сведений сохранилось, например, о так называемых "Декадах в Понтиньи", по поводу которых Л. Ливак пишет: "К 1925 году встречи в Понтиньи стали большим интеллектуальным событием; на них Андре Жид спорил со Львом Шестовым, Поль Валери беседовал с Николаем Бердяевым, Франсуа Мориак обменивался мнениями с Борисом Зайцевым, Роже Мартен дю Гар наблюдал за Иваном Буниным, а Борис Шлецер завязывал дружбу с Шарлем Дю Босом".

К счастью, сохранились материалы, позволяющие представить один из эпизодов подобных отношений во всех подробностях. Перед нами солидная книга, посвященная мало кому известному явлению конца двадцатых и начала тридцатых годов прошлого века. "Франко-русская студия" с русской ее стороны возникла по инициативе полузабытого уже человека — сына философа Б. А. Фохта Всеволода Борисовича (1895–1941), офицера белой армии, журналиста популярного еженедельника "L'Intransigeant", издателя русского журнала "Но-

вый Дом", потом монаха, окончившего свои дни в Дамаске. С французской стороны ее возглавлял молодой романист Робер Себастьен, довольно тесно связанный с кругом Ж. Маритена, а отчеты печатались на страницах парижского журнала "Cahiers de la Quinzaine". На первый взгляд кажется, что прав был Владимир Вейдле, писавший: "Всего досаднее... то, что действительно крупные русские писатели, живущие в Париже, попали в редкую по убожеству французскую литературную среду".

Однако этому явно противоречат другие сообщения. Вот, например, Юрий Фельзен рассказывает: "Зал в триста человек всегда переполнен до отказа. Кое-кто не попадает, кое-кому приходится стоять... Первые четыре ряда предназначены для писателей. Среди них многие французские знаменитости и большинство русских, находящихся в Париже. Часто бывают Бунин, Алданов и Зайцев". И правда, среди выступавших на четырнадцати состоявшихся вечерах русскую сторону представляли — Б. Вышеславцев, Г. Адамович, Н. Бердяев, В. Вейдле, Н. Берберова, Г. Федотов. Французские имена (за исключением Ж. Маритена и пришедшего на обсуждение своей поэзии Поля Валери) менее известны, но Рене Лалу, Бенжамен Кремьё, Андре Фонтена — вовсе не те фигуры, которыми можно пренебречь. А среди выступавших в прениях, присутствовавших и писавших специальные письма были Марк Слоним, Гайто Газданов, Марсель Соваж, Борис Зайцев, Габриэль Марсель, Марина Цветаева, Жорж Бернанос, Франсис Карко, Борис Поплавский, Андре Жид, Андре Мальро, Андре Моруа, Иван Бунин, Георгий Иванов, Филипп Супо, Ильязд, Люсьен Фабр, Константин Мочульский, Владислав Ходасевич, Лев Шестов, Франсуа Мориак. Не менее интересны и выразительны темы докладов. Первым выступал Робер Себастьен с докладом "Беспокойство в литературе", на второй встрече Ю. Сазонова-Слонимская говорила о влиянии французской литературы на русскую, а Ж. Максанс — о влиянии русской на французскую, потом К. Зайцев и Р. Лалу обсуждали творчество Достоевского, Н. Кульман и С. Фюме — Толстого, Р. Оннер и Б. Вышеславцев — Пруста, Р. Лалу и В. Вейдле — Валери, Маритен и Вышеславцев — Декарта, Максанс и Н. Городецкая — Шарля Пеги, Л. Мартен-Шоффье и Г. Адамович — Жида, Б. Кремьё и В. Фохт — судьбы романа после 1918 года, Бердяев и Максанс — проблемы Востока и Запада, Сазонова-Слонимская и А. Беклер — советскую литературу, А. Фонтена и Н. Берберова — символизм в России и Франции. Наконец, на последнем собрании 28 апреля 1931 года Станислав Фюме сделал доклад о духовном обновлении во Франции, а Г. Федотов — о духовном обновлении в России.

Читатели, имеющие понятие об актуальных одновременно для французской и русской культур темах, не могут не заметить, что здесь была представлена в первую очередь одна грань этой проблематики, прямо или опосредованно связанная с религиозно-философскими размышлениями. Это и не удивительно: с французской стороны инициаторами и наиболее активными участниками собрания были писатели и мыслители, теснейшим образом связанные с католицизмом, с русской же стороны — деятели русского религиозного возрождения (хотя, конечно, далеко не все). То же, что было связано с актуальной современностью, социальными проблемами как в СССР, так и в Западной Европе, оставалось на втором плане. Отчасти, безусловно, по-

тому, что конец двадцатых и самое начало тридцатых годов еще не были временем установившегося тоталитаризма и непосредственного ожидания решительных перемен в судьбах Европы. Но отчасти и потому, что люди, склонные к "левым" убеждениям, на этих собраниях не бывали. Французские сюрреалисты (кроме Супо) и русские евразийцы собрания либо игнорировали, либо прятались среди публики, чтобы не быть отмеченными в хронике. Точно так же не появляются в перечне посетителей Илья Эренбург или Евгений Замятин, жившие во Франции с советскими паспортами, или друзья СССР Р. Роллан и А. Барбюс.

Характерно и то, что советскую литературу пришло обсуждать не так много народу и выступали в обсуждении почти одни только французы, стараясь понять, что же делается сейчас там, в стране Толстого и Достоевского. Выступая в прениях, Р. Лалу говорил: "Всех поразило очаровательное противоречие между двумя докладами. Я говорю "очаровательное противоречие" потому, что мы слышали, например, как г-жа Сазонова говорит о "посредственном" романе Гладкова "Цемент", а затем Андре Беклер весьма живо восхваляет тот же самый роман". Дальше идут (как, впрочем, и у докладчика) суждения весьма наивные, но характерные. Для русских писателей в Париже довольно очевидно, что советская литература все больше и больше загоняется в рамки, превращается из живого организма в мертвое тело. Французам хочется верить, что, может быть, за художественным несовершенством таится нечто замечательное, что они находили в "Бронепоезде 14-69" Вс. Иванова, "Голом годе" Б. Пильняка и том же "Цементе". Эмигранты были трезвее и, кажется, ближе к реальности.

Впрочем, пересказывать содержание шестисотстраничной книги — дело совершенно бесперспективное. Необходимо лишь сказать, что теперь у "эмигрантоведов" не будет оправдания, когда они по-прежнему станут обходить вниманием не только подобные собрания, но и вообще вопрос о взаимодействии русской и французской культур. И добавить, что готовившие книгу к печати профессор университета Торонто Леонид Ливак (недавно издавший на английском языке монографию "Как это делалось в Париже: русская эмигрантская литература и французский модернизм") и лектор Женевского университета Жервез Тассис достойно исполнили свою работу: в книге не только представлены тексты докладов и их обсуждений, не только есть содержательная вступительная статья, но еще и сжатые биографии всех участников собраний "Студии", а также основные статьи из русской и французской печати, в которых рассказывается о ее деятельности.

Николай Богомолов

"ИЛ" *рекомендует*

На книжных прилавках июня 2006-го

Выбор главного редактора

Бегбедер Фредерик *Романтический эгоист (L'Egoiste romantique)* / Перев. с франц. Марии Зониной. — М.: Иностранка, 2006. — 464 с. — (The Best of Иностранка). 10000 экз.

"Романтический эгоист" Бегбедера — это, по его собственным словам, "Лего из Эго": под маской героя то исповедуется сам автор, то наговаривает на себя выдуманный писатель, пресыщенный славой. Клубы, где флиртует парижская литературная богема, пляжи и дискотеки модных курортов, "горячие кварталы" и престижные отели, светская и художественная жизнь крупнейших мегаполисов, включая Москву, — детали головоломки мелькают вперемешку с остроумными оценками нашей эпохи и ее героев на фоне смутного осознания надвигающегося краха.

Журнальный вариант романа опубликован в "ИЛ", 2006, № 2.

В Англии все наоборот: Антология английского юмора / Составитель Александр Ливергант. — М.: Б.С.Г.-ПРЕСС, 2006. — 704 с. — 4000 экз.

В истории литературы, особенно такой, как английская, искусство комического необычайно многолико. Литературный анекдот, сатира-иносказание, трагифарс, иронические эссе, театральная и литературная пародия — лучшие образцы этих жанров представлены в книге произведениями более сорока авторов, среди которых не только великие Джонатан Свифт. Джейн Остин, Чарльз Диккенс и им подобные, но и целый ряд весьма достойных писателей, до сих пор не переводившихся на русский язык.

Даррел Лоренс. *Размышления о Венере Морской (Reflections on a Marine Venus)* / Перев. с англ. Екатерины Ракитиной и Вадима Михайлина. — М.: Б.С.Г.-ПРЕСС, 2006. — 312 с. — (Саквояж / Sac de Voyage). 4000 экз.

Английский классик XX столетия Лоренс Даррел (1912—1990) известен во всем мире не только своим знаменитым циклом "Александрийский квартет" и другими романами, но и не менее талантливой путевой прозой. Остров Родос, владеть кото-

рым стремились завоеватели всех эпох, от античности до современности (но жители его всегда оставались верны своим мудрым традициям), был особенно дорог автору. На эту полную любви книгу его вдохновила статуя прекрасной Венеры, найденная родосскими рыбаками в море.

В "ИЛ" (2000, № 11) опубликован *Литературный гид* "Лоренс Даррелл, или Путь эксцентрика".

Кундера Милан *Смешные любови (Smesne lasky)* / Авторский сборник. Перев. с чешск. Нины Шульгиной. — СПб.: Азбука-классика, 2006. — 272 с. — 5000 экз.

В книгу Милана Кундеры "Смешные любови" вошли рассказы, написанные в Чехии в 1959—1960 гг. ("Никто не станет смеяться", "Золотое яблоко вечного желания", "Ложный автостоп", "Симпозиум", "Пусть старые покойники уступят место молодым покойникам", "Доктор Гавел двадцать лет спустя", "Эдуард и бог"). Они явились отправной точкой кундеровской прозы, в особенности его знаменитых романов "Невыносимая легкость бытия", "Бессмертие" и др.

Рассказ "Пусть старые покойники уступят место молодым покойникам" публиковался в "ИЛ" (2001, № 2). В "ИЛ" также впервые напечатаны романы Миланы Кундеры "Невыносимая легкость бытия" (1992, № 5), "Бессмертие" (1994, № 10), "Неспешность" (1996, № 5), "Подлинность" (1998, № 11).

Нотебоом Сэйс. *Филип и другие (Philip en de anderen)* / Перев. с нидерл. Ирины Гривниной. — М.: Текст, 2006. — 189 с. — (Первый ряд). 3000 экз.

Роман знаменитого нидерландского поэта и прозаика Сэйса Нотебоома (р. 1933) вполне может быть отнесен к жанру поэтической прозы. Наивный юноша Филип пускается в путешествие, которое происходит и наяву, и в его воображении. Он многое узнает, знакомится со многими людьми, встречает любовь, но прежде всего — познает себя. И как всегда у Нотебоома — в каждой фразе повествования сильнейшая чувственность и присущее ему особое чувство стиля.

За этот роман Сэйс Нотебоом был удостоен премии Анны Франк.

В "ИЛ" (1996, № 12) опубликован роман Сэйса Нотебоома "Следующая история".

Петрович Горан. *Остров и окрестные рассказы (Острво и околне приче)* / Перев. с сербск. Ларисы Савельевой. — СПб.: Амфора, 2006. — 272 с. — (Горан Петрович. Собрание сочинений). 3000 экз.

Сборники небольших историй современного сербского писателя Горана Петровича (р. 1961) "Остров и окрестные рассказы" и "Ближний" — это цепочка изящных лирических миниатюр, перебирая звенья которой, читатель проходит над сном и явью,

над смертью и бессмертием и погружается в огромный океан человеческой памяти.

В "ИЛ" публиковались рассказы Горана Петровича (2000, № 9; 2005, № 10) и роман "Атлас, составленный небом" (1997, № 6).

де Сент-Экзюпери Консуэло *Воспоминания Розы* / Перев. с франц. Натальи Морозовой. — М.: КоЛибри, 2006. — 344 с. — (Жизнеописания). 5000 экз.

"Когда я лечу среди звезд и вижу вдали огоньки, я говорю себе, что это моя маленькая Консуэло зовет меня..." — писал Антуан де Сент-Экзюпери о своей любви к жене, прекрасной Консуэло Сунсин. Красавец и герой, аристократ и воин граф де Сент-Экзюпери влюбился в нее с первого взгляда. Эта книга — драматичная и захватывающая история их жизни вместе. Союз этих двух талантливых людей с их необузданными, взрывными характерами не был безоблачным. Но все-таки именно Консуэло и стала прообразом прекрасной розы из "Маленького принца".

Ее живописью и скульптурой восхищались Метерлинк, д'Аннунцио, Моруа, Пикассо. Ее воспоминания о муже написаны с тем экспансивным изяществом, которым отмечено ее творчество, да и вообще все, что она делала в жизни. Книга Консуэло долгие десятилетия оставалась тайной ее архива, и только на рубеже веков разрешение на публикацию было наконец получено.

Симада Масахико *Хозяин кометы* / Перев. с японск. Екатерины Тарасовой. — М.: Иностранка, 2006. — 432 с. — (The Best of Иностранка). 5000 экз.

Масахико Симада — экстравагантный выдумщик и стилист-виртуоз, один из лидеров "новой волны" японской литературы, любящий и умеющий дерзко нарушать литературные табу. Окончил русское отделение Токийского университета, ныне — профессор крупнейшего университета Хосэй, председатель Японского союза литераторов. Автор почти полусотни романов, рассказов, эссе, пьес, лауреат престижнейших премий Номы и Идзуми Кёка, он все больше ездит по миру в поисках новых ощущений, снимается в кино и ставит спектакли.

"Хозяин кометы" — первая часть трилогии, в которую вошли также романы "Красивые души" и "Любовь на Итурупе". Это роман о запретной любви, способной уцелеть среди войн, революций, пепелищ XX века. Его герои — четыре поколения потомков печально знаменитой гейши Чио-Чио-сан и американского офицера Пинкертона.

Шарый Андрей. *Четыре сезона.* — М.: Новое литературное обозрение, 2006. — 208 с. — (Письма русского путешественника). 1500 экз.

Так ли далеки друг от друга четыре стороны света, четыре времени года, четыре стихии? Нужно ли в мире XXI века искать новую систему координат, или она раз и навсегда

определена историческим опытом? Меняется ли положение России на культурологической карте планеты? Стартовая точка путешествий автора по двум десяткам стран трех континентов — Чехия. Отсюда, из географического центра Старого Света, он отправляется в поисках ответов в Париж и Стамбул, в Мадрид и Омск, в Амстердам и Киев, в Верону и Калининград; в древние православные монастыри Северной Греции, в египетскую пустыню, в копенгагенский квартал хиппи; спускается в словенские карстовые пещеры, поднимается на воздушном шаре в небо над Прагой. Среди героев книги — исторические персонажи и прославленные писатели, великие композиторы и популярные рок-музыканты, знаменитые ученые и чудаки-изобретатели.

Шесть новых шведских пьес: Антология. / Перев. с шведск. Анны Зайцевой, А. Поливановой, Марии Людковской, О. Коваленко, Елены Ермалинской. — М.: Три квадрата, 2006. — 304 с. — 1000 экз.

В этом сборнике представлены пьесы современных шведских авторов — от программной драмы ставшего уже классиком Ларса Нурена до легкого монолога для радиотеатра Розы Лагеркранц и пародии на семейную драму Эрика Удденберга. Все эти произведения сыграли важную роль в становлении "новой драмы" в Швеции, предопределившие ее развитие и основные жанровые характеристики.

Исаак Башевис Зингер *Раскаявшийся (The Penitent)* / Перев. с англ. Виталия Ананьева. — М.: Текст, 2006. — 189 с. — 5000 экз.

Исаак Башевис Зингер (1904—1991) — нобелевский лауреат, один из самых крупных еврейско-американских писателей XX века.

Герой романа "Раскаявшийся" пережил Холокост и достиг благополучия, но испытывает отвращение к соблазнам и лжи окружающей жизни.

Справедлив ли Бог, допустивший тяжкие страдания его народа? Какой смысл в соблюдении религиозных предписаний? В чем истинная вера? Такие вопросы мучают Иосифа Шапиро. В конце концов, он находит для себя выход, но согласен ли с его бескомпромиссным решением автор?

Дьёрдь Далош *Обрезание (Korulmeteles)* / Перев. с венгер. Юрия Гусева. — М.: Текст, 2006. — 189 с. — 2000 экз.

Дьёрдь Далош (р. 1943) — венгерский писатель. В 1992 году издательство "Текст" опубликовало его роман "1985" — своеобразное продолжение "1984" Джорджа Оруэлла. Теперь вниманию читателей предлагается еще один роман Далоша "Обрезание". Герой романа, мальчик из бедной еврейской семьи, отказывается смириться с навязанной ему чужой волей и вынужден из-за этого покинуть еврейский интернат, где жил на всем готовом... До антикоммунистического восстания на улицах Будапешта остается несколько месяцев.

Сальвадор Дали *Сюрреализм – это я* / Перев., сост., предисл. и коммент. Н. Малиновской. – М.: Вагриус, 2005. – 617 с. – (Мой 20 век). 7000 экз.

Сальвадор Дали (1904 – 1989) – знаковая фигура минувшего столетия, испанский живописец, чье творчество и жизнь парадоксальны и фантастичны. В этом убеждает и том мемуарной прозы, в который вошли его воспоминания "Тайная жизнь Сальвадора Дали, написанная им самим", афоризмы "О себе и обо всем прочем", манифесты, статьи, эссе, стихи, письма Федерико Гарсиа Лорке и воспоминания сестры художника.

В "ИЛ" публиковалась "Тайная жизнь Сальвадора Дали, написанная им самим" [1991, № 12, 1992, № 5–6, 8–9].

Владимир Бахмутский *Пороги культуры* – М.: Гелеос, 2005. – 352 с. – 3000 экз.

В книге известного филолога, профессора ВГИКа В. Я. Бахмутского собраны статьи разных лет, фрагменты лекций и воспоминания о нем учеников, коллег и друзей.

Его письменное и устное слово было обращено прежде всего к молодым. Главным для замечательного ученого и педагога всегда оставалось утверждение живой связи духовных ценностей, накопленных Культурой, и нравственных усилий отдельного человека – оправдание и само условие его существования во времени.

Многие статьи и лекции, вошедшие в книгу, посвящены проблемам зарубежной литературы.

Маргарита Былинкина *Всего один век. Хроника моей жизни – М.: Грифон, 2005. – 392 с. – 2000 экз.*

Маргарита Ивановна Былинкина – филолог, писатель и переводчик с испанского и немецкого языков. "Всего один век" – автобиографическая хроника, в которой автор слегка иронично и откровенно рассказывает о примечательных событиях из своей долгой жизни, о путешествиях в Аргентину, Мексику и другие страны, о встречах с разными людьми и о многом другом.

М. И. Былинкина – один из первых сотрудников "ИЛ", ее переводы неоднократно публиковались в журнале.

Виславa Шимборская
Wisława Szymborska
Польский поэт, лауреат Нобелевской премии [1996].

Автор девяти книг стихов, в том числе *Большие числа* [*Wielka liczba*, 1976], *Люди на мосту* [*Ludzie na moście*, 1986], *Конец и начало* [*Koniec i początek*, 1993], *Минута* [*Chwila*, 2002] и др. Стихи В. Шимборской по-русски печатались в сборнике переводов А. Ахматовой *Голоса поэтов* [1965], в антологии *Польские поэты* [1978], в *ИЛ* [1967, № 2; 1974, № 7; 1978, № 8; 1994, № 11; 2000, № 8; 2003, № 5]. В *ИЛ* также опубликованы речь Виславы Шимборской *Поэт и мир*, произнесенная на церемонии вручения ей Нобелевской премии [1997, № 5], фельетоны из сборника *Необязательное чтение* [*Lektury nadobowiązkowe*, 1999, № 5].
Перевод выполнен по изданию *Dwukropek* [Kraków: a5, 2005].

Алан Титли
Alan Titley
[р. 1947]. Ирландский прозаик, драматург, критик, филолог. Лауреат многих литературных премий, в том числе премии Австралийской академии искусств [1995], премии Радио и телевидения Ирландии за лучший рассказ [1999] и др.

Автор повестей *Разрыв* [*Méirscrí na Treibhe*, 1978], *Кровавые раны* [*Stiall Fhial Feola*, 1980], *Храбрец* [*An Fear Dána*, 1993], пьесы *Годо приходит* [*Tagann Godot*, 1990] и др.
Публикуемая повесть печатается по изданию *Amach* [An Gúm: Baile Atha Cliath, 2003].

Рольф Дитер Бринкман
Rolf Dieter Brinkmann
[1940–1975]. Немецкий поэт и прозаик, переводчик с английского.

Автор стихотворных сборников *Вы зовете это языком* [*Ihr nennt es Sprache*, 1962], *Без негров* [*Ohne Neger*, 1965], *&-стихотворения* [*&-Gedichte*, 1966], *Что под вопросом и для чего* [*Was fräglich ist wofür*, 1967], *Пилоты* [*Die Piloten*, 1968], *Годзилла* [*Godzilla*, 1968], *Кинокадры* [*Standphotos*, 1969], *Трава* [*Gras*, 1970], *На запад* [*Westwärts*, 1975], романа *Никто не знает лучше* [*Keiner weiß mehr*, 1968], рассказов, книги *Рим. Взгляды* [*Rom. Blicke*, 1979].
Публикуемые стихи взяты из книги *Кинокадры. Стихи 1962–1970* [*Standphotos. Gedichte 1962–1970*. Reinbek: Rowohlt Verlag, 1980].
Публикуемый рассказ взят из книги *Рассказы* [*Erzählurgen*. Reinbek: Rowohlt Verlag, 1985].

Ана Бландиана
Ana Blandiana
Румынский поэт, президент правозащитного фонда *Гражданская академия*, директор-основатель Мемориала жертв коммунизма, почетный президент румынского ПЕН-клуба, член Поэтической академии Стефана Малларме, Европейской академии поэзии,

Автор двадцати шести поэтических сборников, среди которых: *Первое лицо множественное число* [*Persoana întâia plural*, 1964], *Наутро после смерти* [*În dimineata de după moarte*, 1996], *Грязный от сажи архангел* [*Un arhanghel murdar de funingine*, 2004], *Убывание чувств* [*Refluxul sensurilor*, 2004]; тринадцати сборников эссе, пяти книг прозы, в том числе *Проекты прошлого* [*Proiecte de trecut*, 1982]. На русском языке отдельной книгой вышли *Стихотворения, рассказы, эссе* [1987]. В *ИЛ* публиковались подборки ее рассказов [1985, № 3], эссе [1990, № 6].
Публикуемые эссе-миниатюры взяты из сборников *Автопортрет с палимпсестом* [*Autoportret cu Palimpsest.*

Мировой академии поэзии [ЮНЕСКО]. Лауреат международных премий Гердера [1982] и Камайоре [2005].

Альфред Эдуард Хаусман
Alfred Edward Hausman
[1859–1936]. Английский филолог и поэт.

Автор двух прижизненных сборников стихов *Парень из Шропшира* [*A Shropshire Lad*, 1896] и *Последние стихотворения* [*Last Poems*, 1922]. Посмертно опубликован сборник *Еще стихотворения* [*More Poems*, 1936]. На русском языке публиковался в журналах и антологиях.
Публикуемые стихи взяты из разных сборников.

Григорий Михайлович Кружков
[р. 1945]. Поэт, переводчик, литературовед. Лауреат многочисленных премий, в том числе *ИЛлюминатор* [2002] и Государственной премии по литературе [2003].

Автор пяти стихотворных сборников [последний — *Гостья*, 2004]. В его переводах вышли книги Джона Донна *Избранное* [1994], У. Б. Йейтса *Избранное* [2001], сборники *Книга NONсенса. Английская поэзия абсурда* [2000], *Лекарство от Фортуны. Поэты при дворе Генриха VIII, Елизаветы Английской и короля Иакова* [2002], *Англасахаб: 115 английских, ирландских и американских поэтов* [2003] и др. В *ИЛ* печатались его переводы стихов Ш. Хини [1991, № 4; 2003, № 5], Д. Энрайта [1994, № 3], У. Б. Йейтса [1995, № 2], У. Стивенса [1998, № 10], У. Дж. Смита [2002, 10], Джона Клэра [2005, № 4], А. Теннисона [2006, № 5], эссе *Йейтс в 1923 году. Возвращение в Тур Баллили* [2005, № 10] и др.

Альберт Викторович Карельский
[1936–1993]. Литературовед, критик, переводчик.

Автор книги *От героя к человеку. Два века западноевропейской литературы* [1990], многих работ по немецкой, австрийской и французской литературам XIX и XX веков. В числе переводов трагедии К. Ф. Хеббеля *Агнеса Бернауэр, Гиг и его кольцо*, повесть Х. Додерера *Последние приключения*, стихи Й. Эйхендорфа, Р. М. Рильке, Г. Бенна, Ф. Ницше, А. Ламартина, В. Вордсворта и др. В *ИЛ* в его переводе печатались повести У. Пленцдорфа *Новые страдания юного В.* [1973, № 12], Р. Музиля *Тонка* [1970, № 3], М. Вальзера *На полном скаку* [1983, № 8], лекции *Творческая индивидуальность переводчика и его "стилистический вкус"* [1994, № 6], *О творчестве Франца Кафки* [1995, № 8].

Урс Видмер
Urs Widmer
[р. 1938]. Швейцарский писатель.

Автор романов *Алоис* [*Alois*, 1968], *Конгресс палеолепидоптерологов* [*Der Kongress der Paläolepidopterologen*, 1989], нескольких романов-пародий, пьесы *Штан и Олли в Германии* [*Stan und Ollie in Deutschland*, 1979]. В *ИЛ* была опубликована его повесть *Рай забвения* [1998, № 9] и рассказы [2001, № 3].
Публикуемое эссе взято из сборника *Es liegt was in der Luft. Die Himmel Europas* [Graz: Literaturverlag Droschl, 2003].

Альфред Коллерич
Alfred Kolleritsch
[р. 1931]. Австрийский прозаик, поэт, основатель авангардного художественного форума *Городской парк* [Грац], издатель и редактор литературного журнала *Manuskripte*. Лауреат многих премий, в том числе имени Георга

Автор нескольких романов, в том числе *Убийцы персиков* [*Die Pfirsichtöter*, 1972; рус. перев. 2003], *Зеленая сторона* [*Die grüne Seite*, 1974], *Аллеман* [*Allemann*, 1989] и поэтических сборников *Рухнуть в счастье* [*Absturz ins Glück*, 1983], *Противопути* [*Gegenwege*, 1991], *Заговор слов* [*Die Verschwörung der Wörter*, 2001], *Сумма дней* [*Die Summe der Tage*, 2001].
Публикуемое эссе взято из сборника *Es liegt was in der Luft. Die Himmel Europas* [Graz: Literaturverlag Droschl, 2003].

Тракля за лирику [1987], австрийской государственной премии Министерства образования и искусства за публицистику [1993], Австрийского почетного креста первого класса за заслуги в области науки и искусства [1997], имени Хорста Бинека за лирику [2005].

Ильма Ракуза
Ilma Rakusa
Швейцарская немецкоязычная писательница, поэт, драматург, критик, переводчик. Лауреат нескольких литературных премий, в том числе премии Петрарки за переводы [1991] и премии Шиллера [1998].

Автор книг стихов *Как зима* [*Wie Winter*, 1977], *Жизнь. Пятнадцать акронимов* [*Leben. Fünfzehn Akronyme*, 1990], *Слова/смерти* [*Les mots/morts*, 1992], *Перечеркнутый мир* [*Ein Strich durch alles*, 1997], сборников рассказов *Мирамаре* [*Miramar*, 1986], *Степь* [*Steppe*, 1990], сборника пьес *Джим* [*Jim*, 1993], книги *Лекции о поэтике* [*Vorlesungen zur Poetik*, 1994], исследования *Достоевский в Швейцарии* [*Dostojewskij in der Schweiz*, 1981]. В *ИЛ* публиковались ее стихи [1999, № 9; 2002, № 9].
Публикуемое эссе взято из сборника *Es liegt was in der Luft. Die Himmel Europas* [Graz: Literaturverlag Droschl, 2003].

Мария Александровна Рыбакова
Русская писательница. Лауреат литературной премии *Эврика* [2002] и премии Сергея Довлатова [2003].

Автор романа *Анна Гром и ее призрак* [1999], сборника прозы *Тайна* [2001].
В *ИЛ* публикуется впервые.

Баярд Тейлор
Bayard Taylor
[1825–1878]. Американский поэт, прозаик, переводчик.

Автор сборника очерков *Пешком по Европе...* [*Views Afoot, or Europe Seen With Knapsack and Stuff*, 1846], книг *Земли сарацинов...* [*The Lands of the Saracen*, 1855], *Ханна Терстон* [*Hannah Thurston*, 1863] и др.
Публикуемые фрагменты книги *Путешествие в Грецию и Россию, а также поездка на Крит* переведены по изданию:

Борис Владимирович Дубин
[р. 1946]. Социолог, культуролог, литературовед, переводчик. Лауреат премий *ИЛ* [1992], *ИЛлюминатор* [1994], им. Анатоля Леруа-Больё [1996], им. Мориса Вакснахера [1998].

Автор статей по социологии культуры и книг *Слово – письмо – литература* [2001], *Интеллектуальные группы и символические формы* [2004], *На полях письма. Записки о стратегиях мысли и слова в XX веке* [2005]. Постоянный автор *ИЛ* и ведущий рубрики *Портрет в зеркалах* [1995, № 1, 12; 1996, № 8, 12; 1997, № 4, 9, 12; 2000, № 1; 2003, № 10; 2004, № 12]. В *ИЛ* в его переводе публиковались стихи Э. Ади [1997, № 12], эссе И. Бонфуа [1996, № 7] и Ф. Лежёна [2000, № 4], отрывки из записных книжек Ф. Жакоте [2002, № 9] и др.

Асар Исаевич Эппель
[р. 1935]. Прозаик и переводчик с польского, лауреат премий *Инолиттл* [1998], имени Ю. Казакова за лучший рассказ года [2003], польского ПЕН-клуба [2004] и Гринцане-Кавур [Италия, 2005].

Автор книг рассказов *Травяная улица* [1994], *Шампиньон моей жизни* [1996], *Дробленый сатана* [2002]. В *ИЛ* напечатаны его переводы поэм *Ниобея* К. И. Галчинского [1971, № 7], *Totentanz in Polen* С. Гроховяка [1985, № 11], *Фрэнсис Бэкон, или Диего Веласкес в кресле дантиста* Т. Ружевича [1998, № 7], *Римский триптих* Иоанна Павла II [2003, № 10], рассказов Ю. Тувима [1975, № 1], повести Б. Шульца *Коричные лавки* [1990, № 12] и рассказа *Комета* [1998, № 12], а также эссе *Серебряный ярлык* [2005, № 10].

Татьяна Андреевна Михайлова
Филолог, лингвист, переводчик с английского, французского и ирландского языков.

В ее переводах опубликованы романы *Мой рыжий дрозд* Ш. Мак Анны, *Дьявол во плоти* Р. Радиге, *Сердцедер* Б. Виана, *Винни-Пух. Дом в медвежьем углу* [в соавторстве с В. Рудневым] А. Милна, книги *Сообщества зла* П. Фрера, *Наследие кельтов* А. и Б. Рисов, ирландские саги, современная и средневековая ирландская поэзия. В *ИЛ* публикуется впервые.

Елизавета Всеволодовна Соколова
Переводчик с немецкого, литературовед, кандидат филологических наук. Лауреат премии имени В. Жуковского.

В *ИЛ* напечатана ее статья *С Востока на Запад и обратно* [2003, № 9], а также переводы стихов австрийского поэта К. Любомирского [1995, № 8], немецких поэтов У. Хан [1994, № 2 и 1997, № 7] и И. Тильш [1996, № 8], швейцарских поэтов Э. Буркарт [1998, № 9] и И. Ракузы [2002, № 9], австрийского поэта Ф. Майрёкер [2003, № 2], эссе Д. Грюнбайна *Галилей измеряет Дантов ад* [1998, № 1], рассказы Ю. Герман [2000, № 11], Б. Шпиннена [2004, № 11].

Анастасия Анатольевна Старостина
Переводчик с румынского, лауреат премии *ИЛ* [1985].

В ее переводах публиковались новеллы румынских классиков М. Эминеску, Т. Аргези и др.; *Стихотворения, рассказы, эссе* А. Бландианы [1987], том беллетристики М. Элиаде *Под тенью лилии* [1996]; под ее редакцией вышел трехтомник М. Элиаде *История веры и религиозных идей* [2001-2003]. В *ИЛ* были напечатаны ее переводы рассказов Э. Урикару [1982, № 3], А. Бландианы [1985, № 3], Б. Хорасанджана [1988, № 3], романа М. Элиаде *Девица Кристина* [1992, № 3], стихи К. Абэлуцэ [2004, № 6] и др.; ею подготовлен литературный гид *Мирча Элиаде: Одиссей в лабиринте* [1999, № 4].

Алла Хананашвили
Переводчик с английского и иврита. С 1990 г. живет в Израиле.

В ее переводе издана книга М. Хукера *Толкин русскими глазами* [2003]. В *ИЛ* публикуется впервые.

Светлана Борисовна Лихачева
Преподаватель, переводчик с английского, французского, испанского языков. Лауреат премии *Зеркало* за лучший перевод фантастики [2003], конкурса Британского Совета по переводу британской поэзии [2005].

В ее переводе изданы письма Дж. Р. Р. Толкина [2004], а также произведения Д. Дефо, Дж. Г. Байрона, Т. Гарди, У. Морриса, М. Стюарт и др. В *ИЛ* публикуется впервые.

Лев Владимирович Оборин
[р. 1987]. Студент историко-филологического факультета РГГУ. Поэт, переводчик с английского.

В его переводах публиковались произведения Ш. Сильверстайна, О. Нэша, Э. Лира, Э. А. Хаусмана. В *ИЛ* публикуется впервые.

Марина Яковлевна Бородицкая
Поэт, переводчик с английского и французского языков.

Автор стихотворных сборников *Одиночное катание* [1999], *Год лошади* [2002], а также книг для детей *Последний день учения* [1989], *Ракушки* [2001] и др. Переводила стихотворения и поэмы Дж. Чосера, Дж. Донна, Дж. Китса, Р. Киплинга, Г. Честертона, Г. Лонгфелло, Р. Бернса, П. Ронсара, П. Верлена, Э. Фарджен, А. Милна и др. В *ИЛ* в ее переводах печатались стихи Г. Честертона, Дж. Чосера, Д. Паркер, В. Набокова, К. Ковича, Р. Фэйнлайт, Р. Браунинга и др.

Борис Владимирович Архипцев
[р. 1950]. Поэт, переводчик английской поэзии нонсенса.

Автор книги переводов *Edward Lear. Лимерики* [1994].
В *ИЛ* в его переводе были напечатаны лимерики Эдварда Лира [2003, № 3].

Виктор Владимирович Лунин
[р. 1945]. Поэт, писатель, переводчик.

Автор книг для детей *Не наступите на слона* [1978], *Приключения сдобной Лизы* [1993], *Детский альбом* (на музыку П. И. Чайковского) [1994], *Любимые стихи* [1994] и др. В его переводе вышли *Песня сна* У. де ла Мара [1983], *Королевские идиллии* А. Теннисона [2001]. Переводил английских, американских и греческих поэтов, в том числе Б. Джонсона, Т. Мура, Т. Гарди, У. Уитмена, Г. Лонгфелло, К. Россетти, Р. Киплинга и др. В *ИЛ* в его переводе были напечатаны главы из поэмы Я. Рицоса *Хозяйка виноградников* [1985, № 5], стихи Перси Биши Шелли [2001, № 6].

Владимир Сергеевич Светлосанов
[р. 1957]. Поэт, переводчик с английского и грузинского языков.

В его переводе публиковались стихотворения Дж. Китса, Р. Фроста, Г. Табидзе и др., а также книга стихов грузинского поэта Терентия Гранели [2001]. В *ИЛ* публикуется впервые.

Мария Вячеславовна Фаликман
Поэт, переводчик с английского, немецкого, польского и испанского языков. Лауреат конкурса Британского Совета по переводу британской поэзии [2005].

Автор книги стихов *Mezzo Forte* [2001]. В *ИЛ* публикуется впервые.

Анатолий Сергеевич Егоршев
[р. 1935]. Журналист, германист, переводчик с немецкого.

В его переводе выходили произведения Р. Леттау, П. Хэртлинга, К. Хайна, Г. Руге. В Германии в его переводе на немецкий опубликована повесть В. Панова *Филипп фон Цезен*. Неоднократно публиковался в *ИЛ*.

Галина Васильевна Лапина
Филолог, переводчик с английского, кандидат филологических наук.

Автор статей по истории американской литературы. В ее переводе вышла книга Б. Бойда *Владимир Набоков: Русские годы*, а также целый ряд эссе и исследований.

RINET
Internet Service Provider

ИНТЕРНЕТ
ПО ВЫСОКОСКОРОСТНЫМ ВЫДЕЛЕННЫМ ЛИНИЯМ
в Центральном округе Москвы

объединенная волоконно-оптическая районная сеть RiNet в ЦАО.
• оптимальные условия подключения,
• бесплатный доступ к внутрисетевым ресурсам

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ ← В ЦЕНТРЕ ГОРОДА → В ЦЕНТРЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

круглосуточно:
(095) 232-1730 238-3922 916-7009.
адрес:
МОСКВА, 1-Й ХВОСТОВ пер., д. 11А.
подробности:
WWW.RINET.RU

В оформлении обложки использован фрагмент картины голландского художника Карела Виллинка [1900–1983] *Амстердамская фантазия* [1944].

Художественное оформление и макет Андрей Бондаренко, Дмитрий Черногаев.

Старший корректор Анна Михлина.

Компьютерный набор Евгения Ушакова, Надежда Родина.
Компьютерная верстка Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор Мария Макарова.

119017, Москва,
Пятницкая ул., 41.
тел. 953-51-47; факс 953-50-61;
http://www.inostranka.ru
e-mail inolit@rinet.ru

В INTERNET электронный дайджест журнала находится по адресу:
http://magazines.russ.ru/inostran

В Москве журнал можно приобрести в редакции.

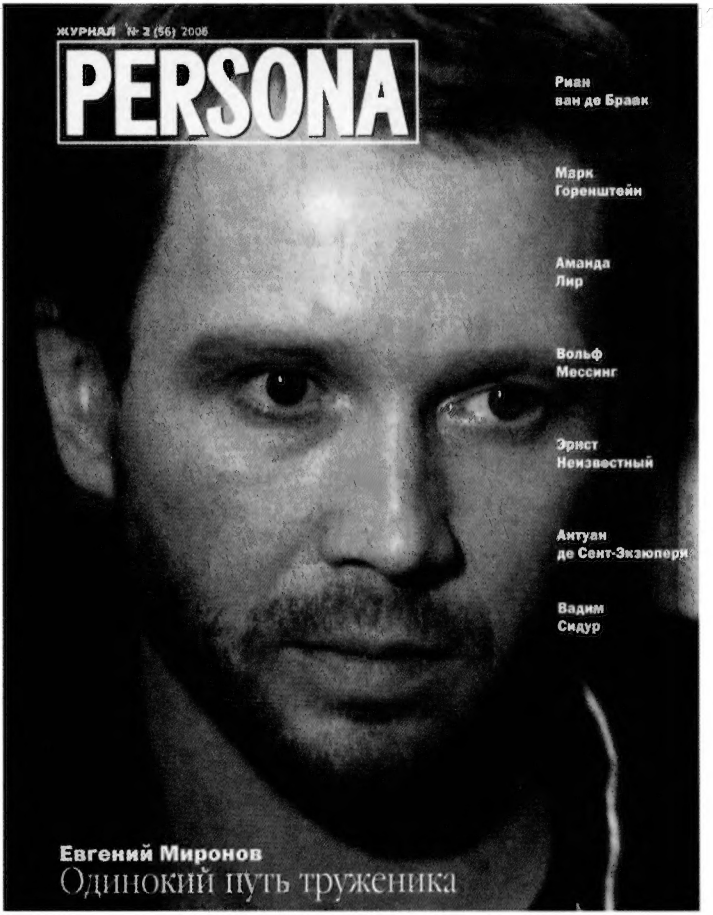
Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Регистрационное свидетельство № 066632 выдано 23.08.1999 г. ГК РФ по печати

Подписано в печать 15.5.2006
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 26,78.
Усл. кр.-отт. 31,0.
Уч.-изд. л. 26,64.
Заказ № 1033.
Тираж 7500 экз.
Отпечатано с готовых диапозитивов
ОАО "Типография "Новости",
105005, Москва,
ул. Фр. Энгельса, 46.

журнал «Персона»/«Persona»



Адрес редакции 119019 Москва, ул.Новый Арбат, д.21
Тел. (495) 291-20-05, 291-50-27, факс 290-17-33
E-mail: persona-magazine@mail.ru
Адрес в Интернете: www.persona-magazine.ru

ПОДПИСКА - 2006

38678 Объединенный каталог «Подписка-2006» - «Пресса России»
80905 Каталог агентства «Роспечать» – «Газеты. Журналы»
Во всех отделениях Сбербанка России – подписной купон ООО «С-инфо»
Во всех почтовых отделениях Москвы, России и стран СНГ до 15 числа каждого месяца.
Льготная подписка и продажа в редакции с доставкой
Продажа в книжных магазинах Москвы и РФ

[7] 2006

ЖОЗЕ САРАМАГО: "ПЕРЕБОИ В СМЕРТИ" — ФРАГМЕНТ РОМАНА / СТИХИ БОЛЕСЛАВА ЛЕСЬМЯНА В РУБРИКЕ "ИЗ КЛАССИКИ XX ВЕКА" / РОМАН КАДЗУО ИСИГУРО "НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ" / СТИВЕН ФРАЙ В РУБРИКЕ "НИЧЕГО СМЕШНОГО" / РАССКАЗЫ МАРКО АУГУСТО КИРОА / О ЧЕМ ПИШУТ НЕМЕЦКОЯЗЫЧНЫЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИЗДАНИЯ ОСЕНЬЮ 2005 — ЗИМОЙ 2006 ГОДОВ

Антанта Капитал
инвестиционная группа

согласие,
умножающее капиталы

+7 (495) 775-5100, +7 (495) 783-9626 www.antanta-capital.ru

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России:

ООО «Антанта Капитал»: 1. Брокерская/дилерская деятельность: лиц. № 000-02609-110000, от 25.03.2003; 2. Депозитарная деятельность: лиц. № 177-06504-000100, от 31.03.2003; 3. Деятельность по управлению ценными бумагами: лиц. № 177-06494-001000, от 25.03.2003.

ООО «НЭТТРЭИДЕР»: 1. Брокерская деятельность: лиц. № 077-06604-100000, от 14.05.2003; 2. Дилерская деятельность: лиц. № 077-06611-010000, от 14.05.2003; 3. Депозитарная деятельность: лиц. № 077-06619-000100, от 14.05.2003; 4. Деятельность по управлению ценными бумагами: лиц. № 177-08664-001000, от 11.10.2005.

ОАО «Московский Фондовый центр»: 1. Брокерская деятельность: лиц. № 077-06554-100000, от 17.10.2003; 2. Дилерская деятельность: лиц. № 077-06564-010000, от 17.10.2003.

ИНДЕКС 70394

ISSN 0130-6545 "ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА", 2006, №6, 1-288